

СТРАНЫ И НАРОДЫ ВОСТОКА

ВЫПУСК

XI



СТРАНЫ
И
НАРОДЫ
ВОСТОКА

ВЫПУСК



U. S. S. R. A C A D E M Y O F S C I E N C E S
ORIENTAL COMMISSION
OF THE GEOGRAPHICAL SOCIETY OF THE U.S.S.R.

COUNTRIES AND PEOPLES OF THE EAST

Under the general editorship
of the corresponding member
of the Academy of Sciences of the U.S.S.R.
D. A. OLDEROGGE

VOL. XI

COUNTRIES AND PEOPLES
OF THE CENTRAL, EAST
AND SOUTH-EAST ASIA

*Editorial Board: Yu. L. Krol, D. A. Olderogge,
V. A. Romodin, V. S. Starikov, A. G. Shprintsin*



NAUKA PUBLISHING HOUSE
Central Department of Oriental Literature
Moscow, 1971

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО СССР. ВОСТОЧНАЯ КОМИССИЯ

СТРАНЫ И НАРОДЫ ВОСТОКА

Под общей редакцией
члена-корреспондента АН СССР
Д. А. ОЛЬДЕРОГГЕ

ВЫПУСК XI

СТРАНЫ И НАРОДЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ,
ВОСТОЧНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Главная редакция восточной литературы
Москва 1971

Редакционная коллегия сборника
Ю. Л. КРОЛЬ, Д. А. ОЛЬДЕРОГГЕ, В. А. РОМОДИН,
В. С. СТАРИКОВ, А. Г. ШПРИНЦИН

Сборник, посвященный юбилею одного из старейших советских востоковедов, содержит ряд исследований в области истории, литературоведения, языкознания, истории востоковедения. Публикуемые статьи отражают широту научных интересов Б. И. Панкратова.

ОТ ВОСТОЧНОЙ КОМИССИИ

Решение об издании предлагаемого сборника было принято на состоявшемся 5 апреля 1967 г. заседании Восточной комиссии Географического общества СССР, посвященном 75-летию выдающегося советского востоковеда и путешественника Бориса Ивановича Панкратова.

В своем вступительном докладе В. С. Стариков ознакомил собравшихся с биографией Б. И. Панкратова. В докладе, а также в выступлении проф. В. С. Колоколова была охарактеризована многообразная педагогическая и научная деятельность Б. И. Панкратова как путешественника и ученого — китаевода, монголиста, маньчжуроведа, тибетолога и санскритолога. В. А. Ромодин рассказал об участии Б. И. Панкратова в комментировании (по китайским и монгольским источникам) русского перевода «Сборника летописей» Рашид ад-дина, о консультациях Б. И. Панкратова при переиздании трудов В. В. Бартольда по истории Средней Азии.

Об авторитете Б. И. Панкратова в отечественной и мировой науке свидетельствовали многочисленные приветствия, полученные юбиляром от научных коллективов и отдельных ученых Советского Союза и многих зарубежных стран. В этих приветствиях были отмечены большие научные заслуги Б. И. Панкратова, его преданность науке, значение проведенных им комплексных исследований, глубина и разносторонность его познаний, его коллекционерская деятельность, его роль эксперта и консультанта по особо сложным вопросам, его участие в изданиях памятников письменности и научных каталогов (ксилографов и рукописей), а также его деятельность преподавателя, ученики которого работают ныне в различных областях востоковедения.

Для Географического общества особое значение имеют многочисленные путешествия Б. И. Панкратова, достойно продолжившего лучшие традиции крупнейших русских востоковедов XIX в., изучавших народы Китая и Центральной Азии. Б. И. Панкратов — один из немногих востоковедов, знающих одновременно китайский, монгольский, тибетский языки и их диалекты, маньчжурский язык и санскрит. Кроме того, Б. И. Панкратов знаком с японским, корейским, бирманским, с рядом сино-тибетских и алтайских языков, с аннамским и малайским языками. Борис Иванович — обладатель уникального комплекса знаний по культуре, истории и жизни многих народов Дальнего Востока и Центральной Азии.

В предлагаемом сборнике помещены тексты докладов, прочитанных на заседаниях Восточной комиссии Географического общества и

Китайского кабинета Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР, посвященных чествованию Б. И. Панкратова. Разные по своей тематике, все эти статьи объединены общим чувством глубокого уважения к Борису Ивановичу Панкратову и признания его научных заслуг.

* * *

С приветственными адресами обратились к юбиляру коллективы сотрудников ЛО Института этнографии АН СССР, сектора алтайских языков ЛО Института языкознания АН СССР, Китайского кабинета ЛО Института востоковедения АН СССР, Института истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР, а также Объединенный совет Сибирского отделения АН СССР по гуманитарным наукам и кафедра истории Новосибирского университета. Приветственные письма и телеграммы прислали отдел Востока и отдел нумизматики Государственного Эрмитажа, местный комитет сотрудников ЛО Института востоковедения АН СССР, от имени сотрудников Института востоковедения АН СССР зам. директора В. М. Солнцев, от имени сотрудников Института этнографии АН СССР зам. директора В. В. Гинзбург и ученый секретарь Ч. Таксами, от имени кафедры монгольской филологии ЛГУ зав. кафедрой Д. А. Алексеев, от имени общества Урало-Алтайка президент общества проф. А. фон Габэн, от сотрудников Синологического института Лейденского университета директор института проф. А. Ф. П. Хулсве.

Свои приветствия Б. И. Панкратову прислали также член-корр. АН СССР М. Н. Боголюбов (ЛГУ), Р. В. Вяткин, проф. С. Л. Тихвинский, Ю. М. Парфианович и В. А. Богословский (ИВАН), Б. Б. Вахтин (ЛО ИВАН), Б. Л. Рифтин и В. И. Семанов (Институт мировой литературы АН СССР), член-корр. АН СССР В. А. Аврорин, Е. А. Лебедева, В. М. Наделяев, член-корр. АН СССР А. П. Окладников и Е. И. Убрятова (Новосибирск), акад. Дамдин Сурэн (Улан-Батор), акад. Л. Лигети, Г. Урай и К. У. Кехальми (Будапешт), проф. Ф. Веллер, проф. И. Шуберт (Лейпциг), проф. П. Рачневский (Берлин), проф. О. Латтимор (Лидсский университет), проф. П. Демьевилль (Париж), проф. А. Мостарт (Шильд), проф. Х. Франке (Мюнхенский университет), проф. В. Фукс (Кёльнский университет), проф. В. Хейссиг (Бонн), проф. Д. Боддэ (Пенсильванский университет), проф. Л. К. Гудрич (Колумбийский университет), проф. Д. М. Фаркар и проф. Чжао Юань-жэнь (Калифорнийский университет).

В. С. Стариков

**НАУЧНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Б. И. ПАНКРАТОВА**

(К 75-летию со дня рождения)

Изданием настоящего сборника научная общественность отмечает 75-летие со дня рождения одного из виднейших русских востоковедов, известного специалиста в области языка и культуры народов Азии, Бориса Ивановича Панкратова.

Б. И. Панкратов пользуется заслуженным признанием не только в СССР, но и среди зарубежных востоковедов. Об этом, в частности, можно судить и по тем приветствиям и телеграммам, которые получил юбиляр не только из Ленинграда и других городов Советского Союза, но также из самых различных стран мира.

Востоковед широкого профиля, энциклопедист в самом лучшем понимании этого слова, Б. И. Панкратов — единственный у нас ученый, в котором совместились монголовед, китаист, тибетолог, маньчжуровед и тюрколог. Для его научных интересов характерен не только широкий диапазон, но и глубина проникновения в сущность поставленной проблемы. В этом убеждается каждый, кто обращается к Борису Ивановичу за консультацией или советом, которые он неизменно щедро дает, не считаясь со своей занятостью. Особую ценность консультациям Б. И. Панкратова придает еще и то обстоятельство, что он в совершенстве изучил монгольский, китайский, маньчжурский, тибетский языки, знает санскрит, древнеуйгурский и некоторые другие восточные языки, а наряду с ними отлично владеет основными западно-европейскими языками — английским, французским, немецким, итальянским, шведским, голландским, равно как и древними — латинским и греческим. В общей же сложности, как установили друзья Бориса Ивановича, он владеет двадцатью языками, что уже само говорит о многом. Стоит несколько подробнее остановиться на некоторых моментах вы сказанного здесь и подкрепить это мнениями других востоковедов, специалистов в различных областях знаний, которые удалось обнаружить в фондах Архива востоковедов Института народов Азии АН СССР в Ленинграде.

Вот что писал акад. В. М. Алексеев 22.X.1948 г.: «По типу своих знаний и стремлений Б. И. Панкратов принадлежит к числу китаистов-полиглотов (он знает монгольский, маньчжурский и тибетский языки) старой школы (владивостокская ветвь старопетербургской школы), с той, однако, разницею существенной, что, в то время как у нас, еще гораздо ранних представителей Петербургской старой школы полиглотов (до 1900 г.) полиглотические ветви знания (монгольский, маньчжурский, японский) постепенно замирали и атрофировались за счет все-

поглощающих работ над китайским языком и связанными с ним, основанными на нем специальностями,— в Б. И. Панкратове все части полиглотического целого непрерывно жили полною жизнью, ибо поддерживались его непрерывною деятельностью, исследовательскою и преподавательскою во всех таких статьях, особенно в монголистике и тибетонистике. Он оказался везде полезным и необходимым знатоком, не имевшим времени для диссертационной сосредоточенности. Тем не менее его учебник китайского разговорного языка оценен по достоинству и у нас принят, а работа его над монголо-русским словарем Института востоковедения АН СССР должна быть оценена именно как работа не только сосредоточенного монголиста и редактора целого отдела словаря, а именно полиглота с соответствующими ресурсами, каких его товарищи по составлению могли и не иметь».

Далее В. М. Алексеев отмечает «долголетнее и очень деятельное, отмеченное как нужное и успешное пребывание Б. И. Панкратова на советской службе в Китае, выдвинувшее его как китаиста-практика и теоретика и преподавателя китайского и других языков на весьма заметное место среди советских китаистов; комплекс его знаний, которому каждый из нас, имеющих ученые степени китаистов, может только позавидовать, его нужную нам всем коллекционерскую (В. М. Алексеев подразумевает собирание Б. И. Панкратовым фольклорных материалов в Китае.— прим. В. С.), глубоко интересную и полезную деятельность,— наконец,— его исключительно полезное редакторское и другое сотрудничество в Китайско-русском словаре АН СССР...».

Профессор В. С. Колоколов 8 мая 1957 г. писал: «Мне пришлось пользоваться разговорником китайского языка, составленным Борисом Ивановичем еще в тридцатых годах. Полагаю, что этот разговорник до настоящего времени не утратил своей ценности, ибо в нем даны лучшие образцы пекинского столичного говора с весьма красочной и разнообразной фразеологией...

Мне приходится неоднократно обращаться к Борису Ивановичу за разъяснениями по ряду вопросов, связанных с толкованием буддийских текстов, и всегда получать исчерпывающие указания».

Вместе с тем, пишет В. С. Колоколов, Борис Иванович является непревзойденным знатоком маньчжурского, монгольского и тибетского языков. Кроме того, он прекрасно знает духовную и материальную культуру народов, говорящих на этих языках.

В полной справедливости последних слов проф. В. С. Колоколова автору этих строк с большим удовольствием довелось убедиться, когда Борис Иванович редактировал книгу «Материальная культура китайцев северо-восточных провинций КНР». Благодаря редакторским замечаниям Бориса Ивановича удалось избавиться от ряда промахов и упущений.

Что же касается глубокого знания наряду с китайским всех упомянутых языков, столь различных между собою, то важно отметить, что оно было приобретено Борисом Ивановичем не только путем кабинетных книжных занятий, но и благодаря постоянному и тесному общению с живыми носителями языков везде, где ему приходилось бывать. Вот почему Борис Иванович превосходно владеет этими языками не только в их литературных формах, но и в формах живой речи, которые, как известно, весьма отличаются от книжных. Эти знания Борис Иванович в течение многих лет передавал студентам и аспирантам. В стенограмме одного из заседаний Ученого совета Института востоковедения АН СССР (1948 г.) отмечаются «громадные знания



Борис Иванович ПАНКРАТОВ

(Б. И. Панкратова) в области филологии Дальнего Востока. Нужно указать,— читаем в этой стенограмме,— что большинство диссертаций, которое прошло в нашей среде по специальности дальневосточной литературы и истории, могли быть написаны при деятельной помощи с его стороны».

Добавлю к этому, что не только диссертации, но и ряд научных работ был доведен до успешного завершения только благодаря советам и указаниям Бориса Ивановича. Следует заметить, что исследователи филологии не только Дальнего Востока, но нередко и стран Среднего и Ближнего Востока обращаются к Борису Ивановичу за консультацией и во всех случаях получают от него исчерпывающие ответы. Все это наглядно показывает, насколько глубока и разнообразна эрудиция Бориса Ивановича, который с большой готовностью постоянно делится своими знаниями с востоковедами самых различных специальностей.

Хочу с благодарностью отметить, что Борис Иванович является постоянным консультантом нашей группы по дешифровке киданьского письма с самого начала ее работы. Эта тема для Б. И. Панкратова не нова, в свое время он тоже интересовался киданьским письмом, дешифровка которого так важна для монголоведения и изучения взаимовлияния культур.

Такова кроме всех уже отмеченных разнообразных видов деятельности Бориса Ивановича еще одна область его трудов — консультации, отзывы, рецензии и самые различные и постоянные виды помощи, оказываемой им многим научным работникам. Эта работа, обширная и многообразная, в то же время весьма трудоемка, но заслуги Бориса Ивановича в ней остаются почти неучтенными.

Однако данные Архива востоковедов и мнение людей, хорошо знающих Б. И. Панкратова по многим годам совместной работы, будут далеко не полны, если мы не познакомимся с другими сведениями из биографии юбиляра.

Борис Иванович Панкратов родился в Костроме 29 февраля (ст. ст.) 1892 г. По окончании приходской школы он поступил в Костромское реальное училище и окончил его в 1911 г. Той же осенью он отправляется во Владивосток, чтобы поступить на китайско-монгольское отделение Восточного института.

Почему же костромского реалиста Бориса Панкратова так потянуло в институт, далекий и от Костромы и от профиля реального училища? Еще будучи старшеклассником, он полюбил книги, написанные путешественниками по Востоку. Особенно увлекло его наряду с путешествиями Н. М. Пржевальского описание «Путешествия в Китай» д-ра Б. И. Пясецкого. Пожалуй, именно эта книга, как однажды вспоминал Борис Иванович, и определила весь ход его дальнейшей жизни и направление интересов.

Попробую обрисовать в общих чертах первые шаги вчерашнего костромского реалиста, ставшего студентом Восточного института, по тем сведениям о Борисе Панкратове, которые нашли отражение в некоторых изданиях этого института. Боюсь, что эти сведения являются далеко не полными, так как я не смог с исчерпывающей полнотой просмотреть все издания Восточного института, но даже и то, что удалось обнаружить, показывает основательный фундамент знаний Бориса Ивановича, закладка которого началась в этом замечательном высшем учебном заведении.

В «Известиях Восточного института» (№ 9, приложение 2-е, Владивосток, 1914 г., стр. 37) можно прочитать следующее.

На заседании Конференции Восточного института (так назывался высший руководящий орган этого учреждения), состоявшемся 25 октября 1911 г., «по обнаружении результатов конкурсных испытаний на получение стипендий вновь вступивших в институт студентов 1-го курса, в связи с обнаруженными ими успехами при окончании курса соответствующих средних учебных заведений, определено» назначить стипендию, «учрежденную при институте Николаевским-на-Амуре городским обществом», студенту 1-го курса Панкратову Борису.

Таково первое свидетельство, подтверждающее трудолюбие и добросовестное отношение к любому предпринятому делу, которыми ярко характеризуется вся последующая жизнь и научная деятельность Бориса Ивановича Панкратова.

На заседании 30 апреля 1912 г. «по обсуждении результатов переводных испытаний, произведенных весной текущего года, определено: на основании обнаруженных познаний на переводных испытаниях удостоить перевода на старшие курсы студентов... 14. Панкратова Бориса (этому предшествует список еще тринадцати студентов, общее число которых достигает 20.— В. С.)».

Опубликована и сама «Экзаменационная ведомость переводных испытаний студентов В. Института весной 1912 года». В списке находим Панкратова Бориса Ивановича, получившего по богословию — 5, по китайскому языку — 5, по английскому языку — 5. Против его фамилии стоит звездочка примечания, и в сноске можно прочитать: «Студент Панкратов экзаменовался также по тибетскому языку и пол. отм. 5 (пять)». Это были его первые шаги в тибетоведении. Тогда же Б. И. Панкратов был командирован для практических занятий в «пределы Монголии».

Так началась научная деятельность Б. И. Панкратова.

В студенческие годы ему удалось неоднократно побывать в различных районах Монголии и Маньчжурии как по командировкам Института, так и на свои скромные личные средства, чтобы собрать интересовавшие его материалы. Результат одной из поездок частично нашел отражение в статье «В Хулунбуире (Орочоны)», помещенной в сборнике работ профессоров и студентов Восточного института, вышедшем во Владивостоке в 1915 г. под названием «Vivat Academia». Любопытно, что статья эта была опубликована без ведома автора. Один из организаторов издания просто взял со стола Б. И. Панкратова записи его впечатлений о поездке и отправил в печать.

К студенческим же годам относится начало собирания различных материалов по языку и быту дагуров, а также первое знакомство с восточными монголами. Оно началось в 1914 г. во время экспедиции по изучению очагов чумы в Монголии, организованной Управлением Китайской Восточной железной дороги и возглавлявшейся помощником главного врача дороги д-ром Э. П. Хмара-Борщевским, дружеские связи с которым продолжались многие годы.

Весной 1916 г. Б. И. Панкратов окончил китайско-монгольское отделение по первому разряду. Постановлением Конференции Восточного института он был оставлен при институте для подготовки к профессорскому званию по кафедре монгольской словесности.

В 1916—1919 учебных годах он читает студентам Восточного института курсы монгольского и маньчжурского языков. В 1919 г. институт командует Б. И. Панкратова в Китай и Монголию для совершенствования знаний в китайском, монгольском и тибетском языках. Три года он живет в Ханькоу, используя это время для изучения таких диалектов, как хубэйский и хэнаньский.

В 1921 г. Панкратова вызывают в Пекин для работы переводчиком в пекинском отделении Российского телеграфного агентства (РОСТА). Работая в РОСТА, Борис Иванович в то же время успевал преподавать русский язык в Институте русского языка при министерстве иностранных дел Китайской Республики.

В 1924 г. его переводят в посольство СССР в Китае в качестве ученого специалиста по языкам и культуре народов Китая. Серьезная востоковедная подготовка, полученная в Восточном институте, и практическое ознакомление с изучаемыми языками и странами в дальнейшие годы определили место Б. И. Панкратова в ряду лучших знатоков как современности, так и истории этих стран.

В 1929 г. Борис Иванович приглашается на работу, а потом становится старшим научным сотрудником и заместителем директора Института китайско-индийских исследований (Sino-Indian Research Institute) научно-исследовательского центра Харвард — Яньцзин в Пекине. Для группы сотрудников этого института он читает лекции по истории буддизма в Китае, Тибете и Монголии, по тибетской буддийской литературе, буддийской иконографии, а также по алтайскому языкознанию.

Это были годы напряженной и чрезвычайно плодотворной работы по исследованию языков и культуры народов Восточной Азии (ведь Борис Иванович бывал также в Корее и Японии) и годы сотрудничества со многими зарубежными востоковедами, жившими тогда в Пекине или приезжавшими туда на различные сроки.

В Институт китайско-индийских исследований Б. И. Панкратов представил тибетскую версию «Алмазной сутры» (сравнительное исследование четырех тибетских текстов с примечаниями), а также «Лама шо» — перевод (с примечаниями) эдикта относительно ламства императора Цянь-луна на четырех языках. Обе работы были написаны по-английски.

Тогда же им была подготовлена большая работа «Индекс к биографиям знаменитых монахов», намечавшаяся к публикации в серии индексов Яньцзинского университета.

Вернувшись на родину, Б. И. Панкратов с ноября 1935 г. стал старшим научным сотрудником Института востоковедения АН СССР в Ленинграде по Монгольскому кабинету, где он помимо разборки и определения тибетских рукописей из бурятских дацанов был ведущим работником при составлении «Большого монголо-русского словаря». В 1939—1941 гг. им составлено около 30 авт. л. текста словаря и отредактировано 200 авт. л. Одновременно Борис Иванович преподавал монгольский и китайский языки в Ленинградском восточном институте, китайский и тибетский языки в Ленинградском университете. Кроме того, он был постоянным консультантом сотрудников Института народов Севера и Института языка и мышления АН СССР.

С началом войны Борис Иванович принял самое активное участие в сохранении научных ценностей Института востоковедения, имеющих мировое значение (упаковка, перемещение их в укрытие, охрана здания во время бомбежек и т. д.). Блокада города застает его бойцом отряда самообороны АН СССР. За это по окончании войны он был награжден медалью.

В июле 1942 г. Бориса Ивановича вызывают в Москву и командировывают в Китай по поручению Министерства иностранных дел СССР для работы в советском посольстве. В этот период он побывал в Синьцзяне, в различных провинциях Южного, Юго-Западного, Центрального и Северного Китая. Характерная деталь: находясь в Пекине, Борис Ива-

нович успевает выкраивать время и для преподавания истории в средней школе для детей граждан СССР. Раз нет преподавателя, значит, нужно помочь. Все это время он продолжает собирать библиотеку по Китаю, а также рукописные материалы по языку и фольклору.

В 1948 г., по возвращении из Китая, Борис Иванович был снова зачислен научным сотрудником и ученым секретарем Рукописного отдела ИВАН СССР. Одновременно он преподает на Восточном факультете Ленинградского государственного университета китайский и маньчжурский языки и в апреле 1952 г. получает звание доцента по кафедре китайской филологии.

1 февраля 1952 г. Борис Иванович назначается Ученым хранителем дальневосточных фондов Института востоковедения. 29 февраля того же года в связи с шестидесятилетием ему объявляется благодарность за многолетнюю плодотворную научную работу и вручается премия. В 1958 г. он переводится на должность старшего научного сотрудника ИВАН.

Крупный специалист в области реставрации и консервации восточной книги и рукописных документов, Б. И. Панкратов был консультантом по этим вопросам в секторе Восточных рукописей. Исключительная важность работ организованной им лаборатории по реставрации и консервации рукописей ясна каждому, кто знает богатейшие их собрания в ленинградском отделении Института востоковедения. Вспомним хотя бы ценнейшие рукописи из пещер Дуньхуана, тангутский фонд и т. п.

Превосходное знание Б. И. Панкратовым маньчжурского языка особенно проявилось при руководстве работами по разбору материалов большого архива маньчжурских документов в 1954—1955 гг. в Москве, а также при редактировании книги М. П. Волковой «Описание маньчжурских рукописей Института народов Азии АН СССР» (М., 1965) и консультациях по ее же книге «Нишань самани битхэ (Предание о Нишанской шаманке)», вышедшей в 1961 г.

В 1952 г. вышел I том, а в 1960 г. II том «Сборника летописей» Рашид ад-дина, где перу Бориса Ивановича принадлежат комментарии, касающиеся Китая, Монголии, Маньчжурии, Тибета и Кореи, а также восстановление монгольских, тюркских и китайских имен. В 1957 г. в Москве был издан сборник лирики Ли Бо со вступительной статьей Б. И. Панкратова.

Являясь крупнейшим советским буддологом, Борис Иванович опубликовал раздел «Васильев как буддолог» в статье «Русский китаевед академик В. П. Васильев», написанной совместно с другими авторами для книги «Очерки истории русского востоковедения» (вып. II, М., 1966). В рукописи осталась его работа «Литература буддийских факультетов Тибета».

Также в рукописях остались «Очерк истории Тибета VII—XIV вв.» и «Очерк тибетской литературы», написанные Борисом Ивановичем в 40-х годах. В последние годы он редактировал тибетско-русско-английский словарь, составленный Ю. Н. Рерихом.

Всегда интересуясь историей русского китаеведения, Б. И. Панкратов уделял время истории русской Пекинской духовной миссии и наследию Н. Я. Бичурина. В столетнюю годовщину со дня смерти нашего крупнейшего китаеведа прошлого он выступил с докладом «Н. Я. Бичурин как переводчик».

Борис Иванович принимал участие и в авторском коллективе по составлению однотомника «История Монгольской Народной Республики» (М., 1954). В 1951 г. на сессии, посвященной вопросам эпоса о Гэ-

сэре в ИВАН, им был прочитан доклад «Сказание о Гэсэре в Монголии, Тибете и Бурят-Монголии». Много времени посвятил Борис Иванович редактированию и уточнению ряда положений книги «Монгольские, бурят-монгольские и ойратские рукописи и ксилографы Института востоковедения» (т. I, М.—Л., 1957). За это же время им подготовлены «Китайско-монгольские словари и документы (XIV—XVII вв.) в китайской транскрипции» (с реконструкцией текста, переводом и примечаниями), «Материалы по чахарскому диалекту», «Исследование языка дагуров долины реки Нонни», а также написано много отзывов и рецензий на статьи и работы по монголоведению.

Однако все это отходит на второй план по сравнению с другой, огромной работой, которой Борис Иванович занимается и в настоящее время. Речь идет о подготовке к печати замечательного, крайне сложного памятника среднемонгольской феодальной историографии, известного под названием «Юань-чао би-ши». Это большое историческое и вместе с тем литературное произведение, написанное на среднемонгольском языке, дошло до нас только в китайской иероглифической транскрипции. В 1962 г. в Большой серии памятников литературы народов Востока вышел в свет первый том монументального труда — «Юань-чао би-ши (Секретная история монголов), 15 цзюаней. Текст. Издание текста и предисловие Б. И. Панкратова». В целом же в этой работе будут даны научная транскрипция китайского иероглифического текста, восстановленного монгольского текста и монгольского чтения памятника, принятого в XIII в., точный филологический перевод, комментарии, словарь, указатели и т. п. Нужно сказать, что издания «Секретной истории монголов» в таком широком охвате никто в мире еще не предпринимал, оно может быть выполнено только востоковедом, в одинаковой мере отлично владеющим как монгольским, так и китайским языками, на всю их глубину, необходимую для осуществления этого огромного научного предприятия. В нашей стране такая работа в настоящее время под силу только одному Б. И. Панкратову.

Из всего сказанного видно, что Борис Иванович Панкратов является ученым, в котором, к счастью для нашей науки, сочетаются действительно энциклопедические познания в области китаеведения, монголоведения, маньчжуроведения и тибетоведения. Можно лишь пожалеть, что ряд написанных им работ различного объема остаются еще в рукописи, а собранные за долгие годы пребывания на Дальнем Востоке богатейшие материалы, которые содержат так много полезного для языковедов, этнографов, историков и географов, ждут опубликования и хранятся в его личном архиве.

К. В. Васильев

ИЗ ИСТОРИИ ДРЕВНЕКИТАЙСКИХ ПИСЬМЕННЫХ ПАМЯТНИКОВ

Среди современных исследователей древнекитайской культуры нет еще единства взглядов по вопросу о том, в какой форме передавались первоначально древнейшие историко-повествовательные, религиозно-обрядовые, философские и другие памятники, какие источники — устные или письменные — играли решающую роль в процессе их сложения. Это в значительной мере объясняется отсутствием исследований о том, на какой ступени развития находилась в те или иные периоды истории древнекитайского общества традиция передачи информации и каковы были ее «технические возможности». Некогда О. Франке выступал с утверждениями, что в эпоху Шан и в периоды Западного и Восточного Чжоу письменность не получила сколько-нибудь широкого распространения, что в те времена единственной формой письменности были гадательные и документальные надписи на костях домашних животных, щитах черепах, на бронзовых сосудах и колоколах [23]*. По его мнению, отсутствие портативного писчего материала делало невозможным запись сколько-нибудь крупных литературных произведений, которые поэтому первоначально должны были передаваться изустно.

В востоковедной литературе уже были отмечены узость и крайняя субъективность этого взгляда, навязывающего древним современные представления о культуре письма [20]. Кроме того, подобное мнение о развитии древнекитайской письменной традиции вступает в конфликт с фактами, привлеченными в последнее время внимание исследователей. Нередко высказывается предположение, что наряду с дошедшими до нас древними надписями на гадательных костях и на бронзовой ритуальной утвари в эпоху Шан и в начале эпохи Чжоу были распространены тексты с иным содержанием, которые не сохранились, так как были записаны на бамбуковых и деревянных планках. В одном из очерков по ранней истории китайской книги это предположение аргументировано анализом весьма редких иньских эпиграфических памятников, явно не связанных с гадательной практикой: «Остатки длинных узких костяных пластинок, на которых сделаны исторические записи, наводят на мысль о том, что подобные же пластинки, изготовленные из бамбука или дерева, могли использоваться при династии Шан для обычных документов и книг» [29]. Как свидетельство обоснованности данно-

* Здесь и далее первая цифра в квадратных скобках означает номер по списку литературы к данной статье, вторая — номер страницы.

го предположения может быть отмечен тот факт, что в иньских гадательных надписях представлены пиктографические обозначения в виде схематических изображений связки бамбуковых или деревянных планок [4, 25]. Что касается периодов Западного и Восточного Чжоу, то свидетельства различных нарративных источников не оставляют и тени сомнения в том, что бамбук был тогда широко известен как материал для письма. В одной из песен «Ши цзина» (II, I, VIII), описывающей дальний поход, сказано: «Разве не думаем мы о возвращении домой? Но страшимся приказа на бамбуковых планках». «Янь-цзы чунью» (VII, 201) упоминает о том, что в VII в. до н. э. для составления документальных записей использовали шелк и бамбук: «[Хуань-гун] пожаловал Гуань Чжуну [местности] Ху и Гу. В них было семнадцать уездов. Описал это на шелке, изложил это на бамбуковых планках».

В рассказах «Цзо чжуаня», относящихся к середине VI в. до н. э., встречаются сведения о том, что бамбуковые планки служили писчим материалом для хронистов разных царств [1]. «[Ведающий записями] южный чиновник — ши услышал, что великий ши и его братья убиты. Он взял бамбуковые планки и отправился [во дворец циского правителя], но, узнав, что запись [об убийстве циского правителя] сделана, вернулся» [26, 511]. Или в другом месте: «Вэйский Нин Хуэй-цзы заболел. Позвав [сына] Дао-цзы, он сказал: „Я провинился перед моим государем, но раскаянием ничего не достигнешь: ведь мое имя попало в записанные на бамбуковых планках хроники правителей“» [26, 485]. Большой интерес для истории древнекитайской письменной культуры представляет находка, сделанная в 1957 г. в одной из камер царской гробницы в Синьяне (пров. Хэнань). Здесь было обнаружено несколько десятков бамбуковых планок, на одной стороне которых вертикальной строкой были написаны иероглифы. Два обстоятельства делают эту находку примечательной. Во-первых, для синьянской гробницы некоторые историки предлагают достаточно раннюю датировку: VII—V вв. до н. э. [5]. Во-вторых, согласно предварительным исследованиям, на бамбуковых планках из синьянской гробницы был записан связный этико-политический текст конфуцианского направления [7, 24]. В отличие от них все три комплекса бамбуковых планок, найденных после 1949 г. в погребениях периода Чжаньго близ г. Чанша — Улипай, Янтяньху, Янцзявань, — содержали лишь перечни погребального инвентаря. Следовательно, синьянскую находку можно считать первой подлинной бамбуковой «книгой» чжоуского времени, найденной археологами.

По синьянской находке можно судить о некоторых внешних особенностях несохранившихся чжоуских «книг». Каждая бамбуковая «страница» (а в синьянской гробнице было найдено 28 таких неповрежденных «страниц») содержала от 30 до 40 иероглифов, выведенных писчей кистью¹. Возможно, что в позднечжоуское время существовал особый тип «книжного» письма. По крайней мере современные исследователи отметили, что в начертании иероглифов на синьянских бамбуковых планках, на чжаньгоском шелковом свитке из Чанша, содержащем календарно-астрологические тексты, и на нефритовых пластинках из Хоума с текстами клятв² обнаруживаются очевидные черты сходства [18].

¹ Одна из таких кистей найдена в самой синьянской гробнице. Писчая кисть прекрасной сохранности, помещенная в бамбуковый футляр, была раскопана также в погребении периода Чжаньго близ г. Чанша [13].

² Тексты клятв, написанные киноварью на нефритовых пластинках, были найдены в конце 1965 г. при раскопках заупокойного храма одного из правителей царства Цзинь в Хоума.

Данные археологии и свидетельства древних нарративных источников указывают на то, что изготовление бамбуковых «книг», а также их распространение не требовали, как иногда утверждают [2], чрезмерных усилий и затрат. Бамбуковые «книги» с их весьма узкими и тонкими «страницами», сброшюрованными в отдельные связки — «главы», были достаточно удобны при различных обстоятельствах. В одном из текстов периода Чжаньго сказано, что Су Цинь, известный дипломат того времени, был вынужден в начале своей карьеры носить книги «на плече в коробе». Сохранилось также упоминание о том, что философ Мо-цзы (ок. 468—376 гг. до н. э.), собираясь отправиться в качестве посла в царство Вэй, «сложил в свои повозки весьма много книг» [11, гл. 12, 268]. Приведенные данные о том, что и материал и техника письма открывали достаточный простор для развития книжного дела в древнем Китае, согласуются с утверждением, Мо-цзы: «Добрых книг, имеющихся в Поднебесной, не счесть» [11, гл. 9, 165].

Из нарративных источников могут быть извлечены и факты иного рода, которые указывают на то, что уже в период Восточного Чжоу документальная запись и книга занимали выдающееся место в жизни древнекитайского общества, оттеснив на задний план устное предание. Имеются сведения, что такая важная общественная функция, как поддержание культурной традиции посредством передачи ее от одного поколения к другому, осуществлялась с помощью книжного образования. Так, в речи чуского сановника Шу-ши, входящей в состав «Го юя», среди рассуждений о том, как и чему следует учить наследника Чжуанвана (конец VII в. до н. э.), неоднократно упоминаются тексты сочинений и государственных документов: «Шу-ши сказал: „Обучая его по Чуньцю, побудишь превозносить добро и порицать зло, чтобы сделать воздержанным его сердце. Обучая его родословьям, побудишь прославлять благую силу и отвергать мрак и смуту, чтобы в его поступках радость одолела страх. Обучая его одам, побудишь обратиться к прославлению благой силы, чтобы сделать просвещенными его устремления. Обучая его обрядам и установлениям, заставишь узнать о правилах для высших и низших. Обучая его музыке, избавишь от скверны и подавишь в нем легкомыслие. Обучая указам и повелениям, заставишь разбираться в государственных делах. Обучая его речам, сделаешь ясной его благую силу и заставишь узнать, как ваны прежних дней воздействовали своей благой силой на народ. Обучая его по древним записям, заставишь узнать о тех, кто погибал и кто возвышался, и избавишь его от страха. Обучая его по кодексу наставлений, заставишь узнать, каков порядок поколений, побудишь сопоставлять то, как они исполняли свой долг“» [6, гл. 17, 191—192].

Нет сомнения в том, что под названием «Чуньцю» скрывалась либо определенная книга, либо серия книг³. Говоря об обучении по «древним записям» и по «кодексу наставлений», Шу-ши также, очевидно, имел в виду ознакомление наследника с какими-то известными текстами. Некоторые авторы полагают, что подобные известные тексты имелись в виду, когда речь шла и о других предметах преподавания: о «родословьях», об «одах», об «обряде и установлениях», об «указах и повелениях» [16]. Как следует из другого текста «Го юя», упоминающего о том, что «[Цзиньский] Вэнь-гун⁴ учился тому, как читать книги

³ Достаточно выразительно свидетельство «Цзо чжуаня», относящееся к середине VI в. до н. э.: об одном сановнике царства Цзинь говорится, что во время визита в Лу «он увидел, осматривая библиотеку у Великого ши, изображения „[Книги] перемен“ и „Чуньцю“ [царства] Лу» [26, 582].

⁴ Правил в 636—627 гг. до н. э.

у Цзю-цзи» [6, гл. 10, 137], древнекитайская образованность была неразрывно связана с искусством чтения и понимания книг. Более того, понятие «начитанность» нередко выступало как синоним образованности и компетентности в тех или иных вопросах [6, гл. 13, 160]. На распространенность среди народа письменности и элементарной грамотности указывает и то обстоятельство, что, согласно «Чжоу ли», чжоуские власти находили необходимым вывешивать тексты официальных «поучений» для всеобщего обозрения [28]. Имеются также упоминания о том, что в храмах предков государственных деятелей периода Чуньцю выставлялись таблички с описанием их заслуг перед страной [26, 456]. К этому можно добавить одну характерную деталь. Достаточно трафаретная литературная характеристика государственных деятелей и ученых, встречающаяся в позднечжоуских сочинениях, обычно содержит упоминание о том, что герой усердно читал книги, пренебрегая сном [11, гл. 12, 269].

Свидетельства о распространении и развитии книжного дела в древнем Китае уже сами по себе указывают на наличие богатой литературной традиции. Более того, ссылки и цитаты, во множестве встречающиеся на страницах источников VIII—III вв. до н. э., хранят память о десятках книг, утраченных еще в древности и неизвестных составителям ханьских литературных каталогов. В ходе классификации данных об этих книгах сразу же бросается в глаза, что в общей культуре древнего Китая был весьма велик удельный вес исторического знания. Наибольшее число ссылок падает на исторические сочинения. Древние авторы чаще всего упоминают разного рода «записи» (*чжи* или *цзи*). Цитаты из этих древних источников, пересказы их содержания, а также ряд указаний общего характера дают основание считать, что имелись в виду «записи» об исторических событиях и лицах. Например, «О том есть в записях, что если в царстве строят [города] с большими стенами, то не приносит это выгоды. Некогда в [царстве] Чжэн были [города] Цзин и Ли, в [царстве] Вэй были [города] Пу и Ци, в царстве Сун был [город] Сяомэн, в [царстве] Лу был [город] Бяньфэй, в [царстве] Ци был [город] Цюцю, в [царстве] Цзинь был [город] Цюйво, в [царстве] Цинь был город Чжэнья. Шу-дуань из Цзина доставлял неприятности Чжуан-гуну, Чжэн Ци не мог [покинуть страну], люди из Ли подлинно препятствовали тому, чтобы Чжэн-цзы занял престол⁵. Вэйские Пу и Ци, по сути дела, прогнали Сянь-гуна⁶. Сунский Сяомэн стал подлинным убийцей Чжао-гуна⁷. Луский Бяньфэй фактически ослабил Сян-гуна⁸. Циский Цюцю стал подлинным убийцей У-чжи⁹. Цзиньский Цюйво фактически принял циский отряд¹⁰. Циньский Чжэнья, по сути дела, стал источником затруднений для Хуаня и Цзина¹¹. Все это есть в записях правителей» [6, гл. 17, 197—198]. Или же:

⁵ В 722 г. до н. э. чжэнский царевич Шу-дуань поднял в Цзине мятеж против правителя царства Чжэн. В 679 г. до н. э. в царстве Чжэн вновь вспыхнула междоусобица, в ходе которой Ли-гун, опиравшийся на г. Ли, убил Чжэн-цзя и захватил власть в стране.

⁶ Эти города находились во владении сановников, заставивших в 559 г. до н. э. вэйского Сянь-гуна покинуть свое царство.

⁷ В 611 г. до н. э. царевич Гунцзя Бао, управлявший Сяо-мэном, устранил Чжао-гуна и захватил власть в царстве Сун.

⁸ Город Бяньфэй был владением аристократического рода Ци, пользовавшегося большим влиянием в царстве Лу.

⁹ Цюцю был «кормлением» циского сановника Юн Линя, который в 685 г. до н. э. убил узурпатора У-чжи.

¹⁰ В 550 г. до н. э. в царстве Цзинь, в Цюйво, был подавлен мятеж аристократического рода Луань, призвавшего на помощь циские войска.

¹¹ Этот город являлся «кормлением» циньского царевича Хоу-цзы, фаворита двух вышеупомянутых правителей царства Цинь.

«Почему не справиться об этом в записях о Шан и Чжоу, об Юе и Ся? Но даже если привлечь [материалы] более обширные, чем связка из десяти бамбуковых планок, нигде не найдешь [упоминаний о судьбе]» [11, гл. 9, 175].

В названиях сочинений, упоминаемых в историографических и философских памятниках, слово «записи» часто выступало в сочетании с разными определениями к нему: «Чжоуские записи» (*Чжоу цзи*) [26, 231], «Записи о минувшем» (*Цянь цзи*) [26, 243, 386], «Древние записи» (*Гу цзи*) [8, гл. 11, 106, 107], «Записи о глубокой древности» (*Шан гу цзи*) [8, гл. 13, 133], «Записи чиновников-хронистов» (*Ши цзи*) [8, гл. 22, 294]. Последняя разновидность древнекитайской исторической письменности была, очевидно, наследницей составленных хронистами разных времен и царств летописных историй. Известно, что с наступлением периода Восточного Чжоу точные и систематические записи велись не только в чжоуском домене, но и в центрах многочисленных царств, возникших на развалинах западночжоуской государственности. Так, в составленной Сыма Цянем истории Цинь отмечено, что в 753 г. до н. э. в этом царстве «впервые прибегли к услугам чиновника-хрониста, чтобы он записывал события; в народе многие изменились к лучшему» [15, гл. 5, 179]. Следовательно, циньская летопись была начата на 13-м году правления циньского Вэнь-гуна. Обычно же хронологической датой, открывавшей годовой счет событий в летописи, был год воцарения местного правителя. В Цинь, как и в других древнекитайских государствах VIII—III вв. до н. э., сумма первичных записей чиновников-хронистов составила со временем царский летописный свод, названный «Записями [царства] Цинь» (*Цинь цзи*) [1]. Это единственный из летописных сводов чжоуского времени, который полностью избежал литературной инквизиции Цинь Ши-хуана. Сыма Цянь, неоднократно его использовавший, высказывался о нем весьма скептически: в «Записях [царства] Цинь» «... не были записаны ни дни, ни месяцы, их текст был краток» [15, гл. 15, 686]. Сохранившиеся фрагменты других летописей VIII—III вв. до н. э. свидетельствуют, что точность хронологических данных достигалась в них с помощью фиксации событий по месяцам и дням, обозначавшимся циклическими знаками. Интересный опыт построения всеобщей древней истории Китая, соединенной с летописью царства Вэй [V—III вв. до н. э.], содержала книга «Погодовые записи на бамбуковых планках» (*Чжу шу цзи нянь*), найденная в III в. в вэйской гробнице в Цзи. В этом своде, известном лишь по фрагментам, пока что не удалось обнаружить признаков прагматического изложения событий. По-видимому, древние записи были соединены в нем лишь внешней связью, представлявшей собой хронологию правителей Ся, Шан, Чжоу и Вэй.

Столь же многочисленную группу составляли исторические сочинения типа *чуньцю* («весны и осени») ¹². Об этом термине следует сказать, что, судя по дошедшим до нас высказываниям, некоторые позднечжоуские авторы видели в нем только название летописи царства Лу. Так, в трактате «Мэн-цзы» говорится: «С исчезновением памяти о [совершенномудрых] ванах пресеклись оды. После пресечения од была создана *Чуньцю*. Чэн [царства] Цзинь, Тао-у [царства] Чу и Чуньцю

¹² Как свидетельствует позднейшая комментаторская традиция, происхождение наименования было связано со структурно-стилистическими особенностями этих исторических сочинений: исторические записи распределялись в них по временам года. Название «Чуньцю» должно было, по-видимому, указывать на то, что в книге представлен полный цикл посезонных записей, и, кроме того, символизировать последовательность и полноту исторического повествования.

царства Лу — единообразны. [Описанные] в них деяния — это [деяния] циского Хуаня и цзиньского Вэня, [составляющие] их тексты — это [тексты] чиновников-хронистов» [12, гл. 8, 337—338]. Однако столь же бесспорны свидетельства источников, что сочетание иероглифов *чуньцю* уже в позднечжоуское время стали употреблять в обобщенном смысле, превратив его в *terminus technicus* для многочисленных местных и других историй. Сохранилось утверждение Мо-цзы: «Я видел чуньцю, происходящие из ста царств» [14].

В одном из описаний библиотеки, обнаруженной в 280 г. в погребении III в. до н. э. близ Цзи, упоминается утраченное в период между Тан и Сун сочинение «Разные повествования» (*Со юй*). В этом сочинении, по словам описания, «имеется Чуньцю [царства] Цзинь, в которой изложены события 17-го года [правления] Сяньгуна» [10, гл. 1, 15а]. Есть указания, что данный сборник включал также *чуньцю*, рассказывавшие о событиях эпох Ся и Инь [19, 27]. Вышеприведенные материалы заставляют сделать вывод о бытовании в период Чжаньго одновременно по крайней мере двух историй царства Цзинь: официальной версии, называвшейся *Чэн* (Колесница), и какой-то цзиньской *чуньцю*. Официальный характер летописей царств Лу, Цзинь и Чу, упомянутых в трактате «Мэн-цзы», определялся тем, что они были составлены из записей, сделанных чиновниками-хронистами. Что касается исчезнувших позднечжоуских *чуньцю*, сведения о которых хранят различные источники, то они, по-видимому, были часто результатом чисто литературных склонностей древнекитайских книжников, писавших их по собственной инициативе. Обратимся к цитируемым в трактате «Мо-цзы» чжоуской, яньской, сунской и циской *чуньцю*. Составители трактата заимствовали из чжоуской *чуньцю* рассказ о том, как призрак безвинно казненного сановника покарал чжоуского Сюань-вана [11, гл. 8, 140]. Приведенные далее рассказы о смерти яньского, сунского и циского правителей примерно того же содержания. Все четыре и по общему смыслу и по деталям оскорбительны для памяти тех правителей, чей позорный конец они описывают. Это обстоятельство свидетельствует о том, что таким рассказам не было места в официальных летописях царств. В них, вероятно, следует видеть осуществленные частными лицами обработки легендарно-политических преданий.

На справедливость подобных утверждений указывает тот факт, что единственная параллель к рассказу чжоуской *чуньцю* о позорном конце Сюань-вана известна лишь по приведенному в «Го юе» пересказу текста, который заимствован из утраченного сборника таких преданий: «В древности возвысилось Ся, тогда бог огня спустился на высокую гору. Когда оно клонилось к гибели, бог огня подал весть в Циньсue. Когда возвысилось Шан, [волшебный] зверь тао-у стал показываться в горах Пишань. Когда оно клонилось к гибели, [волшебный] зверь иян появился на [шанском] пастбище. Когда возвысилось Чжоу, феникс подал голос в горах Цишань. Когда оно пришло в упадок, Ду Бо застрелил вана в Хао. Все это есть в «Записях о духах» [6, гл. 1, 10]. *Чуньцю*, известные по другим источникам, также, по-видимому, включали разного рода исторические предания и прозаические сказания, отражавшие полуфантастические представления разных слоев древнекитайского общества о прошлом. По сведениям танского Лю Чжи-цзи (661—721), в упоминавшейся уже «Чуньцю [царства] Цзинь» содержались фрагменты явно тенденциозного предания о том, как «вещий» сон правителя царства Цзинь стал причиной возрождения культа мифического родоначальника дома Ся [10, гл. 16, 4а]. Полностью это предание восстанавливается на основании двух параллельных текстов в «Цзо чжуане» и в

«Го юе» [26, 613, 6, гл. 14, 171]. Судя по цитате и по ряду замечаний Лю Чжи-цзи, то повествование, которое он читал в «Чуньцю [царства] Цзинь», содержало независимый от них вариант предания. Случай, когда содержание «Цзо чжуаня» перекликалось с содержанием тех *чуньцю*, которые были включены в сборник «Разные повествования», найденный в вэйском погребении в Цзи, встречались, по-видимому, неоднократно. Сохранилось свидетельство одного из первых читателей обнаруженной в земле библиотеки: «Среди древних книг погребения в Цзи имеются чуньцю, напоминающие Цзо чжуань» [19, 27].

Фрагменты утраченных сочинений типа *чуньцю* встречаются еще как в форме пересказа, так и в форме дословной передачи в речах государственных деятелей V—III вв. до н. э., собранных в «Чжань го цз» и в трактате «Хань Фэй-цзы»¹³. К сожалению, те сведения, которыми мы располагаем о восточножюуских *чуньцю*, неполны и отрывочны, поэтому судить о их внутренней структуре и других особенностях содержания приходится только по догадкам. Можно высказать предположение, что для них был характерен хронологический принцип изложения. Последний позволял составителям включать в подобные сочинения разнородные по характеру исторические рассказы. В ряде случаев в основу этих рассказов было положено историческое предание, возникшее либо одновременно с породившим его историческим фактом, либо сразу после него. Судя по данным «Цзо чжуаня» и «Го юя», вскоре после появления в свет таких преданий они должны были быть зафиксированы письменной традицией, ибо трудно себе представить, что спустя несколько десятилетий или столетий картина отраженных в преданиях событий могла сохраниться в памяти передатчиков так подробно, с такими деталями и со столь точными хронологическими указаниями. Лишь немногие небольшие тексты, дошедшие до нас в составе «Цзо чжуаня» и «Го юя», которые обладают внешними признаками коротких прозаических новелл, могли долго бытовать в устной передаче.

Что касается разных легендарно-исторических сказаний о далеком прошлом, унаследованных людьми периодов Чуньцю и Чжаньго от предшествующих поколений, то сохранились свидетельства, что ко времени составления «Го юя» и «Цзо чжуаня», т. е. к V—IV вв. до н. э., они также были собраны и записаны. Так, по «Гоюю» хорошо известен рассказ о чудесном рождении Бао Сы, жены чжоуского Ю-вана¹⁴, который начинается следующей записью: «В „Нравоучительных повествованиях“ [Сюньюй]¹⁵ есть такие слова: „Когда пришел в упадок [дом] Ся, духи людей из Бао, превратившись в двух драконов и очутившись в ванском дворце, стали говорить: „Мы — два правителя из Бао“. Государь из [дома] Ся обратился к оракулу, следует ли их убить, или прогнать, или оставить. Не получил ответа. Тогда стал гадать, спрашивая, следует ли сохранить оставленную ими слюну. Ответ был благоприят-

¹³ Цитаты из этих сочинений следуют за вводной формулой: «Чуньцю, предостерегая от этого, говорит...» или же: «Чуньцю, отмечая это [событие], говорит...». Бесспорно, что цитаты не были заимствованы из луской летописи «Чуньцю», но все они имели параллели в исторических рассказах, входящих в состав «Цзо чжуаня» [26, 135, 451, 510, 574]. Отмеченная особенность была истолкована в том смысле, что к III в. до н. э. «Цзо чжуань» существовал уже в виде комментария к луской летописи «Чуньцю», был неразрывно с нею связан и цитировался как ее составная часть [27]. Однако давно было отмечено несходство в ряде деталей, существующее между фрагментами использованных в «Чжань го цз» и в «Хань Фэй-цзы» сочинений и соответствующими им местами в «Цзо чжуане» [22].

¹⁴ Правил в 781—771 гг. до н. э.

¹⁵ Комментатор Вэй Чжао отмечает, что «Нравоучительные повествования» — это «книга чжоуского времени».

ный, и тогда расстелили шелк и на бамбуковой пластинке записали молитву. Драконы улетели, а слюна осталась. Ее собрали в шкатулку и стали хранить в ней. Приносили ей жертвы» [6, гл. 16, 187]. Эта литературная цитата была введена в текст сохранившегося на страницах «Го юя» диалога между сановником Ши-бо и Хуань-гуном, основателем царства Чжэн. Диалог заполнен генеалогическими легендами чжоусцев и союзных им родов, нормативными сентенциями и рассуждениями об упадке чжоуского дома. Цитата в диалоге служит введением к истории чудесного рождения Бао Сы, которая, по словам автора, была зачата под влиянием магической силы, исходившей от содержимого древней шкатулки. По мнению проф. Эркеса, отразившийся здесь цикл сказочных легенд о рождении и детстве Бао Сы типологически связан с повсеместно известной мифологической темой «приносящих благополучие» [21]. Однако образ Бао Сы играет в данном тексте роль, находящуюся в противоречии с его легендарной сущностью. В приписываемых Ши-бо высказываниях сказочная Бао Сы выступает как злой рок Ю-вана, губительный для судеб всего чжоуского дома. Нам представляется, что эта трансформация образа Бао Сы была осуществлена книжником, жившим в период Восточного Чжоу, ибо она отражала характерное для того времени рационалистическое переосмысление мифов, а также стремление рассматривать древние полуфантастические сказания сквозь призму современных интересов.

Наиболее примечательной чертой заимствованных из чжоуской, сунской, циской и яньской *чуньцю* текстов, которые сохранились в трактате «Мо цзы», является обилие речей, вложенных в уста исторических лиц. Так же как в известных памятниках древнекитайской исторической прозы, речи служили здесь для того, чтобы дать характеристику исторической личности или же создавшейся политической ситуации, а также для иллюстрации собственных идей автора.

Однако нельзя судить о характере и о происхождении речей, занимавших, по-видимому, столь заметное место в исторических сочинениях типа *чуньцю*, лишь на основании кратких цитат. Большие возможности предоставляет содержание «Го юя», сборника исторических текстов VIII—V вв. до н. э., включающих речи правителей и государственных деятелей того времени. Для него, как полагают, *чуньцю* различных царств послужили источником [9]. Согласно традиции и мнению некоторых современных исследователей, в «Го юе» воспроизведены подлинные речи, действительно некогда произнесенные теми, кому их приписывает историческое повествование памятника [3]. Однако наблюдение над содержанием речей «Го юя» заставляет сделать иной вывод. Обычно эти речи оказываются «сочинениями на случай», вызванными к жизни теми или другими обстоятельствами политической полемики. Те, в уста которых вложены речи, являлись всего лишь псевдонимами их подлинных авторов. В самом содержании речей отчетливо проступают признаки их чисто литературного в широком смысле происхождения. Особенно явственным представляется вымышленный характер весьма многочисленных речей, содержащих предсказания. Обычно последние относятся к хорошо известным событиям. Категоричность и точность, с которой эти события «предсказывались» в речах «Го юя», указывают на то, что «предсказания», несомненно, были сделаны задним числом [6, гл. 7, 92; гл. 8, 106]. К числу полностью вымышленных, без сомнения, относятся речи, произнесенные, согласно обрамляющему тексту, при обстоятельствах, исключающих присутствие третьих лиц, которые могли бы запомнить или записать содержание этих речей [6, гл. 7, 93—94, 94—95, 97—98]. Сомнения в подлинности

речей «Го юя» подкрепляются наблюдениями комментаторов, обнаруживших в них неправдоподобные детали и анахронизмы [17]. Таким образом, когда древнекитайские исторические тексты претендуют на воспроизведение речей правителей, государственных деятелей и военачальников, мы, очевидно, чаще всего имеем дело с «литературным вымыслом». Последний вывод не должен заслонять того факта, что часто целью этих текстов было воспроизведение конкретных исторических событий, а также что эти тексты могли сохранять тесную связь с деятельностью определенных исторических лиц.

В разных источниках встречаются указания на то, что в VIII—III вв. до н. э. существовали и другие сочинения, прямо или косвенно связанные с историческим знанием, которые впоследствии также были утрачены. В ряде случаев сведения о существовавших некогда памятниках столь кратки, что судить об их содержании можно только по названию. Так, дважды упоминаемая в «Цзо чжуане» «Книга [царства] Чжэн» была, по всей вероятности, чжэнской хроникой [26, 554, 724].

Известно, что в древнем Китае гадание было необходимым элементом государственной жизни. Придворные астрологи и специалисты по скапулимантии, онейромантике и т. д. входили в состав той же чиновничье-жреческой коллегии, что и хронисты. Каждое крупное событие в историческом сознании чжоусцев ассоциировалось с теми знаменами и предсказаниями, которые ему предшествовали или сопутствовали. Поэтому наряду с регистрацией событий возникла практика регистрации наиболее знаменательных гаданий. Сохранилось упоминание о том, что среди книг периода Чжаньго, найденных в погребении в Цзи, имелся гадательный сборник Ши Чунь¹⁶. По словам раннесредневековых библиографов, он содержал сведения о гаданиях на бирках, связанных с историческими событиями периода Чуньцю [19, 26]. В «Го юе» приведены две небольшие цитаты из «Записей прорицателей» (*Ду ши-чжи цзи*, или *ду ши цзи*) царства Цзинь [6, гл. 10, 123, 131]. Контекст цитат свидетельствует, что к пророчествам этих «записей», как и к содержимому сборника сивиллиных предсказаний, обращались за советом при решении государственных вопросов.

Таким образом, анализ свидетельств о первых шагах древнекитайской историографии показывает, что начиная по крайней мере с периода Восточного Чжоу древнекитайская культурная традиция достигла такого этапа, когда письменные виды изображения исторической действительности стали преобладать над устными. Вообще в это время книги и книжники начинают играть весьма заметную роль в жизни древнекитайского общества. Письменная традиция прочно внедряется в область государственно-правовой практики. Можно считать доказанным наличие примерно с VI в. до н. э. (а может быть, и ранее) записанных законов в ряде центральнокитайских царств.

В записях «Цзо чжуаня», относящихся к VI в. до н. э., упоминаются кодексы наказаний царства Чжэн [26, 607] и царства Цзинь [26, 729], тексты которых были вырезаны на ритуальных сосудах, а также уголовный кодекс Дэн Си-цзы, написанный на бамбуковых планках [26, 771]. «Го юй» цитирует текст, канонизировавший ритуал государственных жертвоприношений в царстве Чу [6, гл. 17, 193]. Сохранились неясные упоминания о каких-то военных сочинениях. В «Цзо чжуане» были использованы древние «Записи о ратном деле» (*Цзюнь чжи*) [26, 314, 686]. Хотя почти полностью отсутствуют данные и о содержании и о размерах перечисленных выше сочинений, хотя загадкой остается

¹⁶ Некоторые комментаторы полагают, что иероглифы, входящие в название сборника, представляют собой фамилию и имя его составителя.

вопрос об их историко-литературном значении и постигшей их судьбе, тем не менее приведенные здесь сведения указывают на то, что объем древнекитайской литературы был значительно шире наличного состава дошедших до нас памятников. При этом нужно помнить, что известные по упоминаниям сочинения, по-видимому, составляли лишь малую долю того фонда древнекитайской книжности, который был накоплен на протяжении эпохи Чжоу.

Необходимость всемерного изучения этого фонда связана с тем, что древнекитайские авторы, не знавшие понятия литературной собственности, обильно черпали из него материал для своих сочинений. Поэтому идейное и фактическое содержание доступных современным исследователям письменных источников, восходящих к эпохе Чжоу, не может быть полностью раскрыто без анализа всей отразившейся в них письменной традиции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Крoль Ю. Л., Сыма Цянь — историк падения династии Цинь. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. истор. наук, Л., 1963, стр. 4.
2. Позднеева Л. Д., К проблеме источниковедческого анализа древнекитайских философских трактатов, — «Вестник древней истории», 1958, № 3, стр. 8.
3. Позднеева Л. Д., Ораторское искусство и памятники древнего Китая, — «Вестник древней истории», 1959, № 3, стр. 24—25.
4. Ван Мин, Бамбуковые планки и шелк, — «Каогу тунсюнь», 1955, № 2, стр. 55.
5. Го Мо-жо, Датировка и государственная принадлежность погребения в Синьяне, — «Вэньу Цанькао цзыляо», 1958, № 1, стр. 5.
6. Го юй (Повествования о царствах), серия «Госюе цзибэнь цуншу», Шанхай, 1958.
7. Ли Сюе-цин, Обзор эпиграфики периода Чжаньго, — «Вэньу», 1959, № 9, стр. 59.
8. Люй ши чуныю, серия «Чжу цзы цзи чэн».
9. Лю Цзе, Сравнительное исследование «Го юя», «Цзо чжуаня» и «Ши цзи», — «Гу ши као цунь», Пекин, 1958, стр. 316.
10. Лю Чжи-цзи, Ши тун (Обозрение исторических сочинений), серия «Сы бу бэй яо».
11. Мо-цзы сянь-гу (Трактат Мо-цзы с комментариями), серия «Чжу цзы цзи чэн».
12. Мэн-цзы чжэнь (Трактат Мэнцзы с комментариями), серия «Чжу цзы цзи чэн».
13. Погребение с деревянным саркофагом периода Чжаньго, раскопанное близ гор. Чанша в Цзоцзя Гуншань, — «Вэньу цанькао цзыляо», 1954, № 12, стр. 8.
14. Суй шу (История династии Суй), серия «Сы бу бэй яо», гл. 42, стр. 270 а.
15. Сыма Цянь, Ши цзи (Записи историографа), в издании «Чжунхуа шуцзюй», 1959.
16. Сюй Чжун-шу, Об авторе и о времени создания «Цзо чжуаня», — «Лиши цзяосюе», 1962, № 11, стр. 35.
17. Сянь цинь вэньсюе ши цанькао цзыляо (Справочные материалы по истории доцзиньской литературы), в издании «Чжунхуа шуцзюй», 1962, стр. 279, комм. № 22.
18. Чжан Хань, Тексты царства Цзинь, написанные киноварью, которые обнаружены на восточножоуском городище в Хоума, — «Вэньу», 1966, № 2, стр. 1.
19. Чжу Си-цзу, Цзи чжун шу као (О книгах из погребения в Цзи), Пекин, 1960.
20. Erkes E., The Use of Writing in Ancient China. Journal of the American Oriental Society, 1941, vol. 61, № 3, стр. 127, 128.
21. Erkes E., Die historische Stellung der Pao Se. Ostasiatische Studien, Berlin, 1959, стр. 55.
22. Franke O., Studien zur Geschichte des konfuzianischen Dogmas und der chinesischen Staatsreligion, Hamburg, 1920, стр. 67.
23. Franke O., Geschichte des chinesischen Reiches, Berlin, 1930, Bd. 1, стр. 234.
24. Hulsewé A. F. P., Texts in Tombs. Asiatische Studien, t. XVIII/XIX, 1965, стр. 82.
25. Hu mel A. W., The Development of the Book in China. Journal of the American Oriental Society, 1941, vol. 61, № 2, стр. 71.
26. Legge J., The Chinese Classics, vol. V. The Chün Tséw with the Tso chuen, Hong Kong, Lond., 1872.
27. Maspero H., Composition et date du Tso Tchouan. Mélanges chinois et bouddhique, vol. 1, 1932, стр. 200, прим. 4.
28. Le Tcheou-Li Rites des Tcheou, trad. par Biot E., t. I, Paris, 1851, стр. 210.
29. Tsien T. H., Written on Bamboo and Silk, Chicago, 1962, стр. 34.

В. А. Вельгус

ПОНЯТИЕ ЛЕВИРАТА В КИТАЙСКИХ ИСТОЧНИКАХ

В текстах китайских исторических источников довольно часто встречается выражение *чжэн* (1) *бао* (2) *. На это сочетание в свое время обратили особое внимание Шаванн и Пелльо в «Манихейском трактате» [15, 180, прим. 3], а затем Дюйвэндак в работе «Открытие Африки китайцами» [16, 15, прим. 5]. Не находя такого сочетания в словарях, Шаванн и Пелльо сопоставили ряд текстов из исторических источников, в которых встречаются эти выражения, и пришли к выводу, что сочетание слов *чжэн бао* просто означает кровосмешение, разврат. Но для Пелльо и Шаванна осталось неясным, почему в подобных значениях иногда употребляется такое необычное сочетание. Дело в том, что каждое из этих слов в отдельности тоже имеет эти значения. Это же обстоятельство смущало и Дюйвэндака, и, судя по переводу, он был склонен считать *чжэн* и *бао* синонимами, так как не находил объяснения, почему в первоисточнике «Цзо чжуань» — в двух известных местах, где говорится о «кровосмешении», в одном случае это понятие передается словом *чжэн*, в другом — *бао*.

Профессор П. Уитли в своей недавней работе над китайскими источниками по Восточной Африке, в частности над сообщением о Молинь в «Новой истории династии Тан» (1060 г.), тоже находит курьезным сочетание *чжэн бао*. Видя ошибочность перевода соответствующего текста у Дюйвэндака и исходя из знания обычаев африканских народов, он, хотя и не очень уверенно, но удачно предлагает в качестве одной из возможных интерпретаций рассматривать сообщение с употреблением выражения *чжэн бао* как попытку китайских авторов описать нечто подобное обычаю левирата ¹.

Отметим, что в китайской литературе прелюбодеяние со старшими называется *чжэн*, а прелюбодеяние с младшими называется *бао*. И чтобы иметь представление, что же смущало востоковедов в понимании *чжэн* и *бао*, заглянем сначала в китайско-русские словари.

На слово *чжэн*:

Ошанин: «Развратничать; кровосмешение» [2, № 8717].

Палладий и Попов: — ² [3, т. II, 447].

* В круглых скобках указаны номера по иероглифическому индексу.

¹ [18, 146]. О том, что упомянутый китайский текст восходит к более раннему источнику 801 г., и о том, что это сообщение источника относится к району Восточного Судана, а не к Восточной Африке, см.: [1, 104—121], а об идентификациях П. Уитли — стр. 111.

² Черта означает, что данное значение отсутствует.

Иннокентий: «Развратничать (со старшими родственницами)» [4, т. II, № 14178]. Причем у Иннокентия верно отмечено, что вместо этого иероглифа *чжэн* употребляется и *чжэн* № 14180 (т. е. с ключом «трава» наверху).

На слово *бао*:

Ошанин: — [2, № 6098].

Палладий и Попов: «Прелюбодеяние со старшими родственницами (на примере с наложницей отца или дяди)» [3, т. I, 20]. Данное в скобках — это ссылка на первоисточник, «Цзо чжуань», о котором мы будем говорить далее.

Иннокентий: «Прелюбодеяние кровное» [4, т. I, № 352]. И далее у Иннокентия как равное *инь бао*. (3) дается сочетание: *чжэн бао* — Любодействовать с высшим [4, т. I, 37].

Итак, по данным всех трех словарей, получается, что *чжэн* означает или просто разврат (или кровосмешение) или же разврат со старшими родственницами. Но и *бао* имеет те же два значения. Какая же между этими словами разница?

Любопытно, что в словаре Иннокентия, оказывается, есть все-таки сочетание *чжэн бао*, которого наши западные коллеги не обнаружили в других словарях³. Посмотрим теперь, как же объясняют эти слова китайские словари.

На слово *чжэн*:

«Цы юань»: «Прелюбодеяние со старшими...». Далее дается ссылка на «Цзо чжуань» — пример прелюбодеяния вэйского государя Сюань гуна с его неродной матерью, наложницей отца [10, 934].

«Цы хай»: «Прелюбодеяние со старшими...». Далее ссылка на тот же случай в «Цзо чжуань» [9, 847].

«Большой словарь китайских иероглифов»: «Прелюбодеяние со старшими...».

Далее ссылка на тот же случай в «Цзо чжуань» и следующее примечание составителей словаря: согласно объяснению в разделе «Раскрытие значений» в «Малом словаре „Близкое правильному“» (начало III в.)⁴, прелюбодеяние со старшими называется *чжэн*, — с младшими — *бао* [13, 1137]. Обратим внимание на это очень важное пояснение из словаря «Сяо Эр я» (далее: «Сяо Эр я»).

На слово *бао*:

«Цы юань»: «Прелюбодеяние младшего со старшими...». Дается ссылка на «Цзо чжуань» — пример прелюбодеяния чжэнского государя Вэнь гуна с наложницей — женой своего дяди [10, 346].

«Цы хай»: «Прелюбодеяние» [9, 324] со ссылкой на «Гуан я», «Рас-

³ Мы не случайно обратились именно к русским словарям. Западноевропейские словари не помогли упоминавшимся выше авторитетным синологам. Не раз доводилось убедиться, что если бы русские словари были доступны западным ученым, то последние могли бы избежать многих ошибок. Так, например, по поводу значения *лин цзя* (4) или *цзя лин* (5), о которых стали писать в научной литературе после неверного перевода значения *цзя лин*, допущенного в работе Хиртом и Рокхиллом [17, 30—31], изданной в 1911 г. Если бы авторы заглянули в китайско-русский словарь Палладия и Попова (т. I, 323), изданный еще в 1888 г., то нашли бы там нужное объяснение («1, 2, 3-я статьи постановлений или закона») и не допустили бы ошибки, о которой приходилось еще и в 1947 г. упоминать Дюйвендаку [16, 19—20], указывая на дополнительные источники, где встречается выражение *цзя лин* [16, 20, прим. 2]. Если бы Дюйвендак знал словарь Палладия и Попова, изданный в 1888 г., он не стал бы отмечать, что японский ученый Кувабара Дзицудзо впервые открыл правильное значение *цзя лин* (в работе 1916 г.) [16, 20]. Понятиям *лин цзя* и *цзя лин* посвящена статья Ю. Л. Кроля [19].

⁴ «„Сяо Эр я“, „гуан и“». Книга, по-видимому, считалась авторитетной, так как ею пользовался Ду Юй, комментатор «Цзо чжуаня», в 280 г.

ширенный словарь „Близкое к правильному“, автора первой половины III в. Чжан И⁵.

Большой словарь китайских иероглифов: «Прелюбодееяние старших с младшими». Дается ссылка на тот же пример в первоисточнике, на который ссылается и словарь «Цы юань». Примечание составителей гласит: «Согласно объяснению в разделе „Раскрытие значений“ в „Малом словаре „Близкое к правильному“», прелюбодееяние со старшими называется *чжэн*, с младшими — *бао*, со сторонними — *тун*. Но прелюбодееяние государя с женой подданного по существу является прелюбодееянием старшего с младшей»⁶. Известный комментатор Фу Цянь⁷ отмечал, что: «Прелюбодееяние с женой родственника называется „бао“, и приводил кодекс ханьского периода, согласно которому прелюбодееяние с женой дяди называлось *бао*. Однако это не соответствует тому, что имелось в виду в «Цзо чжуань» [13, 753].

Итак, становится ясным, что, опираясь на данные словаря «Сяо Эр я», составители «Большого словаря китайских иероглифов» разъясняют случай с Вэнь гуном и наложницей — женой его дяди, где *бао* надо понимать именно как прелюбодееяние старшего с младшей, так как государь выше жены его подданного по положению.

Этим развязывался весь путаный узел в понимании слова *бао*. Эта путаница существовала давно, что видно хотя бы по тем цитатам, которые приводятся в используемых нами китайских словарях. Достаточно взглянуть на только что приведенные данные о слове *бао* из двух авторитетных современных китайских словарей — «Цы хай» и «Цы юань». Один утверждает совершенно противоположное другому или избирает нейтральное и неточное определение.

После этого не приходится удивляться, что неясности в толковании этих слов были и остаются в словарях двуязычных, некитайских.

Справедливости ради, однако, необходимо отметить, что заслуга «Большого словаря китайских иероглифов» заключается в том, что он довел до широкого круга читателей плоды научных изысканий автора цинского периода Ху Чэн-гуна (6) (1776—1832). Это Ху Чэн-гун нашел ключ к правильному пониманию слова *бао* в «Цзо чжуань», работая над комментированием словаря «Сяо Эр я». На выводах из его работы «Сяо Эр я и чжэн», «Исследование значений слов в „Сяо Эр я“» [8, 31 и др.] и строились данные «Большого словаря китайских иероглифов».

Итак, мы убедились, что *чжэн* означает прелюбодееяние со старшими женщинами-родственницами, *бао* — с младшими женщинами-родственницами, которые являются младшими или старшими по положению по отношению к определенному мужчине в семье, а для китайского общества своего времени, несомненно, и в роде (при этом с учетом общественного положения).

Перейдем к рассмотрению другого вопроса — сочетания слов *чжэн* и *бао*, которые встречаются в более поздней китайской исторической литературе.

«Цзо чжуань», как известно, обычно датируется V—IV вв. до н. э.

⁵ Словарь комментировался в VII в., а также значительно позднее, уже к нашему времени, известными учеными.

⁶ Следует обратить внимание, что эта фраза, как и все дальнейшее, принадлежит составителям, а не является цитатой из словаря. Если не вчитаться внимательно в эту фразу, в особенности в китайском тексте, где нет соответствующей пунктуации, то можно упустить всю важность этого вывода для понимания слова *бао* в первоисточнике, в его подлинном значении.

⁷ Фу Цянь — автор II в., один из комментаторов «Цзо чжуаня».

Для II и III вв. н. э. понятие *бао*, по-видимому, не играло никакой существенной роли в повседневной жизни китайцев. Иначе не возникли бы, вероятно, такие недоразумения в его толковании. Правда, как мы видели, в кодексе ханьского периода все же существовала классификация прелюбодеяния под названием *бао*. Это утверждает не только упоминавшийся выше комментатор «Цзо чжуаня» Фу Цянь (II в.), но и другой комментатор — Ду Юй (III в.).

Любопытно, что ни тот ни другой при комментировании примера с Вэнь гуном и женой — наложницей его дяди не упоминают о том, что для классических текстов существовало толкование: «Прелюбодеяние с младшими-низшими называется „бао“». Фу Цянь ссылается на ханьский кодекс, Ду Юй — тоже [14, т. II, цз. 10, стр. 116]. Но зато при толковании другого случая — прелюбодеяния со старшей родственницей, совершенного Сюань гуном, Ду Юй приводит уже знакомое нам разъяснение относительно слова *чжэн* [14, т. I, цз. 2, стр. 32a]. Не означает ли все это, что во II—III вв. общественность в Китае относилась весьма строго к случаям прелюбодеяния со старшими и не очень строго — к случаям с младшими, в результате чего слово *чжэн* оказалось более живучим, чем *бао* в лексике китайского языка? Но если так, то, значит, оба слова в равной мере были нужны когда-то, а если учесть специфику стиля «Чунь цю» и задачи «исправления имен», ставившиеся историком, то не означает ли это, что еще в V—IV вв. до н. э. в Китае существовали отголоски какой-то некогда бытовавшей в обществе формы левирата?

Итак, можно предположить, что с пониманием слова *бао* было что-то неладное в Китае II—III вв. В III в. имел хождение «Малый словарь „Близкое к правильному“» — «Сяо Эр я», и им пользовался комментатор Ду Юй при комментировании «Цзо чжуаня» в 280 г. [12, т. I, 544]⁸.

Там было объяснение значения *бао*, но Ду Юй почему-то им не пользовался в своем комментарии. О том, что такое объяснение было в «Сяо Эр я», свидетельствует комментарий Ли Шаня (VII в.) к знаменитой «Литературной антологии» (*Вэнь сюань*) Сяо Туна (501—531) — «Вэнь сюань», в котором Ли Шань, объясняя значение сочетания *чжэн бао*, ссылается на «Сяо Эр я» [5, т. II, цз. 54, стр. 1176]. Обратим внимание на «сочетание „чжэн бао“» и отметим, что эту ссылку на «Сяо Эр я» тоже обнаружил Ху Чэн-гун.

Итак, во II—III вв. комментаторы почему-то избегают говорить о *бао* наряду с *чжэн*, а в VI в. появляется даже сочетание этих двух самостоятельных слов. Это выражение употребил ученый конца V — начала VI в. Лю Сюнь (более известен как Лю Сяо-бяо) в своем трактате «О судьбе», который Сяо Тун поместил в антологию. У Лю Сюня есть фраза: «У них, варваров жун и ди, [проявлением] гуманности и справедливости почитается „чжэн бао“». К последнему выражению Ли Шань дает комментарий, в котором объясняет, что в «Истории Ранней династии Хань», в повествовании о гуннах-сюнну говорится: «...Если умирает отец, то берут в жены своих неродных матерей, если умирает старший или младший брат, то берут их жен себе в жены». И далее Ли Шань поясняет: [А в] «Сяо Эр я» указывается, что «прелюбодеяние со старшими называется чжэн, прелюбодеяние с младшими называется бао» [5, т. II, цз. 54, стр. 1176].

⁸ Этот словарь III в. не считают самым ранним оригинальным словарем «Сяо Эр я». Однако и этот словарь III в. был утрачен в X в. Что касается варианта «Сяо Эр я», который дошел до нас, — это, по-видимому, реконструкция X—XIII вв. см. [12, 544—545].

Совершенно очевидно, что речь тут идет о своеобразной форме левирата, который китаец охарактеризовал сочетанием слов *чжэн бао*.

Это сочетание употребляется в «Истории династии Суй» (составлена между 629—656 гг.) [7, т. 11, ч. 2, стр. 2106] и еще более поздних исторических источниках⁹.

В связи с изложенным остается полагать, что сочетание *чжэн бао* стало употребляться в китайской литературе для обозначения обычая левирата у инородческих племен примерно в IV—V вв. До этого времени, как показывает сообщение о гуннах-сюнну в «Истории Ранней династии Хань» (I в. н. э.) [7, т. I, 147] и в «Записях историка» (I в. до н. э.) [7, т. I, 3], об этом обычае у гуннов-сюнну сообщалось описательно. В «Истории трех царств», составленной в 290 г., *чжэн бао* как будто не встречается. В этой же «Истории», дополненной материалом III—IV вв. и отредактированной Пэй Сун-чжи в 429 г., сочетание *чжэн бао*, насколько можно судить, тоже не появляется.

Но мы встречаемся со словом *бао* в «Описании У-хуань» в «Истории Поздней династии Хань» Фань Е, составленной в 445 г. Текст гласит: «В их нравах [принято] делать своими женами неродных матерей и прелюбодействовать с овдовевшей женой старшего брата...» [7, т. I, 720].

Но это же место из «Описания У-хуань» выглядит иначе и дано подробнее у Пэй Сун-чжи:

«Если умирает отец или старший брат, то делают своими женами неродных матерей, завладевают женой старшего брата. Если же не завладевают женой старшего брата, то женят на ней своего сына. Затем делают своими женами жен старших дядей и младших...» [7, т. I, 742—743].

Пэй Сун-чжи и Фань Е явно используют один и тот же источник, который у Пэй Сун-чжи указан. Это «История царства Вэй», составленная в III или IV в.

В тексте Фань Е есть слово *бао*, которое мы здесь перевели в его традиционном значении — «прелюбодействовать» (с овдовевшей женой старшего брата). В тексте Пэй Сун-чжи совсем другое слово — *чжи* — «схватить, держать, взять», которое мы перевели как «завладевать» (женой умершего старшего брата).

Иероглифы *чжи* (7) и *бао* (2) схожи по написанию, и в каком-то тексте могла произойти случайная описка, которая так и сохранилась до наших дней. Ошибка в тексте Пэй Сун-чжи, на наш взгляд, маловероятна. Контекст там не допускает каких-либо аморальных оттенков. Речь идет явно об обычае левирата.

Вполне возможно, что именно случайная описка или ошибочное прочтение иероглифа *чжи* воскресило к жизни слово *бао*, причем опять-таки в значении, не соответствующем классическому контексту «Цзо чжуань» (ведь *бао* — это прелюбодеяние с младшими, а не со старшими).

Суммируя изложенное, можно сказать, что *чжэн* и *бао* в китайском языке ранее V—VI вв. представляли собой два совершенно самостоятельных слова с различными значениями. Однако вплоть до недавнего времени значение *бао* классического текста конфуцианства было не во всех его тонкостях ясно. Начиная же с V—VI вв. сочетание этих двух слов начало употребляться для характеристики обычая левирата, наблюдавшегося у некоторых соседних с Китаем инородческих племен.

⁹ Это можно видеть хотя бы по тем материалам, которые были рассмотрены в цитировавшейся работе Шаванна и Пелльо [15].

Начиная с этого времени сочетание слов *чжэн бао* в китайских источниках в описании нравов у других народов нельзя просто, безоговорочно переводить как «разврат, кровосмешение» и т. п. Правда, способным к сочетанию с другими словами оказалось почему-то только *чжэн*. Сочетание *чжэн бао* не включает в себе резко отрицательного смысла, поэтому, для того чтобы придать ему отрицательный оттенок, обычно к нему присоединяют еще какие-либо определения. В современном языке ни одно из этих слов в отдельности, как и их сочетание, не употребляются.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вельгус В., Страны Мо-линь и Бо-са-ло (Лао-бо-са) в средневековых китайских известиях об Африке, — «Africa» Труды Ин-та этнографии, т. ХС, М.—Л., 1966.
2. Китайско-русский словарь. Под редакцией проф. И. М. Ошанина, М., 1959.
3. Палладий, арх. и Попов П. С., Китайско-русский словарь, Пекин, 1888.
4. Полный китайско-русский словарь. Под ред. еп. Иннокентия, Пекин, 1909.
5. Вэнь Сюань. Сост. Сяо Тун, Шанхай, 1959.
6. Е Тин-гуй, Хай лу суй ши (Море мелких вещей и заметок), Токио, 1818.
7. Лидай гэ цзу чжуаньцзи хуэй бянь (Свод повествований о различных народах, описанных в китайских династийных историях), т. I, Пекин, 1958; т. II, ч. 2, Пекин, 1959.
8. Ху Чэн-гун, Сяо Эр я и чжэн (Исследование значений слов в Сяо Эр я), в изд. Сы бу бэй яо, [Шанхай, 1936], т. XIV.
9. Цы хай (Сводный том), Шанхай, 1948 (1-е изд., 1935 г.).
10. Цы юань (Сводный том), [б. м.], 1947 (1-е изд. словаря — 1915 г.).
11. Ч ж а й Х а о, Тун су бянь (Свод популярных выражений), Пекин, 1958.
12. Ч ж а н С и н ь - ч э н, Исследование неаутентичных книг, Шанхай, 1957.
13. Чжунхуа да Цзыдянь (Большой словарь китайских иероглифов), Пекин, 1958 (1-е изд. 1915 г.).
14. Чунь цю цзин чжуань цзи цзе (Весны и осени, с комментарием и примечаниями), Пекин, 1955, т. I, II.
15. Chavannes E., Pelliot P., Un traité manicheen retrouvé en Chine, Paris, 1913.
16. Duyvendak J. J. L., China's Discovery of Africa, London, 1949.
17. Hirth F. and W. Rockhill, Chao Ju-kua. His work on the Chinese and arab-trade in the 12th and 13th centuries, entitled Chu-fan-chi, St.-Petersburg, 1911.
18. Wheatley P., The Land of Zanj: exegetical notes on Chinese Knowledge of East Africa prior to A. D. 1500, — «Geographers and the Tropics: Liverpool Essays», London, 1964.
19. Kroll J. L., Notes on Han Law, — «T'oung Pao», vol. LI, Livr. 2—3, 1964.

М. В. Воробьев

ЧЖУРЧЖЭНСКОЕ ГОСУДАРСТВО ЦЗИНЬ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

(по цзиньским источникам)

Государство Цзинь было создано чжурчжэнями в 1115 г. на территории Маньчжурии, Северного и Центрального Китая и просуществовало до 1234 г. Как видно по карте, к новому государству отошли и те области, откуда Китай издавна поддерживал отношения с племенами и странами центральноазиатской ойкумены. Отныне китайское государство, представленное династией Южная Сун (1127—1279), оказалось практически отрезанным от прежних коммуникаций. Но значило ли это, что традиционные связи между Западом и Востоком (в дальневосточном понимании) прервались на полтора столетия, вплоть до возникновения колоссальной империи монголов? Мы изучили связи, нашедшие отражение лишь в цзиньской литературе. К этой литературе мы относим «Историю Цзинь» или «Цзиньши», которая, хотя и составлена монголом То Кэ То при династии Юань, но по цзиньским первоисточникам [15, 8] «Записки о государстве Великая Цзинь» (*Да Цзинь гочжи*) чжурчжэньского автора [6], «Записки о посольстве на Север» (*Бэй ши цзи*), оставленные цзиньским послом — чжурчжэнем Угусунем Чжун Дуанем, пересекшим в 1220—1222 гг. всю Центральную Азию до Герата (см. карту) [16]. Угусунь Чжун Дуань принадлежал к правящему дому. После побед монголов в Северном Китае он был послан цзиньским двором к Чингисхану с просьбой о мире [15, цз. 124]. Его дипломатическая миссия не увенчалась успехом, так как цзиньский император надеялся сохранить свое государство и ограничиться признанием завоевателя старшим братом, а Чингисхан, покоривший к тому времени значительную часть Северного Китая и многие центральноазиатские земли, соглашался оставить за Цзинь лишь территорию к югу от Хуанхэ, да еще требовал передачи ему западных стратегических проходов в страну. Догоняя Чингисхана, Угусунь Чжун Дуань добрался до Герата. Его маршрут неясен, но сведения по этнографии мусульманских стран в его «Записках» интересны.

Наконец, мы относим к этой литературе важные «Записки о западных землях» (*Си ю цзи*) Чан Чуня — знаменитого даосского проповедника, китайца, жившего в Цзинь и ездившего к Чингисхану в 1221—1224 гг. по его вызову [13]. Чан Чунь проделал большой и сложный путь, сначала на север к оз. Далой-нор, потом вдоль рек Керулен и Тола, северных отрогов Тяньшаня, р. Или, через Ташкент и Самарканд почти до современного Кабула [9] (см. карту).

Рассмотрение сношений чжурчжэней с окружающими народами мы начинаем с народа мэнгусы (мангуцзы, мэнгу и т. д.), хотя размещались

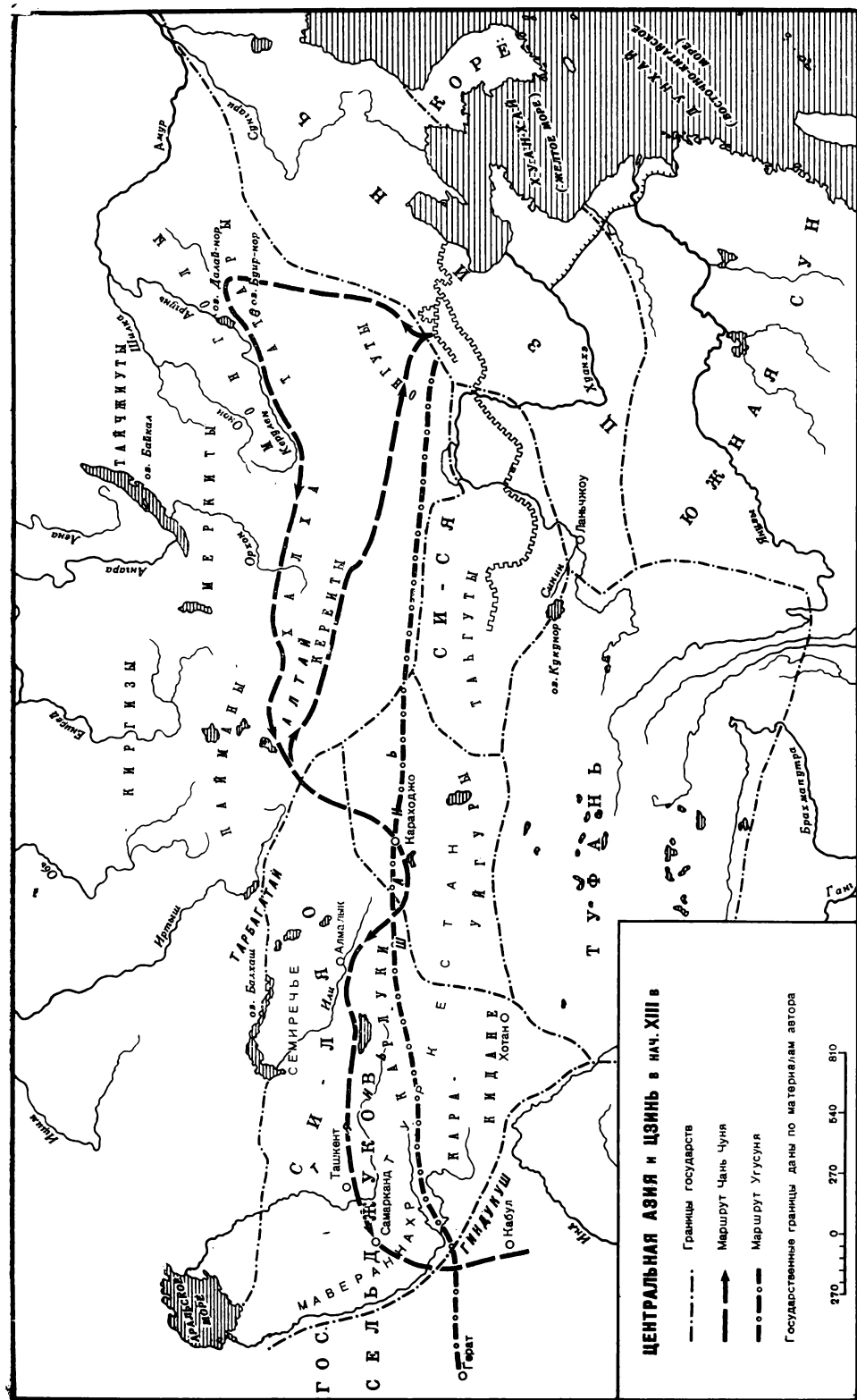
они, по-видимому, уже за пределами Центральной Азии. Однако вероятная их близость с широко известными монголами делает излишним обращение к ним.

«Да Цзинь гочжи» сообщает фактические сведения о мангуцзы, разделяя последних ростом в восемь футов, способностью видеть за несколько десятков ли даже мелкие предметы. Это необыкновенное свойство объясняется тем, что мангуцзы не ели горячего, а питались одним сырым оленьим мясом [6, цз. 12]. Другие сведения более правдоподобны. В период установления династии цзиньцы вербовали у мэнгусы солдат, но нарушили условия оплаты. В 1135 г. чжурчжэньский военачальник Цзунпань неожиданно напал на них и нанес им поражение [6, цз. 9]. Другой военачальник, Хушаху, оказался менее удачлив. Дважды, в 1138 и 1146 гг., вынужденный отступить из-за отсутствия припасов, он был разбит на обратном пути [6, цз. 10]. В годы репрессий, проводимых Хай-лин-ваном, сын казненного Далай бежал к мэнгу. Карательная экспедиция Цзинь под предводительством Учжу ничего не могла поделать. В 1147 г. был заключен мир, по которому чжурчжэни уступили мэнгу 27 укреплений к северу от р. Сипинхэ, обязались снабжать их ежегодно быками, баранами и хлебом. Вождь победителей, упоенный успехом, отказался от цзиньского титула Аоло-боцзилэ, назвал себя на китайский манер *Цзуюань хуанди*, т. е. «священным императором-родоначальником», и ввел девиз годов правления *тяньсин* (1147 г.).

Чжурчжэньские силы могли контролировать в этих местах лишь горные проходы, но это не препятствовало мэнгу совершать набеги на цзиньские земли. От этих набегов чжурчжэни откупались рабами, драгоценностями и тканями. Характерно, что, захватывая в плен киданьских и китайских женщин, мэнгу вступали с ними в брак, теряли этническую монолитность («стали вовсе не похожи на прежних людей мэн») и приобретали новые навыки, в частности привычку к вареной пище [6, цз. 20]. В цитированном источнике народ мэн упоминается последний раз под 1200 г., а всего на протяжении 65 лет.

Интересно, что источники XII в. не считали эти племена родичами монголов. Одни указывали, что первые проживали на востоке, а вторые — на западе на расстоянии нескольких тысяч ли друг от друга [6, цз. 20], другие — что перебежчики-цзиньцы научили монголов называться страшным для чжурчжэней именем «мэнгу» [11]. Наивность последнего предположения очевидна, однако с первым соглашались многие, в том числе В. П. Васильев [5, 80]. Третьи, принимая мнение о родстве мэнгуцзы и монголов, подозревали ошибку в обозначении размещения земель мэнгуцзы по отношению к чжурчжэньским («северо-восток» вместо «северо-запад»). Нам кажется, что размещение мэнгуцзы в современной провинции Хэйлуцзян не противоречило ни расстоянию, ни направлению, указанным в источниках, если учесть, что местопребыванием чжурчжэней для авторов этих источников была не Маньчжурия (их прародина), а китайская равнина.

Монголы в собственном смысле слова, которые на рубеже XIII в. обитали на пространстве между реками Керулен и Онон, попали в поле зрения Чан Чуня во время его путешествия к Чингисхану. Он упоминает о том, как монголы собирали рыб, выкинутых волнами на берег оз. Лугуй (Буир-нор), вспоминает высокие ивы, употребляемые на остовы юрт. Население занималось скотоводством и охотой, питалось мясом и молоком, одевалось в кожаное и меховое платье, жило в черных телегах и белых юртах, не знало письменности, заменяя ее резными бирками. Чан Чуня поразили женские головные уборы — высокие берестяные у бедняков и красные матерчатые с хвостами животных — у бо-



гачей; свободно спадающие волосы. Он подметил черты патриархального быта — широкое гостеприимство, свободолюбие и дисциплинированность монголов [13, 287—289].

Между чжурчжэньским валом на западной границе цзиньских владений в Маньчжурии и р. Керулен размещались татары. Рассматривая их отдельно от монголов, мы ни в коей мере не намерены вступать в дискуссию о соотношении этих двух этнических наименований и их носителей, а лишь следуем в этом отношении рассматриваемым источникам¹.

Другие источники идут еще дальше в этом вопросе: они считают татар (гатань) и чжурчжэней родственными племенами — потомками мохэ и относят их обособление как самостоятельных племен к эпохе киданьских завоеваний. Согласно китайской традиции, эти источники делят их, как некогда чжурчжэней, на «цивилизованных» (вследствие их близости к Китаю), занимающихся хлебопашеством и приготовляющих кушанье на огне, и на «нецивилизованных» (из-за отдаленности места обитания от Китая), пробавающих охотой, вооруженных одними косяными стрелами и не знающих ни утвари, ни железа. Как утверждает этот источник, железо и медь проникли к татарам лишь после переселения чжурчжэней в Северный Китай, т. е. в 30—40-е годы XII в. [6, цз. 12].

В официальной цзиньской истории название *татань* не встречается, зато есть слово *цзубу*, появившееся еще в киданьской династийной истории, где оно попадает чаще, чем в цзиньских летописях. Последнее обстоятельство вызвано тем, что цзубу жили на северных землях Ляо, не вошедших в чжурчжэньские владения. Этот этноним киданьского времени, по-видимому, относился как к собственно татарам, так и к джалаирам, керейтам, чжиличжинь, найманам [17, 428]. Скупые сведения о цзубу в «Цзиньши» касаются отправления к ним чиновников для передачи приказов, прибытия цзубу с данью [15, цз. 7], восстаний [15, цз. 93] и окружения цзиньского карательного отряда восставшими [15, цз. 94].

Проезжая через татарские земли, Чан Чунь видел черные телеги (т. е. юрты на телегах) и белые юрты, приспособленные для сезонных перекочевков, наблюдал сами кочевки татар со скотом в поисках воды и пастбищ. Чан Чунь упоминает о нескольких тысячах таких телег и юрт, скопившихся во время свадьбы, на которую по обычаю съезжались татары из окружающих стойбищ, часто за несколько сот километров, привозя с собой кумыс [13, 286—287].

Вдоль западной границы Цзинь жили онгуты (или белые татары). Они неоднократно совершали набеги на цзиньское пограничное население, невзирая на гарнизоны и укрепления. Их сила заключалась в союзе с другими племенами, в частности с хэдисинь и посухо. Чжурчжэни всеми силами стремились подорвать этот союз и привлечь онгутов на свою службу для охраны границ [15, цз. 93]. Именно онгуты в 1124 г. снабдили последние остатки киданьского воинства — Елюя Даши с его двумястами всадников — конями, верблюдами и баранами [15, цз. 121]. Чан Чунь отмечает обилие в этих местах солончаков, соленых озер, отсутствие гор, рек и пашен. Население питалось молоком, одевалось в меха и жило в войлочных юртах [13, 284—285].

Где-то в этих районах бродили племена шаньчжикун и уже упо-

¹ Мэн Хун в «Записках о монголо-татарах» («Мэнда бэйлу») [11] со ссылкой на другие источники указывает, что монголы (мэнгусы) исчезли к моменту возвышения татар, а последние в начале XIII в. заимствовали их имя [см. 5, 219]. Н. Я. Бичурин считал монголов и татар двумя племенами одной и той же народности [см. I. т. II 176].

минавшиеся хэдисинь. По «Цзиньши», это особые северные племена, они кочевали среди онгутов и в течение ряда лет тревожили цзиньскую границу. Иногда чжурчжэням удавалось серьезно потеснить некоторых из них, как это произошло с хэдисинь, которым пришлось, бросив все, сгойти на запад [15, цз. 93].

Племя сянью обычно связывают с джалаирами [17, 428]. Оно стремилось установить торговые отношения с чжурчжэнями, неоднократно **обращаясь к ним с просьбой об открытии рынков на таможах** (в 1198 г. и другие годы) [15, цз. 11, 50].

О прочих племенах, живших к западу от собственно монголов, — керейтах, найманах, киргизах сообщается лишь в записках Чан Чуня, причем обычно без упоминания племенных названий, которые устанавливаются по географическим признакам. Так, прибыв во владения или «орду» одной из ханш Чингиса, где-то на Орхоне, Чан Чунь увидел «тысячи телег и юрт». Здесь жили царевны из правящих домов — чжурчжэньского и тангутского, присланные Чингису. Несмотря на походный, с точки зрения китайца, характер лагеря, ханские юрты, с удивлением отмечает Чан Чунь, роскошью превосходили юрты хунских шаньюев, и в жару в них не было мух. Жители орды (керейты) ежедневно готовили кумыс и сливки, но мука стоила очень дорого, так как доставлялась на верблюдах издалека, откуда-то с запада, возможно из Средней Азии [13, 291—292].

Керейты (хэрэ) наряду с монголами в узком смысле слова, и татарами (татань), и не упомянутыми в цзиньских источниках тайчжиутами относились к четырем поколениям, которые с середины XII в. считались главными в массе монгольских племен [1, т. II, стр. 291—292]. Но помимо вышеназванных к монголам принадлежали и найманы. Правитель керейтсв Тоорил получил королевский титул от чжурчжэней (*Ванхан*). В 1201 г. найманы отвоевали у Си Ляо Тарбагатай и Западную Халху, но через пять лет сами опять были покорены монголами. Где-то в восточных предгорьях Алтая Чан Чунь впервые увидел мусульман и поля, орошаемые арыками, а также переселенных сюда ремесленников-китайцев [13, 292—293]. По слухам, дошедшим до него, к северу от найманов в стране Кянькяньчжоу (киргизов?) добывается железо, есть белки и живут китайские ткачи [13, 339]. Так обстояло дело с монголо-татарами².

Тангутское государство Ся или Си Ся, т. е. Западное Ся (1032—1227), глубоко вклинивалось в цзиньские владения в Китае. Много тангутов жило и на территории Цзинь. Отношения между чжурчжэнями и тангутами развивались с учетом этих двух обстоятельств и политики предоставления максимальных привилегий некитайскому населению империи. В 1124 г. тангуты признали верховный сюзеренитет Цзинь. К 1131 г. чжурчжэни овладели Ланьчжоу, бассейном р. Синин, оз. Кукунор, округом Хэчжоу и на тангутско-чжурчжэньской границе официально установился мир, который не нарушался свыше восьмидесяти лет, пока тангуты числились данниками Цзинь [15, цз. 38]. Это состояние мира прерывалось лишь пограничными инцидентами и набегами: «Пограничное население Си Ся, соседней с Шэньси, своевольно перешло границу и разбойничало» [15, цз. 50]. Для предупреждения таких набегов чжурчжэни построили вдоль границы свыше десятка крепостей [15, цз. 96]. Тем не менее в летописи часто упоминается о разграблении городов в цзиньском государстве, например Цзячжоу, Хуайчжоу, Хуань-

² Общие сведения о них можно найти во многих трудах. Кроме цитированных работ В. П. Васильева и Н. Я. Бичурина см. [1, 2, 18].

чжоу, Хэань [15, цз. 13—14]. По-видимому, в связи с одним из таких происшествий Цзинь послала своих эмиссаров к тибетским фаням, дабы побудить последних к действиям против тангутов [15, цз. 113]. Но обычно отношения между двумя государствами развивались спокойно: тангутские послы в надлежащее время приезжали к цзиньскому двору с поздравлениями по случаю наступления Нового года или дня рождения императора и т. д.

На заре династии Цзинь чжурчжэни были обеспокоены намерением лясского государя бежать в Си Ся [15, цз. 78], а затем отношениями, которые Елюй Даши (потомок киданьских императоров) поддерживал с Си Ся [15, цз. 74]. Когда кризис миновал, чжурчжэни дали этому государству ряд поблажек. Они сделали тангутам территориальные уступки. Сюань-цзун выкупил тангутов — подданных Си Ся и отпустил их на родину [15, цз. 14]. Несколькими годами позже Ай-цзун опять вернул людей Си Ся [15, цз. 17]. Такие действия, возможно, диктовались и торговыми интересами: Сюань-цзун сетовал на утрату прежних рынков в Си Ся, где чжурчжэни закупали коней [15, цз. 106].

Для чжурчжэней Си Ся служило примером жизнеспособности государства, созданного некитайским народом, без давних исторических традиций (какими обладали, например, корейцы), не враждебных чжурчжэням, у которых не было с ними вековых распрей (как с киданями). Обе стороны не доверяли китайцам, не случайно чжурчжэни заключили с Си Ся длительный мир не по китайским, а по лясским узаконениям [15, цз. 83]. Вельможа Няньгэ Водэла специально отмечает, что «Си Ся, хотя и маленькое государство, но чтит старинные обычаи» [15, цз. 8]. Во время обсуждения планов нападения на Китай сановники ссылаются на успешный опыт Си Ся в борьбе с Сун [15, цз. 74]. Чжан-цзун интересовался: кто храбрее — китайцы или тангуты? [15, цз. 94]. Когда нависла угроза монгольского нашествия, судьба Си Ся, прикрывавшего Цзинь с запада, кровно заинтересовала чжурчжэней. Цзиньский император Айцзун говорил, что «Великая Юань уничтожила 40 государств, включая и Си Ся» [15, цз. 18], т. е. выделял тангутское государство особо.

Тангуты, жившие на территории Цзинь, служили в иррегулярных национальных частях в Северо-Восточном верховном комиссарстве [15, цз. 44]. В целях уточнения ставок налогового обложения правительственные чиновники неоднократно проверяли число дворов и людей в военных поселениях и ополчениях тангутов, размеры целины и пашен, число воловьих упряжек [15, цз. 46]. Тангуты облагались государственным налогом наравне с привилегированными чжурчжэньскими ячейками мэнъянь и моукэ [15, цз. 47]. Таковы были взаимоотношения чжурчжэней и тангутов³.

Государство уйгур (874—1369), отделенное от чжурчжэней тангутами, естественно, находилось с Цзинь в менее тесных отношениях. Однако уже в 1127 г. в Цзинь прибыли два уйгурских посольства, в 1131 г. уйгуры выдали чжурчжэням нескольких воинов Даши [15, цз. 3].

В дальнейшем, вплоть до 1172 г., уйгурские посольства прибывали неоднократно — с подарками (данью) или с поздравлениями. В посольском приказе Цзинь состояли специальные переводчики с корейского, тангутского, уйгурского языков, что подтверждает регулярный характер сношений с этими народами [15, цз. 55]. Уйгурские дипломаты и купцы выступали и как посредники: в 1144 г. уйгурское посольство привезло весть о смерти Елюя Даши — царя Си Ляо — и о распространении

³ Более подробные сведения о тангутах и Си Ся см.: [10, 4].

нии пределов его царства до границ Си Ся, включавшего и вассальные уйгурские земли. Именно с этим посольством поехал к каракиданям чжурчжэньский посол, о котором речь пойдет дальше. В 1175 г. на цзиньскую границу прибыло три уйгурских купца, которые попросили убежища и получили его. Тогда же несколько мелких уйгурских вождей, подданных Си Ляо, просили признать их вассалами Цзинь и обменять жалованные киданьские печати на цзиньские [15, цз. 121].

Двигаясь вдоль северных отрогов Тяньшаня, Чан Чунь видел в Уйгурии виноградники, поля яровой пшеницы, орошаемые водой из источников (о чем прежде сообщали упоминавшиеся уйгурские перебежчики), восхищался виноградным вином, невиданными плодами (в особенности крупными арбузами, дынями и репчатым луком), благовониями, персидским холстом [13, 229—302]. В 1218 г. уйгуры стали данниками Чингисхана. Сменив каракиданьских сюзеренов на монгольских, они сохранили свое царство⁴.

Еще дальше на запад раскинулась империя каракиданей — Си Ляо (1124/1130—1211). В цзиньских источниках монгольское название «каракидане» или «черные кидане» отсутствует; сохранено старое наименование народа — кидане и государства — Ляо (или царство Даши), что, конечно, передает ощущение преемственности, существовавшее у цзиньцев, когда дело шло о киданях и о их новом государстве. Это ощущение, несомненно, имело под собой реальную почву.

Член киданьского правящего дома Елюй Даши в 1123 г. попал в плен к чжурчжэням, служил в их войсках, в 1124 г. бежал и провозгласил себя императором Ляо. Но империя Ляо уже не существовала, и Даши с двумястами всадников пришлось бежать на запад — на Орхон, воспользовавшись помощью онгутов, снабдивших его четырьмястами коней, двадцатью верблюдами и тысячей баранов [15, цз. 3]. В распоряжении Даши сохранились некоторые местные гарнизоны и табуны боевых коней, и чжурчжэни продолжали преследовать его. После отхода на восток чжурчжэньских войск, добившихся капитуляции последнего киданьского императора — Тянь-цзо-ди, Елюй Даши в 1125 г. попытался заключить союз с Си Ся, но это вызвало новую чжурчжэньскую экспедицию в 1128 г. [15, цз. 73]. Татары, среди которых скрывался Даши, сочувствовали беглым киданям, но не желали видеть в своих владениях чжурчжэньские войска, а тем более служить в них [15, цз. 121]. Даши сохранил свои силы, но должен был уйти сначала к уйгурам в Хэчжоу (Гаочан), а после дипломатического протеста чжурчжэней, направленного в Си Ся, дальше на запад. Там, в Семиречье и Восточном Туркестане, он создал свое царство, обширное, но пестрое по составу. С 1130 г. начинается эпоха существования Си Ляо как государства. По-видимому, примерно с этого времени (с 1131 г.) чжурчжэни надолго утрачивают информацию о положении в Си Ляо, хотя это государство включало в себя уйгур, карлуков и ряд племен и территорий Восточного Туркестана и (с 1141 г.) Семиречья и Средней Азии⁵.

Однако Си Ляо притягивало взоры китайских дипломатов и киданьских подданных Цзинь и уже поэтому не могло не интересоваться чжурчжэней. В 1144 г. уйгуры донесли о смерти Даши (1143 г.). В обратный путь с уйгурами поехал Нянькэ Ханьну — чжурчжэньский посол к каракиданьскому двору. Он пропал без вести, и только много позднее чжурчжэни узнали, что их посол нашел свою смерть в 1146 г., отказавшись сойти с коня перед каракиданьским императором и потребовав

⁴ Об истории Уйгурии см.: [14, 12].

⁵ Подробности о Си Ляо см.: [3, 19].

в свою очередь, чтобы тот пешим принял цзиньскую грамоту [15, цз. 121].

Общую ситуацию точно выразил чжурчжэньский император Ши-цзун (1161—1189), заявив: «Сунцы радуются возникновению происшествий в тылу и с Даши поддерживают сношения» [15, цз. 50]⁶, т. е. киданьские восстания, обычно кончавшиеся бегством части восставших в Си Ляо, все учащались. Мы узнаем, что группа киданей с границы, спасаясь, бежала к Даши [15, цз. 88], что в 1161 г. Саба поднял мятеж, бежал сначала на р. Лунцзюй (Керулен), а оттуда в Си Ляо и был убит по дороге своими воинами [15, цз. 133]. В 1177 г. цзиньские чиновники схватили на границе четырех эмиссаров из Си Ляо. Ши-цзун повелел расселить киданей — подданных Цзинь «как следует», дабы каракидане не провоцировали их на пограничные беспорядки [15, цз. 88]. В 1188 г. Ваньянь Сян представил цзиньскому императору план сдерживания каракиданей, который был принят. Через год, в 1190 г., вождь одного из каракиданьских родов пожелал стать данником Цзинь. Член правящего дома Ваньянь Аньхэ поспешил встретиться с ним [15, цз. 94].

Кроме этих фактов, зафиксированных в «Цзиньши», много сведений о каракиданах, казалось бы, должно было сохраниться в «Бэй ши цзи» Угусуня и в «Си ю цзи» Чан Чуня. В действительности дело обстоит иначе. Оба путешественника посетили эти места в 20-х годах XIII в. не только после потери каракиданами их среднеазиатских владений (1208 г.), но и после завоевания их самих монголами (1211 г.). Говоря о каракиданах, Угусунь утверждает: «В настоящее время осталось мало жителей, они переняли обычаи и одежду хуайхэ (т. е. мусульман)» [16, 31]. Эта фраза является ключом к пониманию описания Восточного Туркестана и Средней Азии, содержащегося у Чан Чуня и Угусуня. Описание содержит меткие этнографические и географические наблюдения. Однако лишь немногие из этих наблюдений относятся к каракиданям — создателям государства Си Ляо, большинство же касается местных «мусульман», заселявших эти территории с давних пор и во время пребывания обоих путешественников.

Вступив в глубинные владения каракиданей — район Алмалика (который одновременно являлся средоточием карлуков), Чан Чунь отмечает обилие воды и травы, тутовых деревьев и жужуба, восхищается тканью *тулума*, которая походит на «...ивовый пух, чиста, тонка и легка, из нее можно прясть нитки, вить веревки, ткать холст и делать вату» [13, 304]⁷, интересуется орошением полей арыками. Он снова и снова подчеркивает: «Жители занимаются земледелием и шелководством; вино выделывают из винограда; плоды те же, что в Китае; только целое лето и осень не бывает дождя; поэтому поля орошаются водою из рек, посредством канав, отчего хлеба и поспевают» [13, 307].

Проникнув в Мавераннахр, Чан Чунь был потрясен видом Самарканда, к описанию которого возвращается неоднократно, одновременно высказывая ценные замечания о пригородных полях. Город был построен на каналах, и при хорезм-шахах в нем обитало более ста тысяч семейств — число, к моменту появления Чан Чуня уменьшившееся вчетверо. Местным землевладельцам навязали в совладельцы завоевателей — монголов и их союзников. В городе поселили много ремесленников из числа пленных китайцев [13, 311]. Воспевая в стихах Самарканд,

⁶ В это время сам Даши уже умер, и Ши-цзун имел в виду его государство.

⁷ По мнению Кафарова, это «хлопчатая бумага».

путешественник пишет: «Весь город наполнен медными сосудами, сияющими как золото, а на рынках военное платье, как даосское. Ножницы и пила из золота — суть товары и подарки; шьют платье из белой тонкой шерстяной материи. Чудесные дыни и белые тутовые ягоды, вещи необыкновенные; кому из китайцев попробовать их!» [13, 327].

Именно новизной впечатлений странствующего китайца XIII в. объясняется пространность этнографического описания Средней Азии (Мавераннахра) по сравнению с отдельными, как бы мимолетными замечаниями о быте народов и географических чудесах восточных районов, виденных Чан Чунем. Как пишет Чан Чунь, земледелие в этих местах процветало, и помимо гречихи и бобов сеяли разные культуры, в особенности пшеницу. Последняя созревала весной, что было диковиной для китайцев, и хранилась в снопах на полях. Земля родила сладкие и душистые арбузы, достигавшие весом 7 кг и по вкусу превосходящие китайские, массу плодов и овощей (кроме каштанов и таро). Земледельческие орудия, повозки и водный транспорт отличались от китайских по форме и по размеру. Посуда преобладала медная, а фарфоровая встречалась реже и напоминала китайские *динъяо*, зато сосуды для вина обычно стеклянные. В стране, как подчеркивает Чан Чунь, обращались золотые монеты, без квадратного отверстия в центре, но с «мусульманскими» письменами.

Люди, крупные и крепкие, сохранили привычку заплетать волосы. Должностные лица носили высокие шапки с кистями и украшениями из разноцветной ткани, мужчины-простолюдины обертывали голову куском белого холста двухметровой длины (чалма). Знатные женщины для этой цели пользовались расшитой парчой, одноцветной или разноцветной, незнатные довольствовались холстом или шелком. Длинная рубашка с рукавами из тонкой белой шерсти служила одеждой для лиц обоего пола.

Повседневной пищей являлись лепешки с солью (последняя красноватого цвета, каменная), а питьем — вода, продажей которой вразнос кормились многие бедняки.

Чан Чунь удивляется положению женщины, более независимому, чем в современном ему Китае. Местная женщина имела право на развод, как он пишет, «если муж ее обеднеет», на вторичный брак уже после трехмесячной отлучки мужа. Исключительное положение муллы (дашима) в среднеазиатском мусульманском обществе привлекает особое внимание даоса. Характерно, что он подмечает и выделяет одну черту, обеспечивающую муллам привилегированное положение. Муллы грамотны и держат в своих руках всю письменную часть в стране. Такая ситуация была совсем не характерна для китайско-циньского общества, с засильем гражданской бюрократии. Мусульманский месячный пост с ночной мясной трапезой, шесть дополнительных постов, двукратные (утренние и вечерние) всеобщие моления, уклонение от которых угрожало смертью, были столь же чужды более мягким религиозным нравам Китая и Цзинь [13, 324—327, 329].

Угусунь, путь которого, возможно, лежал южнее, чем маршрут Чан Чуня, добрался до Герата и оставил краткий рассказ о мусульманах этого ареала, который мы приводим полностью.

«Империя хуайхэ (магометан) очень обширная и простирается далеко на запад. В 4-й или 5-й месяц (май, июнь) трава там высыхает, как у нас зимой. Горы (Гиндукуш.— *Е. В.*) покрыты снегом даже в самое жаркое время года. Когда солнце в зените — становится жарко, когда оно заходит — делается холодно. В 6-м месяце (июнь) людям приходится носить ватные одеяния. Летом нет дождей, они выпадают

лишь осенью, тогда овощи прорастают, зимой равнины зеленеют, как у нас весной, кустарники и деревья тоже в цвету.

У хуайхэ густые бороды, волосы которых выются, как баранья шерсть. Волосы бывают разного цвета — черного (индиго) или рыжего (хна) и разных оттенков. Лица их сплошь заросли волосами, видны лишь нос да глаза. Все их обычаи странны. Есть следующие хуайхэ. Мусульманские хуайхэ кровожадны и алчны. Они рвут мясо пальцами и проглатывают его. Даже во время Великого поста едят мясо и пьют вино. Хуайхэ с Или несколько мягче и обходительнее. Они не любят убивать и не едят мяса, когда постятся. Еще дальше есть магометане Индостана, они черные и доброго нрава.

Много другого можно бы сообщить об этих народах. Вожди выбирают там себе слуг среди черных и отверженных Индостана и метят их лица огнем. Люди любят жить в городах, деревень нет. Крыши домов крыты глиной (как в Западной Азии). Все деревянные детали в домах резные. Белое стекло идет на окна и сосуды. Страна очень богата серебром, жемчугом, хлопком, коноплей и т. д. Их луки, стрелы, повозки, одежда, вооружение, копья и сосуды странного вида. Для постройки мостов употребляют большие кирпичи, похожие на челноки. У них есть пять родов злаков и тутовое дерево, как в Китае. Соль у них добывают в горах. Вино они делают из винограда. Есть арбузы весом до 60 фунтов. Яблоки очень приятной расцветки. Лук и дыни также весьма красивы и ароматны. Из животных есть верблюды, но у них только один горб (китайцы привыкли к двугорбым верблюдам). Быки имеют род горба на шее (зебу). У овец длинные хвосты. Имеются еще львы, слоны, павлины, буйволы, дикие ослы (онагры). Есть змеи на четырех ногах (хамелеоны). Также есть страшное насекомое, напоминающее паука. Когда оно укусит человека, он вскрикивает и умирает (каракурт). В этих странах есть множество видов животных, птиц, рыб, насекомых, отсутствующих в Китае.

Есть гора, называется Табизхань. Она тянется на 50—60 ли, выглядит как зеленая ширма, покрытая лесом из деревьев гуй. У подошвы горы родник.

Люди одеты просто. Полы их одежды не знают правого или левого запястья; все носят пояса. Их платья, подушки, одеяла сделаны из пряжи. Эта пряжа растет на земле (хлопок). Их пища состоит из печеных лепешек, мучного, рыбы и мяса. Женщины одеваются в белые одежды. Они закрывают лица до самых глаз. Среди них попадаются с бородами. Женщины ничего не делают, только поют и танцуют. Шитье и вышивание — мужское дело. Есть также актеры и фокусники. Их законы написаны мусульманским письмом. Для письма они употребляют тростник. Во время погребения не используют гробов или саркофагов. Мертвца они всегда кладут головой на запад. Их священники не бреют головы. В храмах не видно изваяний и икон. Только в городах Хэчжоу (Караходжо, Гаочан), Шачжоу (пров. Ганьсу) есть храмы со статуями, такими же, как в Китае. Там они читают нараспев буддийские сочинения, написанные по-китайски. Язык религиозных магометанских книг непонятен китайцам» [16, 29—33].

Чжурчжэньские связи с центральноазиатскими странами и народами отличаются некоторыми специфическими чертами. Несомненно, впервые маньчжурская народность получила возможность войти в прямой контакт с центральноазиатским миром. Разумеется, это оказалось возможным лишь вследствие экспансии чжурчжэней в Северный и Центральный Китай, откуда и поддерживались эти связи. Но эта же самая экспансия прервала китайские связи с Центральной Азией: последнее

посольство из Хотана прибыло в сунский Китай в 1124 г., а из Уйгурии — в 1172 г. И все же после ханьской и танской империй цзиньская занимает третье место по протяженности своего влияния в Центральной Азии. Во всяком случае, северосунское правительство не могло тягаться с цзиньским даже в отношении владений в таких соседних с собственно Китаем областях, как современные провинции Шэньси и Ганьсу [5, 95], не говоря уже о более отдаленных землях. Но есть коренные отличия и в характере самих отношений. Интерес династий Хань и Тан к западным странам диктовался прежде всего военными и торговыми соображениями: китайцы отбивали набеги пограничных народов, искали союзников в тылу этих племен, старались обеспечить прямую и транзитную торговлю по Великому шелковому пути. Чжурчжэни не вели активной торговли с далекими странами на западе, при заключении отдельных сделок пользовались услугами уйгуров, а военная опасность угрожала им лишь со стороны монголов. Поэтому познания чжурчжэней об окружающем мире уменьшались довольно равномерно по мере удаленности соответствующих народов от государства Цзинь. Это подтверждается примером с каракиданами, о которых чжурчжэни имели весьма смутные сведения, несмотря на выраженный интерес к этому народу. Сходное положение, хотя и по другим причинам, существовало и в понимании событий, происходящих в глубине монгольских степей. Наиболее яркие, содержательные и обширные сведения о глубинных районах Центральной Азии чжурчжэни получили лишь в последние десятилетия существования своего государства, косвенно благодаря своему заклятому врагу Чингисхану, за которым гонялись цзиньские послы и проповедники вплоть до Ближнего Востока.

Тяга к внешнему миру у чжурчжэней не шла в сравнение с ханьской или танской, но мало уступала интересу менее активных и процветающих китайских династий, в том числе и сунской. Именно чжурчжэням, хотя и на закате, довелось вновь открыть восточно-азиатским народам и самим китайцам чудеса далекого Запада — Семиречья, Туркестана, Средней Азии. Можно догадываться, что сами цзиньцы узнали о них, да и о своих северных соседях-монголах раньше и больше, чем Южная Сун. Не случайно для Чань Чуня — одного из самых образованных людей своего времени — диковинное начинается сразу же за границей Цзинь — у онгутов, тогда как чжурчжэньского вельможу Угусуня Чжун Дуаня неведомое встретило лишь в Си Ляо, да и то относилось к политическому строю; географические и этнографические новинки стали ему попадаться дальше на западе. Меркитов, найманов, уйгуров, карлуков он только перечисляет — они ему неинтересны, так как хорошо известны.

Эту тенденцию — опускать известное в частных записках — надо учитывать при оценке географических познаний чжурчжэней о Центральной Азии наряду с утратой всей рядовой официальной документации, например о сношениях с монголами, татарами, онгутами, тангутами и пр., которая не могла не существовать. Но и независимо от этого напрашивается вывод, что чжурчжэни сумели расширить прежние рамки географических и этнографических представлений дальневосточного мира о Центральной Азии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бичурин Н. Я., Записки о Монголии, СПб., 1828, т. 2.
2. Бичурин Н. Я., История первых четырех ханов из рода Чингисова, СПб., 1829.
3. Бичурин Н. Я., Описание Чжунгарии и Восточного Туркестана, СПб., 1829.
4. Бичурин Н. Я., История Тибета и Хухунора, СПб., 1833, ч. 1—2.

5. Васильев В. П., История и древности восточной части Средней Азии от X до XIII века, — ЗИАО, т. XIII, СПб., 1859.
6. «Да Цзинь гочжи», сост. Юйвэнь Мао-чжао, Бэйпин, 1937.
7. «История Монгольской Народной Республики», М., 1967.
8. «Кинси гои сюэй» («Словник к „Цзиньши"»), сост. Х. Оногава, Киото, 1961—1962, т. 1—3.
9. Клеменц Д. А., Записки к маршруту Чан Чуня, — «Сборник в честь 70-летия Г. Н. Потанина», СПб., 1909 («Записки ИРГО по отделу этнографии», т. 34).
10. Кычанов Е. И., Очерк истории тангутского государства, М., 1968.
11. «Мэнда бэйлу», сост. Мэн Хун, Приложение к № 5.
12. Позднеев Д., Исторический очерк уйгуров (по китайским источникам), СПб., 1899.
13. «Си ю цзи или Описание путешествия на Запад», пер. с кит. с примечаниями Палладия (Кафарова), — «Труды членов Российской духовной миссии в Пекине», СПб., 1866, т. IV.
14. Тихонов Д. И., Хозяйственный и общественный строй уйгурского государства X—XIV вв., М.—Л., 1966.
15. «Цзиньши», сост. То Кэ То и др., Шанхай, 1936.
16. Bretschneider E., Mediaeval Researches from Eastern Asiatic Sources, London, vol. I, 1910.
17. Fêng Ch'eng-chün, The Peoples and Tribes on the Northern Frontier of Liao and Chin, — «Fujen Hsüehchih», 1939, vol. 8, № 1.
18. Howorth H., History of Mongols from 9 to the 19th Century, London, 1876, vol. I.
19. Wittfogel K. A. and Fêng Chia-shêng, History of Chinese Society Liao, Philadelphia, 1949.

К. Б. Кепинг

**ПЕРЕВОД НА ТАНГУТСКИЙ ЯЗЫК
КИТАЙСКОГО ВОЕННОГО ТРАКТАТА
СУНЬ ЦЗЫ**

В Ленинграде в рукописном отделе Института востоковедения АН СССР хранится уникальный ксилограф — перевод на тангутский язык древнекитайского военного трактата, авторство которого приписывается Сунь цзы (VI—V вв. до н. э.): «Сунь цзы бин фа сань чжу» — «Трактат Сунь цзы о военном искусстве, снабженный тремя комментариями» [4]. В тангутском переводе сохранились 7, 8, 9, 10, 11, 13-й разделы трактата и часть биографии Сунь цзы (инв. № 943, 579, 772, 773, 771).

Китайский трактат Сунь цзы о войне, неоднократно переводившийся на европейские языки [8], достаточно хорошо изучен, поэтому мы не останавливаемся на его характеристике.

Вопрос об авторстве, а следовательно, и датировке трактата до сих пор остается открытым [3]. В тангутском переводе не содержится никаких дополнительных (по сравнению с китайским оригиналом) сведений об авторе трактата.

Хотя ксилограф и не датирован, но, по всей вероятности, его можно отнести к середине XII в.; это подтверждается, во-первых, фактурой бумаги, на которой воспроизведен трактат, а во-вторых, тем, что именно в это время переводились на тангутский язык китайские классики [1, 9].

Коллекция тангутских памятников в Ленинграде помимо трактата Сунь цзы включает в себя переводы двух других трактатов о военном деле, входящих в китайское «Семикнижие» [2, 24]: «Хуан Ши-гун сань люэ» — трактат Хуан Ши-гуна «Три тактики» (инв. № 578, 715, 716) и «Люй Ван лю тао» — трактат Люй Вана «Шесть секретов» (инв. № 139—142, 768—770).

В Лондоне в Британском музее хранится одна страница тангутского перевода трактата Сунь цзы, представляющая собой конец шестого и начало седьмого раздела трактата; в имеющемся в нашем распоряжении ксилографе этой страницы нет. Судя по размерам листа, шрифту и тексту, эта страница является частью ленинградского экземпляра трактата. Она опубликована английским ученым Э. Гринстедом, занимающимся тангутской коллекцией [9].

Тангутский перевод китайского военного трактата Сунь цзы представляет собой ксилограф, брошюровка «бабочкой». Размер листа 21,5 × 14,5, размер текста 17,5 × 12,5; на странице семь строк по 13 знаков, комментариев — в строке две колонки по 20—22 знака. На стр. 38 (инв. № 773) две верхние строки написаны тушью от руки. Ксилограф реставрирован в реставраторской ЛО ИВАН СССР.

Тангутский перевод трактата Сунь цзы состоит из трех цзюаней (свитков): первая цзюань включала в себя, по-видимому, разделы с первого по четвертый¹, вторая — с пятого по девятый, третья — с десятого по тринадцатый раздел и биографию Сунь цзы. Тангутский перевод трактата снабжен тремя переводными комментариями: Цао гуна (Цао Цао), в тангутском переводе именуемого Вэйским Цао (155—220), Ли Цюаня (VIII в.) и Ду Му (803—852). В конце каждой цзюани указывается количество знаков (больших — текст Сунь цзы, маленьких — текст комментариев), составляющих данную цзюань.

Какой же текст трактата Сунь цзы послужил оригиналом для тангутского перевода? Как известно, все древние китайские книги, в том числе и военные трактаты, дошли до нас в редакциях, сделанных в эпоху Сун (960—1279). Традиционный китайский текст Сунь цзы, изданный в серии «Сы бу бэй яо» [6], основан на утраченном в настоящее время сунском издании «Ши цзя Сунь цзы хуй чжу» — «Текст Сунь цзы с собранием комментариев десяти авторов», отредактированном Цзи Тянь-бао. Кроме того, в Шанхайской библиотеке хранится сунский ксилограф, представляющий собой трактат Сунь цзы с комментариями одиннадцати авторов [5]. Текст Сунь цзы в «Сы бу бэй яо» в основном совпадает с текстом Сунь цзы в сунском ксилографе. Главное отличие этих изданий заключается в разбивке текста и расположении материала: во-первых, текст Сунь цзы в серии «Сы бу бэй яо» состоит из тринадцати цзюаней, во-вторых, биография Сунь цзы помещена здесь перед трактатом, в-третьих, комментарий Ду Му приведен после комментария Ду Ю. Текст Сунь цзы в сунском ксилографе состоит из трех цзюаней, тринадцати разделов, совпадающих с тринадцатью цзюанями в «Сы бу бэй яо»; биография Сунь цзы помещена после трактата, а комментарий Ду Му — перед комментарием Ду Ю. Все это совпадает с тангутским переводом трактата Сунь цзы. Но на этом заканчивается сходство между сунским ксилографом и тангутским переводом.

В китайских каталогах нам не удалось обнаружить ту редакцию трактата Сунь цзы, которая послужила оригиналом для перевода на тангутский язык. С нашей точки зрения, перевод трактата Сунь цзы на тангутский язык сделан с какой-то утраченной его редакции.

Ниже приводятся текстологические приметы тангутского перевода военного трактата Сунь цзы:

1. В китайском оригинале многие высказывания Сунь цзы разделяются, дробятся комментарием (причем мы имеем в виду именно ранних комментаторов Сунь цзы, которые переведены на тангутский язык). В тангутском переводе комментарий обычно идет после всего высказывания Сунь цзы, причем многие высказывания Сунь цзы объединены в одно, после чего идет «объединенный» комментарий.

2. В тангутском переводе **целиком отсутствуют два высказывания** Сунь цзы со всем относящимся к ним комментарием: а) в девятом разделе трактата — «тот, кто хочет сражаться, не должен, приблизившись к реке, встречать врага» — с комментарием Цао гуна, Ли Цюаня и Ду Му; б) в одиннадцатом разделе трактата — «воины отдают все свои силы» — с комментарием Цао гуна.

3. В тангутском переводе отсутствуют соответствия некоторым комментариям китайского текста — нет шести комментариев Цао гуна, пяти комментариев Ли Цюаня, семи комментариев Ду Му.

4. В тангутском переводе есть слова Сунь цзы, которых нет в ки-

¹ В тангутском переводе эти разделы не сохранились. Вывод сделан на основании аналогичной разбивки текста в сунском издании трактата [5].

тайском тексте: «это есть закон тактики, дающей знание прямого и обходного пути». Эти слова Сунь цзы находятся в седьмом разделе тангутского перевода.

5. Имеются комментарии, которых нет в китайском тексте трактата,— один комментарий Цао гуна, девять комментариев Ли Цюаня, три комментария Ду Му.

6. В некоторых местах тангутский перевод так сильно отличается от китайского текста Сунь цзы, что это расхождение нельзя отнести за счет особенностей вольного перевода. Оно является свидетельством того, что текст трактата Сунь цзы, послуживший оригиналом для перевода на тангутский язык, был иной, отличный от имеющихся в нашем распоряжении. В частности, это замечание относится к подробному изложению некоторых исторических эпизодов в тангутском переводе, соответствия которым либо отсутствуют в китайском тексте, либо имеются в виде кратких упоминаний. Например, в китайском тексте нет истории о том, как полководец Сыма Жан-цзюй казнил за неповиновение Чжуан Цзя; в тангутском переводе этот эпизод излагается очень подробно.

Расхождения между текстами часто касаются цифр и имен. Так, например, в тангутском переводе: «четвертый год периода Чжэнь-юань», в китайском тексте: «третий год периода Чжэнь-юань»; в тангутском переводе: «император Сюань-юань», в китайском тексте: «Хуан ди» и т. д.

Некоторые расхождения помогают восстановить первоначальный китайский текст Сунь цзы. Так, например, в биографии Сунь цзы говорится о том, как после нападения княжеств Вэй и Чжао на княжество Хань оно обратилось за помощью к княжеству Ци: «Циский ван повелел полководцу Тянь Цзи отправиться прямо на Далян... циские войска уже прошли границу и шли на запад» [5]. Китайские комментаторы затрудняются в объяснении этого места. Янь Жо-цзюй, например, считает, что здесь, вероятно, в тексте ошибка — должно быть «шли на восток» [7]. В тангутском переводе читаем: «Циские войска прошли местность под названием Сунси»². Тангутский перевод можно толковать двояко — либо действительно существовала местность Сунси, либо переводчик принял сочетание «сун Си» — «западнее Сун» за название местности. Второе предположение нам кажется более вероятным, так как, чтобы попасть в столицу княжества Вэй — Далян, циские войска должны были пройти западнее княжества Сун. По-видимому, эта фраза первоначально выглядела так: «циские войска прошли западнее [княжества] Сун».

Первые три текстологические приметы тангутского перевода (из шести перечисленных) — это то, чего в тангутском переводе не хватает. Если эти различия между текстами могут быть объяснены вольным обращением переводчика с текстом, то последние три приметы — это то, чего нет в китайских изданиях и трудно предположить, что тангутский переводчик сам извлек из раздела «Жизнеописания» в «Исторических записках» Сыма Цяня эпизод, рассказывающий о том, как полководец Сыма Жан-цзюй казнил за неповиновение Чжуан Цзя. Число подобных примеров можно умножить.

Как видим, расхождения между тангутским переводом трактата Сунь цзы и имеющимися в нашем распоряжении его китайскими изданиями очень разнообразны: они касаются и композиции, и смысла вы-

² Тангутский знак *сун*, входящий в сочетание *сун си*, передает чтение китайских иероглифов, транскрибирующихся как *сун* и *сунь*.

сказываний, и исторических реалий. Все это позволяет говорить о том, что тангутский перевод сделан с более ранней редакции трактата. Поскольку круг комментаторов тангутского перевода трактата Сунь цзы ограничен эпохой Тан, можно предположить, что оригиналом для перевода на тангутский язык послужила досунская редакция трактата, по нашим сведениям в оригинале не сохранившаяся.

Интересно, что в тангутском переводе хранящегося в рукописном отделе ЛО ИВАН другого китайского военного трактата, «Шесть секретов», в оглавлении к четвертой цзюани, мы находим два раздела, отсутствующих в китайском оригинале. Это разделы «Одно сражение» и «Нападение на город». Причем раздел «Одно сражение» сохранился в тангутском переводе полностью. По-видимому, это можно считать еще одним свидетельством того, что тангутские переводчики располагали какими-то другими, неизвестными нам редакциями китайских военных трактатов.

* * *

Переводы на тангутский язык китайских классических книг «выполнены исключительно, точно, до буквализма, и тангутский перевод очень часто отличается от современного китайского текста только порядком слов и рядом дополнительных грамматических знаков в соответствии с нормами тангутской грамматики» [1, 11].

В отличие от переводчиков китайских классиков переводчик военного трактата Сунь цзы обращался с текстом более свободно, стремясь сделать содержание трактата как можно более понятным и доступным читателю-тангуту. Для тангутов, часто воевавших, трактат о военном искусстве, по-видимому, имел большое практическое значение. Очень часто переводчик пересказывает своими словами содержание трактата, поясняя смысл трудных для понимания мест. Например:

Ли чжун жу ли гуа е (11-й раздел, комментарий Ли Цюаня).

«Управление массой подобно управлению немногими».

Тангутский перевод — «Нет различия [между] приказами, [отдаваемыми] большому войску, и приказами, [отдаваемыми] маленькому войску».

Еще пример: *У инь шуй лю* (9-й раздел).

«Не иди против течения».

Тангутский перевод — «Не располагайся на местности, где имеется запруда».

Если в последнем примере смысл китайского текста (почему нельзя идти против течения?) не сразу понятен читателю, то слово «запруда» в тангутском переводе сразу же проясняет смысл высказывания — не иди против течения, так как враг может залить тебя водой.

Свободное обращение переводчика с китайским текстом проявляется в тангутском переводе в основном в следующем.

1. Конкретизация отвлеченных понятий. Например, «дух войска» (кит. *ци*) выступает в тангутском переводе как «сила войска».

Сравним еще:

Ко ди фэнь ли (7-й раздел).

«Увеличивая земли, дели выгоду».

Тангутский перевод — «Получая земли, дели их между всеми». Отвлеченное понятие «выгода» заменяется в тангутском переводе вполне конкретным — «те земли, которые получаешь».

2. Метафоры, аллегории, сравнения, которыми изобилует текст трактата (в особенности это относится к комментарию), при переводе

на тангутский язык либо совсем опускаются, либо переводятся описательно. Например:

Сян ван ши жэнь ю гун дан фэн цзюе чжэ кэ инь вань, жэнь бу нэн юй... (7-й раздел, комментарий Ду Му).

[Когда] Сян ван использует людей, [которые] имеют заслуги [и которых] следует пожаловать и наградить титулом, [то его] гравированная печать оказывается совершенно стершейся по углам. [Он] не в состоянии отдать [земли]...

Тангутский перевод — «Что касается Сян вана, то у него не было такого, чтобы давать земли и титулы заслуженным чиновникам своего княжества...»

Аллегория, имеющаяся в китайском тексте «его гравированная печать оказывается совершенно стершейся по углам», по смыслу правильно понята и передана тангутским переводчиком: Сян ван не имел обыкновения награждать заслуженных людей землями и титулами; сама же аллегория в тангутском переводе опущена.

В тангутском переводе переносный смысл китайского оригинала часто заменяется прямым: например, противопоставление прямого и обходного пути заменено в тангутском переводе противопоставлением близкого и далекого пути.

3. Описательный перевод китайской военной терминологии. В тангутском языке, по-видимому, военная терминология не была так разработана, как в китайском, и этим объясняются однообразие в переводе военных терминов, с одной стороны, и описательный характер их перевода на тангутский язык — с другой. Так, например, различные китайские слова, имеющие основное значение «нападать», но обладающие еще дополнительными лексическими оттенками (*фа* — «нападать», *тао* — «покарать», *чжэн* — «напасть на взбунтовавшегося вассала»), переводятся на тангутский язык как «выступить в поход». Китайский термин *цзю хэ* — «соприкосновение с противником» переводится на тангутский язык целым развернутым предложением: «армия выступает, обе армии, моя и его, разбивают друг против друга лагери».

4. Уточнение географических названий и собственных имен. Каждое географическое название снабжается словом, указывающим, к какой категории это название относится, — государство, река или название местности. Что касается различных исторических деятелей, то обычно в тангутском переводе они соотнесены с эпохой, в которую жили: например, «циский Янь цзы», «танский Тай-цзун», тогда как в китайском тексте они именуются просто «Янь цзы» и «Тай-цзун». К именам императоров добавляется слово «император». Иногда вместо слова *ван* в тангутском переводе дается полное имя этого вана — «ханьский ван» в тангутском переводе выступает как «ханьский Гао-цзу».

В тангутском переводе обращает на себя внимание стремление избежать синтаксического параллелизма, свойственного китайским фразам. Китайские параллельные фразы типа «враг приходит, я уйду, враг уходит, я прихожу» переводились так, что второе предложение отличалось от первого — либо ставилось другое служебное слово, либо значимое слово заменялось синонимом. По-видимому, правила тангутской стилистики коренным образом отличались от правил, существовавших в китайском языке, и требовали разнообразия лексических и грамматических форм языка. Например:

Гу цзинь, до туй (7-й раздел, комментарий Ли Цюаня).

«[Бьют в] барабан — наступай, [бьют в] колокол — отступай».

Тангутский перевод — «Ударом в барабан обозначают наступление, когда бьют в колокол, отступай».

Параллелизм китайских фраз в тангутском переводе нарушен тем, что в первом предложении употреблено служебное слово, указывающее на орудие действия, а во втором предложении — временной союз «когда».

В следующем предложении китайское слово *до* — «много» в первом предложении тангутского перевода передается словом «много», а во втором предложении — словом «густой»; кроме того, в параллельных предложениях тангутского перевода употреблены различные глаголы — «поднимать» и «делать», соответствий которым нет в китайском оригинале:

Гу е чжань до хо гу, чжоу чжань до цзинци (7-й раздел).

«Поэтому в ночном бою много огней и барабанов, в дневном бою много знамен».

Тангутский перевод — «Поэтому в ночном бою используют (букв. «поднимают») много огней и барабанов, в дневном бою применяют много (букв. «делают густо») знамен».

В заключение следует сказать, что, несмотря на вольный перевод трактата Сунь цзы, переводчик очень хорошо понял его содержание и верно передал его на тангутский язык. Изучение тангутского языка по переводным памятникам во многом обогащает наши знания этого мертвого языка и является важнейшим путем к прочтению оригинальных памятников тангутской литературы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Китайская классика в тангутском переводе (Лунь юй, Мэн цзы, Сяо цзин). Факсимиле текстов. Предисловие, словарь и указатели В. С. Колоколова и Е. И. Кычанова, М., 1966.
2. Конрад Н. И., Сунь-цзы. Трактат о военном искусстве, М.—Л., 1960.
3. Синицын Е. П., Об авторстве и датировке трактата Сунь-цзы, — «Народы Азии и Африки», 1964, № 4.
4. Тангутские рукописи и ксилографы. Список отождествленных и определенных тангутских рукописей и ксилографов коллекции Института народов Азии АН СССР, М., 1963.
5. Сун бэнь шин цзя чжу Сунь цзы. Го Хуа-жо сюй (Сунская книга трактата Сунь цзы с комментариями одиннадцати авторов. Предисловие Го Хуа-жо), Шанхай, 1961, т. 1—3.
6. Сунь цзы ши цзя чжу. Сы бу бэй яо (Трактат Сунь цзы с комментариями десяти авторов. Серия «Сы бу бэй яо»), т. 144, Шанхай, 1936.
7. Сыма Цянь чжуань, Такикава Камэтаро каочжэн. Ши цзи хуй чжу каочжэн, Пекин, 1955, т. 7, гл. 65 (Сыма Цянь — автор, Такикава Камэтаро — составитель критического исследования. Исторические записки с собранием комментариев и критическим исследованием).
8. S. B. Griffith, Sun tzu. The Art of War, Oxford, 1963.
9. E. D. Grinstead, Tangut fragments in the British Museum, — «The British Museum Quarterly», vol. XXIV, № 3—4, стр. 82.

Е. И. Кычанов, Е. И. Лубо-Лесниченко

МОНЕТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ В ХАРА-ХОТО

(по материалам находок)

Нумизматический материал составляет заметную часть находок экспедиций П. К. Козлова, А. Стейна и Ф. Бергмана в Хара-хото. Монеты, привезенные А. Стейном, описаны и изданы Ф. Лоримером и Д. Алланом [13], материалы находок Ф. Бергмана опубликованы Б. Соммерстромом [12]. Нумизматический раздел знаменитого хара-хотинского собрания, хранящегося в Государственном Эрмитаже и ЛО ИВАН, состоит из ассигнаций, найденных первой и второй экспедициями П. К. Козлова в Хара-хото в 1908 и 1909 гг., и монет, привезенных третьей экспедицией в 1926 г. Найденные бумажные ассигнации были описаны и изданы В. Котвичем [3], А. Ивановым [1] и одним из авторов этой статьи [4]. Изучение монет было начато В. И. Казиным, но смерть во время блокады Ленинграда в 1942 г. не дала ему довести работу до конца [2].

В данной статье предпринята попытка проследить по материалам находок монетное обращение в Хара-хото за почти двухтысячелетний период жизни оазиса Эдзины.

Для полного представления о денежных знаках, найденных в районе Хара-хото, ниже приводится сводная таблица нумизматического материала. Денежные знаки из находок А. Стейна и Ф. Бергмана разделены на найденные в городе (А) и оазисе (Б). Что касается монет и ассигнаций, привезенных П. К. Козловым, то точное место находок неизвестно. По всей видимости, они были найдены в самом городе и его ближайших окрестностях.

Как видно из таблицы, денежные знаки, найденные экспедициями П. К. Козлова, А. Стейна и Ф. Бергмана, довольно четко делятся на пять групп.

Первая и древнейшая группа представлена всего лишь одной лопатовидной монетой — *бу*, найденной П. К. Козловым. По свидетельству Чжэн Цзя-сяна, такие монеты были широко распространены в Северном Китае в период Чжаньго (V—III вв. до н. э.) [8, 79]. Как раз в это время китайцы получают первые смутные сведения о существовании оазиса Эдзины. В разделе «Шуцзина» — «Юйгун», составленном во время Чжаньго, упоминаются различные районы Китая, приносившие дань легендарному императору Юю. Там, в частности, описываются река Жошуй и Люша — «сыпучие пески». По традиции, поддержанной в настоящее время специальными исследованиями, эти названия отождествляются с районом реки Эдзин-гол [11, 88]. Находка монеты *бу*

Группа	Козлов	Стейн А	Стейн Б	Бергман А	Бергман Б	Всего
Период Чжаньго						
I	1	—	—	—	—	1
Династия Хань						
II	1	1	2	1	107	112
Династия Тан						
IIIa	7	3	6	7	13	36
Династия Северная Сун						
IIIб	36	21	12	15	118	202
Династия Южная Сун						
IIIв	—	1	—	2	7	10
Династия Цзинь						
IIIг	1	1	—	—	—	2
Период Юань						
IV	60 асс.	1 асс. 1 монета	—	2 асс. 1 монета	2 монеты	63 асс. 4 монеты
XVII—XIX вв.						
V	12	—	1	—	—	13

служит дополнительным подтверждением существования в V—III вв. до н. э. связей между хара-хотинским оазисом и Китаем.

После захвата оазиса Эдзины в 121 г. до н. э. он становится одним из опорных пунктов ханьского Китая в военных действиях против гуннов. К этому бурно насыщенному событиями времени относится вторая, довольно многочисленная группа монет.

Основное количество монет происходит из фортов и укреплений, обследованных Ф. Бергманом. Кроме монет *ушу*, главной ходячей валюты в ханьское время, им были обнаружены монеты *баньлян* (175—136 гг. до н. э.), *убэй* и *дацюнь уши* (7 г. н. э.) и *хоцюань* (14—40 гг. н. э.). На территории самого города Хара-хото в ханьское время поселений не было. Через Хара-хото проходила главная дорога, связывающая военные поселения [12, 1, 192]. Этим можно объяснить находки в Хара-хото вышеназванными экспедициями нескольких ханьских монет.

Мы ничего не знаем о судьбе района Хара-хото в последующие пятьсот лет после крушения ханьской империи. Нумизматического материала, датированного этим временем, также, по-видимому, еще не найдено. Кое-что можно сказать о судьбе оазиса Эдзины в танскую эпоху. Данные «Синь Тан шу» и «Тундянь» говорят о существовании в VII—VIII вв. в низовьях Эдзин-гола крепости Тунчэн, переименованной

впоследствии в Нинкоуцзюнь [2, 278]. Раскопки Ф. Бергмана заставляют предполагать, что эта крепость находилась на территории Хара-хото, занимая $\frac{1}{3}$ его площади [12, II, 193—197].

Выделить из найденного материала четкую группу монет, которая могла бы охарактеризовать этот период, не представляется возможным. Выпущенные в 620 г. монеты *кайюань* находились в обращении в собственно Китае до начала X в., а в районах, соседних с Китаем, — гораздо позднее. О том, что монеты *кайюань* продолжали находиться в обращении в тангутское время, свидетельствует известный лянчжоуский клад, относящийся к XI—XII вв. Среди монет времени Сися там в большом количестве находились и монеты *кайюань* [9, 13, 9а—б]. Вместе с тем не исключено, что монеты *кайюань* остались от более раннего времени и указывают на дотангутские поселения на территории оазиса.

Значительная часть монет третьей группы тесно связана с вопросом денежного обращения в государстве Сися. Из «Юань-ши» известно, что низовья Эдзин-гола были заняты тангутами в начале XI в. [10, 60, 256]. Основанный в оазисе г. Эдзина (по-китайски Хэйшуй) был главным северо-западным аванпостом тангутского государства в борьбе с татаро-монголами. Несмотря на то что Эдзина находилась на северо-западе Сися, находки китайских монет многочисленны и обильны. Без преувеличения можно сказать, что материалы экспедиций П. К. Козлова, А. Стейна и Ф. Бергмана дают полное представление о всех типах монет, бывших в обращении при Северной Сун.

Вопрос об экспорте и обращении китайской монеты в тангутском государстве является частью более общей проблемы о роли китайской монеты сунского времени в денежном обращении в Восточной Азии. В сунском Китае монета выпускалась в громадных количествах. Так, ежегодный выпуск монеты в период Северной Сун колебался от 500 тыс. до 5 с лишним миллионов связок [6, 2, 281]. Сунская монета, являясь международной валютой, экспортировалась во многие страны от Японии до Восточной Африки. Значительное количество сунских монет попадало и к северным соседям Китая — Ляо, Сися и Цзинь.

Прямых сведений из китайских источников о вывозе монеты в Сися у нас нет. Важнейшим путем проникновения туда китайской монеты была, вероятно, интенсивная торговля между Сися и сунским Китаем. Главное место в торговле тангутского государства с Китаем занимала соль. Это был один из тангутских товаров, в которых испытывало нужду население западных областей сунской империи. Вывоз соли приносил значительные доходы тангутской казне. Запасы же соли в ордосских озерах, принадлежавших Сися, были неисчерпаемы.

Об интенсивности торговых связей между Сися и Сун свидетельствует список обмениваемых товаров, опубликованный сунским правительством в 1007 г. Тангуты обменивали скот (верблюдов, быков), а также войлок, ковры, ароматические и лекарственные травы на шелковые ткани, парчу, тюль и узорный шелк. Привозимые из Сися мед, воск, мускус, шерстяные ткани, рог, киноварь, сафлор, красители, орехоносный лотос, пух и перо, дикие козы обменивались на изделия из фарфора и лака, пряности и чай [5, 4, 186]. Тангуты всегда охотно покупали в Китае металлы (железо, медь) и одежду.

Известно, что меновая торговля резко преобладала не только в торговых взаимоотношениях Сися и Сун, но и во всей Центральной Азии X—XIII вв. — у киданей, чжурчженей и других народов. Тем не менее имеется упоминание о том, что тангуты закупали в Китае товары на серебро [5, 13, 6а]. Можно также утверждать, что в результа-

те этих тесных и развитых торговых связей в Сися попадало большое количество сунской монеты.

Торговля с Китаем была существенной составной частью доходов тангутской казны. Всякий раз, когда торговля пресекалась надолго, государственное казначейство Ся «испытывало нужду в средствах» [5, 12, 126]. Северный Китай был главным центром тяготения тангутской внешней торговли. Он служил не только основным рынком сбыта продуктов скотоводства и тангутской соли, но и главным поставщиком хлеба и шелковых тканей, в которых постоянно нуждалось Сися.

Зависимость тангутов от китайского рынка давала в руки сунского, а позднее чжурчжэньского правительства ощутимое средство воздействия на политику тангутского государства. Поэтому если для Сися торговля с Китаем была прежде всего экономической потребностью, то для Сун, а затем Цзинь она очень часто служила частью общей политики по отношению к тангутскому государству, которое, в общем, терпели потому, что не могли уничтожить.

Наряду с государственной торговлей на границе Сися и Сун оживленно велась и частная торговля. Этому вопросу письменные источники уделяют большое внимание. В первую очередь торговали солью. Поскольку в сунском Китае существовала государственная монополия на торговлю солью, сунское правительство было заинтересовано в том, чтобы тангутскую соль закупала только казна. Для тангутского двора, наоборот, было характерно постоянное стремление добиться разрешения на свободную продажу соли в Китае. Пользуясь правом монополии, сунское правительство удерживало в пров. Шэньси высокие цены на соль. Однако письменные источники свидетельствуют, что китайское пограничное население часто нарушало правительственную монополию и вело частную торговлю с тангутами, выгодную для обеих сторон.

Находки монет в Хара-хото четко отражают эволюцию отношений между Сися и сунским Китаем. Если монет Северной Сун насчитывается более двухсот (группа IIIб), то южносунских монет — всего лишь десять (группа IIIв), что составляет менее 5% по отношению к предыдущей подгруппе. Это ярко свидетельствует о том, что лежащее между Сися и Южной Сун Цзиньское государство в значительной степени блокировало торговлю между этими двумя странами. Находки П. К. Козловым и А. Стейном двух цзиньских монет (группа IIIг) подтверждают усиление торговых связей между Сися и Цзинь в ущерб связям с сунской империей.

Находки большого количества монет на территории как самого города Хара-хото, так и оазиса заставляют предположить наличие сравнительно развитого денежного обращения внутри Сися. К сожалению, китайские письменные источники, подробно сообщающие о внешней торговле Сися, почти не содержат сведений о торговых связях внутри самого тангутского государства. Известно только, что в 1002 г. первый государь Сися, Цзи-цзянь, для нужд местного населения открыл рынки в Чиша (округ Сячжоу) и в г. Тотокоу (округ Линчжоу) [5, 3, 116].

Внутренняя торговля в Сися, несомненно, была достаточно развита. Две ведущие отрасли хозяйства — скотоводство и земледелие — не были изолированы друг от друга, и между кочевым и оседлым населением Ся, естественно, происходил обмен излишками продуктов труда. Кроме того, и скотоводы и земледельцы одинаково нуждались в целом ряде ремесленных изделий, предметов роскоши и т. д. Более того, между отдельными районами Сися прослеживается четкая эконо-

мическая специализация. Алашань славился скотом и великолепными сукнами, особенно из верблюжьей шерсти: Ордос — солью; долина Хуанхэ — продуктами земледелия; район Синина — рисом; области, прилегающие к горам Наньшань, — ревенем и мускусом.

Торговля между областями в значительной степени была меновой. Кроме того, в государстве Сися, как и в соседней Киданьской империи, из общей массы товаров выделяется продукт, ставший всеобщим эквивалентом при обмене. Если в Ляо это были ткани [14, 170—171], то в Сися — соль. В 1043 г. один из китайских пограничных чиновников докладывал двору, что «на территории нескольких округов, принадлежавших Юань-хао (третий государь Сися), денежные операции совершались в пересчете на соль» [5, 10, 76]. Кроме того, находки в Харахото свидетельствуют о том, что с самого начала существования тангутского государства там широко употреблялась китайская монета.

О дальнейшем развитии товарообмена в Сися свидетельствует и выпуск тангутами собственной монеты. Судя по имеющимся находкам, свою монету тангуты начали выпускать примерно с середины XI в. В настоящее время, по сведениям Пэй Синь-вэя, засвидетельствовано около 120 монет Сися, относящихся к 12 различным типам [6, 2]. Китайские письменные источники сообщают, что в 1158 г. государь Сися — Жэнь-сяо учредил управление, ведавшее выпуском монеты *тунцзицзянь* [7, 36, 126—13а]. Отметим, что до 1120 г. зафиксированы монеты Сися лишь с тангутской легендой. После 1120 г. тангуты выпускали монету как с тангутской, так и с китайской легендой.

При изучении третьей группы монет из Харахото возникает вопрос, почему в этом крупном тангутском городе среди 250 найденных монет III группы нет ни одной тангутской. Причина, по-видимому, заключается в том, что монеты Сися, подобно киданьским и чжурчжэньским монетам, имели ограниченное хождение. Что же касается сунской монеты, она служила международной валютой, что имело немаловажное значение для пограничного города Харахото.

После захвата в 1226 г. монголами Харахото становится важнейшим перевалочным пунктом на пути в монгольскую столицу Каракорум (Холинь). Он делается центром военного округа (Цзуньгуаньфу). В оазисе восстанавливается оросительная система. Найденные в Харахото денежные знаки, помещенные в IV группу таблицы, относятся к этому последнему периоду жизни города.

Как известно, в юаньский период выпуск монет почти совершенно прекратился, за исключением периодов Чжида (1308—1312) и Чжицзэн (1341—1356). Монеты этих периодов были обнаружены в Харахото А. Стейном и Ф. Бергманом. Главным видом денежного обращения в монгольский период были ассигнации, найденные в Харахото экспедициями П. К. Козлова, А. Стейна и Ф. Бергмана. Основная часть ассигнаций (60) была найдена первой и второй экспедициями П. К. Козлова в Харахото. Находка этих ассигнаций впервые дала европейской науке непосредственный источник по изучению денежного обращения в Китае в монгольское время.

В результате военных действий на территории Эдзины в 1372—1380 гг. после свержения монгольской династии город разрушается и жители покидают оазис. О том, что жизнь на территории оазиса прекращается, говорит тот факт, что там не было обнаружено ни одной монеты минского времени.

Монеты V группы, как уже было отмечено В. Н. Казыным, указывают на посещения развалин города кладоискателями или на временное проживание там кочевников.

Таким образом, рассматриваемая коллекция монет дает интересную и в достаточной степени полную картину жизни Хара-хотинского оазиса на протяжении почти двух тысячелетий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Иванов А., Бумажное обращение в Китае до XV в., СПб., 1914.
2. Казин В. П., К истории Хара-хото, — ТГЭ, Культура и искусство Востока, т. V, Л., 1961.
3. Котвич В., Образцы ассигнаций юаньской династии в Китае из находок П. К. Козлова в Хара-хото, СПб., 1909.
4. Лубо-Лесниченко Е. А., Ассигнации монгольского времени (по материалам Хара-хото), — «Народы Азии и Африки», 1968, № 3.
5. Дай Си-чжан, Сися цзи (Записи о Сися), Пекин, 1924.
6. Пэн Синь-вэй, Чжунго хоби ши (История китайских денег), Шанхай, 1952.
7. У Гуан-чэн, Сися шуши (Записи о событиях в Сися), Шанхай, 1936.
8. Чжэн Цзя-сян, Чжунго Гудай хоби фачжань ши (История развития древней китайской монеты), Пекин, 1958.
9. Чу Шан-лин, Цзи цзинь со цзянь лу (Записи о виденных счастливых монетах), [б. м.], 1820.
10. Юань ши, изд. Сыбу бэй яо, Шанхай, 1935.
11. Franke O., Geschichte des Chinesischen Reiches, vol. V, Berlin — Leipzig, 1952.
12. Sommarstrom B., Archaeological researches in the Edsin-gol region. Inner Mongolia, Stockholm, 1956, pt 2.
13. Soriner F., J. Allan, Inventory list of coins found or obtained, — A. Stein, Innermost Asia, Detailed report of exploration in Central Asia, Kansu and Eastern, Iran, Oxford, 1928, vol. II.
14. Wittfogel K. and Fêng Chia-Shên, History of Chinese Society Liao, Philadelphia, 1949.

А. С. Мартынов

О ТУЗЕМНОЙ ТИБЕТСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В ЭПОХУ МИН

Не так давно в китайской научной литературе была сделана весьма симптоматичная попытка подойти к туземной тибетской администрации эпохи Мин как к составной части обычной внутригосударственной системы управления, с тем чтобы затем, опираясь на наличие этого аппарата в тех или иных землях, иметь возможность доказать их вхождение в состав китайской государственной территории [2]. На наш взгляд, правомерность подобного подхода весьма сомнительна. Ниже мы попытаемся изложить, в чем заключаются наши сомнения.

* * *

Современному международному праву известны два способа определения государственной территории. Первый и главный — на основании установленных договорным порядком межгосударственных границ. Второй, вспомогательный (при невозможности действовать первым способом) — установление реальных пределов фактического, длительного и мирного осуществления внутригосударственных функций [1, 240—241]. Какой из этих способов можно применить, обосновывая включение в состав китайской государственной территории тех земель, где местные владельцы были носителями чиновничьих званий и титулов, полученных ими от императорского правительства? Сразу можно ответить, что первый способ применить нельзя, ибо зона распространения китайских титулов и званий не имела никакой определенной границы.

Принципиальная невозможность такой ограничительной линии станет совершенно очевидной, если бросить взгляд на систему международных отношений в Восточной Азии.

В результате многовековой практики общения с окружающими народами Китай выработал совершенно отличные от привычных нам представления о мире, в соответствии с которыми и была построена его система общения с внешней средой. В основе этих представлений лежало понятие о мире как единстве, но это единство в корне отличалось от современного. Последнее мыслится как взаимосвязь множества самостоятельно действующих единиц. Оно выражено в единой системе современного международного права. Для традиционного же Китая единство — сфера распространения единой власти, власти китайского императора. Этот мир обозначался термином *тянься* («Поднебесная») — понятием весьма неопределенным, породившим много споров в специальной литературе. Нам кажется, что во внешнеполитическом

аспекте все значения *тянься* можно свести к двум: это и реальная сфера политических контактов Китая и в то же время весь мир.

Нормальным считалось такое положение вещей, когда *тянься* было единым, единым под властью китайского императора.

Этот единый мир резко делился на две части: Китай и варваров, *хуа* — и, как это обычно обозначается в специальной литературе [5]. Части были неравноценными: первая считалась носителем цивилизации, во всем превосходящим вторую. На их различие смотрели не как на политический, экономический или какой-либо другой перевес, а как на превосходство образа жизни, не как на преимущество, обусловленное благоприятным ходом исторического развития, а как на явление вневременного порядка, порожденное центральным положением Китая в мире.

Характер частей Поднебесной, естественно, определял и характер их взаимодействия. Считалось, что «варвары четырех сторон» в принципе могут усваивать истинные нормы поведения. Для этого им необходимо лишь желание установить контакт с императорским двором и вести себя искренне, честно. *Чэн*, «искренность» — один из важнейших и, пожалуй, самый необходимый атрибут партнера по внешним отношениям в китайской политической теории [4, 9, 39, 43, 70]. Такое состояние «варваров» определялось китайцами как *сянхуа* — «стремление преобразоваться, цивилизоваться» [4, 34, 350, 442].

Двор очень ценил состояние *сянхуа*, ибо натура варваров была двойственной и наряду с похвальными намерениями у них часто возникала склонность к дурным поступкам, под которыми китайцы чаще всего имели в виду пограничные набеги. Им свойственно было непостоянство (*учан* — непостоянство — одна из самых распространенных в Китае отрицательных характеристик соседних народов). Поэтому благие порывы «варваров» не оставались без внимания. Двор отвечал на них политикой *жоуюань* — «мягкого отношения к далеким народам» [4, 235]. Эта политика включала предоставление права участвовать в специальных торгах и приезжать с данью ко двору. Очень часто все эти права подкреплялись пожалованием какого-либо титула или чиновничьего звания. «Варвары», наделенные всеми этими правами и носившие дарованные им титулы или звания, находились в сетях политики «*цзима*» — «связывания», «взнуздывания» [4, 442], что на деле означало лишь то, что их мирное поведение было в какой-то мере гарантировано.

Естественно, двор старался расширить вокруг своих границ зону в какой-то мере обеспеченной стабильности. После «умиротворения» непосредственных соседей возникла необходимость гарантировать их безопасность, т. е. «умиротворения» соседей этих соседей, и т. д. Если же принять во внимание большую мобильность населения Центральной Азии, то становится понятным, что надежной гарантией безопасности в этих условиях могло стать лишь всемерное расширение зоны контроля. Поэтому все контакты Китая с внешним миром оформлялись согласно описанной выше системе: сам факт вступления в отношения рассматривался как какая-то гарантия мирного поведения, а потому принимали всех, кто бы ни приехал ко двору, что выражалось формулой *лай цзэ бу цзюй* — «пришедших — не отталкивать» [4, 255]. Поэтому сфера раздачи титулов и званий зависела лишь от сферы контактов.

Никакого иного мира, лежащего за пределами варварской периферии, Китай не знал и никакой иной системы отношений с иностранными государствами не имел.

Таким образом, линия, включающая сферу раздачи титулов и званий, была линией горизонта китайской политической жизни — подвиж-

ной чертой, отделявшей мир видимый от невидимого, и провести ее было столь же трудно, как и линию горизонта, а найти в официальных китайских документах, пожалуй, и того трудней.

* * *

Второй критерий включения тех или иных земель в состав территории государства — это установление реальных пределов фактического, длительного и мирного осуществления внутригосударственных функций. Следовательно, для того чтобы решить вопрос о включении земель, находившихся под властью местной тибетской администрации, в состав китайской государственной территории, необходимо определить характер функций этой администрации. На наш взгляд, сам текст китайских официальных документов определяет его достаточно четко.

В первой императорской декларации, отправленной тибетцам, говорится следующее: «В древности, когда наши императоры (ваны и ди) управляли Китаем с помощью высших принципов и добродетелей, в народе царил мир и все варвары четырех сторон пребывали в спокойствии» [4, 1].

Обеспечение «спокойствия варваров» входило в обязанности императоров и было признаком образцового правления. Достигалось оно двояко — оружием и мирными средствами. «Мое государство, — говорил Тай-цзу, — получило мандат Неба под знаком Мин. Оно распространяет свою власть на десять тысяч сторон, милостиво опекает добропорядочных и оружием устрашает непокорных» [4, 9]. Это относилось непосредственно к тибетским старшинам, которые предпочли, по-видимому, первый способ обращения, для чего и прибыли ко двору с просьбой о присвоении им различных чиновничьих званий. Тай-цзу обрисовал ситуацию следующими словами: «Они прибыли ко двору издалека и просили о должностях и званиях, чтобы [иметь возможность тем самым] успокоить свои племена. Я рад тому, что они с открытой душой вняли велению Неба, повинувшись долгу, явились ко двору и не заставили нас утруждаться карательным походом» [4, 9].

Пожаловав прибывшим должностные звания, император так сформулировал их обязанности: «С этого момента назначенные чиновники должны обязательно уважать [предписываемые] двором нормы поведения и держать в мире [вверенный им] край; духовные лица должны искренне и не щадя усилий направлять и просвещать (досл. «цивилизовывать» — *хуа*) народ и вести его к добру, чтобы все вместе могли наслаждаться великим покоем» [4, 9].

Подобные заявления не были редкостью. Приведем еще одну императорскую декларацию, также сделанную по случаю присвоения должностей большой группе тибетцев. Император заявлял: «[Я, император], всеми своими действиями стремлюсь водворить мир в народе. Поэтому нет среди варварских старшин таких, которые могли бы управлять (досл. „успокаивать“ — *фу*) своим народом и тем радовать Небо и которых бы я не одарил и не наградил титулами за почтительное отношение к долгу, не принося тем самым счастья их народу» [4, 15].

Таким образом, официальные китайские документы совершенно точно определяют место туземной администрации в системе управления Поднебесной: император осуществляет общее руководство по поддержанию окружающей Китай варварской периферии в состоянии покоя, а носители власти на местах являются непосредственными исполнителями этой задачи.

Для обеспечения эффективной работы этого аппарата применялись

стимулирующие средства: повышения в должности и награды. Так, в третьей императорской декларации, адресованной тибетским старшинам, говорится: «Послы уже сообщили [нам], что все чиновники (имеются в виду местные чиновники на фаньской периферии) стараются по службе [изо всех сил] и управляют народом так, что каждый [имеет возможность] наслаждаться своим делом. Я очень рад этому. Но так как ваши края обширны и многолюдны, то мне кажется, что если не установить [у вас] дополнительных управлений, то [там] будет невозможно проявлять [нашу монаршую] милость и [наш] гнев. [Поэтому я] приказал образовать управление сянь дучжихуйшисы¹ в Хэцжоу. А управление в землях Догань² и Усыцзан (Тибет) повысить в ранге до синдучжихуйшисы³. Раздать серебряные печати и наградить каждого чиновника одеждой и другими вещами. Ведь раздача наград — великое правило [нашего государства]. В благодарности за это подданные должны [еще более старательно] проникать в мои намерения и оказывать еще большее уважение [нашим] правилам» [4, 12].

В деле поддержания спокойствия на периферии у императорского правительства не могло быть лучшего союзника, чем буддийское духовенство. Поэтому естественно, оно было включено в систему туземной администрации и в тибетских землях составило наиболее важную и наиболее активную часть аппарата. Обязанности монахов-чиновников перед двором были те же, что и у мирян. В постановлении об образовании на фаньской периферии управления по делам буддийской церкви они определены следующим образом: «Западные фани,—говорится там,—весьма склонны к чрезмерной жестокости, поэтому [у них] учреждено [это управление]. Оно должно поддерживать господство [буддийского] учения и тем успокаивать людей в далеких [землях]». Далее следует текст удостоверения, которое высылалось лицам, получившим официальное назначение. В нем говорилось: «Начиная с древности императоры [ваны и ди], управляя, не различали близких и далеких [народов]. Но, создавая учреждения для управления простым [народом, они] непременно изучали [его] правила и нормы поведения. [Поэтому] монахи-чиновники должны применять свое учение не просто ради своей славы, [они должны] стремиться к тому, чтобы вести [людей] по пути добра и незаметно помогать им усвоить правила нормальной государственной жизни (досл. огосударствливаться — *ванхуа*), а не только искренне стараться избавиться от желаний и [обрести] безмятежность. Разве занимающийся самосохранением достоин назначения на эти должности! И вот нынче [Я, император], учреждаю управление сэнгансы⁴, назначаю [вас] на чиновничьи должности и выдаю [вам] удостоверения. Проникать в мои намерения, распространять [учение] о славных деяниях и добродетелях Будды, изменять людей к добру — о, сколь достойно это!» [4, стр. 39].

Приведенное выше постановление касается самых восточных тибетских земель — западных окраин Шэньси, районов Синина и Хэцжоу. Но этот подход к духовенству не ограничивался ближайшими к Китаю тибетскими землями, а простирался на всю глубину фаньской периферии. Глава министерства церемоний Лю Чунь в своем докладе трону от 1515 г. писал: «Западные фани повсеместно исповедуют буддийское учение. Поэтому великие основатели [нашей династии] унаследовали от прежнего периода учрежденные в Тибете управления [и сохранили их].

¹ Т. е. отделение военно-территориального управления пров. Шэньси.

² Земли к западу от пров. Сычуань [3, т. 4, 2374].

³ Отделение военно-территориального управления.

⁴ Местное управление по делам буддийской церкви.

Всем духовным должностным лицам, начиная от Чаньхуавана, Чань-цзяована⁵ и других ванов и кончая монастырями районов Таочжоу и Миньчжоу в Шэньси и Сунпаньтина в Сычуани, вменено в обязанность просвещать и наставлять варваров. [Поэтому] им позволено приезжать с данью ко двору» [4, 350].

Вот еще одно аналогичное суждение того же Лю Чуня: «Тибет лежит на далеком западе. Нравы там в высшей степени дикие. Для умиротворения и приобщения к цивилизации [тибетского населения] там учреждены четыре должности князей учения. Им [разрешен] проезд с данью ко двору. [Все это сделано] исключительно ради того, чтобы заставить их поддерживать мир в своих владениях и не причинять беспокойства [нашим] границам» [4, 349].

Приведенного выше материала, на наш взгляд, вполне достаточно для того, чтобы прийти к следующим выводам. Институт туземной администрации представлял собой, в сущности, обязанность теоретически всех, практически всех достигаемых для китайцев носителей власти на местах сохранять мир в своих владениях. Эта обязанность была неременной. Невыполнение ее вызвало бы карательный поход. Но вместе с тем она была почетной, так как считалось, что выдвигаются только достойные. Должное поведение туземных чиновников обеспечивалось наградами и угрозами двора, должное поведение местного населения — административным контролем и просветительской деятельностью духовенства, которое должно было вести народ к добру и приучать его к нормам цивилизованной жизни. Но если это так, то естественно возникает вопрос: можно ли туземного чиновника, которому не вменялись конкретные должностные функции, считать должностным лицом, чиновником в полном смысле этого слова? Нам кажется, что на это возможен лишь отрицательный ответ.

Отвечая подобным образом, мы исходим из следующих соображений. Во-первых, туземный чиновник не был в действительности назначаемым лицом. Все документы говорят о том, что получавшие назначения лица, как правило, уже имели власть в своих землях. Это были либо «чиновники» прежней династии, либо выдвинувшиеся местные старшины, либо получившие известность монахи. Иными словами, двор фактически не наделял властью и не перекраивал сфер власти, а опирался на уже сложившиеся формы властвования в исторически сложившихся границах. Во-вторых, при назначении туземного чиновника фактически не имели места ни делегация власти, ни возложение обязанностей с определенной сферой компетенции и с определенной границей действия. Как известно, отличительным признаком делегированной власти является ее определенность, ограниченность предоставляемых прав. Туземному же чиновнику вменялась, по сути дела, всего лишь одна обязанность — держать свой народ в мире, соблюдать спокойствие.

Если отвлечься от непривычной формы и взглянуть на существо дела, то окажется, что эта обязанность по своему характеру ближе к внешней политике, чем к внутреннему управлению. Современный договор о ненападении — это, в сущности, добровольно принятое на себя то же самое обязательство не нарушать мира. Разница состоит лишь в том, что в этом последнем случае с точки зрения современного международного права стороны являются равными, поэтому обязательство принимается добровольно и закрепляется в договоре. В нашем же слу-

⁵ Крупнейшие ламаистские иерархи, в основном из Центрального Тибета, получали от китайских императоров титулы «князей учения» — «фаванов» [3, т. 4, 2343—2346].

чае стороны выступают как неравные во всех отношениях, а потому и обязательство не принимается добровольно, а накладывается принудительно одной стороной на другую и закрепляется не в виде договора, а в форме службы того, кто принимает это обязательство, тому, кто его налагает⁶.

В-третьих, с определенностью функций чиновника рука об руку идет специализация. На первый взгляд может показаться, что в системе туземной администрации этот принцип нашел свое выражение. Документы позволяют привести длинный список различных названий туземных управлений. Но это специализация кажущаяся. На самом деле все эти учреждения можно разделить на две группы: светские и духовные. Внутри же этих групп название туземного управления определялось не задачей, а заслугами местных туземных властей, оно выражало скорее ранг, чем функцию. Вот что сказано в «Мин ши» об организации туземной администрации, причем надо учесть, что это говорится о прилегающих к границам собственно Китая землях, а не о далеком Западном крае. «В начале периода Хун-у [1368—1398] тех варваров с юго-запада, кто переходил на нашу сторону и кто ранее нес службу, оставляли на службе. Эти туземные управления назывались: *сюаньвэйсы* (управление, распространяющее успокоение), *сюаньфусы* (управление, распространяющее умиротворение), *чжаотаосы* (призывающее и карающее управление), *аньфусы* (успокаивающее и умиротворяющее управление), *чжангуаньсы* (управление старшего чиновника). Определенный ранг (название) этим управлениям присваивался исходя из величины их (т. е. местных властей) заслуг» [3, т. 4, 2173].

В-четвертых, одним из отличительных свойств чиновника является его функция (право и обязанность) исполнения законов, издаваемых центральной властью. Поэтому лицо, которое, управляя народом, действует по собственному усмотрению, а не «во исполнение законов» вышестоящей власти, вероятно, не может считаться чиновником в собственном смысле этого слова. Если перелистать официальную историю минской династии, то мы найдем там совершенно определенные утверждения, что туземные чиновники «правили в соответствии [со своими] обычаями» [3, т. 1, 530; т. 2, 632].

Нам кажется, что сказанного выше достаточно для того, чтобы показать внешне-, а не внутриполитический характер важнейших функций туземной администрации. В связи с этим будет правильно определить эту систему как «псевдоадминистративную» (а туземных чиновников как «псевдочиновников»), ибо она являлась, в сущности, оформлением отношений, которым в большинстве случаев было еще очень далеко до реальной политической зависимости, не говоря уже о государственной службе. Поэтому сфера распространения института туземной администрации не может служить показателем реальных государственных границ.

⁶ В «Мин ши» есть четкая формулировка политических задач китайского правительства в одном из районов, охваченных этой системой, и совершенно точное указание той роли, которая ей отводилась. Там говорится: «Так как земли западных фаней обширны и так как народ [живший там] дик и буен, то Тай-цзу захотел разделить их на части и уничтожить их силу, с тем чтобы они не беспокоили границы. Поэтому все приезжавшие [ко двору] получали должность. Кроме того, так как в этих землях ели [главным образом] мясо и полностью зависели от китайского чая, то [Тай-цзу] образовал в районе Тяньцюаньлюфань чайные управления „чакэсы“ и дал возможность фаням, которые приезжали с данью и на конные торги, закупать чай. Все фани цеплялись за выгоды торгового обмена и приездов с данью. К тому же они желали сохранить наследственные должности и не смели устраивать беспорядки» [3, т. 4, цз. 331, 2348]. Нам кажется, что характер и цели описанных выше мероприятий могут быть определены лишь как внешне- и ни в коем случае не как внутриполитические.

Итак, наличие туземной администрации не может быть достаточным основанием для включения тех или иных земель в состав государственной территории. Значит ли это, что оно может быть основанием для их исключения? На этот вопрос мы также должны ответить отрицательно.

Как мы старались показать выше, китайцы рассматривали свое государство как центральное, а власть своего императора как универсальную. В силу этого пределы власти китайской администрации и пределы реальной власти императорского двора могли не совпадать. Последняя иногда перехлестывала административные границы и распространялась на зону туземной администрации. Где, когда и в каких масштабах — все это зависело от конкретной политической обстановки.

Для эпохи Мин всю зону тибетской местной администрации по степени проникновения императорской власти можно разделить на три части.

Первая — зона реального административного воздействия. Она простиралась очень недалеко за линию опорных военных пунктов китайцев. В пределах этой зоны туземный чиновник был вынужден обеспечивать всем необходимым почтовую гоньбу и отвечать за нормальное передвижение посольств ко двору [4, 26, 55, 86—87]. Но это были, так сказать, обязанности производные — следствия функционирования институтов дани и туземной администрации. Об этом должны были заботиться все власти, охваченные данными институтами, и лишь на практике больше всего перепало ближайшим соседям. Это не являлось качественным отличием ближних туземных властей от всех остальных.

Качественным отличием, на наш взгляд, был постепенный процесс «натурализации», который в первой зоне находил свое выражение в двух явлениях: введении различных налогов и повинностей и в замене туземной администрации обычной китайской администрацией. Однако, насколько можно судить по документам, в эпоху Мин на тибетской территории этот процесс развивался медленно. Власти не ставили себе задачу ускорить его течение. Вот весьма характерное свидетельство. В начале 22 года правления Хун-у (1389) из округа Маочжоу пров. Сычуань прибыл в столицу управляющий уездом Ваньшань Као Цзи и доложил следующее: «[В моем уезде] цяны живут в 28 поселениях. Язык их непонятен. С тех пор как там учредили уездное управление, прошло уже семь лет, но они не желают нести трудовые повинности». Император ответил: «Нравы варваров мань [первобытно] просты, и они отличаются от нравов Китая. Как можно обременять их трудовыми повинностями? ⁷ [Сначала надо] суметь искусно успокоить их [и держать их в таком состоянии], тогда они сами собой покорятся» [4, 35].

Политика минских властей в этом вопросе оставалась неизменной на протяжении всего царствования династии. Поэтому документы, аналогичные приведенному, можно встретить не только в период Хун-у, но и в последние годы Цзя-цзин (1522—1566). В 40 г. Цзя-цзин из Шэньси в столицу поступил доклад, где говорилось о неудобствах, связанных с заменой в 24 г. Цзя-цзин (1545 г.) туземной и пограничной администрации на западе от Маньчжоу управлением обычного типа.

⁷ В первом случае, в докладе, тибетцы уезда Ваньшань названы цянами. Император же говорит о них как о манях.

Пожаловавшись на то, что тибетцами стало невозможно управлять, что они разбегаются и не хотят нести повинности, докладывающий приходит к заключению, что варвары-фани привыкли к наследственной местной администрации, которая резко отличается от управления с помощью сменяемых чиновников, и поэтому лучше упразднить округ и восстановить старое управление. В столице согласились, и округ Миньчжоу был упразднен [4, 403].

Каким бы медленным ни был процесс «натурализации», все-таки надо иметь в виду, что он имел место, что граница взимания налогов, несения повинностей, хотя и медленно, но двигалась на запад [4, стр. 26, 33—35], а вслед за нею двигалась граница собственно китайской администрации. К институту туземной администрации этот процесс прямого отношения не имел. Он определялся иными факторами: потребностями обороны пограничных районов и реальными возможностями распространения власти китайской администрации. Тем не менее протекал он, как правило, в зоне действия, а иногда и в рамках туземной администрации.

Вторую зону можно назвать зоной реального политического контроля. Точную границу ее на карте указать, конечно, трудно, да и вообще границы между выделенными нами зонами довольно условны и мобильны. Однако приблизительно эту зону определить все-таки можно. Она начиналась за пределами сферы реального подчинения и кончалась, вернее постепенно сходила на нет, в Амдо, далеко не достигая границ собственно Тибета. Западная граница этой зоны была, так сказать, «технической». Она определялась той дальностью возможных карательных походов, которая была по силам минской династии.

В пределах этой зоны нарушение мира, нападение на пограничные китайские земли или на своего соседа могли повлечь за собой реальное возмездие [см. 4, 17—21, 29—30, 43—44]. Внутренние беспорядки также не оставались без внимания со стороны двора [см. 4, 70, 111, 134 и т. д.]. Местные туземные власти были обязаны участвовать и действительно иногда участвовали в карательных экспедициях, предпринимаемых двором [4, 111, 116—117, 131].

Зону реального политического контроля можно назвать основной в системе туземной администрации. Здесь этот институт был представлен в наиболее чистом виде и выполнял реальную функцию поддержания мира, возлагая на туземные власти все вытекавшие отсюда обязанности.

Третью зону можно назвать зоной номинального контроля. Она простиралась до самого Непала включительно. Некоторые местные власти в этих землях — светские или духовные — носили присвоенные им двором должностные звания и титулы. Общеизвестно, однако, что политическая история собственно Тибета, не говоря уже о Непале, в эпоху Мин практически не испытала на себе никакого прямого воздействия Китая. В этой зоне у местных властей из всех обязанностей осталась лишь одна — обязанность или, скорее, право приезда с данью ко двору.

Мы старались показать, что наличие на тибетских землях системы туземной администрации не может служить достаточным основанием ни для включения этих земель в состав китайской государственной территории, ни для их исключения из нее. Этот пример, как нам кажется, довольно убедительно демонстрирует, насколько труден, а иногда принципиально невозможен перевод понятий традиционной китайской политической системы на язык современного международного права.

ЛИТЕРАТУРА

1. Фердросс А., Международное право, М., 1959.
2. Лиши яньцзю (Изучение истории), 1963, сб. 5, стр. 1—10 (на кит. яз.).
3. Мин ши (История минской династии), серия «Сыбубэйяо».
4. Миндай Сицзан шиляо (Материалы по истории Тибета при династии Мин) (ред. Д. Тамура и Х. Сато, Киото, 1959) (на кит. яз.).
5. Fujimura, Michio; An Opposition of Modern Japanese Diplomacy to International Relation in the Premodern East Asia: On the concluding a Treaty of Friendly Relation between Japan and China. The Journal of the faculty of Literature. Nagoya University. History. XLI, 14, 1966, стр. 30—31.
6. Hucker Ch. O., Governmental Organization of the Ming Dynasty. Harvard Journal of Asiatic Studies, 1958, vol. 21, стр. 58.

О. И. Смирнова

ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

1. «Титул» джамūk у тюрков

В мусульманских источниках (Бируни, Са'мани, Наршахи) засвидетельствован специальный среднеазиатский титул җамūk или джамūk, происхождение и этимология которого неизвестны. В свое время В. В. Бартольд считал его одним из титулов, присвоенных бухарской аристократии. По его мнению, тот же титул встречается у тюрков [1, 1, 239, прим. 5]. К такому заключению В. В. Бартольд пришел на основании рассказа Табари об убийстве Сулу-кагана тюркским князем курсулом (фонетическая передача арабским письмом тюркского титула кюльчур) в 737 г.; согласно рассказу, при этом присутствовали и принимали участие в похоронах кагана ахлу-л-байти-л-джамūkийн «люди дома (рода) ал-джамūkийн» или, если видеть в слове джамūkийн мн. ч. от ед. джамук, как это было принято до сих пор, «представители (люди) семьи (рода) джамūk». По словам того же Табари, эти люди принадлежали к тюркским азимам, т. е. к тюркской знати (3, II, 1613), что и послужило В. В. Бартольду основанием для заключения относительно принадлежности титула джамūk тюркам.

В свое время И. Маркварт [7, 181—182] и Э. Шаванн [4, 285 и прим. 3], сопоставив рассказ Табари с параллельными известиями китайских источников [ср. также 2, 1, 299], установили, что в рассказе Табари речь идет о Мохэ-дагане (Бага-тархане), носившем титул кюльчура (курсула у Табари) племени чумугэнь, одного из пяти племен тулу, занимавших в начале VIII в. районы Тарбагатая [4, 270]. Однако дальше в своих выводах ни И. Маркварт, ни Э. Шаванн не пошли.

Название племени чумугэнь до сих пор было известно только по китайским источникам, в которых оно встречается неоднократно [например, 5, 60 и 61]. Ни в каких других источниках, в том числе и мусульманских, оно до сих пор никем не отмечалось. Между тем, на наш взгляд, отождествление тюркского племенного названия чумугэнь в китайских текстах с джамūkийн в мусульманских, которое в таком случае следует читать *чумūkийн, представляется неизбежным. Такая конъектура вполне допустима исходя из норм арабской графики. И речь у Табари идет не о тюрках, носивших титул джамūk, как это предполагалось, а о вождях тюркского племени *чумūkин, кюльчуром которых, согласно китайским источникам, был Мохэ-дагань. Именно они после ухода своего кюльчура, убившего кагана и бросившего на произвол судьбы его труп, совершают требуемые обычаем обряды над телом кагана, о чем рассказывает Табари.

Название того же тюркского племени сохранилось и в топонимике Северного Афганистана в названии местечка в районе Балха — Пули

¹джумұхййн (Мост *чумұхинеи) и селения Дастджирди ²джумұкййн (Дастджирд *чумұкинеи) ¹. Оба эти названия приводятся Р. Н. Фраем, по мнению которого их общий компонент чумұкййн представляет мн. ч. от ед. чумұк — титула бухарской знати [6, 143].

Таким образом, засвидетельствованные в мусульманских источниках два термина — джамұк (вар. хамұк) и джамұкййн (вар. джамұхййн) отнюдь не одно и то же: первый из них действительно специальный среднеазиатский титул, носивший уже в VIII в. реликтовый характер; второй — название тюркского племени или рода чумукин (в кит. передаче чумугэнь) и засвидетельствован, как оказывается, не только в китайских текстах, но и в арабском — у Табари.

2. Город Катунь

В китайских текстах приводится рассказ о походе Тулу-кагана (641 г.) на Кангю (Согдиану), согласно которому последний, пройдя через Ми, неожиданно напал на Кангю, одержал над ним победу и полонил его жителей. Захватив большую добычу и много пленных, он ничего не дал своим подчиненным. Когда его полководец Нишу Чжо забрал себе силой свою часть добычи, Тулу отрубил ему голову и выставил ее напоказ в назидание прочим. Тогда один из военачальников (обезглавленного), Хулуву, напал на воинов Тулу. Множество было перебито с обеих сторон. Тулу собрался идти на Тохаристан. Но вельможи советовали ему возвратиться в свои владения. Хан не послушал. Переправившись через р. Ие, дошел до Ше (Ташкента). Почти все его покинули, и он укрылся в г. Катунь (тюрк., араб. графикой хатұн) [2, 1, 288, 4, 58].

Арабские географы среди городов бассейна Сырдарьи упоминают четыре города-ставки: Джабгұкат — г. Джабгұ, Хузнкат — г. Царицы и наконец Хатұнкат — г. Хатұни (т. е. г. Ханьши).

Город Хатұни был расположен, как известно, к северу от главного притока Сырдарьи р. Парак, современного Чирчика, в двух фарсах от г. Бинката [1, 1, 230]. Нет сомнения, что г. Катунь китайских источников и г. Хатұни на р. Парак, название которого сохранили нам арабские географы, идентичны. В 641 г. в этом городе укрепился Тулу-каган.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бартольд В. В., Туркестан в эпоху монгольского нашествия, — Сочинения, т. 1, М., 1963.
2. Бичурин Н. Я. (Иакинф), Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, I, М.—Л., 1950.
3. Табари (Лейденское издание).
4. Chavannes Ed., Documents sur les Tou-kiue (turcs) occidentaux. Recueillis et commentés par..., — Сборник Орхонской экспедиции VI, СПб., 1903.
5. Chavannes Ed., Notes additionnelles sur es Tou-kiue (turcs) occidentaux, — Toung-Pao, 1904, 2-me sér., vol. 5, стр. 1—110.
6. Frye R. N., Jamūk, sogdian 'pearl'. — JAOS, 1951, 71, 2, стр. 142—145 (там же см. библиографию).
7. Marquart I., Historische Glossen zu den alttürkischen Inschriften..., — WZM, XII, 1898.

¹ Дастджирд — арабизированная форма персидского *дастгард* — «имение». Глухой согласный в названии местечка Пули джумұхййн в районе Балха подтверждает предлагаемое чтение названия племени *чумұкин у Табари с глухим гласным в последнем его слоге. Названные два топонима имеют и самостоятельный интерес, так как свидетельствуют о том, что тюркское племя чумукиней (кит. *чумугэнь*) известное время составляло часть оседлого населения Северного Афганистана.

С. Л. Тихвинский

**ПОЛИТИКА «САМОУСИЛЕНИЯ» — СРЕДСТВО
ПОДАВЛЕНИЯ НАРОДНОГО НЕДОВОЛЬСТВА
В ЦИНСКОМ КИТАЕ**

При изучении истории Китая 60—90-х годов XIX в. современные китайские и западные историки [33; 18; 15; 20; 11; 16] на первый план обычно выдвигают проблемы, связанные с предпринимательской деятельностью в этот период (создание арсеналов и судоверфей, открытие фабрик и заводов, шахт, рудников, пароходных компаний, строительство железных дорог и телеграфных линий и т. д.) или вопросы внешней политики; проблемам же внутривластическим уделяется значительно меньше внимания. В настоящей статье мы ставим перед собой задачу кратко рассмотреть один из аспектов внутривластического курса цинского правительства в тот период, когда у власти стояли сторонники так называемой политики «самоусиления».

Проблемы, с которыми столкнулись правящие круги империи после смерти императора И Чжу (Сяньфэн), дворцового переворота в ноябре 1861 г. и прихода к власти группировки вдовствующей императрицы Цыси и великого князя Гуна,— подавление восстаний тайпинов, няньцзюней, неханьских народов, сношения с капиталистическими державами, стремившимися к полному колониальному порабощению Китая,— все это требовало максимального напряжения сил маньчжуро-китайских феодалов, мобилизации ресурсов империи. Добившись мирного урегулирования с Англией и Францией по Пекинским конвенциям 1860 г. и став на путь постоянных уступок иностранным капиталистам, цинское правительство обеспечило себе активную поддержку держав в борьбе с внутренней опасностью.

Многочисленные документы свидетельствуют о том, что маньчжуро-китайские феодалы всегда рассматривали угрозу внутренних восстаний, антицинских выступлений, руководимых многочисленными тайными обществами, в качестве главной потенциальной опасности для цинского режима. В меморандуме императору Сяньфэну, в котором содержалось предложение об учреждении «Канцелярии по управлению делами различных стран» («Цзунли гэ го шиу ямыня» или, сокращенно, «Цзунлиямыня»), великий князь Гун сообщал, что «восстание няней полыхает на Севере и длинноволосых (тайпинов.— С. Т.) на Юге», и утверждал, что «длинноволосые и няни одерживают победы, создавая угрозу для нашего сердца и внутренностей... в силу чего в первую очередь следует подавить восстание длинноволосых и няней» [37, цз. 71, 176; 38, 5, 6].

Хотя в тексте меморандума еще не встречается столь популярное впоследствии слово *цзы цян* — «самоусиление», аналогичная идея была

выражена в нем словами *цзы ту чжэнь син* — «самим планировать свое возрождение» [38, 5].

В меморандуме по вопросу о подготовке войск, который был на-правлен маньчжурскому императору великим князем Гуном, членом императорского секретариата Гуй Ляном и начальником Налогового приказа Вэнь Сяном и утвержден императорским указом от 14 числа 12 месяца 10 года правления Сяньфэн (25 января 1861 г.), указывалось, что «фундаментальной политикой должно быть самоусиление; искусство же самоусиления в первую очередь зависит от обучения войск» [37, цз. 72, 11; 38, т. 3, 441]¹. Авторы меморандума призывали в целях «планирования своего возрождения» и быстрейшего подавления вос-станий «длинноволосых» и няней срочно обучить армию современным приемам боя с применением иностранного оружия. «Если внутренние бедствия будут искоренены, то внешние враги сами погибнут», — ут-верждали авторы меморандума. Ту же мысль о необходимости перво-очередного укрепления военного могущества цинской империи в каче-стве фундамента политики «самоусиления» находим в меморандуме великого князя Гуна и других членов цзунлиямыня (утвержден 28 чис-ла 4 месяца 3 года правления Тунчжи — 4 июня 1864 г.): «Справедли-вый путь управления страной заключается в самоусилении: при все-стороннем исследовании политики самоусиления становится очевидным, что главным в ней является подготовка войск, а подготовку войск в свою очередь необходимо начинать с производства оружия» [37, цз. 25, 1—3; 38, т. 3, 466]. Аналогичная трактовка политики самоусиления как основного средства «увеличения могущества государства» в целях ликвидации внутреннего мятежа встречается и в других документах то-го периода [см. меморандум от 12 декабря 1864 г., 37, цз. 30, 1—7; 38, т. 3, 470—471].

В 1875 г. цзунлиямынем были сформулированы следующие шесть компонентов политики самоусиления: 1) подготовка солдат, 2) строи-тельство судов, 3) производство машин (имелось в виду оборудование arsenalov), 4) изыскание средств на содержание войск, 5) привлече-ние способных людей, 6) решимость к длительному проведению всех этих мероприятий [38, т. 1, 26—29]. Когда эти шесть пунктов, сформули-рованные цзунлиямынем, были доведены до сведения провинциальных сановников, большинство из них откликнулось меморандумами, содер-жавшими одобрение указанной политики, а губернатор Шаньдуна Вэнь Линь свой меморандум [37, цз. 96, 31а; 38, т. 1, 38] закончил фразой «если не возникнут внутренних бедствий, можно дать отпор внешним врагам», перекинувшейся с меморандумом великого князя Гуна, Гуй Ляна и Вэнь Сяна.

Отвечая на разосланный в начале октября 1867 г. циркуляр цзун-лиямыня о пересмотре договоров с державами и о введении ряда нов-шеств вроде железных дорог, телеграфных линий и т. д., Ли Хун-чжан наряду с одобрением нововведений в своем ответе рекомендовал цзунлиямыню основное внимание уделить подавлению любых граждан-ских волнений в империи [28, 373]. Даже в меморандуме императору о создании механического завода по западному образцу Ли Хун-чжан предостерегал двор относительно опасности использования антиправи-тельственными элементами достижений западной науки и технологии для борьбы против цинского правительства [11, 305].

¹ Термин «самоусиление» — *цзя цян* упоминается впервые в конфуцианских клас-сиках, где встречается фраза *цзюньцзы цзя цян бу си*, т. е. «совершенный человек не-престанно занимается самоусилением».

Таким образом, мы видим, что на всех мероприятиях, проводившихся в рамках политики «самоусиления», лежала печать тревоги маньчжуро-китайских феодалов за внутривластическое положение страны. Основной целью политики «самоусиления» было военное подавление народных выступлений, и с этой точки зрения цинским правительством расценивалась эффективность любых нововведений и предлагавшихся заимствований из-за границы.

* * *

Сторонники политики «самоусиления», являясь оплотом цинской монархии, осуществляли основные военные мероприятия по подавлению крестьянской войны тайпинов и других восстаний крестьянских масс и неханьских народов империи. После падения Нанкина и гибели государства тайпинов на протяжении 1864—1866 гг. правительственные войска вели борьбу с остатками тайпинской армии в провинциях Цзянси, Аньхуй, Чжэцзян, Фуцзянь и Гуандун. Для уничтожения тайпинских войск в пров. Фуцзянь цинское правительство перебросило части Цзо Цзун-тана, Ли Хун-чжана и Цзэн Го-фаня (части Бао Чао), взаимодействовавшие с судами английского и французского военно-морского флота [11, 243].

Подавление восстания няньцзюней с 1865 г. было возложено на Цзэн Го-фаня, который перебросил на этот театр военных действий части сянской и хуайской армий. После поражения новой хунаньской армии, находившейся под командованием его брата, Цзэн Го-фань был заменен на посту главнокомандующего операциями против няньцзюней Ли Хун-чжаном. Ценой огромных усилий хуайским войскам, снабженным иностранным оружием, удалось подавить это антиманьчжурское и антифеодальное движение, продолжавшееся 16 лет и охватившее восемь провинций: Шаньдун, Хэнань, Аньхуй, Цзянсу, Хубэй, Шэньси, Шаньси и Чжили.

Особой жестокостью отличался идеолог политики самоусиления Цзэн Го-фань, считавший, что, «чем больше будет убито бунтовщиков, тем лучше». В письмах к родным он признавал, что по его приказам все взятые в плен или добровольно сдавшиеся тайпины были казнены. Так, в письме от 19 июля 1861 г. он сообщал, что после взятия Аньцина были казнены 20 тыс. пленных; такое же количество пленных было казнено путем обезглавливания в окрестностях Нанкина. Не отставали от Цзэн Го-фаня и его подчиненные; вскоре после падения Нанкина генерал Бао Чао казнил в Фучжоу 40 тыс. сдавшихся в плен тайпинов [19, 358].

Столь же активную роль, как в подавлении крестьянских восстаний, представители группировки «самоусиления» сыграли в деле жестокой расправы с антиправительственными восстаниями неханьских народов, насильственно включенных в состав цинской империи,— мяо, яо, дунган и др.

Для осуществления своего контроля над населением проводники политики «самоусиления» активно прибегали к военно-политическим методам. Так, сразу после подавления тайпинского восстания они стали восстанавливать архаическую систему *баоцзя* (система круговой поруки) — полицейский контроль над жителями умиротворенных районов. Дин Жи-чан, один из ближайших помощников Ли Хун-чжана, будучи губернатором провинции Цзянсу в 60-х годах, отдал серию распоряжений уездным властям о восстановлении системы *баоцзя* на территории этих уездов. Аналогичные мероприятия проводились и Бянь

Бао-ди, губернатором Хунани в период 1881—1886 гг., опиравшимся при этом на шэньши городов Чанша и Шаньхуа [21, 59].

Представители группировки «самоусиления» использовали для подавления деятельности тайных обществ и укрепления идеологического воздействия на население и такие традиционные формы «управления умами», как *сян юэ* — сельские или общинные собеседования, проводившиеся во всех населенных местностях империи дважды в месяц под контролем местных шэньши. Дин Жи-чан в бытность свою губернатором Цзянсу в 1868 г. послал директиву во все уезды провинции, в которой потребовал представлять ему систематические отчеты о проведении такого рода «собеседований». Он же приказал чиновникам местных органов просвещения проводить собеседования не 2 раза в месяц, как во всей стране, а через каждые 5 дней [21, 193].

Правящая группировка маньчжуро-китайских феодалов, проводившая политику «самоусиления», не только беспощадно подавляла выступления китайского крестьянства и неханьских народов против цинской монархии и феодально-помещичьего и чиновничьего гнета, но и сурово расправлялась с антииностранными, главным образом антимиссионерскими, выступлениями широких масс городского и сельского населения различных районов Китая.

Проводники политики «самоусиления» считали капиталистические державы и их представителей в Китае своими союзниками по борьбе с народными массами. Этот союз, сложившийся еще в период совместного подавления тайпинского восстания маньчжуро-китайскими войсками и англо-французскими эскадрами Протэ и Хоупа, при деятельном участии американских и европейских наемников из отрядов «вечно побеждающей армии» Уорда — Баржевайна — Гордона, продолжался все годы пребывания у власти сторонников политики «самоусиления».

Внешняя политика цинского правительства в период проведения им политики «самоусиления» характеризовалась цепью сплошных уступок домогательствам держав. Цинские сановники не только не обращались к народу за поддержкой в многочисленных случаях нарушения державами суверенитета Китая, но, наоборот, объединялись с агрессорами в борьбе против патриотических выступлений китайского народа.

Так, в период антимиссионерских выступлений, развернувшихся в восточных, центральных и северных провинциях империи с конца 60-х годов XIX в., пекинское правительство под давлением иностранных посланников всегда исполняло требования иностранцев о вмешательстве и шло на уступки миссионерам (оправдание действий местных христиан, отставка неугодных чиновников, уплата компенсаций и т. д.) [36, 18]. В антимиссионерских выступлениях активно участвовали мелкие и средние представители феодального класса — чиновники и шэньши, возмущенные капитуляцией цинского правительства перед чужеземными колонизаторами; многие из них также видели в распространении христианства угрозу своему господству над народными массами. Нередко шэньши были прямыми зачинателями антимиссионерских выступлений: многие волнения совпадали с проведением провинциальных экзаменов на получение ученых степеней [6; 7; 32; 27; 3; 5; 2]. В основе антимиссионерских выступлений народных масс лежали отнюдь не религиозные причины: они выражали стихийный протест китайского народа против агрессии капиталистических держав; участие представителей сословия шэньши — своеобразной феодальной интеллигенции в этих выступлениях объяснялось их патриотическими чувствами. Нельзя сказать, что проводники политики «самоусиления» не замечали бес-

чинств, творившихся иностранными подданными в Китае (мы располагаем большим количеством свидетельств обратного порядка²). Но из-за опасения новых нападений со стороны держав, последовательно уступая иностранному нажиму, с одной стороны, и испытывая панический страх перед возможностью возникновения новых народных выступлений против цинского правительства — с другой, столичные и провинциальные сановники систематически обрушивали репрессии на участников антииностранных выступлений. Правда, в силу своей классовой природы они проводили четкую грань между сословиями, ограничиваясь по отношению к шэньши и чиновникам, повинным в антииностранных выступлениях, сравнительно легкими наказаниями; основная тяжесть репрессий была обращена против крестьян и представителей городских низов. В то же время по мере проникновения в Китай иностранных держав в среде маньчжурской аристократии и высших сановников империи росло убеждение в том, что антимиссионерские выступления масс представляют собой удобную отдушину для выхода народного недовольства и отвращения гнева от цинской династии. Такого рода взгляды получили наиболее широкое распространение к концу XIX в. во время мощного выступления тайного общества ихэтуаней в Северном Китае, деятельность которого на определенном этапе получила одобрение придворных кругов Пекина.

Первые массовые выступления китайского населения против иностранных миссионеров произошли в 1862 г. в провинциях Цзянси и Хунань; эти выступления серьезно встревожили правящую верхушку. Во время антимиссионерских волнений в г. Наньчане губернатор пров. Цзянсу — Чэнь Бао-чжэн доносил в Пекин: «Я узнал о разговорах, ведущихся в городе. Повсюду говорят, что чиновники угрожают иностранцам и подавляют простой народ. Народ возмущен, и я боюсь, что он снова начнет бунтовать» [13, 105]. О повсеместной враждебности населения Китая и особенно чиновничества к иностранцам сообщал в 1864 г. в письме в Санкт-Петербург из Пекина царский дипломат Влангали:

«Открытие империи иностранцам, принятие некоторых из последних на службу совершенно переворачивает все старые понятия китайцев и так как они были приведены к тому насильственно, то общее недовольство чиновного класса в особенности к иностранцам не может не существовать. Как консерваторы, так и предполагаемые люди прогресса одинаково готовы были бы выгнать европейцев и обратиться к

² Цинское правительство робко протестовало против агрессивной политики держав. По донесению царского посланника в Пекине Влангали в Санкт-Петербург в мае 1871 г. великий князь Гун просил итальянского короля Виктора-Иммануила, чтобы тот «употребил свое влияние на папу, чтобы изменить положение католических миссионеров в Китае и воспретить им действия, оскорбляющие законы и обычаи страны» (1, Главный архив, 1—9, оп. 8, д. 7, л. 335). В беседе с английским миссионером Т. Ричардом в 1880 г. Ли Хун-чжан сказал тому, что китайцы-христиане «собираются вокруг вас потому, что они и их друзья находятся на вашей службе и живут за счет этого. Отберите плату у этих местных агентов, и здесь не будет больше христиан» [23, 272]. В докладе Ли Хун-чжана цзунлиямыню от 1 июня 1886 г. отмечалось, что необоснованные домогательства миссионеров вызывают глубокое недовольство чиновников и простого народа [35, цз. 66, 23]. Китайский посланник в Англии Сюэ Фу-чэн в своей докладной записке от 25 декабря 1891 г., касаясь антимиссионерских выступлений в долине Янцзы, отмечал, что они были вызваны провокационными действиями китайских христиан [35, цз. 84, 38]. Великий князь Гун, прощаясь в 1869 г. с отъезжавшим на родину английским посланником Олькоком, заметил: «Жаль, что вы не увозите с собой опиума и миссионеров». Подобного рода примеров можно было бы привести немало. Однако каждый раз, когда иностранные державы оказывали нажим на цинских сановников, угрожая военными действиями, они бесславно капитулировали.

«прежнему порядку. Мелкое чиновничество в особенности недоброжелательно смотрит на иностранцев...» [1, Главный архив, 1—9, оп. 8, д. 7, лл. 56—58].

В 1868 г. вспыхнул антимиссионерский бунт в Янчжоу; подстрекателями народа к антимиссионерским выступлениям выступили местные шэньши.

Российский поверенный в делах в Пекине Бюцов сообщал в октябре 1869 г., что в ходе антимиссионерских волнений, вспыхнувших осенью 1868 г. в Аньцине в период проводившихся там провинциальных государственных экзаменов, роль подстрекателей населения против англичан играли шэньши, отличавшиеся, по характеристике русского дипломата, слепой приверженностью к старине и категорически отрицавшие превосходство чего-либо иноземного над китайским. Китайские чиновники, писал Бюцов, не пропускают удобного случая нажиться на сборе контрибуции и средств на возмещение убытков, причиненных миссионерам, «не возбуждая против себя гнева народа, а отводя его на иностранцев» [Главный архив, 1—9, оп. 8, д. 11, л. 43].

В 1870 г. Китай, по словам английского историка Стэнли Райта, «был до краев полон антииностранными чувствами, о чем наглядно свидетельствовали покушение на французского поверенного в делах в Тайюани, сильные антимиссионерские выступления в самых различных и далеко отстоящих друг от друга районах — на Тайване, в Чифу, Янчжоу, Фучжоу, Учане, Тамсуне, Сватоу, Юане в Сычуани и Цзуньи в Гуйчжоу...» [28, 395]. Наиболее крупным антимиссионерским выступлением явились события июня — июля 1870 г. в Тяньцзине, в которых участвовало несколько десятков тысяч человек. Императорский уполномоченный по торговле в северных портах Чун Хоу, имевший резиденцию в Тяньцзине, признавал в докладе императору, что солдаты тяньцзиньского гарнизона, хогя и не принимали участия в нападениях на иностранцев, тем не менее ненадежны, и просил императора о присылке в Тяньцзинь новых войск. Чун Хоу сомневался также и в местных чиновниках и шэньши, относя их к соучастникам антииностранных выступлений. Он откровенно радовался прибытию в Тяньцзинь иностранных военных кораблей, облегчавших ему задачу «справиться с чернью» [10, лл. 271—273]. Назначенный правительством для расследования причин волнений императорский наместник пров. Чжили — Цзэн Го-фань, один из главных идеологов и проводников политики «самоусиления», а затем сменивший его Ли Хун-чжан сурово расправились с участниками тяньцзиньских событий.

Уступая нажиму Франции, маньчжуро-китайские власти казнили 15 участников тяньцзиньских событий, а 21 подвергли различного рода наказаниям (характерно, что требование французов о казни начальников городского и уездного управлений и командующего войсками провинции цинскими властями удовлетворено не было — первые два были сосланы в пров. Хэйлунцзян, а последний только снят с поста) [19, 308—321]. Поведение Цзэн Го-фаня, испугавшегося угрозы Франции начать войну против Китая и позорно признавшего вину китайской стороны в возникновении тяньцзиньских событий, вызвало волну патриотического негодования по всей стране. В Тяньцзине распространялись памфлеты тайного общества «Воды и огня», осуждавшие капитулянтскую политику Чун Хоу и Цзэн Го-фаня [19, 312], а хунаньское землячество в Пекине официально исключило имя Цзэн Го-фаня из списка своих почетных земляков в знак протеста против его непатриотического поведения при расследовании тяньцзиньских событий [1, Главный архив, 1—9, оп. 9, д. 7, лл. 377—379]. Цинское правительство уплатило Франции крупную сумму

в возмещение убытков и направило в Париж Чун Хоу во главе специальной миссии, которая должна была принести извинения французскому правительству за убийство в ходе тяньцзиньских событий французского консула и нескольких миссионеров.

Антифеодальные, антиправительственные и антииностранные выступления, а также антимиссионерские волнения в различных провинциях Китая, организованные тайными обществами, не прекращались на всем протяжении 60—90-х годов, когда у власти в стране находились сторонники политики «самоусиления».

* * *

В третьей лекции Сунь Ят-сена о принципе «национализма», прочитанной в начале 1924 г. в Гуанчжоу, содержится интересное свидетельство о проведенной Цзо Цзун-таном операции по борьбе с тайными обществами «Гэлаохуй», которая на время подорвала влияние общества в армии. В 1868—1869 гг. при перебазировании армии Цзо Цзун-тана из бассейна Янцзы в Северо-Западный Китай и Синьцзян для подавления дунган, уйгуров, узбеков, казахов, киргизов и других неханьских народов, восставших против цинского режима, командованию стало известно, что состав армии, укомплектованной в основном из бывших хуайских и сяньских войск, участвовавших в операциях против тайпинов, почти полностью входит в тайные общества «Гэлаохуй» и слепо подчиняется распоряжениям их руководителей. Цзо Цзун-тану обманым путем удалось самому проникнуть в члены «Гэлаохуй» и даже стать главарем общества «далунтоу» — «Большой драконовой головой». Когда Цзо Цзун-тану стали известны секреты «Гэлаохуй», он разгромил все эшелоны руководства обществами в своей армии и ликвидировал все линии их внешних связей [34, т. 2, 618—619]. Еще раньше по рекомендации Цзо Цзун-тана цинское правительство 29 числа 9 месяца 6 года правления Тунчжи (1 ноября 1867 г.) приняло решение о запрещении обществ «Гэлаохуй». В своем меморандуме Цзо Цзун-тан указывал на активизацию деятельности этих обществ среди солдат в провинциях Лянцзян, Лянху, Гуйчжоу, Сычуань и бурное распространение их деятельности в провинциях Шэньси и Ганьсу в связи с переводом туда войск. Правительство приказывало строжайшим образом наказывать главарей и рядовых участников обществ, особенно среди офицеров и солдат правительственных войск и среди гражданских чиновников всех степеней. В указе правительства обращалось внимание на необходимость беспощадной борьбы с примкнувшими к «Гэлаохуй» бродячими отрядами бывших помещичьих ополчений, распущенных в связи с окончанием кампании против тайпинов. Властям вменялась в обязанность широкая циркуляция данного указа среди армии и гражданского населения [30, цз. 211, 3-6—5-а].

Как отмечал в той же лекции Сунь Ят-сен, среди солдат правительственных и местных помещичьих войск, подавлявших крестьянские восстания середины XIX в., кроме «Гэлаохуй» большим влиянием пользовались и другие тайные общества, многие из которых сохранились и до периода республики (например, «Цинбан» и «Хунбан»).

Дипломатические представители капиталистических держав пристально следили за деятельностью тайных обществ, постоянно требуя от маньчжуро-китайских правителей проведения активных карательных мероприятий против антииностранных выступлений китайского народа.

Далеко не случайно в различных провинциях Китая участились в эти годы антииностранные, преимущественно антимиссионерские, выступления. К началу 90-х годов в Китае вели активную деятельность 628 европейских и 335 китайских священников католической церкви; под их непосредственным контролем находилось 541 720 китайцев-христиан, 24 900 проповедников-китайцев, 2942 церкви и часовни, 1850 миссионерских школ с 31 625 учащимися и 36 духовных семинарий с 744 учащимися [9, 51]³. По договорам, навязанным Китаю державами, иностранные миссионеры имели право свободного передвижения по стране для проповеди христианской религии; им разрешалось покупать и арендовать земли в любой части страны, возводить на этих землях здания; на миссионеров не распространялись китайские законы.

Деятельность миссионеров протекала на общем фоне активизации колониальной политики держав в Китае в последней четверти XIX в.; к 1890 г. цинское правительство оказалось вынужденным открыть для иностранной торговли уже в общей сложности 32 портовых города империи [4, 47—50, табл. 32].

Антииностранные (главным образом антимиссионерские) выступления в различных провинциях Китая, разрозненные и стихийные, отражали глубокое возмущение различных классов и слоев китайского общества усилением агрессивной политики держав в Китае в тот период, когда в ведущих капиталистических странах происходил переход капитализма в империалистическую стадию. Каждый новый акт иностранной агрессии вызывал решительное патриотическое сопротивление народных масс; антимиссионерские выступления особенно усилились в связи с войной с Францией во Вьетнаме 1884—1885 гг.; 4 октября 1884 г. в Вэньчжоу (пров. Фуцзянь) население разгромило помещения различных иностранных религиозных миссий, дома, в которых проживали иностранцы [25, 96—102]. В 1884—1885 гг. отмечалась волна антииностранных выступлений в Гуандуне, Сычуани, Юньнани, Гуйчжоу, Шэньси и Шаньси. В июле 1886 г. происходили антимиссионерские бунты в Чунцине и других уездах пров. Сычуань. 15 июля 1886 г. Ли Хунчжан сообщал в цзунлиямынь о массовых выступлениях населения Чунцина против миссионеров и китайцев-христиан [35, цз. 67, 24]. В 1887 г. в уезде Фуансянь (пров. Фуцзянь) население сожгло 4 католические церкви [1, ф. Китайский стол, д. 421, л. 42].

5 февраля 1889 г. в Чжэньцзяне (пров. Цзянсу) население, возмущенное самоуправством иностранцев, разгромило ряд зданий, принадлежавших иностранцам [1, ф. Китайский стол, д. 415, лл. 98—99]. В начале июня 1889 г. имели место антибританские выступления в Ханькоу [1, Главный архив, У—Аз, д. 5].

После того как в 1890 г. под нажимом Англии, Франции и США цинские правители объявили о предстоящем в марте 1891 г. открытии для иностранной торговли г. Чунцина, весной 1891 г. в различных провинциях, расположенных в бассейне р. Янцзы, поднялась новая волна антииностранных выступлений, инициаторами которых стали местные отделения тайного общества «Гэлаохуй», у руководства которым находились шэньшйские элементы. Антииностранные волнения, начавшиеся 20 апреля 1891 г. в г. Янцжоу, были подавлены вооруженной силой [1, ф. Китайский стол, д. 763, лл. 8—9]. Получив известия о волнении в г. Уху в 1891 г., цзунлиямынь срочно предписал наместнику в Нанкине направить в Уху военные суда «для подавления волнений

³ Протестантские миссии в Китае в 1890 г. располагали штатом около 6000 человек [17, 83].

и поддержания порядка». Наместнику было приказано также срочно направить в Уху чиновника для расследования причин беспорядков и наказания виновных. В своей телеграмме цзунлиямынь обращал внимание на необходимость принятия решительных мер против распространения антимиссионерских листовок [35, цз. 84, 23]. Присланные по настоянию английского консула в Уху из Нанкина три китайские канонерки содействовали подавлению антииностранного бунта [1, ф. Китайский стол, д. 763, лл. 9—10; д. 109, лл. 111—114]. В мае 1891 г. также произошли выступления в Аньцине (пров. Аньхуй), Нанкине и Ханьяне, а также в Усюэ (на Императорском канале) и Уси. В Тяньцзине, Шанхае, Уху, Ханькоу и Учане широко распространялись прокламации против иностранцев [2; 5, 76].

Под давлением дипломатического корпуса 26 мая 1891 г. цзунлиямынь издал «оповещение», предписывавшее наказывать участников волнений, угрожавшее сурово карать за любое «буйство», направленное против личности и имущества иностранцев, и предупреждавшее местные власти, что последние будут строго наказаны «за непринятие мер к предупреждению волнений и бездействие» [1, ф. Китайский стол, д. 109, лл. 114—115]. 13 июня 1891 г. цинское правительство опубликовало императорский указ, в котором местным властям строго приказывалось «защищать жизнь и имущество иностранных купцов и миссионеров и не допускать, чтобы бесчестные люди причиняли им неприятности...» [5, 77—78]. Однако репрессии не предотвратили дальнейшего распространения волнений в бассейне Янцзы. Местные власти в Ханчжоу были вынуждены запросить дополнительные войска; в Ханькоу и Цзюцзяне выступления были предотвращены совместными угрожающими демонстрациями иностранных и китайских военных судов. Деятели цзунлиямыня — этой твердыни сторонников «самоусиления» — были серьезно обеспокоены повсеместным ростом антимиссионерского движения, кое-где перераставшего в антиправительственные выступления. Касаясь причин антимиссионерских выступлений, сановники цзунлиямыня в первую очередь отмечали активизацию тайных обществ. В докладе указывалось, что во всех провинциях по берегам Янцзы «бродят» многочисленные представители «разбойных союзов», повсюду расклеивая свои афиши, возбуждающие народные чувства и вызывающие смуты. Отмечалась и вина самих миссионеров, оказывавших покровительство преступным элементам, однако главной причиной цзунлиямынь считал «фабрикацию» и распространение «необоснованных и злостных слухов» против миссионеров; в этой связи считалось необходимым издать императорский указ, обязывающий провинциальные власти запретить народу слушать эти «злостные слухи» и «создавать конфликты», а также подвергать строжайшему наказанию авторов анонимных прокламаций.

В заключение доклада указывалось, что в связи с повсеместными инцидентами уже казнены «два предводителя преступников» [1, ф. Китайский стол, д. 763, л. 24; д. 109, лл. 146—147].

Однако беспорядки не прекращались. Дипломатический корпус в Пекине трижды делал новые представления правительству (6 и 12 августа и 9 сентября 1891 г.). Многие иностранные наблюдатели были склонны считать, что выступления в своей основе были не столько антииностранными, сколько антидинастийными и руководились тайным обществом «Гэлаохуй», стремившимся спровоцировать конфликт цинского правительства с державами [28, 623].

Английский резидент в Шанхае Драммонд обращал внимание на несомненную связь антимиссионерских и антииностранных выступле-

ний 1891—1892 гг. с активизацией антиманьчжурских тайных обществ. Он отмечал, что народное недовольство, возбуждаемое тайными обществами, охватило значительную часть Северного и Центрального Китая; наиболее беспокойными, писал он, являются провинции по р. Янцзы. Центр деятельности тайных обществ находится в Нанкине. Своей задачей тайные общества, по мнению Драммонда, ставили усиление разногласий между цинским правительством и иностранцами и намеревались, пользуясь военным конфликтом с державами, поднять восстание против цинской династии⁴.

Наибольшую активность в антимиссионерских выступлениях начала 90-х годов XIX в. в Центральном и Восточном Китае — провинциях Аньхуй, Цзянсу, Цзянси, Хубэй, Сычуань и Фуцзянь — также проявляло тайное общество «Гэлаохуй». Об этом, в частности, сообщал поверенный в делах России в Пекине Клейменов, считавший антидинастийные тайные «общества братьев-стариков», как он переводил название «Гэлаохуй», «главным двигателем настоящих народных волнений». Они, писал он, распространяют в городах «прокламации, приглашающие народ к открытому восстанию». Члены «Гэлаохуй» развили большую активность в пров. Фуцзянь, где членские билеты общества, напечатанные на кусках холста, пользовались большим спросом у населения. Как писал русский консул в г. Фучжоу Д. Д. Покотилов, «билеты эти выдаются лишь за известную плату, и то обстоятельство, что расчётливые и бережливые китайцы приобретают такие свидетельства, не останавливаясь перед расходами, служит явным доказательством популярности целей общества» [1, ф. Китайский стол, д. 763, л. 18]. Китайский посланник в Лондоне Сюэ Фу-чэн также указывал на связь народных выступлений в долине Янцзы с деятельностью тайных обществ, стремившихся возбудить «беспорядки» против цинского правительства [22, 16].

На севере Китая в это время, по сообщениям дипломатических представителей, активизировали свою деятельность тайные общества «Цзиньданьдао» и «Цзайли». Как отмечает советский историк Н. М. Калюжная, борьба народных масс в Северном Китае, где в ноябре 1891 г. разразилось крупное восстание в пров. Жэхэ, носила ясно выраженный антифеодальный и антидинастический характер в отличие от бассейна Янцзы, где волнения имели преимущественно антииностранную окраску [5, 78—79]. Лозунгами повстанцев в пров. Жэхэ были: «Да возвысится великая минская династия и да падет цинский дом» [8, 7]. Цинское правительство направило для подавления восстания в Жэхэ, во главе которого выступало тайное общество «Цзайли», крупные воинские силы; в боях было убито 15 тыс. повстанцев, около 20 тыс. членов общества «Цзайли» было казнено карателями. Под влиянием этого восстания произошли также антиправительственные выступления в ряде уездов провинций Чжили и Фынтянь, также жестоко подавленные властями.

Совместные попытки представителей иностранных держав и цинского правительства подавить народные выступления против миссионеров и иностранцев не имели успеха. Народное движение захватило все среднее течение Янцзы и перекинулось также на приморские провинции и север Китая. Волна выступлений была подавлена лишь к 1893 г.

⁴ [14, 81—82]. Этот сборник содержит материалы, знакомящие с антимиссионерскими выступлениями в провинциях Китая, расположенных в бассейне Янцзы. В сборник включены сообщения иностранных корреспондентов, заметки из газет и журналов, переводы документов и материалов об антимиссионерских выступлениях китайского народа.

Одним из последних народных выступлений 1890—1893 гг. был бунт против шведских миссионеров в Сунпу (пров. Хубэй); инцидент закончился подписанием соглашения между наместником Чжан Чжи-дунем и генеральным консулом Швеции в Шанхае, по которому китайские власти обязались казнить виновников-китайцев, выдать миссионерам вознаграждение и восстановить разрушенные здания миссии [2, 228].

После поражения цинской империи в войне с Японией в 1894—1895 гг., ознаменовавшего полный провал политики «самоусиления», высшие сановники империи, ответственные за эту политику, продолжали беспощадно подавлять любые антиправительственные и патриотические выступления народных масс, действуя в качестве верных приказчиков иностранных держав. После японо-китайской войны деятельность тайных обществ заметно активизировалась, принимая то антимиссионерскую, то антиправительственную окраску [24, 17]. В знак протеста против унижительных условий Симоносекского мирного договора 28 мая 1895 г. вспыхнуло восстание в Чэнду (пров. Сычуань), а в июле того же года — в Гутяне (пров. Фуцзянь). В обоих случаях выступления руководились тайными обществами и были направлены главным образом против деятельности иностранных миссионеров; дважды правящие круги цинской империи вынуждены были примириться с посылкой в районы восстаний иностранцами военных кораблей и специальных иностранных следственных комиссий. В Гутяне организатором восстания выступило тайное общество «Чжайцзяо» — «Соблюдающих пост», насчитывавшее на территории Фуцзяни около 12 тыс. членов. Русский консул в Фучжоу Попов отмечал, что члены тайного общества пользуются «общей любовью и уважением» [1, ф. Китайский стол, д. 180, л. 45]. Основная масса членов общества состояла из крестьян-бедняков; в восстании участвовали ремесленники, угольщики, лесорубы, носильщики, владельцы мелких лавок и предприятий, крестьяне-сердняки, а также солдаты, эвакуированные с Тайваня (после перехода острова Японии) и оставшиеся без всяких средств к существованию. Руководитель «Соблюдающих пост» Ган Гуэ, известный под кличкой «Ногти длинных пальцев», принадлежал к сословию шэньши [12, 94—95]. Провинциальные власти заигрывали с восставшим народом, разжигая ненависть к иностранцам и стремясь тем самым отвести удар от самих себя; среди местных чиновников и шэньши также было широко распространено недовольство иностранной агрессией в Китае. Пекинское правительство, приняв участие в расследовании восстания, совместно с представителями Англии и США (деятельность комиссии протекала под охраной китайских войск и иностранных судов) подвергло казни 26 и сослало 17 наиболее активных повстанцев [1, ф. Китайский стол, д. 180, л. 76]. Несмотря на такую суровую расправу с народным движением, оно вскоре вспыхнуло с новой силой; в конце 1895 г. произошел ряд новых восстаний, как в провинции Фуцзянь, так и в соседней провинции Гуандун. Наиболее крупным из них было нападение на иностранные миссии в Сватоу в сентябре 1895 г. В октябре 1895 г. «Чайна мэйл» писала о повсеместном росте антииностранных настроений и о распространении в южных провинциях Китая антииностранных листовок и памфлетов [12, 98].

Пекинское правительство и в период развернувшегося в 1895—1898 гг. движения за реформы было бессильно справиться с нараставшей волной антииностранных выступлений; после дворцового переворота Цыси в сентябре 1898 г. в придворных кругах активизировались сторонники использования этих выступлений в целях укрепления цинского режима. В период восстания ихэтуаней в Северном Китае в

1899—1900 гг. цинское правительство на какое-то время официально поддержало антииностранные выступления народных масс, но вскоре, напуганное масштабами этих выступлений, пошло на позорную капитуляцию перед империалистическими державами.

ЛИТЕРАТУРА

1. АВПР.
2. Гаранин И. П., Антимиссионерское движение в Китае в конце XIX в., — «Вопросы преодоления религиозных пережитков в СССР», М.—Л., 1966.
3. Гаранин И. П., Китайский антихристианский лубок XIX в., — «Ежегодник музея истории религии и атеизма, IV», М.—Л., 1960.
4. «История экономического развития Китая в 1840—1948 гг.», М., 1968.
5. Калюжная Н. М., Антимиссионерские выступления в Китае (1886—1893), — «Краткие сообщения Института народов Азии», № 66, 1963.
6. Моница А. А., Из истории тяньцзиньских событий 1870 г., — «Краткие сообщения Института народов Азии», № 55, 1962.
7. Нарочницкий А. Л., Колониальная политика капиталистических держав на Дальнем Востоке (1860—1895), М., 1956.
8. Позднеев А., О последнем китайском восстании в Юго-Восточной Монголии и о причинах противохристианских восстаний в Китае вообще, СПб., 1896.
9. Путята Д. В., Китай. Очерк географии, экономического состояния административного и военного значения пограничной с Россией полосы, СПб., 1895.
10. Рукописный отдел БЛ, ф. 273 (Скачков К. А.), д. 2878.
11. Фань Вэнь-лань, Новая история Китая, т. I, М., 1955.
12. Фурсенко А. А., Борьба за раздел Китая.
13. Ху Шэнь, Агрессия империалистических держав в Китае, М., 1951.
14. The Anti-Foreign Riots in China in 1891, Shanghai, 1892.
15. Beckman G. M., The Modernization of China and Japan, 1962.
16. Chen G., Tseng Kuo-fan, Peiping, 1935.
17. The Chinese Record and Missionary Journal, 1890, Februar.
18. Feuerwerker A., China's Early Industrialisation, Sheng Hsuan — huai and Mandarin Enterprise, Cambridge, 1958.
19. Hail W. J., Tseng Kuo-fan and the Taiping Rebellion, New Haven, 1927.
20. A History of East-Asian Civilization (by J. K. Fairbank, E. O. Reishauer, G. M. Craig), Boston, 1965.
21. Kung-Chuan Hsiao, Rural China. Imperial Control in the Nineteenth Century, Seattle, 1960.
22. Parliamentary Papers, China, London, 1891 (№ 3).
23. Price M. T., Christian Missions and Orient civilizations. A study in culture contacts, Shanghai, 1924.
24. Reid G., The sources of antiforeign disturbances in China, Shanghai, 1903.
25. Scott G., Twenty-six years of missionary work in China, London, 1897.
26. United States Foreign Relations, 1895.
27. Yawata Toshihiko, The Attitude of Chinese Officials toward the anti-foreign Riots in 1891 (Studies on Modern China, № 1), Tokyo, 1958.
28. Wright Stanley F., Hart and the Chinese Customs, Belfast, 1960.
29. Ван Тянь-цзян, Китайские тайные общества во второй половине XIX в., — «Лиши яньцзю», 1963, № 2.
30. Дацин личао шилу.
31. Дацин Муцзун и хуанди шилу.
32. Ли Ши-юэ, Движение против иностранной религии на протяжении 30 лет, предшествовавших китайско-японской войне, — «Лиши яньцзю», 1958, № 6.
33. Моу Ань-ши, Ян у юньдун, Шанхай, 1960.
34. Сунь Чжун-шань сюань цзи (Избранные произведения Сунь Ят-сена в 2-х томах), Пекин, 1956, т. 2.
35. Цин цзи вайцзяо шилуо.
36. Цуй Цзи-энь, Борьба населения Аньхуэя против иностранных миссионеров в конце династии Цин, — «Аньхуэй шисюэ тунсюнь», 1957, № 3.
37. Чоу бань и у ши мо.
38. Ян у юнь дун, Шанхай, 1961.

Д. И. Тихонов

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНАХ

Термины, будь то социальные или культурно-этнические, всегда представляли интерес для Б. И. Панкратова. Поэтому здесь уместно будет коснуться некоторых терминов, бытовавших у монголов и уйгуров. Наличие одних и тех же терминов у народов, живущих по соседству в течение многих столетий, сохранявших политический и культурный контакт, явление вполне нормальное. Если же принять во внимание, что уйгуры длительное время находились в вассальной зависимости от монголов, то неизбежно должно происходить заимствование некоторых элементов культуры, наиболее важных слов, терминов и т. д.

Обычно авторы, изучающие налогообложение в Средней Азии, в Закавказье, в Иране, высказывают мнение о том, что налоговые термины *калан*, *купчур* — монгольские. Такое предположение высказывалось на том основании, что в персидских источниках термины *калан* и *купчур* стали появляться после монгольского завоевания. До монгольского завоевания в Иране, и, видимо, не только в Иране, основной налог был харадж, и лишь после прихода монголов появился новый налоговый термин — *купчур*. В свое время Катрмер указал на первоначальное смысловое значение слова *купчур* — «пастбище» [6, 256]. Последующие исследователи этого термина до настоящего времени исходят из этого замечания Катрмера, но Катрмер исходил из персоязычных источников. Приняв за исходное, что термин *купчур* монгольский, а монголы были кочевники, следовательно, взимали пастбищный сбор. При этом упускается из виду то, что после того, как они завоевали страны с оседлым населением, где было развито земледелие, имелись большие города, монголы своим привычным термином *купчур* стали называть налоги, взимавшиеся с оседлого земледельческого и городского населения.

В «Сокровенном сказании», представляющем самый ранний письменный монгольский памятник, датируемый 1240 г., терминов *калан* и *купчур* нет. Отсутствие их можно объяснить и тем, что «Сокровенное сказание» представляет скорее эпический памятник, поэтому не может быть в нем налоговых терминов. Подобное возражение вполне уместно, и его следует учитывать. В памятниках квадратного письма, написанных значительно позднее «Сокровенного сказания», термин *купчур* имеется, но приводится одновременно с термином *албан* — *албан-купчур*. Употребление одновременно двух терминов, может быть, следует объяснить тем, что они были равнозначны по содержанию. Если это действительно так, то монгольский термин *албан* стал употребляться

одновременно с другим, которого прежде не было в монгольском языке,— *купчур*. Едва ли здесь происходило одно только механическое совмещение двух терминов. Несомненно, старый термин принимал новое содержание. Но со временем новый термин вошел в обиход и употреблялся самостоятельно. В памятниках квадратного письма налоговый термин *калан*, видимо, еще не появлялся. В таком случае можно предполагать, что он стал употребляться позднее *купчура* или же не имел такого распространения среди монголов.

Уйгурский идикут Баурчук признал себя вассалом Чингисхана в 1211 г. В таком случае налоговые термины *калан* и *купчур* и налоги под этими названиями начали взиматься в XIII в. Но в уйгурских документах имеются свидетельства, указывающие на сбор *калана* и *купчура* до того, как монголы подчинили себе Среднюю Азию, Закавказье, Иран. В одном из документов сказано: «Мое слово Таиынчаку, из твоего проса, которое ты платишь в качестве купчура, отдай этому Шамизу Таишма три кури проса. Я собираю ясак для хана» [7, № 69]. Термин *ясак* стал употребляться уйгурами после подчинения монголам, наличие двух терминов, *купчур* и *ясак*, есть свидетельство того, что документ был написан во время монгольского господства.

О термине *калан* говорится в прошении виноградарей инджу на имя Кутлук-хана: «...распределяя *калан*, садовникам инджу не дал *калан*», а в конце говорили: «в этом году умрем, если обязаны будем с каждого мужчины платить два *албана*» [7, № 22]. Автор жалобы, видимо, не мог допустить ошибку, когда на протяжении всего текста документа употреблял слово *калан*, а в самом конце заменил его другим словом — *албан*. Для него они одинаково означали государственный налог. Жалоба виноградарей написана на имя Кутлук-хана, правившего в середине XIV в.

В монгольский период налоговые термины *купчур*, *калан*, *албан* употреблялись как равнозначные по содержанию. Ими обозначался государственный налог. Следовательно, вопрос состоит в том, какие из них встречаются раньше в письменных источниках. Налоговые термины *калан* и *купчур* имеются в древнеуйгурских текстах. *Купчур* называется в ярлыке Кадыр-хана [7, № 88], а *калан* — в «Обязательстве общин» [7, № 77].

В литературе иногда встречаются указания на то, что уйгурские документы были написаны в XIII—XIV вв. Однако изучение их приводит к выводу, что некоторые из них следует относить к более раннему времени (по Радлову, док. № 26, 43, 77, 78, 88, 92).

В. В. Радлов замечает, что документ № 88, т. е. ярлык Кадыр-хана, не имел печати, следовательно, мог представлять лишь черновой вариант или копию, а не текст грамоты, принявший законную силу после фиксации на ней печати Кадыр-хана. Каковы бы ни были причины отсутствия печати на грамоте, дошедшей до нас, мы не можем не принимать ее во внимание при изучении социальных терминов. В ней зафиксировано действительное положение вещей. Самое главное состоит в том, чтобы установить время написания ее.

Когда же была написана «Жалованная грамота»? Особенности орфографии, своеобразие терминов дали возможность В. В. Радлову отнести некоторые документы к раннему времени. По его мнению, документы 22, 26, 43, 77, 78, 88, 92 написаны до подчинения монголам Уйгурского государства. Языковые признаки являются убедительным доводом в датировке текстов, но если бы, кроме языковых признаков, отмеченных В. В. Радловым, удалось установить время правления Елик Кадыра, от имени которого составлен ярлык, то все решилось бы само собой.

В числе имен монгольских ханов имя Елик Кадыра не встречается. Следовательно, его надо искать в других династиях, правивших в одном из государств на территории нынешней провинции Синьцзян. Действительно, среди караханидов были правители с именем Кадыр.

В. В. Радлов в предисловии к изданию «Кудатгу-билика», сводя данные арабских авторов и нумизматические сведения, называет правителя из караханидов с именем Елик Кадыр, умершего в 423/1031-1032 г. Вот что пишет Ибн ал-Асир: «Против него (Арслан-хана. — Д. Т.) восстал Кадырхан Иусуф ибн Бугра хан Харун ибн Сулейман, который владел Бухарой». И несколько далее продолжает: «Кадыр-хан был человеком справедливым, прекрасного поведения и благородных поступков, вел много войн. Одним из его завоеваний был Хотан. Это страна между Сином (Китаем) и Туркестаном. Там много ученых и литераторов. И там Кадыр-хан оставался до 423/1031-1032 г. В этом году он скончался» [5, 210—211]. О Кадыр-хане, правителе Хотана в первой половине XI в. из караханидов, носивших титул илеков, имеются сведения и у другого восточного автора, которые сообщает В. В. Григорьев [2, 199].

В. В. Бартольд в своей работе «Очерк истории Семиречья» также пишет о Кадыр-хане Юсуфе из караханидов, правившем в Хотане. По данным нумизматики, он правил Яркендом в 1013—1014 гг., а в следующем, 1015 г. значится правителем Кашгара. Умер он, по одним сведениям в 1031 г., а по другим — в 1032 г. [1, 27]. Все авторы имеют в виду одного и того же Кадыра из караханидов, именовавшихся илеками.

Если же Кадыр-хан, правитель Хотана, и Елик Кадыр, жаловавший землю Мурутлукскому монастырю, одно и то же лицо, то «Жалованная грамота» была написана до 1031—1032 гг. одним из представителей караханидов, когда их государство было сильным в политическом отношении и охватывало обширную территорию, включая Хотан.

В пользу такого предположения можно было бы добавить еще один довод. В грамоте имеется термин *сангик-сангикик*, встречающийся в документах карошты из пров. Синьцзян, относящихся примерно к III—V вв. Буддийский термин *самгина* сохранился и позднее, как видно из текстов, приняв другое окончание, свойственное уйгурскому языку. Поскольку прослеживается ряд признаков, совпадающих во времени, то, казалось бы, можно «Жалованную грамоту» Елик Кадыра отнести к первой половине XI в. Но здесь следует принять во внимание следующие соображения. Грамота была найдена Турфанской экспедицией Грунведеля, а Турфанский оазис не находился в зависимости от караханидов. При этом караханиды были мусульмане, а пожалование делалось не мусульманскому религиозному учреждению. Конечно, эти возражения весьма существенны и их следует принимать во внимание.

Кадыр, имевший свою резиденцию первоначально в Хотане, мог пожаловать землю и виноградники буддийскому или же несторианскому монастырю в период укрепления власти. Эта идея ясно изложена в ярлыке. Монастырь должен молиться об укреплении его, Елик-Кадыра, могущества. Возможно, караханиды пытались продвинуться на восток и во время такого продвижения возникла рассматриваемая грамота. Если такое событие произошло, то, вероятно, его следует относить к тому времени, когда Кадыр правил в Кашгаре.

Конечно, «Жалованную грамоту» мог написать другой Кадыр, не из караханидов. Во время правления караханидского Кадыр-хана в Хотане и Кашгаре был другой Кадыр, о котором упоминает В. В. Григорьев в своей работе «Караханиды в Мавераннахре».

За последнее время социальные термины и титулы династий Центральной Азии привлекали внимание ряда исследователей. В данном

случае следует указать на статью О. Прицака. И все же необходимо заметить, что появление его статьи «От карлуков к караханидам», в которой много внимания уделено титулам названных династий, не облегчает решение нашего вопроса. Кадыр по-прежнему остается загадочной личностью.

Сложно ответить на вопрос о том, когда правил автор «Жалованной грамоты». Предположение, что автором был один из караханидских кадыров, остается пока лишь предположением, как было показано ранее, а другое лицо, которое можно было бы связать с именем, названным в «Жалованной грамоте», пока не удалось выявить. Сравнение полного титула Елик Кадыра с титулами, имеющимися в других документах, тоже не дает возможности окончательно решить вопрос. В самом начале «Жалованной грамоты» дан титул «*Кадыр билга тангри елик куты*», в других документах, опубликованных В. В. Радловым и С. Е. Маловым, имеется подобный же титул. Так, например, в № 26 читаем: «Тангри боку танрикамис Кул-билга тангри еликнинг». Кадыр встречается в документе № 92: «Кутлук Турмиш Кадыр Чиксы чсангдун». Полного совпадения титулов в приведенных случаях нет, но отдельные элементы повторяются.

В. В. Радлов на заседании Восточного отделения Археологического общества в 1908 г. в докладе об «Уйгурских фрагментах, открытых в Восточном Туркестане», говорил, что только уйгурские ханы конца VIII и начала IX в. носили титул «*Кутлук Билга ат тенгрита кут балмиш Каган*» [3, XIX—XX].

В «Жалованной грамоте» нет кагана, следовательно, ее автор не имел этого титула и надо искать другие параллели.

Если мы обратим внимание на титулы «Жалованной грамоты» и документа № 26, то обнаружим общее в них, что позволяет высказать предположение о близком времени их происхождения. Такое же сходство титулов мы видим в документах № 26 и 92. Если сходство титулов в какой-то степени является приемлемым аргументом, то все три документа следует отнести примерно к одному и тому же времени.

При сравнении начала «Жалованной грамоты» с другими документами, как, например, с грамотами Мангала, царя Аньси, обращает на себя внимание тот факт, что Мангал начинает свои грамоты ссылкой на указы Чингисхана, Угедей-хана и других, тогда как в «Жалованной грамоте» этой ссылки нет. Возможно, на Чингисхана ссылались только чингисиды.

Но ведь *яса* и все законы, вводившиеся Чингисханом и последующими ханами, были обязательны в Уйгурском государстве. А если же грамота о пожаловании земли была написана после подчинения Уйгурского государства монголам, то в ней должно быть сказано о сохранении силы указов императоров.

Следующее соображение касается прав идикутов в решении внутренних вопросов. Пожалование земель, виноградников, освобождение этих земель от всех налогов и повинностей — вопрос немаловажный во внутренней политике идикутов.

В документе, опубликованном Г. Рамstedтом, относящемся к монгольскому времени, читаем: «...Тамур: наше слово. Ходжоскому идикуту Чинг-Тамуру, даруге Ичкекту...». Этот пример не единственный. Можно еще сослаться на документ, хранящийся в Рукописном собрании Института востоковедения. Начало его не сохранилось, но все же можно прочитать: «Наше слово. Ходжоскому идикуту, сановникам во главе с Кулун-Кая...».

Если даже незначительные вопросы разрешались таким путем, то

трудно допустить мысль, что пожалование земельных угодий с налоговым иммунитетом *идикут* мог решить своей властью и не ссылаться на указы ханов.

В качестве гипотезы можно высказать мнение о том, что «Жалованная грамота» была написана до XIII в. Если грамота, действительно, была написана не караханидом XI в., тогда она принадлежит одному из идикутов, правивших в Турфане до Баурчука. Но окончательно решить этот вопрос можно будет только после того, как удастся составить список всех идикутов. Пока же будем исходить из гипотезы и считать, что документы написаны до XII в.

Необходимо высказать несколько соображений о расположении мурутлукского монастыря, которому жаловалась земля и виноградники. Как известно, документ был найден в Турфанском оазисе. На основании этого факта можно полагать, что мурутлукский монастырь находился на территории Турфанского оазиса. Севернее современного Турфана имеется небольшая речка Муртук и на ней развалины древнего буддийского монастыря, тоже известные как Муртук. Нет ли общего между развалинами Муртук и монастырем, названным в «Жалованной грамоте», — «Мурутлук ариядан»?

Уйгурскому языку свойственна ассимиляция. В результате ассимиляции *л* перешло в *т* и получилось Муруттук. Поскольку живому разговорному языку свойственно сокращение и упрощение, то, быть может подчиняясь закону фонетического упрощения, выпало первое *у*. Если такое предположение является правильным, то развалины Муртук следует отождествить с бывшим Мурутлукским монастырем. Во всяком случае, лингвистически такое предположение вполне правомерно.

Определение места Мурутлукского монастыря важно не только с историко-географической точки зрения, но и по другой причине. Мы получим более достоверное доказательство того, что Елик Кадыр, от которого исходит «Жалованная грамота», правил до Баурчука. Мурутлукский монастырь был разрушен задолго до признания уйгурами зависимости от монголов. Это один из важных доводов в пользу предположения, что ярлык Елик Кадыра написан до монголов и термин *кунчур* бытовал до монголов.

Датировка «Жалованной грамоты» Елик Кадыром очень важна для решения многих вопросов истории развития феодализма в Центральной Азии. В таком случае мы могли бы себе представить степень развития феодализма уже ко времени подчинения монголам. Возникла бы непрерывная линия развития общественных отношений со второй половины VIII до середины XIV в., т. е. до времени написания челобитной грамоты Кутлук Тимуру (1348—1362/3). Прежде имелись свидетельства VIII в., затем XIII—XIV вв., а период X—XII вв. не был подтвержден документами. Социальные отношения этого времени определялись по аналогии с источниками предшествующего и последующего времени. Теперь же пробел восполняется важными свидетельствами и представилась возможность расширить наши сведения и по этому периоду истории.

Другой, опубликованный В. В. Радловым, документ № 77, который условно назван «Обязательство общин», мы пытаемся отнести к XI в. лишь по аналогии с «Жалованной грамотой». В данном случае только языковой критерий служит основанием для такого решения вопроса. Дело в том, что как в «Жалованной грамоте», так и в «Обязательстве общины» встречается термин *сангик-сенгикик*, выражающий определенные отношения. Возможность отнести оба документа к одному времени возникает и потому, что в более позднее время термин *сенгикик* не

встречается, а отношения, которые выражались этим термином, обозначаются другим термином — *инджу*. В документе № 77 имеется налоговый термин «*калан*». Следовательно, он был в употреблении в Уйгурском государстве до подчинения монголам, поэтому нет оснований и *калан* считать монгольским налоговым термином.

В «Обязательстве общины» имеется другой термин — *кувак-кубак*, который также впоследствии не употребляется. Оба термина расширяют наши понятия об общественном строе X—XII вв. Языковые особенности, по мнению В. В. Радлова, дают основание относить и этот документ к более раннему времени, чем XIII столетие, т. е. к домонгольскому периоду.

Последним из этой группы следует считать документ № 78, представляющий собой завещание о наследстве. Он существенно дополняет данные первых двух и расширяет круг отраженных в них вопросов. В самом деле, мы имеем «Жалованную грамоту», где оговорено право иммунитета, перечислены налоговые термины, «Обязательство общины» с важными социальными терминами, с данными о правах общины, об обязательстве общинниками отбывать *кувак* и, наконец, завещание о праве наследования сыном земельного участка и всего имущества.

Следует сказать несколько слов о характере налогов, взимавшихся в Уйгурском государстве под названием *калан* и *купчур*. Факты немногочисленны, но все они взяты из деловых документов.

Налоговый термин *калан* был широко распространен. Община, выделяя своего члена для отбывания трудовой повинности, брала на себя обязательство платить за него все налоги, в том числе и *калан* [7, № 14]. О *калане* сказано и в другом документе [7, № 21]. Виноградари в своей жалобе Кутлук-хану неоднократно называют *калан* [7, № 22]. В этих случаях *купчур* не назван, поэтому можно предполагать, что *калан* считался основным налогом в пользу государства. Вносился он натурой — хлопчатобумажной материей [7, № 33, 38]. В счет уплаты *калана* поставлялись лошади для переезда чиновников [7, № 33]. Нормой взимания *калана* считалась, как можно проследить, одна десятая часть. Но по многим причинам могли происходить отступления от этой нормы.

Купчур тоже взимался натурой и деньгами. О поставке лошадей в счет *купчура* говорится в документах. В одном из них читаем: «...он дал виноградарю Салгар... одну лошадь в долг против бачак-таг. Он должен за это засчитать полтора бакыра серебра в счет *купчура*» [7, № 53]. В других случаях сумма серебра указана другая. Возможно, это объясняется разными сроками пользования лошадью.

Труднее всего проследить различие между *каланом* и *купчуrom*. Возможно, *калан* взимался с оседлого земледельческого населения, а *купчур* — как с оседлого, так и с кочевого скотоводческого населения. Эти налоговые термины употребляются с другими — *албан*, *ясак*. И создается впечатление, что в период зависимости от монголов все эти термины обозначали основной уйгурский государственный налог, взимавшийся в размере одной десятой части [4, 101—106].

Рассмотрение приведенных фактов и логических доводов приводит к следующим выводам относительно налоговых терминов *калан* и *купчур*.

Термины *калан* и *купчур* тюркские, а не монгольские. Они употреблялись уйгурами до подчинения монголам. Оба термина имеются в документах, написанных до распространения монголами своего влияния на Уйгурское государство и другие территории. Монголы восприняли эти термины и распространили в покоренных странах.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бартольд В. В., Очерк истории Семиречья, Фрунзе, 1943.
2. Григорьев В. В., Караханиды в Мавераннахре, — ТВОАО, ч. XVII, СПб., 1874
3. Радлов В. В., ЗВОРАО, т. XIX, СПб., 1910.
4. Тихонов Д. И., Хозяйство и общественный строй Уйгурского государства X—XVI вв., М.—Л., 1966.
5. Ibn el Afhir, Chronicon quod perfectissimum inscribitur ed. C. J. Tornberg, Lugduni Batavorum, vol. IX, 1865.
6. Pritsak O., Von den Karluk zu den Karachaniden, — Zeitschr. der Dtsch. Morgenländ, Ges. Bd. 101, Neue Folge, Bd. 26, Wiesbaden, 1951.
7. Quatremere M., Raschid — eddin. Histoire des Mongols de la Perse, T. I, Paris, 1836.
8. Radloff W., Uigurische Sprachdenkmäler, Л., 1928.

А. В. Кудияров

О МОНГОЛЬСКИХ НАРОДНЫХ РЕЧЕНИЯХ

Монголы могут по праву гордиться своим богатым, разнообразным по жанрам фольклорным наследием. Важное место в нем занимают пословицы и поговорки, приговорки и прибаутки — все, что живет в речи многих поколений в виде народных сентенций и нравоучений, глубоких по мысли, тонких по наблюдательности и лаконичных по форме.

Народные речения стали предметом исследования в Монголии после революции 1921 г., которая привела к установлению в стране народной власти и открыла перед широкими слоями населения республики путь к культуре и образованию.

К настоящему времени в стране выпущены сборники пословиц и поговорок, опубликовано немало статей и монографий о народной афористической поэзии. Но не все вопросы, связанные с исследованием народных афоризмов, нашли полное освещение в этих работах. Некоторым из таких проблем посвящена данная статья.

НОМЕНКЛАТУРА НАРОДНЫХ РЕЧЕНИЙ

Основную часть народных афоризмов составляют пословицы — образные изречения, обобщающие и типизирующие явления жизни и представляющие собой полно выраженные суждения. Пословица — притча в миниатюре или только ее вывод, заключение. Языковой формой пословицы, как всякого суждения (со всеми его компонентами: субъектом, предикатом и связкой), является предложение, нередко развернутое.

Баяныг туртал ядуу үхнэ

Пока богач отощает, бедняк ноги протянет.

Как всякая притча, пословица морализует, поучает, судит, намекает, советует, образно выражая мысль, в миниатюрной картинке.

О том, что не всякая шутка уместна, пословица скажет:

Салхины сүүл бороо
Наадмын сүүл хэрүүл

Ветер кончается дождем,
Шутка — ссорой.

Если лишить пословицу вывода, заключения, очевидной сентенции, оставив в ней окольное выражение, намек, образное определение, т. е. то, что делает нашу речь яркой, живой, эмоциональной, пословица превратится в поговорку.

В ситуации, сходной с той, где русский отзовется о горе-насмешнике «В своем глазу бревна не видит, в чужом — соломинку заметил», монгол употребит поговорку:

Өөрийн хожгорыг мэдэхгүй
Бусдын халзаныг гайхах

О своей плечи с рубцами не знает —
Удивляется лысине другого.

Резкой, непреходимой границы между пословицами и поговорками нет: иногда добавление одного слова или изменение грамматической конструкции одного из компонентов предложения превращает поговорку в пословицу и наоборот — недомолвка, изменение формы слов делают пословицу поговоркой.

Возьмем для примера два близких друг другу предложения:

1. Ямааны мах халуундаа сайн
2. Ямааны мах халуундаа

Первое выражение (пословица) — полное суждение: «Козье мясо вкусно, пока горячее». Второе (поговорка) — суждение неполное, «обрубленное»: «Пока козье мясо горячее» [1].

Еще пример:

Үг холдож үхэр холдоно

Слишком много слов, слишком далеко быки.

Поговорку эту легко превратить в пословицу, если внести грамматические изменения (соединительное деепричастие заменить условным: *олдож* → *олдвол*):

Үг олдвол үхэр холдоно

Будешь болтать — быки уйдут слишком далеко.

В особую группу внутри пословиц можно выделить сентенции с прямым побудительным обращением к собеседнику и назвать их *пословицами-изречениями*. Примеры:

Баян гэж бүү бард
Баатар гэж бүү хэтэр
И богач — не кичись,
И герой — не заносись.

Инээсэн хүнийг заавал асуу
Уйлсан хүнийг бүү асуу
Смеющегося расспроси,
Плачущего не расспрашивай.

Приговорки — народные выражения, часто повторяемые в определенных ситуациях. Например, перед шахматной игрой один из игроков или зрителей напоминает:

Эзэн хүн буцдаггүй
Энгийн хүн хуцдаггүй

Игрок не делает обратных ходов,
Посторонние не лают.

Приговорка может быть лишена конкретного смыслового значения.

Например, играя в домино, монгол порой сопровождает свой ход словами:

Хар арав Хандын найз
Ханд хүүхэн миний найз
Черная десятка — друг Ханды,
Ханд-девица — мой друг.

Прибаутки — выражения безобидно-шутливого характера. Сошлемся на «рыночные» прибаутки:

Сайхан сүү, сарлагын сүү
Шанага нь таван төгрөг
Замечательное молоко, сарлычье молоко ¹,
Ковш — пять тугриков ².

Так рекламирует свой товар продавец молока. Недоверчивый покупатель подозревает, что молоко разбавлено водой:

Туулын сүү
Молоко с Толы ³.

О продавце покупатель отзовется так:

Туул саасан хүн
Человек, доивший Толу.

Продавец на это возразит:

Туулар гараагүй, гүүрээр гарсан
Толу вброд не переходил, по мосту прошел.

В качестве примера *детских речений* приведем дразнилку:

Ичгий, ичгий!
Арван хуруун зойн-зойн
Алаг могой гоод-год
Стыд-позор!
10 пальцев — дерг-дерг,
Пестрая змея — год-год ⁴.

В самостоятельные рубрики целесообразно выделить устойчивые по составу слова-приветствия и слова-пожелания.

Приветствие, обращенное к группе людей:

Эрхэм та бухний энхрий биес амгалан
Эрхэлсэн ажил үйлс амжилттай сайхан байна уу?
Хорошо ли вы, почтеннейшие, чувствуете себя?
Успешно ли вы справляетесь с порученным делом?

Почтительное обращение-приветствие к одному лицу:

Та амгалан айлдаж байна уу?
Таны тэнхээ сайн байна уу?
букв. Спокойно ли вы почиваете?
Как вы себя чувствуете?

Приведем примеры слов-пожеланий.

¹ Сарлаг — як, сарлык.

² Тугрик — денежная единица в МНР.

³ Тола — название реки близ г. Улан-Батора.

⁴ Здесь год-год означает извивающееся движение змеи. Речение зафиксировано в Селенгийском аймаке МНР.

Пожелания новогодние. Ими монголы обмениваются во время праздника Цагаан сар (по монгольскому календарю — первый весенний месяц года, который отмечается как национальный новый год).

Даага далантай бяруу булчинтай оров уу?

С новым годом! Хорошо ли перезимовал ваш скот?

(букв. У жеребенка жира в загривке [много], у теленка мускулы [крепки?])

Другой пример:

Зэллэсэн унага чинь зээр гөрөөнөөс олон

Пусть будет у вас жеребят на привязи больше, чем джейранов.

Пожелания долгой жизни:

Мянган намрыг үзэх болтугай

Желаю вам тысячу раз увидеть осень ⁵.

Зуун онд амьдрах болтугай

Желаю вам здравствовать сто лет.

Пожелания гостям:

Хулаар ярихгүй, хувингаар ярина

шутл.: Не будем говорить хулами ⁶, поговорим ведрами.

Айлы нь голоо уу? Архи нь голоо уу?

Не побрезгуйте нашим домом, не откажитесь от нашей водки.

Пожелание родителям:

Дотоод энгэрт чинь долоон хүү

Гадаад энгэрт чинь ганц охин

Пусть будет у вас семеро сыновей и одна дочь.

(букв. На внешнем лацкане — семеро сыновей,

На внутреннем — одна дочь)

Приведенная выше классификация ⁷ различает народные речения по их смысловому содержанию. Но в монгольском фольклоре есть выражения, которые являются языковыми упражнениями, тренировкой в чистом и быстром произношении звуков (скороговорки или чистоговорки), а также стихотворными играми, значение которых определяется только формой. К последним мы относим национальные оригинальные речения *жороо үг* и *хоршоо үг*, которые не имеют в русском языке соответствующих аналогов [3, XIII].

Пример скороговорки: *Аавын алаг бух араараа эргэж, араан ч долооно, далаан ч долооно, далангаа долооно, халангаа долооно.*

Перевод: Пегий бык отца крутится на месте, спину лижет, лопатки лижет, загривок лижет, подгрудок лижет.

⁵ Осень — любимое в Монголии время года.

⁶ Х у л а — деревянная чашка, из которой пьют кумыс.

⁷ К малым формам фольклора относятся и загадки, но они — предмет специального исследования. Следует отметить, что окольность выражения сближает их с пословицами и некоторые загадки употребляют как пословицы и поговорки.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

В монголистике терминология, как и номенклатура малых фольклорных форм, не может считаться окончательно установившейся, хотя в последние годы монгольские фольклористы стремятся к ее упорядочению [3, IV, X, XII, XIII; 4, 25, 26, 42].

Термином *цэцэн үг* обозначаются пословицы, *зүйр үг* — поговорки⁸, *түргэн үг* — скороговорки, *хүхдийн холбоо хэллэг* — детские речения.

Ввиду того что некоторые рубрики в приведенной выше номенклатурной схеме выделены впервые, считаем целесообразным предложить термины для их наименования: *мэндлэл үг* — слова-приветствия; *ерөөл үг* — слова-пожелания; *ардын хошиг үг* — прибаутки. В качестве эквивалента названию «пословичные изречения» предлагается употреблять *сургаал хэллэг*, отличая его от термина *сургаал үг* (поручение), бытующего в языке, но охватывающего более широкий круг народных речений и сентенции нефольклорного происхождения.

Наряду с названием *цэцэн зүйр үг* (пословицы поговорки), используемым монгольскими филологами для обозначения исследуемого в данной работе жанра, считаем необходимым предложить термин *ардын хэллэг* (народные речения). По нашему мнению, он может претендовать на полный охват всех видов народных выражений нелитературного происхождения, имеющих широкое хождение в языковой среде.

Интересна попытка монгольских ученых Г. Ринченсамбуу и Ж. Дашдорж [3, XII] обозначить термином *цэцэн үг* собственно пословицы, а понятие *мэргэн үг* (мудрое, умное слово) отнести к изречениям книжного происхождения, т. е. крылатым словам. Нам думается, что термин *мэргэн үг*, предложенный вышеуказанными учеными, не совсем удачен для обозначения изречений литературного происхождения, так как не вносит четкости в классификацию народных речений: *цэцэн* и *мэргэн* — понятия максимально синонимичные.

Вопрос о крылатых словах, имеющих хождение в монгольской среде (их выделении из массы народных афоризмов и объединении их в особую группу с указанием источников происхождения), продолжает оставаться открытым. Мы предлагаем именовать такие выражения *жигуурлэмэл үг* (крылатое слово).

Характерным примером крылатого выражения служит двустилишие из стихотворения классика современной монгольской литературы Д. Нацагдоржа «Алс газар сурахар явагч» («Отправившийся учиться в дальние края»):

Хээрийн галуу нисэн үл хүрэх газраас
Хүний хүү тэгэж эрдэнэ өвөртлөж харина
Из земель, куда не долетит и птица степная,
Вернется человек, неся с собой знания.

ИСТОКИ НАРОДНЫХ РЕЧЕНИЙ

Значительная часть народных речений обязана своим происхождением писателям, сказителям, сумевшим обобщить трудовой, исторический, социальный опыт народа, охарактеризовать какое-либо явление с такой глубиной, лаконизмом и простотой, что эти обобщения и характеристики не могли не запомниться окружению, стали передаваться из

⁸ В живом языковом обиходе одно и то же речение зачастую именуют по-разному: *зүйр үг*, *цэцэн үг*, *мэргэн үг*, *хуучин үг*.

уст в уста, из поколения в поколение и со временем вошли в языковое обращение народа.

Безусловно, далеко не все эти изречения дошли до нас в первоизданном виде: столетиями народ шлифовал и оттачивал их, меняя форму, иногда смысл, нередко придавая переносное значение и дополнительные оттенки.

Часть народных речений обязана своим происхождением фольклорным произведениям. Причем сами фольклорные произведения могли забыться в народе, но наиболее удачные, легко запоминающиеся, меткие выражения перекочевали из них в повседневное языковое обращение.

Например, пословица

Санашгүй юманд санах
Шанааны мах барах

Задумаешь добиться недоступного —
Истощится мясо на скулах.

восходит к народной сказке о гноме «с телом в пядь, а с бородой в две пяди» (*Нэг төв биет, хоер, төв сахалт*), который задумал взять в жены девушку из княжеского рода. Поиски «ханской невесты» оказались безуспешными. Фольклорный источник этого речения известен, конечно, не всем носителям языка.

Перешли в пословичный репертуар некоторые загадки, например:

Үнэн худлын хооронд алга дарам зайтай

Между правдой и ложью — расстояние величиной с ладонь.
букв. (между глазами и ушами — расстояние с ладонь, т. е.
увиденное — правда, а услышанное — ложь)

Характер поговорок приобрели выражения из улигеров — сказаний, былин:

Сүмбэр уул дов байхад
Сүн далай шалбааг байхад

Когда Сумбэр-гора была холмом,
Когда Сун-океан был лужею⁹.
(т. е. давно, в незапамятные времена)

Пополнение состава народных речений шло и за счет литературных (письменных) источников. Некоторые книжные выражения вошли в повседневный речевой обиход народа, «офольклоризовались», потеряв очевидную связь с литературным источником. Сильная степень фольклоризации таких литературных выражений дает основание считать их пословицами и поговорками. Так, например, о человеке одиноком, бедном, убогом монголы скажут:

Сүүдрээсээ өөр нөхөргүй
Сүүлнээсээ өөр ташуургүй

Нет друзей, кроме тени своей,
Нет кнута, кроме хвоста.

Выражение это встречается в «Сокровенном сказании» — первом дошедшем до нас письменном памятнике монголов¹⁰.

⁹ Сумбэр уул — мифическая гора. Сүн далай — мифический океан.

¹⁰ Возможно, что некоторые подобные выражения имели хождение в языке и до написания произведений и авторы зафиксировали их «готовыми».

Источник выражения *худгийн мэлхий* (колодезная лягушка), характеризующего недалеких, ограниченных людей, — сказка о морской и колодезной лягушке из «Панчатантры» [1, 145—146].

К этой же группе следует отнести и народные выражения, навеянные тем или иным литературным произведением. Например:

Гэрээ мартсан Гэсэр шиг
Гэмээ мартсан хулгайч шиг
Подобно Гэсэру, забывшему свой дом,
Подобно вору, забывшему свои грехи.

По мере того как монголы входили в тесные связи с соседними народами, наряду с обогащением лексики языка за счет чужеземных слов, а также проникновением письменных сочинений заимствовались и меткие фольклорные речения.

Явно перегринический характер таких речений, как *Долоо дахин төөлж нэг удаа хайчил* («Семь раз отмерь, один — отрежь»); *Зүүн хашаа бол утас тийшээ* («Куда иголка, туда и нитка»), дает основание считать их заимствованиями из русского языка.

Однако не все монгольские речения, которые покажутся переводом соответствующих пословиц русского языка, можно считать заимствованиями. Вопрос о фольклорных, а значит, и пословичных заимствованиях (теория «встречных сюжетов» Веселовского) спорен и неисчерпаем. Монголы, например, считают, что выражения *Нэг чихээр ороод, нөгөө чихээр гарах* («В одно ухо влетит, в другое — вылетит») и его вариант — *Зүүн чихээр ороод баруун чихээр гарах* («В правое ухо влетит, в левое — вылетит») — исконно монгольские.

По нашему мнению, поспешность в заявлении, что такие, например, речения, как *Дээс нарийнаараа тасардаг* («Веревка рвется в тонком месте»; русский эквивалент: «Где тонко, там и рвется»); *Бэлгийн моринь шүд татдаггүй* («Зубы дареного коня не проверяют»), представляют собой перевод русских пословиц, может привести к ошибке.

Некоторые монгольские речения, имеющие аналоги в европейских языках, настолько национальны по форме и содержанию, что их нельзя считать продуктом заимствований. Примером может служить такая пословица:

Гялгар бүхэн алт биш
Гэлэн бүхэн багш биш
Не все, что блестит, золото,
Не все монахи — учителя-наставники.

Появлению многих народных афоризмов могли способствовать факторы исторического порядка. Пример этому — пословица:

Шавийн хүн шартай
Шабинары ¹¹ заносчивы (спесивы, чванливы).

НЕУСТОЙЧИВОСТЬ СОСТАВА НАРОДНЫХ РЕЧЕНИЙ. ВАРИАНТНОСТЬ

Что отличает пословицы и поговорки от обычных предложений? Прежде всего клишированность, стереотипность и крылатость, т. е. большая по сравнению с обычными фразами частота употребления целиком,

¹¹ Ш а б и н а р ы — крепостные духовных феодалов и монастырей в дореволюционной Монголии. Пользовались большими правами, чем крепостные светских феодалов.

в не создаваемом в процессе речи виде. Однако неизменяемость речений не бывает и не может быть абсолютной. Стереотипные, выкристаллизованные образцы «ходячей житейской, практической философии народа» (Белинский) принадлежат вечно живой стихии — языку, речи, значит, в определенной степени индивидуумам и времени и потому подвержены изменениям. Меняются грамматические формы слов, меняются местами отдельные компоненты предложения (предложения-аллоформы). Отдельные слова или группы слов опускаются или заменяются другими словами (предложения-аллофразы).

При изучении фольклорных речений мы сталкиваемся, как правило, не с предложением-уникумом, а с несколькими сходными по своей структуре вариациями на общую тему, разработанную посредством одних и тех же образов. Наиболее распространенное предложение можно в ряду таких вариантов считать доминантой.

Предложения-аллоформы

Изменяемость некоторых речений может выражаться во взаимозаменяемости мест некоторых слов без изменения смысла и стилистической окраски речений в целом. Такие предложения мы называем *формальными*:

Баруун хэрмээ эвдэж зүүн хэрмээ барих
Западную крепость разрушать, восточную — строить¹²
Зүүн хэрмээ эвдэж баруун хэрмээ барих
Восточную крепость разрушать, западную — строить

Могут меняться местами и части предложения:

Ноёнтой наадвал толгойгүй
Нохойтой наадвал хормойгүй
Пошуту с нойоном — останешься без головы,
Поиграй с собакой — останешься без подола.
Нохойтой наадвал хормойгүй
Ноёнтой наадвал толгойгүй
Поиграй с собакой — останешься без подола,
Пошуту с нойоном — останешься без головы.

Фонетическими вариантами мы называем предложения, отличающиеся друг от друга только фонетическими особенностями идентичных в смысловом отношении слов:

Сагсгар мод уулын чимэг Саглагар мод уулын чимэг
Сайхан хүүхэн гэрийн чимэг Сайхан хүүхэн гэрийн чимэг
Развесистое дерево — украшение горы,
Красавица девица — украшение дома (*сагсгар-саглагар* — «развесистый»).

В некоторых случаях предложения отличаются друг от друга грамматической формой отдельных слов, образуя ряд *грамматических вариантов*. Для монгольских речений характерно, например, употребление различных глагольных форм для выражения гномического времени:

¹² При помощи камней, взятых из Западной крепости.

1. Гүйх нохойд гүйхгүй нохой саад болно.
2. Гүйх нохойд гүйхгүй нохой саад болох.
3. Гүйх нохойд гүйхгүй нохой саад болсон.
4. Гүйх нохойд гүйхгүй нохой саад болдог... и т. д.

Перевод: Бегущей собаке мешает собака небегущая.

Первый вариант — пример настоящего гномического времени, второй — будущего, третий — прошедшего, четвертый — собственно гномического времени (выражено многократным причастием *даг*).

Грамматическая вариантность проявляется и в изменении падежей:

«*Юм учиртай, мод мөчиртэй*», но *Юманд учир, модонд мөчир [бий]*¹³. («У всего есть своя причина, у дерева есть ветви»).

Изменение падежа может сопровождаться введением в вариантное предложение служебного слова:

Мөнгөний муу эзэндээ	Мөнгө муу бол эзэндээ
Хүүхний муу төрхөмдөө	Хүүхэн муу бол төрхөмдөө

Бракованная монета у хозяина,
Неказистая девица — у родителей [остается]¹⁴.

Речения-аллофразы

Вариантность речений простирается до заменяемости их лексических компонентов. Варьирует одно слово:

1. Нохой *яраа* долоогоод таргалахгүй
Нойн ялыг идээд баяжихгүй
Зализывая рану свою, собака не разжиреет,
Наказывая холопов, нойн не разбогатеет.
2. Нохой *амаа* долоогоод таргалахгүй
Нойн *ялыг* идээд баяжихгүй
Облизывая пасть свою, собака не разжиреет,
Наказывая холопов, нойн не разбогатеет.

Одновременно могут заменяться два слова:

3. Нохой *амаа* долоогоод таргалахгүй
Нойн *хээл* идээд баяжихгүй
Облизывая пасть, собака не разжиреет.
При помощи взяток нойн не разбогатеет.

Возможна замена трех слов:

4. Нохой *амаа* долоогоод цадахгүй
Нойн *хээл* идээд баяжихгүй
Облизывая пасть, собака не насытится,
При помощи взяток нойн не разбогатеет.

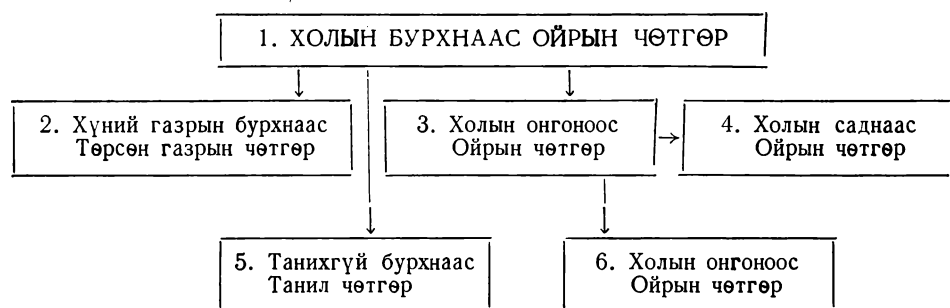
В данном ряду каждая последующая пословица по отношению к предыдущей является вариантом с заменой одного слова.

Иногда среди таких *лексических вариантов* какого-либо речения можно обнаружить пару абсолютно различных по лексическому составу, но вариантных друг другу речений. Например, пословицы: *Холын*

¹³ Заменены падежи: неопределенный падеж в словах *мод* и *юм* — дательным; совместный падеж слов *учир* и *мөчир* — неопределенным.

¹⁴ Введение условного союза *бол* во второе предложение заменило родительный падеж слов *мөнгө* и *хүүхэн* в первом предложении неопределенным.

онгоноос ойрын чөтгөр («Ближний дьявол лучше далекого онгона»¹⁵) и Танихгүй бурхнаас танил чөтгөр («Знакомый черт лучше незнакомого бога») — лексические варианты, что видно из схемы¹⁶:



- Переводы: 1. Ближний черт лучше далекого бога.
 2. Черт родной стороны лучше чужеземного бога.
 3. Ближний черт лучше далекого онгона.
 4. Ближний черт лучше далеких родичей.
 5. Ближний дьявол лучше далекого онгона.
 6. Знакомый черт лучше незнакомого бога.

Среди лексических вариантов могут быть выделены *варианты тавтологические* — предложения, различающиеся максимально близкими по смыслу синонимами:

Бодсон олон зүйлээс бүтээсэн нэг зүйл

Чем множество задуманного, лучше одно исполненное

Бодсон арвинаас бүтээсэн нэг зүйл

Чем обилие задуманного, лучше одно исполненное.

(олон зүйл — «множество»; арвин — «обилие, изобилие»)

Монгольской речи присуще употребление пословиц и поговорок в неполном, сокращенном виде: их отдельные компоненты — грамматические формы, слова и группы слов — опускаются без ущерба для смысла. Сокращение сообщает предложениям особую выразительность, лаконизм: у одних предельно выделяет последнее употребляемое слово, у других — опущенные компоненты. Предложение в полном виде является доминантным, каноничным, его неполные варианты — *эллиптическими вариантами*.

Эллипсис грамматический выражается в сокращении предложения за счет некоторых грамматических форм: падежей, служебных частиц, союзов и т. п.

Пример падежного эллипсиса:

Эрийг бүү бас

Далай [г] бүү янд

Не относись к мужчине с пренебрежением,

Не черпай море яндой¹⁷.

Часто опускается частица 'дээр' (лучше, важнее, ценнее и т. п.).

¹⁵ Онгон — дух предков, шаманский дух-гений.

¹⁶ В схеме они отмечены № 5 и 6.

¹⁷ Я н д — около 20 л.

Примеры:

Тэнэг нөхрөөс цэцэн дайсан нь [дээр]
Лучше умный враг, чем друг дурак.
Үгийн цөөн үхрийн олон нь [дээр]
Лучше меньше слов, да побольше быков.
Муу үзсэнд орвол сайн сонссон нь [дээр]
Чем верить плохо увиденному, лучше хорошо услышать.

Эллипсис лексический — опускается слово без ущерба для смысла предложений. Вот пример смешанной эллиптической вариантности, падежной и лексической:

Өглөө хазаар [эвдэхэд]
Орой ташуур [хугалах]
Утром — узду [порвешь],
Вечером — кнут [сломаешь]¹⁸.

Хүний газар [т] нэрээ [хичээ]
Өөрийн газар [т] ясаа [тавь]
На чужбине честь свою [береги],
На родине кости свои [оставь].

Эллипсис части — сокращение предложения за счет группы входящих в него слов:

Аваагүй байхад эхнэр сайхан
Алаагүй байхад үнэг сайхан
Авсан хойно авгай мэднэ
Алсан хойно үнэг мэднэ
Пока не взял в жены — женщина красива,
Пока не убил лису — она красива,
Взял в жены — узнаешь, красива ли избранница,
Убил лису — узнаешь, что она из себя представляет.

Предложение может подвергнуться сокращению дважды: вначале за счет части, т. е. комплекса слов, предложения, затем — за счет слова. Например, русской пословицы «Как волка ни корми, он все в лес смотрит» соответствует монгольская:

Хүний хүү хурэн эрэн бөөртэй
Өөрийн хүү өндгөн цагаан бөөртэй
Чужое дитя — с коричневыми, пестрыми почками,
Свое дитя — с круглыми белыми почками.

Предложение это может сократиться так: *Хүний хүү хурэн эрэн бөөртэй* («Чужое дитя с коричневыми, пестрыми почками»). Затем сокращается и вновь образовавшееся предложение: *Хүний хүү хурэн бөөртэй* («Чужое дитя — с коричневыми почками»).

Некоторые предложения, если их привести в полном виде, могут оскорбить слушателя своей грубостью. В подобных случаях отдельные слова опускаются из этических соображений: люди не хотят говорить неприлично и потому недоговаривают. Пример подобного *эллипсиса эвфемического*

¹⁸ Смысл этой пословицы: утром узду порвешь, сдерживая коня, вечером — кнут ломаешь, побуждая его идти ударами кнута. Речь идет о человеке, быстро увлекающемся каким-либо делом и так же быстро остывающем к нему.

стического — поговорка *Магтсан хүүхэн хурминдаа...* («Хваленая девица на свадьбе своей...»).

Все варианты, рассмотренные выше, для носителей языка являются нормой употребления и поэтому могут быть объединены в группу *общенародных вариантов*. Но в определенной ситуации речения могут подвергнуться изменениям, которые будут восприниматься как нормальные только в рамках данного контекста. Это — индивидуальные вариации. Например, поговорка *Өнгөрсөн бороонд хэвнэг нөмрөх* («После **дождя** покрывается буркой») может превратиться в *Өнгөрсөн бороонд цув нөмрөх* («После дождя покрываться плащом»).

Нередко речения подвергаются индивидуальному сокращению, которое носит характер риторического умолчания. Собеседник мысленно воспроизводит опущенные компоненты, «договаривает» речение до конца. Иначе значение такого умолчания как стилистического приема сводится к нулю.

Общенародные варианты речений являют собой пример свободного варьирования, т. е. изменения форм отдельных слов или замену отдельных компонентов речения без изменения смысла выражения в целом. В языке немало синонимичных друг другу речений, однотипных по смысловому содержанию, но различающихся системой образов.

Два речения, отличающиеся только разными падежами в каком-либо слове, не всегда можно считать грамматическими вариантами. Если изменение падежа привело к изменению смысла пословицы или поговорки, перед нами, естественно, разные речения.

1. Харийн хүн хоер хуруу
Өөрийн хүн дөрвөн хуруу
Чужой человек — на два пальца,
Свой — на четыре.
2. Харийн хүнд хоер хуруу
Өөрийн хүнд дөрвөн хуруу
Чужому человеку — на два пальца,
Своему — на четыре.

Приведенные выражения отличаются только наличием дательного падежа в слове *хун* (человек) второго выражения. И все же смысл их различен: первая пословица означает: чужой понимает (оценивает, переживает и т. п.) поверхностно, несерьезно, а свой — искренне, глубоко, основательно; смысл второй пословицы: чужому достается мало (угощения, внимания и т. п.), а своему — много.

Две пословицы, различающиеся однокоренными антонимами в своем составе, конечно, разные речения:

1. Хуурсан будаа чулуугүй
Хуучин хүн хуудуугуй
В поджаренной крупе нет камешков,
Старый человек — без фальши.
2. Хуурсан будаа чулуутай
Хуучин хүн хуудутай
В поджаренной крупе есть камешки,
Старый человек неискренен.

Перед нами — два противоречивых суждения. Казалось бы, одно из них должно быть истинным, другое — ложным. Однако в народе имеют хождение оба пословичных суждения, и оба они являются истинными,

так как приложимы к разным случаям и разным людям. Подобная противоречивость — не недостаток фольклора, а напротив — его достоинство, поскольку трудно одной языковой формулой исчерпать явление или предмет. Подобные суждения, взятые вместе, освещают многообразие мира и дают полное, «круглое» (по выражению В. И. Даля) понятие о вещи.

Усеченные речи

Говоря об эллиптических вариантах, мы исходили из наличия в языке полных по составу доминантных речений, сопоставление с которыми дает основание говорить о тех или иных опущенных компонентах. В речи выбор полных или сокращенных речений свободен, ничем не регламентирован.

Однако в монгольском языке есть немало пословиц и поговорок, неполных по составу с формальной точки зрения, к которым не удастся найти исходных, т. е. полных, форм. Если эллиптическое сокращение всегда обратимо, то в данном случае мы сталкиваемся с сокращением необратимым, которое назовем *усечением*. Эллипсис носит временный характер, усечение же стало нормой.

Сокращение народных речений можно представить в виде такой схемы:

Речения полные \longleftrightarrow Речения эллиптические \rightarrow Речения усеченные.

Как видим, усеченные речи в свое время были эллиптическими. Затем их исходные формы (полные речения-доминанты) исчезли из языкового обращения, и язык канонизировал сокращенные варианты.

Усечение, как и эллипсис, может ограничиваться областью грамматики. Пример *грамматического усечения* — поговорка *Тоо бод, тос ид* («Учение — достаток в будущем»; букв. считай — ешь масло). По-видимому, выражение это некогда выглядело иначе, возможно: *Тоо бодвол тос иднэ* («Будешь учиться — будешь есть масло»).

Образцы лексического усечения, взятые вне контекста, труднопереводимы. Например, речение *Хаанаасаа хаалгач нь* («Не хан, а привратник») в зависимости от контекста может значить: привратник важнее самого хана; привратник спесивее самого хана; привратник более умен, деловит, более компетентен, чем хан; проси не хана, а привратника; решение дела зависит не столько от хана, сколько от его привратника; не так страшен хан, как его привратник, и т. п.

Преимущества усечения налицо: во-первых, выделяется последнее слово; во-вторых, речению можно придать различный смысловой оттенок в зависимости от ситуации. Усечение, как правило, расширяет смысловой диапазон речения, дает простор для иносказания, переосмысления в рамках контекста.

Еще один пример:

Ороо нь ороогоо
Жороо нь жороогоо

Неукротимого коня к неукротимому,
Иноходца — к иноходцу [влечет].

Русские эквиваленты: «Рыбак рыбака видит издалека», «Свой своему поневоле брат».

Для русских пословиц нехарактерна такая степень сокращения объема речения, как для монгольских. Сокращения вроде «Рыбак рыбака» или «Свой своему» в русском языке не стали нормой.

Усечение части. Приведенные выше примеры говорят о том, что усеченные компоненты предложения не исчезают совсем — сокращение предусматривает их смысловое, но не выраженное фонетически присутствие. Усеченные предложения иначе можно определить как предложения с *имплицитным*, т. е. скрытым, значением.

Значимое отсутствие части предложения, т. е. группы слов, можно проиллюстрировать на примере выражения *Ишиг эврээ ургахаар ээжийгээ мөргөх* («Пока у козленка растут рога, он кланяется матери»).

Пословица эта говорит слушателю больше, чем в ней выражено словами, она не досказана до конца, и другую ее часть окружающие «договаривают» сами. В зависимости от контекста усеченная часть может значить: а) затем перестает почитать ее; б) затем бросает ее, перестает замечать и т. п.

КОМПОЗИЦИЯ МОНГОЛЬСКИХ НАРОДНЫХ РЕЧЕНИЙ

Многие предложения состоят из одного предложения, из одного члена. Например, пословица *Сүх далайтал үхэр амар* («Пока заносят топор, бык спокоен»). Большинство же народных предложений имеет двучленную структуру:

Оролдвол нэгийг сурдаг
Уралдвал нэгийг түрүүлдэг

Приложишь старание — чему-нибудь да научишься,
Примешь участие в соревновании — кого-нибудь да обгонишь.

Предложения могут состоять из трех предложений и рассматриваться как трехстишия¹⁹:

Харваагүй байхад мэргэн олон
Барилдаагүй байхад бөх олон
Дайсангүй байхад баатар олон

Пока нет стрельб — много метких стрелков,
Пока нет борьбы — много борцов,
Пока нет врагов — много героев.

Народные предложения могут состоять из четырех и более стихов. Например:

Эргэж буухад ээж сайхан
Эргүүлж молжиход хүзүү сайхан
Зөөж буухад зүлэг сайхан
Зөвлөж хэлэлцэхэд аав сайхан

Хорошо, вернувшись домой, встретиться с матерью,
Хорошо есть мясо на шейной кости²⁰,
При перекочевке хорошо расположиться на лугу,
Хорошо советоваться с отцом.

Поговорка-дразнилка:

Орой гарсан
Дорой төрсөн
Бяр муутай
Бяруу дэвсгэртэй
Дан дээлтэй
Дахир морьтой

¹⁹ Монгольский фольклор знает самобытные, законченные по форме и содержанию стихотворения-миниатюры из трех строк — «триады» (*гурван*) [2].

²⁰ Сваренная шейная кость животного — лакомство монголов.

Запоздал родиться,
Хилым уродился,
Слаб силенкой,
С подстилкой из шкуры теленка,
В дэли тонкой²¹,
С тощей лошаденкой.

Конечно, не всегда многочисленные пословицы и поговорки употребляются в речи целиком.

Определенный интерес представляет анализ структурного взаимодействия компонентов речения, поскольку смысловая нагрузка выражения в целом по-разному распределяется между его частями. С этой точки зрения целесообразно подразделить речения на несколько групп.

Первая группа объединяет речения, части которых равноправны в семантическом отношении. Здесь возможны несколько случаев.

1. Обе части речения самостоятельны синтаксически, но по смыслу дополняют друг друга.

Аав нь байхад хүмүүс тань
Агт нь байхад газар тань
При жизни отца людей узнавай,
Есть конь — посещай новые земли.

Наличие своего смыслового центра позволяет каждой части существовать самостоятельно и в то же время дает возможность присоединить к пословице, поговорке еще одно или несколько речений.

Части речения, формально самостоятельные, объединены между собой не механически, а общей мыслью, общей темой.

2. Части речения в смысловом отношении противопоставляются друг другу. Взаимное противопоставление теснее связывает их в одно целое, чем в вышеприведенной подгруппе.

Противопоставление может быть полным и прямым и выражаться посредством антонимии однокоренной или постоянной:

Ирсний нь зол
Ирээгүй нь хохь
Кто подрос — тому удача,
Кто не пришел — тому ничего, неудача.

В речениях этой группы основное в смысловом отношении слово выступает вначале в положительной, затем — в отрицательной форме (однокоренная антонимия: *ирсэн* — «пришел», *ирээгүй* — «не пришел»). В иных случаях слова противопоставляются только в смысловом плане, без формальных средств отрицания. Такие антонимы мы назвали постоянными или традиционными: *зол* — «удача», *хохь* — «неудача».

Противопоставление будет неполным, чисто смысловым, косвенным, если ударные слова обеих частей речения противопоставлены друг другу только по смыслу.

Пословица:

Эв түмэн лан
Эрдэм мянган лан
Дружба — десять тысяч лан²²,
Мудрость — тысяча лан.

Поговорка:

²¹ Д э л и — монгольский халат.

²² Л а н — денежная единица.

Бага биетэй
Далай санаатай
Мал телом,
Велик душой.

Эти выражения содержат пары традиционных (*бие* — «тело», *санаа* — «душа») и контекстуальных антонимов²³ (*эв* — «дружба», *эрдэм* — «мудрость»; *түмэн* — 10 000, *мянган* — 1000; *бага* — «малый», *далай* — «океан»).

3. Одна часть предложения в смысловом отношении повторяет другую, не обогащая логического содержания предложения, но усиливая его эмоциональное содержание:

Дэмий суухаар тэмээ хариул
Ангайж суухаар адуу хариул
Чем бездельничать — паси верблюда,
Чем сидеть сложа руки — паси лошадей.

4. Одна часть предложения может выступать в качестве иносказания. Например, в пословице первая строка имеет в виду грубо сказанное слово:

Зүүгээр жичсэн шарх хортой
Зөөлнөөр хэлсэн үг явцтай
Вредна рана, причиненная иглой,
Мягко сказанное слово действенно.

Вторая группа объединяет предложения, в которых смысловая нагрузка падает на одну из частей, а другая часть выполняет прикладную функцию. Здесь также может быть несколько случаев.

1. Вспомогательная часть усиливает содержание основной:

Цэцэн навч уулын чимэг
Амраг бусгүй амьдралын чимэг
Листва, цветы — украшение горы,
Любимая женщина — украшение жизни.

(первая часть усиливает содержание второй).

В других случаях наоборот — вторая часть усиливает первую:

Хургийн хүүгийн хүзүү бөх
Хүний малын нуруу бөх
У зятя крепкая шея,
У чужой скотины — спина.

Перечисленные предложения — пример сопоставительного усиления. Но усиление может выражаться и противопоставлением частей:

Алт мөнгийг эрээд олно
Аав ээжийг эрээд олохгүй
Деньги-злато ищешь — и находишь,
Мать-отца ищи — не найдешь.

(*олно* — «найти», *олохгүй* — «не найти» — однокоренные антонимы. Здесь противопоставление полное).

²³ Слова этого рода становятся антонимами только в каждом конкретном случае, в данном контексте.

Хүний эрэн дотроо
Могойн эрэн гаднаа
«Пестрота» человека — внутри,
Пестрота змеи — снаружи.

(*дотроо* — «внутри», *гаднаа* — «снаружи» — традиционные антонимы; *хүн* — «человек», *могой* — «змея» — антонимы контекстуальные. Противопоставление чисто смысловое).

Об усилении одной части предложения другой можно говорить лишь в тех случаях, когда между частями есть определенная смысловая общность, естественные точки соприкосновения, т. е. когда они находятся на близких друг другу тематических уровнях. В перечисленных примерах естественно сопоставляются любимая женщина с цветами (сравнение это давно и у многих народов стало традиционным), зять, живущий в семье жены²⁴, с тяглом, взятым у другого человека (не свой и не свое — значит, можно нещадно заваливать работой); поиски денег противопоставляются желанию «найти» родителей.

2. Если же подобной смысловой общности между частями нет, говорить об усилении одной части другой вряд ли правомерно. В таких случаях прикладная функция неосновной части выступает четче, рельефнее.

Если основной смысл сконцентрирован в заключительной части, то первая половина предложения предваряет, предвосхищает ее, играет роль зачина:

Махны төлөө шор зовох
Хүүгийн төлөө эх зовох
О мясе вертел «печется»,
О сыне мать заботится.

Когда же основной смысл предложения сосредоточен в первой части, вторая может художественно завершать ее, выступая в качестве эффектной концовки.

Харь хүн харьд багтахгүй
Хамдгайн чөмөг тогоонд багтахгүй
Чужой человек у чужих не уживается,
Лосиная кость в котле не уместится.

Иногда прикладная часть способствует более легкому запоминанию предложения:

Санаа муут яван хатна
Сарьсан баавгай наранд хатна
Злое намерение терпит неудачу (букв. сохнет), когда исполняют его,
Летучая мышь засыхает на солнце.

Второстепенная часть может усиливать содержание главной, выступая в качестве меткого сравнения. Характерно, что сравнение грамматически не выражается:

Баян хүний гараас юм авах
Барсын амнаас мах авах
Взять что-нибудь из рук богача
Ворвать мясо из пасти барса

²⁴ В старину у монголов по обычаю муж уходил в семью жены.

Третья группа объединяет предложения дедукционного характера, т. е. такие, вторая половина которых служит иллюстрацией, частным примером абстрактного положения, выдвинутого главной (первой) частью²⁵. Иллюстративная часть таких пословиц, как правило, аллитерирована с основной, что способствует запоминаемости предложения:

Цаг цагтаа сайхан
Цахилдаг хөхдөө сайхан
Все красиво в свое время,
Ирис красив в период цветения.

Четвертая группа включает предложения коррелятивного характера. Случаи взаимодействия компонентов пословиц или влияния одной части на другую, в результате чего меняется смысловая или экспрессивная окраска предложения, проиллюстрируем двумя примерами:

Эр хүн зорьсондоо
Эр морь харайсандаа
Мужчина силен своей целью, устремлениями,
Конь — своим аллюром.
Мужчина добьется своего,
Конь довезет [его] до цели.

Под влиянием второй части, а именно глагола *харайх* (рвануться, помчаться), слово *зорих* (стремиться) приобретает значение активного стремления, реализуемого или реализованного. В свою очередь глагол *харайх* под влиянием глагола *зорих* обретает оттенок целеустремленного движения: важно, что конь не просто рванется, а сделает это по воле хозяина и достигнет намеченного им пункта.

Воздействие одной части на другую может быть и односторонним, как, например, в пословице:

Могой хорондоо шарлана
Хүн хорондоо уурлана
Змея от яда своего,
Человек от злости своей в ярость приходит.

Слово *хор* полисеманлично: первое значение его (яд, отравы) имеется в виду, когда речь идет о змее. Другое значение (злость, злоба) во втором предложении под влиянием первого обретает особую окраску. Взятая отдельно, вторая часть пословицы не ясна по смыслу (букв. «человек от злости своей злится»), но, войдя в соприкосновение с первой строкой, обретает смысловую устойчивость. Пословица издевается над человеком, крайне несдержанным, который приходит в ярость из-за пустяка, переполняется злобой и становится похож на змею, источающую яд.

Пятая группа содержит пословицы, новообразованные из двух самостоятельных существующих предложений или одного с присоединением к нему фразы пословичного характера, что ведет к расширению или сужению исходных значений.

1. Инклюзияция, т. е. расширение значения пословицы. У монголов популярно предложение *Эр хүний жолоо урт* («У мужчины длинные поводья», т. е. перед мужчиной дальняя дорога). Широко распространен

²⁵ Суждения индукционного характера в изучаемом пословичном репертуаре отсутствуют.

антипод этой пословицы, знакомый многим языкам: *Эм хүний үс нь урт* [*ухаан нь охор*] («У женщины волос длинен [а ум короткий]»). Суммарное значение «сводной» пословицы *Эр хүний жолоо, урт, эм хүний үс нь урт*, существующей в языке наряду с вышеприведенными, перекрывает значения пословиц-слагаемых: помимо противопоставления пословица может употребляться и в тех случаях, когда хотят подчеркнуть, что мужчина более дальновиден, чем женщина, или что у мужчины больше ума, власти, прав, чем у женщины. Естественно, что такое «суммарное» значение остается и за половиной предложения, если из контекста ясно, что ее употребили как часть целого.

2. Эксклюзияция, т. е. сужение значения пословицы. Добавочный компонент предложения может сузить значение основного. Пример этому — выражение *Бухын хамрыг нудрагаар* («Быка кулаком укрощают», букв. «по носу быка — кулаком»). Пословицу применяют в тех случаях, когда хотят сказать, что воздействие словом не дает желаемого эффекта и необходимо применение силы. Другой вариант:

Бухын хамрыг нудрагаар
Буруу хүнийг үгээр
Быка — кулаком,
Человека, допустившего ошибку, — словом.

Присоединение нового компонента к исходному лишило первую пословицу переносного плана, оставив за ней только буквальный смысл.

Шестая группа объединяет предложения изосинтаксические, т. е. с четким композиционным членением на две части, одну из которых можно рассматривать как подлежащее, другую — как сказуемое: *Муурандаа наадам, хулгандаа үхэл* («Кошке — забава, мышке — смерть»). Перевод можно представить в таком виде:

То, что служит забавой кошке	[есть]	смерть для мышкИ
_____	↓	_____
подлежащее	пауза	сказуемое

Все приведенные монгольские пословицы и поговорки можно определить как копулятивные, так как каждая их часть представляет собой самостоятельное в синтаксическом отношении предложение. Народный афоризм может выражаться одним предложением, но состоять из двух частей. Двучленность таких выражений не только оправдана в смысловом отношении, но строго обязательна. Отдельные их части не могут употребляться друг без друга. Иначе предложение распадется. Пример:

Тахиатай ч үүр цайна
Тахиагүй ч үүр цайна
Крикнет ли петух — рассвет наступит,
Не крикнет ли — рассвет наступит.

В заключение следует отметить, что монгольские фольклористы провели большую, плодотворную работу по собиранию и осмыслению образцов фольклора своего народа. Хотя в данной статье затронута только часть проблем, связанных с характеристикой афористического жанра монгольского фольклора, нам хотелось, чтобы приведенные здесь номенклатурная схема, классификации и описание некоторых особенностей народных речений подчеркнули необходимость внимательного от-

ношения собирателей устного народного творчества ко всем без исключения видам образной народной речи во всем их многообразии и разнообразии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Владимирцов Б. Я., Монгольский сборник рассказов из Raṇcātāṇṭra, Петроград, 1921.
2. К л ю е в а В. Н., «О монгольских триадах», — Ученые зап. Монгольского Гос. Университета, т. 2, вып. 1, Улан-Батор, 1946.
3. Монгол цэцэн үгийн далай, 1-й боть, Улаанбаатар, 1964 (Сборник монгольских пословиц).
4. Х о р л о о П., Монгол ардын цэцэн зүйр үгүүд ба оньсгууд, Улаанбаатар, 1965 (Монгольские народные пословицы, поговорки и загадки).

М. Л. Рудова

ЦАЙ-ШЭНЬ — ГУАНЬ ЮЙ

Из многочисленных вопросов, встающих перед исследователями религии Китая позднего средневековья и нового времени, основным является исследование двух тесно связанных друг с другом образов — бога богатства Цай-шэня и героя Троецарствия Гуань Юя (II—III вв.).

Специфика образа Цай-шэня заключается в том, что, несмотря на его глубокие корни в китайском искусстве, культ его — явление сравнительно новое; появление и распространение этого культа связано с экономическими сдвигами, происходящими в Китае начиная с минского периода.

Образ Гуань Юя сложен своими многочисленными ипостасями. Главное здесь заключается в том, что он не просто бог богатства, как это было принято считать ранее, а представитель конфуцианства в официальной, синкретической по своему характеру религии Китая.

Работ, посвященных богу богатства Цай-шэню и Гуань Юю, довольно много. Однако все они ограничиваются краткими сведениями о многочисленных прообразах Цай-шэня и о том, что Гуань Юй почитается как бог литературы, войны и богатства. В качестве прообразов Цай-шэня называются несколько имен: Би Гань (XII в. до н. э.), богач Ши Чун (III в. н. э.), Гуань Юй и Чжао Гун-мин (из романа Лю Гуань-чжуна «Троецарствие»), полководец Го Цзы-и (время Тан), Будда Матрейя, пять раскаявшихся разбойников. Упоминается также глава романа «Возведение в ранг божеств» как источник для расшифровки образа Цай-шэня и его спутников, а также для расшифровки сюжетов с символикой пожелания богатства [1].

Исключение составляют работы акад. В. М. Алексеева, которые посвящены культу Цай-шэня. Впервые в истории изучения народной картины и культа Цай-шэня Алексеев наряду с подробным объяснением сюжетов большого количества картин с пожеланием богатства показал значение культа Цай-шэня в жизни народных масс Китая, а главное, показал, какую большую роль играло искусство народной картины в распространении этого культа. Он считал также, что «внимательное изучение культа Цай-шэня несомненно должно выявить основные принципы китайской народной религии» [2] и что «в культе Гуань-ди (Гуань Юя.— М. Р.) переплетаются история, религия и мораль» [3].

Изображения Гуань Юя и Цай-шэня можно встретить на самых разнообразных памятниках искусства старого Китая: в религиозной живописи, скульптуре (в храмах), на каменных стелах, на памятниках прикладного искусства, религиозных и символично-благопожелательных няньхуа. Столь же многочисленны и письменные источники, в которых фигурируют Гуань Юй и Цай-шэнь.

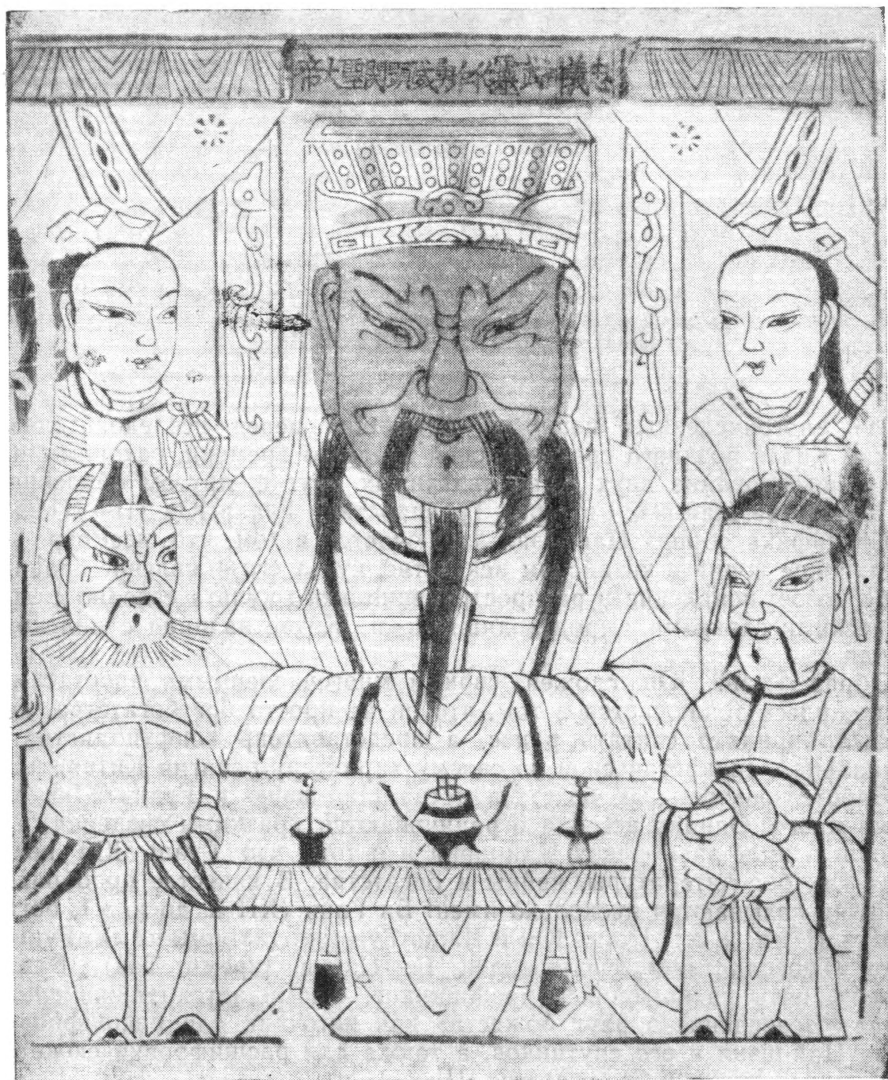


Рис. 1.

Все это свидетельствует о популярности того и другого образа, не раз отмечавшейся исследователями.

Для расшифровки образов Гуань Юя и Цай-шэня, выяснения соотношения их образов и места их в пантеоне божеств официальной религии Китая в период позднего средневековья и нового времени нами было проведено параллельное исследование иконографии божеств, их титулатуры, а также соответствующих письменных источников.

Известно, что обряд поклонения богу богатства Цай-шэню совершался на второй день после Нового года. В этот день в китайских домах поклонялись трем богам богатства — Сань Цай^{1*}, Гуань-ди² Цай-шэню³, Сюаньтань Чжао Юань шуай⁴ (рис. 1, 2, 3). Среди няньхуа,

* Здесь и далее надстрочной цифрой обозначается номер в иероглифическом индексе в конце книги.



Рис. 2.

хранящихся в Государственном Эрмитаже, имеются три иконы этих божеств.

Икона Гуань-ди (т. е. Гуань Юя). Гуань-ди — один из его многочисленных титулов, означающих «император Гуань». В собрании Эрмитажа имеется икона с другим титулом Гуань Юя — *Чжун и шэнь лин ю жэнь юн вэй сянь Гуань шэнь да-ди*⁵. Этот титул был дан ему цинским Дао-гуаном в 1829 г. (рис. 1).

На иконе изображен Гуань Юй в головном уборе императора, сидящий перед алтарем со сложенными на груди руками, в которые вложена табличка. На алтаре — курильница и две свечи. По обеим сторонам его четверо предстоящих — вверху два юноши с одинаковыми лицами и в одинаковых головных уборах. Один держит узелок с вещами, другой — меч и книгу. Внизу, слева — воин со свирепым лицом, с алебар-



Рис. 3.

дой в руках; справа — чиновник. Вся композиция, где Гуань Юй занимает главное, центральное место, отличается строгой уравновешенностью и статичностью. Иконография образа канонична.

Икона Цай-шэня (рис. 2). По стилю, манере исполнения и композиции идентична предыдущей, не отличается от нее титулом божества — *Цзэн фу цзи бао Цай шэнь*⁶. В нижней части иконы предстоящие. Слева — чиновник в некитайском головном уборе, с курчавой бородой, с веткой коралла в руке. Справа — чиновник, также в некитайском головном уборе и с предметом неизвестного назначения в руке (табличка?). Вверху те же предстоящие, что и у Гуань Юя, только у правого в руках стебель лотоса с жемчужиной в пламени, у левого — коробка. Это — гении единства — согласия — *хэ-хэ эр сянь*. На алтаре — серебряный слиток, лошадь, жемчуг. Ниже алтаря — мужчина, от поднятой руки которого исходит облако с сосудом, наполненным монетами, жемчугом и прочими драгоценностями. На сосуде написано: *Цзюй бао пэнь*⁷ («Чаша, собирающая драгоценности»).

Икона Сюаньтань Чжао Юань шуай (рис. 3). По стилю, манере исполнения и композиции, за исключением деталей, идентична двум первым. Наверху титул бога Сюаньтань Чжао Юань шуай⁸ (Чжао — командующий «Черного алтаря»). У бога фантастический головной убор, свирепое лицо. В руке — меч. Верхние предстоящие — юноши в одинаковых головных уборах, так же как у предстоящих на иконе Цай-шэня, только у правого вместо лотоса с жемчужиной узелок с вещами. Внизу — два чиновника со свитками. На алтаре — серебряный слиток, курильница, жемчуг. Ниже алтаря — фигура тигра.

К типу икон Сань Цай относятся также и групповые иконы, где на одном листе изображен Гуань Юй с гражданским и военным Цай-шэнями. Такова, например, икона *Се тянь да ди*⁹. Это часть титула, данного Гуань Юю минским Ван-ли в 1591 г. Верхнюю половину занимает изображение Гуань Юя с двумя предстоящими; Гуань Юй в костюме генерала, персонажа Пекинской музыкальной драмы. Лицо у него красное, по символике цветов — признак честности и храбрости. Слева — воин со свирепым лицом с бородой. Справа — молодой воин с узелком в руках. Внизу, слева — изображение военного Цай-шэня в костюме военачальника, с серебряным слитком в руках. Около него чиновник (?), справа гражданский Цай-шэнь в костюме чиновника (хотя халат странно орнаментирован). Около него воин с табличкой (?) в руках. Под ним — *цзюй бао пэн*.

Кроме перечисленных икон, представляющих обрядовую сторону праздника Цай-шэня, имеется группа картин, где Цай-шэнь является одним из действующих персонажей жанровой сцены. Такого рода картины имели символично-благопожелательный смысл — пожелание богатства. Их развешивали в домах наряду с другими картинами такого же назначения в канун Нового года. В отличие от икон Сань Цай, где мы видели фронтальность и статичность изображений, трактовка картин этой группы отличается свободой композиционных решений, действие развертывается на фоне пейзажа или во дворе богатого дома. Цай-шэня сопровождает пышная свита. В дверях дома его встречают многочисленные семейства.

Хотя эти картины и не служат непосредственными иллюстрациями литературных произведений, таких, как «Соу шэнь цзи» (IV в.), «Тайпин гуан-цзи» (X в.), гл. 99 романа Сюй Чжи-линя «Возведение в ранг божества», тем не менее можно именно с помощью этих книг расшифровать содержание картин. В плане расшифровки такого рода очень важны «Объяснения к грубым картинам», поскольку авторы их, сами художники [5], ссылаются в основном на указанные произведения.

Приведем в качестве примера четыре наиболее типичные картины с сюжетами, символизирующими богатство.

Картина под названием *Цинфу фэй жу*¹⁰ («Прилетели Цинфу»). Справа на высоком помосте с ширмами-экранами под почетным зонтиком сидит чиновник. Справа от него — чиновник с веткой коралла в руке, слева — женщина. В центре картины, на больших серебряных слитках, нагроможденных на телегу, запряженную львом, стоит Лю Хар. Упряжка, сопровождаемая свитой, подъезжает к сцене, на которой сидит чиновник.

В «Объяснении к грубым картинам» говорится: «Свита (по одежде) — магометане или уйгуры, по-китайски — хуйхуй¹¹, по облику похожи на индусов. Поэтому изображения магометан (уйгуров) с драгоценностями фонетически соответствуют фразе *хуйхуй цзинь бао*¹² — «драгоценности, без конца возвращающиеся в дом» [6].

В «Соу шэнь цзи» говорится: «На юге [Китая] имеется насекомое,

называемое Цинфу, по виду напоминающее цикаду, но немного больше. Очень вкусное. Цинфу откладывают яйца на листья травы. Яйца похожи на шелковичных червей. Если взять их яйца, то мать прилетит сразу, где бы она ни находилась. Если их спрятать, то все равно она их найдет. Надо поймать мать и намазать ее кровью 81 монету. Кровью детенышей также намазать 81 монету. При покупке какой-либо вещи надо взять монеты, намазанные кровью матери или детенышей. Тогда деньги будут возвращаться без конца. Поэтому искусство возврата денег [древний философ] Хуай Нань-цзы назвал Цинфу» [7].

Картина под названием *Вэнь У Цай-шэнь цзинь бао сянь жуй*¹³ («Гражданский и военный Цай-шэнь пришли с драгоценностями и принесли добрые предзнаменования») [8].

В центре стола, уставленного драгоценностями, сидят военный и гражданский чиновники. Рядом с ними два юноши, оба держат свитки с надписями *Лиши сянь-гуань лай*¹⁴ («Святой чиновник благоприятной торговли пришел») и *Чжао-цай тунцзы чжи*¹⁵ («Прибыл отрок, призывающий богатство»). Группа обрамлена рамкой из монет, серебряных слитков и прочих драгоценностей. Вверху рамки три иероглифа — *фа цай фу*¹⁶ («разбогатеть и получить счастье»). Внизу, в центре картины огромная «чаша, собирающая драгоценности» (*цзюй бао пэнь*). Слева от нее — один из гениев единения-согласия — *хэ-хэ эр сянь*, с коробкой в руках, откуда вылетают драгоценности, справа Лю Хар с жабой. Вокруг центральной группы изображены юноши, воины, чиновники и другие с различными атрибутами богатства. В «Объяснениях к грубым картинам» сказано: «В Китае различаются два бога богатства: гражданский — Вэнь Цай-шэнь¹⁷ — это Би Гань¹⁸ или же Ши Чун¹⁹; военный — У Цай-шэнь²⁰ — это Чжао Гун-мин»²¹ [9].

В «Тайпин гуан-цзи» рассказывается легенда о Ши Чуне: «Цзиньский Ши Чун и Ван Кай соперничали друг с другом в богатстве. Цзиньский император У-ди был сыном сестры Ван Кая. Когда-то император подарил Ван Каю коралловое дерево высотой в два с лишним чи. Дерево было пышное и развесистое — в мире не видели подобного. Кай показал его Чуну. Чун посмотрел на дерево, взял железный жезл — *жуи* и разбил дерево на мелкие куски. Кай был сильно огорчен этим и подумал, что Чун разбил его из зависти. Но Чун ему сказал: „Не надо сердиться, я возмещу его Вам“. Он приказал слугам принести коралловые деревья. Были всякие, и высотой в три чи, с ветками и стволами, каких не видывал свет. А шесть-семь стволов было таких, что от блеска слепли глаза. А таких, какой был у Кая, было очень много. Кай растерялся и смутился» [10].

В «Объяснениях к грубым картинам» говорится: «Ши Чун и Ван Кай жили в эпоху Цзинь (265—420 гг.— М. Р.), после своей смерти стали богами богатства» [11].

Картина *Цюнь сянь доу бао*²² («Борьба святых [с помощью] талисманов»).

В центре — генерал с мечом в руках сидит верхом на тигре. Слева — молодая женщина, сидящая верхом на фениксе. В левом верхнем углу — группа мужчин, один из которых, старик, сидит верхом на лошади. Справа — пеший воин и воин на лошади, с копьями в руках; дальше — два юноши, играющие в шахматы. Вверху, между всадником на тигре и двумя юношами, — облако, внутри которого изображены различные предметы: шар в пламени, серебряный слиток, монета и пагода.

В «Объяснениях к грубым картинам» сказано: «Чжао Гун-мин верхом на тигре спускается с гор, чтобы помочь иньскому Фэну в борь-

бе против Чжоу. Его младшая сестра Юнь Сяо верхом на темном фениксе помогает ему. Чжао Гун-мин имеет волшебную силу, может бросать свои талисманы [драгоценности] в людей и убивать их. Цзян Цзы-я и Ли Цин — военачальники Чжоуской династии, терпели от него поражения. За цепочкой гор, одетый в темное платье и даосскую шапку, — Цзян Цзы-я, окруженный духами. Верхом на лошади — Ли Цин, пеший — Ту Синь-сунь. Они помогают Чжоу Вану. Справа — Сяо Шэн и Цао Бао играют в шахматы. После смерти Чжао Гун-мина чжоуский Цзян Тай-гун наградил его титулом Цай-шэня. Духи Чэн Цзю-гун и Яо Шао-сы были награждены титулами Чжао-цай шичжэ²³, т. е. Чжао-цай тунцзы²⁴ (отрок, призывающий богатство), и Лиши сяньгуань²⁵ (святой чиновник благоприятной торговли)» [12].

Картина под названием *Цы най Цай-шэнь цзяо мэнь лай дао цза цзя*²⁶ («Действительно, что Цай-шэнь стучится к нам в дом») [13].

На картине справа изображен хозяин дома, встречающий бога богатства, прибывшего к нему со своей многочисленной свитой. В составе свиты — *хэ-хэ эр сянь*, выпускающие из коробки драгоценности, которые падают в большую корзину, стоящую у дома; юноша со свитком, на свитке иероглифы — *Ли-ши сянь гуань* («святой чиновник благоприятной торговли») и т. д. За спиной хозяина — слуги. Справа, в углу, — открытая терраса, где стоят женщины и мальчик. Иными словами, дана картина богатого дома, хозяина которого одаривал и продолжает одаривать бог богатства Цай-шэнь, прибывший к нему собственной персоной.

В «Объяснениях к грубым картинам» говорится: «В начале минской династии жил рыбак по имени Шэн Вань-сань (шань). Однажды он закинул сеть и выловил глиняную чашку. Придя домой, стал из нее кормить собаку. Еда в чашке не убавлялась. Как-то его жена случайно уронила в чашку золотую шпильку. Мигом золотыми шпильками наполнилась вся чашка. Она бросила в нее драгоценности, повторилось то же самое. Тогда супруги поняли, что это и есть *цзюй бао пэнь* — „волшебная чашка, собирающая драгоценности“. Они ее чисто вымыли и внесли в дом. В конце концов они стали очень богатыми людьми. Шэнь Вань-саня стали называть Хо Цай-шэнь — живой Цай-шэнь»²⁷ [14].

На основании сопоставления этих картин с письменными источниками можно сделать вывод, что действительно прообразами Цай-шэня являются герои Фэн Шэнь янь, Чжао Гун-мин и Би Гань, а также Ши Чун и Ван Кай — два богатейших человека эпохи Цзинь (265—420) и Шэнь Вань-сань периода Мин (1368—1644) с *цзюй бао пэн* — китайской «скатертью-самобранкой». А упомянутые картины, носящие безусловно символично-благопожелательный характер, являются также и своеобразными иллюстрациями к литературным произведениям. Основное место среди последних занимает, как мы видели, минский роман «Возведение в ранг божеств», в котором Сюань-тань Чжао Юань шуай («Военный Цай-шэнь») и члены его свиты получили свои титулы. Основной же атрибут Цай-шэня — волшебная чашка взята также из легенд минской эпохи.

Таким образом, если мы снова обратимся к иконам трех богов богатства — Сань Цай, то нам станет понятен образ Цай-шэня с его атрибутом — *цзюй бао пэнь* — и с двумя предстоящими в некитайских головных уборах с кораллом в руке (т. е. игра слов: магометане — возвращение денег) и Сюань-тань Чжао Юань шуай с мечом и тигром (т. е. Чжао Гун-мин, как он изображается в романе «Возведение в ранг божеств»).

Кроме этих двух икон в группу Сань Цай, как указывалось выше, входит икона Гуань Юя. Гуань Юй — один из главных героев романа «Троецарствие». Сведения о нем и характеристику его личности можно почерпнуть из самого романа: в «Персиковом саду» Гуань Юй с военачальником Чжан Фэем и законным претендентом на престол ханьской династии Лю Бэем заключает вечный братский союз. Узурпатор Цао Цао, соперник Лю Бэя в борьбе за трон, захватил Гуань Юя в плен. Он одаривал его различными подарками и пышными титулами, пытаясь оставить у себя на службе. Но Цао Цао пришлось отпустить Гуань Юя. После ухода от Цао Цао Гуань продолжал служить своему государю Лю Бэю, но в одной из схваток был захвачен в плен другим соперником Лю Бэя, Сунь Цюанем, и казнен [15]. В романе Гуань Юй предстает как безудержно храбрый и беззаветно преданный своему государю военачальник.

На другой иконе, где изображен Гуань Юй с предстоящими, написаны их имена: первый — Чжоу Цан, второй — Гуань Пин. В романе Ло Гуань-чжуна «Троецарствие» рассказывается, что Гуань Юй в одном из своих многочисленных походов приблизил военачальника небольшого отряда Чжоу Цана и сына своего однофамильца Гуань Пина. О Чжоу Цане читаем: «У него длинная вьющаяся борода и грозная наружность» [16]. Из разговора, происходящего между отцом Гуань Пина и старшим братом Гуань Юя — Лю Бэем, узнаем, что Гуань Пину было 18 лет [17]. Интересен для нас эпизод романа, в котором рассказывается, что дух Гуань Юя (после его смерти) сопровождали два воина: один с белым лицом, другой чернолицый [18]. Духовное единение этих трех персонажей проявилось уже в том, что после казни Гуань Юя и Гуань Пина Чжоу Цан кончает жизнь самоубийством [19]. Такое прямое соответствие литературного источника с изобразительным материалом не было бы столь продолжительным и прочным [20], если бы не было столь продолжительной и прочной художественной традиции в изображении этих персонажей в самых различных видах искусства.

Самое раннее известное нам изображение Гуань Юя под титулом *И юн у ань вана* датируется XII в. Это гравюра из Хара-Хото. Гуань Юй изображен сидящим на троне в окружении пяти предстоящих. Строгое лицо, слегка повернутое вправо, положение ног и рук, свидетельствующее о силе и решительности, наводят нас на мысль, что Гуань Юй изображен в соответствии с канонам, свойственным официальным портретам того времени. Предшественником такого гравюрного портрета мог быть живописный официальный портрет более раннего периода [21]. По трактовке предстоящих Гуань Юя гравюра близка к изображению хранителей света Локапала из пещерного монастыря Цяньфодун близ г. Дуньхуана, датируемых Танским периодом (VIII—X вв.) [22]. Таким образом, перед нами — одно из самых ранних канонизированных изображений Гуань Юя, в основе которого лежит официальный портрет.

Несмотря на данные письменных источников о широком распространении образа Гуань Юя и в Минский (XIV—XVII вв.) и в Цинский (XVII—XX вв.) периоды, лауну между гравюрой *И юн у ань вана* и изображениями Гуань Юя на няньхуа мы можем заполнить весьма небольшим, имеющимся в нашем распоряжении количеством памятников. Так, на эстампаже с каменного барельефа, датированного временем императора Чжэн-дэ (1506—1522), изображен Гуань Юй также под титулом *И юн у ань вана*. Резко очерченная складка на лбу и брови, несколько выпуклые глаза, тяжелый подбородок создают впечат-

ление грозного и сильного характера. Военные доспехи, тяжелая секира в руке и конь напоминают о боевых походах Гуань Юя, его мече «Черном драконе» и боевом коне «Красном зайце».

К минскому периоду относится также групповая икона на шелку неизвестного мастера, где Гуань Юй под титулом бога войны изображен в военном костюме без предстоящих [23]. На эстампаже с каменного барельефа, датируемого периодом Шунь-чжи (1644—1662), Гуань Юй изображен в костюме чиновника — в халате и поясе. На голове сохранена повязка в виде платка, как на гравюре из Хара-Хото. Округлое, полное лицо с очерченными глазами застыло и создает впечатление маски, в которой лишь очень отдаленно угадываются черты характера Гуань Юя. В предстоящих — молодом воине, несомненно Гуань Пине, слева и воине со свирепым лицом — Чжоу Цане справа — исчезла живость. В лицах-масках сохранены черты, присущие установленному представлению о них. В левом — молодость, в правом — свирепость. Несмотря на малочисленность памятников, мы можем усмотреть в них определенную закономерность в канонизации образа Гуань Юя. О первом изображении (гравюра из Хара-Хото) мы можем говорить как об официальном портрете, выполненном на основании живописного образца. В дальнейшем образ постепенно засушивается. В нем исчезает намек на определенную характеристику, присущую данному типу людей (т. е. храбрость, воля, жестокость). Начинается лишь внешний отбор деталей — костюм, предстоящие. И наконец, если мы вернемся к разобранным нами иконам Гуань Юя, изображенного под разными титулами, увидим, что изобразительная канонизация Гуань Юя шла подчас не только с учетом черт его характера и чина высшего военачальника (красное лицо, костюм театрального генерала), но и с учетом официальной титулатуры. Решающую роль в этом плане сыграл титул императора²⁸, данный ему минским Ван-ли в 1591 г. На иконах-няньхуа Гуань Юй изображается, за исключением отдельных случаев, в костюме императора. Его лицо строго канонично, так же как и лица и костюмы его предстоящих. Сама композиция иконы, где главное божество изображается более крупно, а около него в строгом порядке располагаются предстоящие, ведет нас к иконам китайского буддизма эпохи Тан.

Суммируя все вышесказанное, мы можем прийти к заключению, что канонизация образа Гуань Юя прошла длительный путь развития. На протяжении веков Гуань Юй — герой народных легенд и сказаний. Но вместе с тем он почитаем и китайской феодальной верхушкой во главе с императором. Достаточно сказать, что по полной таблице титулатуры Гуань Юя первый почетный титул был ему дан ханьским Цзяньанем в 201 г. н. э. А много лет спустя, в 1591 г., он получил титул императора, которого не был удостоен Конфуций.

Анализ самого раннего, дошедшего до наших дней изображения Гуань Юя под титулом *И юн у ань вана*, относящегося к XII в., показал большую роль Гуань Юя как представителя конфуцианства. В то время также были распространены храмы *И юн у ань вана*.

Титулы, данные ему императором династии Юань (1328 г.) и императорами династии Мин, свидетельствуют о том, что культу Гуань Юя придавалось большое значение.

В цинский период (1644—1911) культ Гуань Юя как выразителя основных конфуцианских догматов приобретает особое звучание. Одно из свидетельств этого — составление канонического сборника о Гуань Юе — *Гуань-ди шэн цзиту чжи цюань цзи*²⁹ («Полный сборник записей о деяниях мудрого императора Гуаня» [11]). Сборник был составлен на основании многочисленных источников. Первое его издание от-

носится ко времени царствования императора Кан-си (1694 г.). Впоследствии он выдержал ряд переизданий [24]. Сборник состоит из пяти цзюаней, озаглавленных пятью основными конфуцианскими догмами: *жэнь* — «гуманизм»³⁰, *и* — «долг»³¹, *ли* — «церемонии»³², *чжи* — «знание»³³, *синь* — «верность»³⁴ [25]. В книге помещены биография Гуань Юя и других героев «Троецарствия», исследование его переписки, сведения о его могиле и храмах, титулах, молитвах, приведены литературные произведения в различных жанрах, посвященные ему.

Биографию Гуань Юя сопровождают пятьдесят семь иллюстраций, посвященных главнейшим эпизодам жизни и деятельности героя. В основном это военные подвиги, совершаемые Гуань Юем со своими воинами. Все сцены даны на фоне пейзажа или в интерьере. Они наполнены живым движением и связаны с общим развитием книжной иллюстрации. Несмотря на то что изображение Гуань Юя в них очень близко его изображению на приведенной нами иконе Минского периода, все-таки канон, как таковой, отсутствует. Изображение Гуань Юя с Чжоу Цаном и Гуань Пином подчинено определенной композиции, которая, однако, не выделяется из общего стиля иллюстраций сборника. Смерть Гуань Юя не показана. Перед нами Гуань-ди — император в окружении воинов, чем подчеркивается необычайно высокое положение Гуань Юя.

Идейное содержание образа Гуань Юя сформулировано в этом же сборнике в словах, приписываемых ему самому: «У меня нет никаких способностей, единственно, что я имею, — это верность и долг. Я поддерживаю ханскую династию и уничтожаю изменников, не зная страха в этом. Мне уже скоро 60 лет. Моя судьба зависит от Неба. Смотрите на мое честное сердце и слушайте мои слова. Солнце находится на небе, сердце принадлежит человеку. Он должен иметь сыновнюю почтительность, подданные должны быть преданными. Отец должен быть строг, мать милосердна, старший брат должен любить младшего, младший должен уважать старшего. Жена должна быть послушна мужу. Друзья должны быть верными. Соседи должны жить в дружбе. К слугам должно иметь доброе отношение. Мои слова просты, но для человека от них большая польза. Кто бы вы ни были — ученый или чиновник, генерал или солдат, если вы будете почитать мои слова, ваше дело будет процветать. Люди есть знатные и подлые, но в своих страстях они не отличаются друг от друга. Дома, в дороге, занимаясь торговлей, в женитьбах, болезнях, в суде, в ссорах, в нападении злых духов, в ограблении, стихийных бедствиях — если вы будете искренне почитать мои слова, ваши дела будут благополучны» [26].

В предисловии к этому же изданию говорится: «Мудрый человек — это человек, выполняющий правила человеческой морали. Одно из важнейших правил — уважать государя. Но самое главное — уважать законного императора. Никакие трудности не смогли его сломать. Преданный, с чувством настоящего долга, нет второго такого, как Гуань Шэнь-ди. Гуань Шэнь-ди можно назвать совершенномудрым» [27].

Мы просмотрели две достаточно сложные линии развития образа бога богатства Цай-шэня и Гуань Юя, чтобы выяснить, каково их соотношение. Обратимся снова к иконам няньхуа.

На групповых иконах, предназначенных для сжигания во время церемонии отправления культа бога богатства, изображение Гуань Юя сливается с изображением Цай-шэня. Так, например, на одной из групповых икон имеется изображение Гуань Юя под титулом *Гуань шэнь дади*³⁵ — «Святой, великий император Гуань» (неполный вариант титула, данного ему цинским Шунь-чжи в 1653 г.) с двумя его обычными



Рис. 4.

спутниками — телохранителем Чжоу Цаном и сыном Гуань Пином и двумя предстоящими Цай-шэня — отроком «зовущим богатство» и святым чиновником благоприятной торговли. Имеются иконы, где Гуань Юй изображен только с предстоящими Цай-шэня.

Кроме икон, в которых, как мы видели, Гуань Юй действительно выступает в роли одного из богов богатства, имеется ряд других икон. Это групповые иконы, где Гуань Юй изображен в числе главных божеств Сань цзяо (трех учений): Юй Хуана — даосизма, Гуань Юя — конфуцианства и Будды (рис. 4). Или икона, где Гуань Юй имеет титул императора, данный ему минским императором Вань-ли в 1591 г., групповая икона, где Будда (представленный в виде Будды прошлого, настоящего и будущего) Юй Хуан и Гуань-ди изображены в центре и более крупно, чем остальные божества.

Материал икон няньхуа дает следующую картину: с одной стороны — Гуань Юй, один из трех богов богатства, иногда даже оба обра-

за сливаются, а с другой — Гуань Юй, один из трех представителей Сань цзяо, причем главнейшего учения, ибо в идеологии старого Китая конфуцианство играло решающую роль. Исследование письменного источника «Гуань-ди шэн цзиту чжи цюань цзи» показало, что Гуань-ди стали считать главным выразителем конфуцианских идей. Эти идеи ограничивались правилами взаимоотношений между людьми, при соблюдении которых, считалось, можно добиться благополучной жизни, процветания своего дела. Таким образом, Гуань-ди стал защитником и покровителем всякого дела, особенно торговли, в которой массы ремесленников и торговцев старого Китая видели свое благополучие. Этим как раз и объясняются групповые иконы, где Гуань-ди изображен вместе с гражданским и военным Цай-шэнями, и иконы, где образ Гуань-ди частично сливается с образом Цай-шэня.

Многочисленные прообразы Цай-шэня, как, например, Би Гань, Чжао Гун-мин и другие, свидетельствуют о развитии представлений, связанных, с одной стороны, с нуждами развивающейся синкретической религии, а с другой — с благопожелательной символикой, основанной на заимствовании из реальной действительности и литературных произведений. Дальнейшему развитию синкретизма в послесунский период способствовало сложение в эпоху Сун (X—XIII вв.) неоконфуцианства, основа которого состояла в том, что «в конфуцианские книги были введены некоторые буддийские и даосские концепции» [28].

Вопрос становления официальной синкретической религии недостаточно еще изучен. Однако минская династия, объединившая Китай после разгрома монголов, нуждалась в единой религии, на которую она могла бы опереться. Одним из доказательств этого является строительство храмов, возрождающих древнейшие культы (храмы Неба и Земли в Пекине), отправляемые самим императором. Развитой синкретизм, о чем мы можем судить хотя бы по иконе минского времени с изображением сложного синкретического пантеона [29], должен был войти в эту религию.

Развитие товарно-денежных отношений, применение наемного труда и, следовательно, увеличивающаяся роль денег в Минский период — процесс, который засвидетельствован в науке [30]. Видимо, в этот период и оформляется культ бога денежного изобилия, от которого «зависело» именно денежное богатство [31]. В конце XVII в., после разрухи, вызванной маньчжурским завоеванием, происходит возрождение китайских городов, ремесел, торговых путей [39]. По свидетельству Ван Шу-цуня, религиозные няньхуа периода Кан-си (1662—1722) были насыщены молитвами о богатстве. Он пишет также, что каждый цех имел своего покровителя. Последние рассматривались главным образом как податели богатства, поэтому число их росло [33]. К сожалению, от этого времени, равно как и от более позднего, т. е. от XVIII—XIX вв., вплоть до конца XIX — начала XX в., религиозных няньхуа ни этого ни другого типа до нас не дошло. Но сохранившиеся няньхуа, т. е. конца XIX — начала XX в., разобранные в данной статье, дают яркую картину культа Цай-шэня и Гуань Юя и позволяют наряду с другими источниками проследить процесс их развития. Маньчжурское правление своей экономической политикой способствовало длительной консервации феодальных отношений [34]. На протяжении всего периода Цинов Цай-шэнь оставался богом денежного богатства для миллионов мелких товаропроизводителей. Однако образ его с течением времени изменился и, как мы видели, существовало несколько его вариантов, что также свидетельствует о популярности культа.

Для укрепления своей власти маньчжуры использовали теоретиче-

ские положения конфуцианского канона, многие века служившего идеологическим оплотом феодального режима [35]. Частное проявление «заботы» о конфуцианстве — составление упомянутого сборника о Гуань Юе как главном выразителе конфуцианских догматов. Это неразрывно связано с официальной синкретической религией, пантеон которой в основных чертах был закреплен при Цинах. Главная роль Гуань Юя как представителя конфуцианства в этой религии объясняет включение его образа в групповую икону Саньцзяо.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См.: J. J. De Groot, G. G. Chavannes, *Les fêtes annuellement célébrées à Emoui (Amoy), Paris, 1886*, стр. 95—123; В. Грубе, *Духовная культура Китая*, СПб., 1912, стр. 179—180; Dore, *Recherches sur les superstitions...*, 11^{ème} partie, t. VI, стр. 956—963; 11^{ème} partie, t. VI, стр. 54—63 (здесь Доре приводит названия источников о Гуань-ди, кратко аннотируя их как источники о любимом боге, с которым связаны конфуцианские добродетели); Wegner, *A Dictionary of Chinese Mythology...*, стр. 514—517; Alexeiv, *The Gods of Wealth...*; Акад. В. М. Алексеев, *Народная картина...*; ст. «Цай-шэнь — бог денежного обилия, его изображения, культ и символы его благоволения», стр. 160—170. Здесь же автор приводит легенду о волшебной чашке.
2. Алексеев, *Народная картина...*, статья «Цай-шэнь — бог денежного обилия, его изображения, культ и символы его благоволения», стр. 160.
3. Там же, стр. 160.
4. Среди няньхуа, хранящихся в Музее истории религии и атеизма, имеются картины с изображениями аналогичных юношей.
5. Алексеев, *Народная картина...*, стр. 172.
6. Объяснения к грубым картинам, текст № 381.
7. Соу шэнь цзи (*Сборник волшебных рассказов*), Шанхай, 1958 (на кит. яз.), стр. 99; Алексеев, *Бессмертные двойники...*, стр. 312, 313; Алексеев, *Народная картина...*, стр. 168.
8. Издана в кн.: Alexeiv, *The Gods of Wealth*.
9. Объяснения к грубым картинам, текст № 69.
10. Тайпин гуанцзи, т. III, из. 3, стр. 1812.
11. Объяснения к грубым картинам, текст № 338.
12. Объяснения к грубым картинам, текст № 364. В тексте имеется ссылка на роман «Возведение в ранг божеств». В гл. 99 романа рассказывается о награждении Чжао Гун-мина и духов Чэн Цзю-гун и Ло Шао-сы указанными титулами.
13. Издана в кн.: Alexeiv, *The Gods of Wealth*; Алексеев, *Бессмертные двойники...*, стр. 314.
14. Объяснения к грубым картинам, текст № 338, 24.
15. Подробно см.: роман Ло Гуань-чжуна «Троецарствие», перевод с кит. яз. В. А. Панасюка, М., 1954, т. I—II.
16. Там же, стр. 352.
17. Там же, стр. 358.
18. Там же, стр. 286.
19. Там же, стр. 218.
20. Напомним, что роман «Троецарствие» был написан в XV в. Его основой послужили легенды и предания, ходившие в народе. Разбираемые в работе няньхуа относятся к концу XIX — началу XX в.
21. Это подтверждается наличием группового портрета художника Ян Ли-бэня «Тринадцать императоров» (VII в.), где художник изобразил императоров различных династий от Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.) до Сун (VI—VII вв.). Фу Бао-ши, *Китайская живопись*. Пекин, 1958, т. I, табл. 40—41 (на кит. яз.). Портретируемые лишены психологической характеристики, а даны методом определенной типизации. Это создало для художника возможность, не видя живого человека, а только по описаниям его характера написать портрет, выделив в нем какую-то основную черту его личности, дав ее согласно определенному канону изображения данной черты.
22. A. Stein, *Serindia*, Oxford, 1921, t. IV, Pl. LXXXV.
23. E. A. Strehlneck, *Chinese pictorial art*. Shanghai, 1914, стр. 201. На иконе представлены божества неба, земли, звезд, сил природы, воды, провинций, Мын шэнь, Цзао ван, по соответствующей иерархической лестнице.
24. В работе было использовано издание 1859 г.

25. Подробно см.: Я. Б. Радуль-Затуловский, Конфуцианство и его распространение в Японии, М.—Л., 1947, стр. 65—162.
26. Гуань-ди шэн цзиту чжи цюань цзи (Полный сборник записей о деяниях мудрого императора Гуаня), цз. «Долг», раздел шэн-цзин-као, гл. «Рассказываю о моей воле» (Ксилограф XIX в.).
27. Полный сборник записей..., Предисловие.
28. Derk Bodde, The Philosophy of Chu Hsi, 1942, стр. 4.
29. Храмовый синкретизм был в свое время отмечен в работах акад. В. М. Алексеева (см.: В. М. Алексеев, Из области китайского храмового синкретизма, «Восточные записки», т. I, Л., 1927, стр. 283—297; а также фундаментальное издание: E. Chavannes, Le T'ai-chan. Essai de monographie d'un culte chinois, appendice de dieu du sol dans la chine antique, Paris, 1910).
30. Э. Б. Стужина, О характере цеховой организации в Китае, — «Проблемы востоковедения», 1961, № 1, стр. 38.
31. Иероглиф *цай*³⁶ — «денежное богатство» нужно отличать от иероглифа *фу*³⁷ — богатство в смысле обилия; последний очень часто встречается в символично-благопожелательных картинах няньхуа.
32. Э. Б. Стужина, О характере цеховой организации..., стр. 44.
33. Ван Шу-цунь, Сборник няньхуа..., стр. 4.
34. Подробнее см.: С. Л. Тихвинский, Маньчжурское владычество в Китае, — «Маньчжурское владычество», М., 1966, стр. 3—77; а также В. М. Штейн, Были ли в экономике стран Востока элементы капитализма до вторжения европейских держав?, — «О генезисе капитализма в странах Востока (XV—XIX вв.)», М., 1962, стр. 210—211. В статье В. М. Штейна нам важно подчеркнуть, что элементы капитализма в экономике Китая до прихода европейцев существовали, но они не достигли такой степени зрелости, чтобы можно было признать наличие капиталистического уклада (О. М. Иовчук, Об особенностях развития фабрично-заводской промышленности в Китае в 1861—1895 гг., — «Проблемы востоковедения», 1959, № 5; «О генезисе капитализма в странах Востока. Материалы обсуждения», М., 1962).
35. О. Л. Фишман, О политике Цинов в области идеологии, — «Маньчжурское владычество в Китае», М., 1966, стр. 169—185.

А. П. Терентьев-Катанский

КИТАЙСКАЯ ЛЕГЕНДА О ДРАКОНЕ

Образ дракона всегда играл заметную роль в фольклоре китайского народа. Цель данной статьи — указать на отдельные черты легенды, могущие послужить для выяснения реальных корней этого образа.

Знак дракона впервые встречается уже в иньских гадательных надписях на костях. Особенно интересны два его начертания. Одно из них изображает безногое существо. Другое — массивное животное с четырьмя лапами. В обоих случаях на голове дракона — гребень или рога, а тело чешуйчатое [8, 17—18]. По мнению Лю Жу-линя, первый знак — более древний [1, 40—43]. Можно, однако, предположить, что разница начертаний объясняется либо существованием уже в то время различных представлений об облике дракона, либо стилизацией и упрощением знака.

Таким образом, уже в самых ранних письменных источниках дракон изображен как пресмыкающееся. Источники периода Чжоу подтверждают эту мысль. В них встречается упоминание о том, что дракон впадает в спячку, подобно змеям: «Драконы и змеи погружаются в зимнюю спячку, чтобы сохранить свою жизнь... Если дракон или змея не впадут в спячку, то холод убьет их» [12, 22].

К эпохе Хань относится известие о картине, изображающей дракона «с лошадиной головой и змеиным хвостом» [5, 65]. По-видимому, в то же время укрепляется представление о существовании различных видов дракона, а также любопытная концепция происхождения живых существ от драконов: «Десять тысяч существ, пернатых, покрытых шерстью, чешуйчатых и панцирных, произошли от драконов. Юйцзя (предок пернатых) породил летающего дракона. Летающий дракон породил феникса. После этого появилась птица Луань... и так произошли все пернатые. Маоду (предок животных) породил дракона Ин. Дракон Ин породил Цзяньма. Затем появился Цилинь (мифический чешуйчатый единорог)... и так произошли все звери. Цзелинь (предок чешуйчатых) породил дракона Цзяо. Дракон Цзяо породил рыбу Кунь (мифическая огромная рыба). Затем появилась рыба Цзяньсе... и так произошли все чешуйчатые. Цзетань (предок панцирных) породил дракона Сянь. Дракон Сянь породил черепаху Юань. Затем появилась черепаха Лин... и так произошли все панцирные» [18, 297].

При Хань появился еще один вид дракона: «Не поднимающийся на небо дракон называется сворачивающимся драконом». Возможно, что речь шла о панголине, родственнике броненосца [13, 21].

Позднее образы летающего дракона и дракона Ин слились. В «Бо я» (династия Вэй, 220—265 гг. н. э.) сказано: «Имеющий чешую называется драконом Цзяо. Имеющий крылья называется драконом Ин. Имеющий рога называется драконом Цю. Не имеющий рогов называется драконом Чи» [4, 21].

По-разному трактуется разновидность рогатого дракона. Рога (или гребень) дракона встречаются уже на иньских костях. В «Чуских напевах» упоминаются «черный дракон рогатый» и безрогие белые драконы [3, 86]. Однако то, что рогатые драконы выделены в особую группу, показывает, что выросты на черепе, присущие другим драконам, тогда еще не считались рогами. На рисунках у дракона Цю бараньи рога.

Некоторые авторы говорят о разных видах дракона, как о возрастных стадиях одного и того же существа: «Цзяо в возрасте тысячи лет превращается в дракона. Дракон в возрасте пятисот лет превращается в рогатого дракона, а в тысячелетнем возрасте — в дракона Ин» [17, 21].

Здесь выделен в отдельный вид собственно дракон Лун, который и занимает в легендах место божества.

Таким образом, с течением времени образ дракона, обогащаясь, возможно, все новыми записями версий легенды, расширяется до понятия целой группы, в которой центральное место занимает дракон Лун.

В трактате, относящемся к правлению династии Сун, перечисляется ряд конкретных черт внешнего облика дракона, заимствованных, возможно, из более ранних источников: «Он также имеет... восемь сходств с другими животными... Эти восемь сходств: рога оленя, голова верблюда, глаза духа, шея змеи, чешуя карпа, когти орла, лапы тигра, уши коровы» [18, 297]. Этот образ, в некоторых чертах сложившийся еще при Хань и дополненный в последующие эпохи, почти без изменений дошел до наших дней. В «Бэньцао ганму», труде великого китайского фармаколога Ли Ши-чжэня, названы те же черты, только «глаза духа» заменены «глазами кролика», а также упоминается точное количество чешуи — 81, усы и бакенбарды [11, 53]. Оба источника упоминают голос дракона, подобный удару в медные тарелки.

Интересен образ злого дракона Цзяо. Легенды обычно рисуют его водяным чудовищем, зверски убивающим людей [7, 46]. Наиболее полное описание Цзяо дано у Ли Ши-чжэня: «Цзяо относится к драконам... Длинной более чжана (3,2 м). Похож на змею, но имеет 4 ноги... Маленькая голова и тонкая шея. На горле белое ожерелье. Передняя часть груди красного цвета. На спине темные пятна (или полосы). На боках как будто узоры... Яйца, которые он откладывает, очень велики» [11, стр. 58].

Некоторые особенности образа жизни дракона еще более подчеркивают заметные в его внешнем облике черты пресмыкающегося.

В китайских источниках дракон часто выступает как водяное животное. Император Юй (династия Ся, 2205—1767 гг. до н. э.), переправляясь через реку на лодке, столкнулся с желтым драконом. Приблизительно к тому же времени относится сообщение о появлении двух драконов около корабля, плившего по р. Хуайхэ, а также рассказ о человеке, убившем двух драконов Цзяо, напавших на его лошадей во время перехода через болото [5, 64—65]. Считалось, что крупные старые рыбы превращаются в драконов Цзяо. У Сыма Цяня среди водных животных названы «драконы с рогами и без» [2, 295].

От времен династии Тан (618—907 гг. н. э.) дошло упоминание о том, что дракон «скрывается в пучине» [14, 134].

Даже более поздние авторы иногда ссылаются в данном вопросе на личные наблюдения. В сунском трактате «Эр я и» сказано: «Сейчас в реках и озерах временами видят его лапу и хвост; только его голову нельзя разглядеть» [18, 297].

В источниках упоминаются случаи убийства дракона людьми с целью самозащиты или для употребления его мяса в пищу. Последнее обстоятельство наводит на мысль, что «дух» был некогда живым существом.

В «Бэньцао ганму» есть сведения, относящиеся, по-видимому, еще к легендарным временам: «Род Тао и род Лун ели драконов» [11, 54]. Этот факт, как и название рода именем дракона Лун, напоминает обычный ритуальный поедания животного-покровителя у многих племен.

Тиран эпохи Инь царь Чжоу (1154—1122 гг. до н. э.) захотел один раз попробовать «печень дракона и зародыш леопарда». Он получил желаемое [5, 65].

Ханьский император Чжао-ди (86—73 гг. до н. э.), развлекаясь рыбной ловлей на р. Вэйшуй, поймал белого Цзяо. По этому поводу сказано: «[Цзяо] похож на змею, но без чешуи или панциря. На голове — мягкие рога (или мягкий рог — число неясно). Зубы выдаются из-за губ. [Император] приказал... засолить его, и, когда отведал его мяса, оно оказалось очень вкусным» [11, 54]. Аналогичный случай произошел при правителе той же династии, Хэ-ди (89—107 гг. н. э.): «Был большой дождь, и дракон упал во дворец. Император приказал сделать из него похлебку» [11, 54]. Есть сообщение о соленом мясе дракона [11, 54].

Интересны и другие сведения, связанные с драконом, — о домашнем драконе и драконе для езды. Из большого диалога, приведенного в трактате Ван Чуна (27—104 гг. н. э.), узнаем следующее. По древним версиям, в стране некогда разводили драконов. Были даже семьи, разводившие драконов и ездившие на них. Отрывок относит их существование к мифическому периоду и династии Ся. Некий Дун, знавший секрет кормления и приручения дракона, получил от императора Шуня (2255—2204 гг. до н. э.) титул «Кормящий дракона» и область Цзунчуань. Древние императоры из рода Шуня всегда имели ручных драконов. При Ся разводили драконов Кун Шэнь, получивший титул «Ездящий на драконе», и Лю Лэй. Позднее к этому делу был приставлен специальный чиновник. Вымирание драконов объясняется тем, что чиновник, знавший секрет ухода за ними, был казнен [5, 65—66].

В данном случае употреблено слово *хуань*, означающее содержание именно домашних животных. В «Ли цзи» к дракону применен термин *чу* — «домашнее животное» [10, 42—43].

В оде вэйского Цао Чжи говорится о поимке драконов в Цинцюани (область в Хунани) и их содержании: «Драконы будут содержаться в маленьком пруду, и народ в ближайшее время сможет их увидеть» [15, 25].

В «Эр я и» о домашних драконах сказано: «Если они желали причинить зло, то их усмиряли, и только» [18, 297].

Китайские авторы различных эпох неоднократно упоминали о находках костей и даже сброшенной кожи дракона. Основные материалы о находке костей дракона собраны в «Бэньцао ганму». Так как сведения часто повторяются, нет необходимости цитировать все собранные отрывки. Суть этих сообщений сводится к следующему. Большая часть находок сделана в Шаньси. Как места отдельных находок упоминаются район Тайшань, пещера на обрыве р. Яньшуй, где, как сказано в отрывке, было «место смерти драконов», Цанчжоу, Тайюань, Лунмэнь.

Качество найденных костей оценивалось по-разному. Лучшими считались пятицветные кости, средними — белые и желтые, худшими — черные. Вообще попадались кости желтые, темные, красные, белые и черные. Искатели костей особенно стремились достать позвоночник и голову дракона, которая имела рога и передние зубы, довольно слабые, очевидно не хищные.

Впоследствии китайские аптекари в погоне за прибылью стали выдавать за кости дракона любые древние кости и даже иньские гадательные кости.

Несколько раз в источниках говорится о сброшенной коже дракона, а один раз о целом труп: «Все говорят разное. В конце концов это лишь догадки. В свое время был на обрыве обвал, и на свет показался один целый труп. Кожа, тело, голова, рога — все это полностью сохранилось. Не знаем, то ли это сброшенная кожа, то ли убитое животное. Считают и так и иначе. Следовательно, есть существо такого вида. Его нельзя видеть живым; можно видеть только мертвых животных. Говорят, что оно обладает способностью превращаться, но по его виду нельзя заключить, чтобы оно могло это делать» [11, 54].

Очень важен факт обнаружения не только костей, но трупа или кожи. Сам термин «сброшенная кожа» употребляется только по отношению к животным с холодной кровью.

Наряду с реальными чертами образу дракона в китайской литературе с древних времен сопутствует ряд фантастических качеств.

Одна из наиболее важных функций обожествленного дракона — функция божества воды, облаков и дождя.

В книге «Гу сань фэнь», появление которой традиция относит ко временам мифических владык Шэнь-нуна и Хуан-ди, сказано: «Дракон... может направлять тучи и дождь» [6, 21].

Ван Чун сомневался в способности дракона вызывать дождь. Он считал источником подобного суеверия появление дракона во время дождя. У него же есть слова: «Настоящий дракон живет на земле и не связан с дождем» [5, 171].

В «Цза шо» (ок. 780 г. н. э.) сказано: «Дракон выдыхает воздух и образует облако». То же говорится и в «Эр я и» вместе с описанием крика дракона во время дождя. Там же есть слова: «В начале лета... драконы... делят территорию. Каждый дракон имеет свой район. Поэтому на каждые два му дождь и ведро совершенно различны. Также, когда гроза, говорят: дождь блестящий — дождь небесный; дождь жестокий — дождь дракона». Те же функции дракона описаны у Ли Ши-чжэня [14, 18, 297; 11, 53].

Сильные ливни объяснялись битвой драконов в облаках. Смерчи в море связывались с тем, что желающий пить дракон притягивал воду на небо. Равноденственные бури считались результатом ухода дракона на небо весной и его осенним возвращением [20, 71].

Во всем этом сквозят элементы трезвого наблюдения. В засушливый сезон крокодилы зарываются в ил пересыхающих водоемов. Неожиданное появление пресмыкающихся, родственных крокодилам, в период дождей могло дать повод к объявлению их богами дождя.

Вера в умение дракона летать связано с его ролью бога облаков. Народная фантазия связывала уход дракона на небо с весной, а его возвращение — с осенью. Версия эта относится еще к эпохе Чжоу [9, 21].

Ван Чун, приводя сведения древних авторов о полете дракона, иногда совпадающие с его собственным мнением, отрицает уход дракона на небо для выполнения какой-то миссии: «Цзяо и драконы постоянно

встречаются в пучине... если они живут там, то принадлежат к группе рыб и черепах. А может ли рыба или черепаха подниматься в небо?» [5, 65].

Способность дракона к полету связывается с органом *чиму*, упоминающимся у Ван Чуна. В одном из источников эпохи Тан сказано: «Дракон, не имеющий чиму, не может подняться в воздух». То же самое повторяют «Эр я и» и «Бэньцао ганму». Трудно сказать, что такое *чиму*. У Ли Ши-чжэня этот орган упоминается наряду с рогами [19, 137; 18, 297; 11, 53].

В источниках не сказано, какой из драконов умел летать. По-видимому, речь шла не о крылатом драконе, а о драконе вообще.

Образ дракона связан с огнем, чаще всего с молнией. Ван Чун говорит, что, когда молния ударяет в дерево или дом, дракона, скрывавшегося там, «берет небо». Так дракон становится символом огненной материи, своим выходом наружу вызывающей возгорание пораженных молнией предметов. У того же Ван Чуна приведена легенда, герой которой, убивший двух драконов Цзяо, был поражен молнией [5, 66].

Упоминаемый Ли Ши-чжэнем «драконов огонь», загорающийся от сырости, напоминает описание нефти у старых авторов. Жир одного из видов дракона, Дяо, служивший лекарством от опухолей, также очень похож на нефть (он плохо держится в металлических и фарфоровых сосудах [см. 11, 56]).

Ван Чун не считал свойство дракона превращаться (принимать облик других существ), признаваемое многими древними авторами, чем-то сверхъестественным. Сравнивая его с другими животными, он сводил эту особенность к мимикрии [5, 67].

Связь образа дракона с дождем придала ему черты божества плодородия и размножения. Сам дракон, по словам Ли Ши-чжэня, размножался, откладывая яйца, как пресмыкающееся [11, 53]. Легенда, однако, приписала дракону способность вступать в брак с существами любой породы, в том числе и с людьми. Существует легенда о дочери горожанина из Чанша, ставшей матерью трех драконов Цзяо [7, 46].

Наконец, дракон выступает как символ «совершенного мужа» и императора. Матерям мифического императора Яо, Конфуция, ханьского императора Гао-ди (206—195 гг. до н. э.) являлись драконы. Такое знамение предвещало рождение великого человека. Драконы являлись с предупреждением императорам, сошедшим с пути добродетели. Император Цинь Ши-хуанди (246—210 гг. до н. э.) умер после того, как убил дракона отравленной стрелой.

Трон императора носил название «драконьего престола». В титулатуру императора входил титул «живой дракон». Дракон, вышитый золотом и серебром по черному шелку, украшал одежду императора и близких к нему людей [20, 71].

Множество храмов старого Китая в честь Лун-вана — царя драконов — во время засухи являлись местом пышных богослужений. В 1-й день 5-го месяца по старому китайскому календарю проводился обряд имитативной магии — гонки «драконовых лодок», символизирующие битву драконов. Обряд изготовления из земли дракона с целью вызвать дождь описан у Ван Чуна, отрицавшего успех этого заклинания [5, 171].

В «Эр я и» и у Ли Ши-чжэня описаны поверия, связанные с симпатиями и антипатиями дракона. Согласно этим повериям, дракон боится железа, сколопендры, мелии (растение) и пятицветных ниток, но любит мясо жареных ласточек. Поэтому поевший мяса ласточек не должен

переправляться через реку, предохраняющий себя от бедствия на воде имеет при себе железо, а молящийся о дожде приносит в жертву тех же ласточек [18, 297; 11, 53].

Вопрос об образе дракона в изобразительном искусстве требует специальной разработки. В целом изображения дракона уже с древнейших времен подтверждают имеющиеся о нем в литературе сведения как о чешуйчатом существе с рогами. Интересно одно изображение, относящееся к эпохе Чжоу, представляющее собой законченный тип позднего дракона. Любопытны длинный рогатый дракон на картине периода Чжань-го, а также ханские изображения драконов с крыльями и драконов, впряженных в колесницу [16, табл. 4, 64, 69, 77 и др.].

Образ дракона мог зародиться в тех местах, где существовали крупные пресмыкающиеся, могущие служить его прототипом.

Однако легенда о драконе была распространена и в странах Европы, где крокодилы вымерли задолго до появления человека. Некоторые черты сходства указывают на восточное влияние. Само слово «дракон» — греческое. По мнению некоторых исследователей, под словом «дракон» в античном мире понималась обожествленная змея. Это утверждение базируется на латинском изречении, где говорится о змеях водяных (*anguis*), наземных (*serpents*) и находящихся в храмах (*dragones*) [22, 32].

В мифах античной Греции дракон обладал ярко выраженными чертами змеи. Следует учесть, что гигантские змеи водились на памяти человека в Швейцарии и на о-ве Хиос. Отсюда и миф о Лаокооне.

В позднем Риме одним из военных значков был дракон.

В заглавной букве одной из византийских рукописей есть изображение дракона, близкого к китайскому.

В легендах средневековой Европы дракон — довольно частый образ. Внешнее сходство этого крылатого, покрытого чешуей существа с когтистыми лапами с изображением дракона Ин порой значительно [21, 20].

В легендах о драконе впервые попытался разобраться естествоиспытатель эпохи Возрождения Конрад Гесснер. Анализируя название дракона в древних германских сагах («*Lindwurm*»), он считал, что слово «*Lint*» в старогерманском языке означало змею. Гесснер говорил также об африканских и индийских драконах, имевших в длину от 30 футов до 80 локтей (30 футов — 9 м; 90 локтей — 48 м). Цитируя старые источники, Гесснер упоминает безногого дракона (гигантскую змею), дракона с крыльями, но без лап и крылатого дракона с рогами и лапами [21, 25—31].

В китайской литературе первым заговорил о реальности дракона Ван Чун. Отрицая божественную природу дракона, он отстаивал его материальность: «Дракон имеет форму. Если он имеет форму, то может двигаться. Если он движется, то должен есть. Если он ест, то имеет материальную природу. Существо, имеющее материальную природу, не может быть духом» [5, 56].

В европейской науке реальное существование дракона решительно отрицал Линней.

В настоящее время существует шесть основных гипотез относительно создания образа дракона.

Гипотеза, считающая дракона комбинацией змеи и крокодила [21, 32—33], отпадает уже потому, что в Китае нет достаточно крупных змей, могущих своим видом внушить представление о драконе. В Европе же крокодилы вымерли до появления человека.

Несмотря на то, что сходство китайского и европейского дракона

с динозаврами велико, «динозавровая» гипотеза [21, 39—41] также неубедительна, так как динозавры вымерли задолго до появления человека («Великое меловое вымирание»).

Явно идеалистической является теория параллельной эволюции Штейнмана — Дакэ [21, 41—43], согласно которой каждый вид не вымирает, а превращается в другой. По этой теории, человек прошел стадии рыбы, земноводного, пресмыкающегося, следовательно, мог быть свидетелем самых отдаленных эпох, т. е. видеть динозавров. Таким образом, по мнению одного из творцов данной теории, Дакэ, дракон — лишь воспоминание человека о динозавре.

Реликтовая теория [21, 45—62] предполагает возможность сохранения отдельных экземпляров вымерших видов до наших дней. Эта теория подкреплена фактами (*Latimeria*, считавшаяся вымершей в меловую эпоху). Существует множество рассказов очевидцев о драконоподобных существах, якобы встречающихся и по сей день. Можно привести, например, рассказы агентов фирмы Гагенбека о «полудрако-не, полуслоне», живущем в Африке, сообщение начальника немецкой экспедиции Ликуала-Конго — Штейна о существе, похожем на дракона, и многие другие сведения.

Теория «ископаемых костей» интересна в связи с сообщениями самих китайцев о «костях дракона». К несчастью, китайские аптекари объявляли любые древние кости костями дракона, что навело немецкого натуралиста К. Хабера, посетившего Китай в 1899 г., и последовавшую по его стопам экспедицию 1918 г. на ложный путь. Купленные Хабера у аптекарей и найденные экспедицией в пров. Шаньси кости оказались костями млекопитающих третичной эпохи [20, 76—93].

Важно то, что китайцы, называя древние кости «костями дракона», естественно, должны были иметь какое-то представление о внешнем облике дракона. Возможно, что здесь сыграли роль кости динозавров, обнаруженные в наши дни по всей Азии.

Однако в Юго-Восточной Азии есть существо, также могущее служить прототипом дракона, именно открытая в 1910 г. на о-ве Комодо гигантская ящерица из семейства варанов (от 3 до 7 м) и ее близкий вымерший родич *Megalania*, кости которого найдены в Австралии (от 8 до 10 м) [23, 628]. Китайцы, путешествуя, могли встречаться с этим животным, возможно жившим и на материке. Допускают также существование в прошлом гигантских представителей агам и игуан, ящериц, имеющих известное сходство с драконом.

Подводя итоги, можно высказать следующие положения. Первоосновой образа дракона явилось какое-то пресмыкающееся, но не змея и не крокодил (последнее можно сказать с достаточной уверенностью).

Родиной образа дракона нужно считать Восточную Азию.

Европейский образ дракона несет на себе влияние Востока.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лю Жу-линь, Дракон, — «Народный Китай», 1957, № 16.
2. Сыма Цянь, Избранное, М., 1956.
3. Цюй Юань, Стихи, М., 1954.
4. Бо Я, Ши юй (Толкование на природу рыб), — «Гу цзин ту шу цзи чэн», цз. 525, цз. 127, Шанхай, 1936.
5. Ван Чун, Лунь хэн (Рассуждение о всеобщем равновесии), — «Цун шу цзи чэн», № 590—591, цз. 6, 16, Шанхай, 1939.
6. Гу сань фэнь (Древний текст трех эпитафий), — «Ту шу цзи чэн», цз. 525, цз. 127, Шанхай, 1936.

7. Гу цзинь ту шу цзи чэн (Собрание древних и современных картин и книг), цз. 525, цз. 132, Шанхай, 1936.
8. Гу чжоу хуй бянь (Сборник древних начертаний иероглифов), т. 21, Шанхай, 1934.
9. И-вэй (неортодоксальная мистическая версия «Книги перемен»), — «Ту шу цзи чэн», цз. 525, цз. 127.
10. Ли цзи, Ли юнь, цз. 2, Шанхай, 1936 (Каноническая книга о Благопристойности. Глава «О приложимости Благопристойности»).
11. Ли Ши-чжэнь, Бэньцао ганму (Аннотированный перечень деревьев и трав), т. 6, цз. 43, Шанхай, 1945.
12. Си цы (глава «Книги перемен»), — «Ту шу цзи чэн», цз. 525, цз. 127, Шанхай, 1936.
13. Фан янь, Цза ши (Толкование на разные темы), — «Ту шу цзи чэн», цз. 525, цз. 127.
14. Хань Юй, Цза шо (Высказывания о разном), — «Сы бу бэй яо», т. 196, Шанхай, 1936.
15. Цао Чжи, Лун цзянь хэ бяо (Представление государю по случаю видения драконов), — «Ту шу цзи чэн», цз. 525, цз. 127.
16. Чжунго ту ань цзи (Собрание китайских картин), Шанхай, 1955.
17. Шу и цзи (Сказания о диковинном), — «Ту шу цзи чэн», цз. 525, цз. 127.
18. Эр я и (пояснения к книге «Изящество и симметрия»), — «Цун шу цзи чэн», № 1145—1148, цз. 28, Шанхай, 1939.
19. Юан цза цзу (Разнообразные записки из Юяна), — «Цун шу цзи чэн», № 277, цз. 17, Шанхай, 1937.
20. Anderson J. G., Children of the yellow earth, London, 1934.
21. Bölsche W., Drachen (Sage und Naturwissenschaft), Stuttgart, 1929.
22. Maehly I., Die Schlange im Mythos und Cultus der classischer Völker, Basel, 1867.
23. Piveteau Y. (ed.), Traité de Paleontologie, vol. 5, Paris, 1955.

Н. П. Шастина

ПОВЕСТЬ О СПОРЕ МАЛЬЧИКА-СИРОТЫ С ДЕВЯТЬЮ ВИТЯЗЯМИ ЧИНГИСА

Почти 90 лет прошло с тех пор, как в монголоведной литературе появилось упоминание о средневековом фольклорном произведении под названием «*Činggis boγda-yin yisün örlügü-d-tei öñüčin köbegün-ü čečelgesen šastir*» («Повесть о споре мальчика-сироты с девятью örlügämi¹, августейшего Чингиса»). Несмотря на то, что о «Повести» неоднократно упоминалось, она все еще не переведена и недостаточно изучена. Отдельные фрагменты перевода невелики и выбраны иногда случайно.

Впервые «Повесть» была обнаружена в Монголии А. М. Позднеевым, который и сообщил краткие о ней сведения. Позднеев считал, что «Повесть» первоначально состояла из девяти отдельных народных песен, которые позднее были соединены в одно произведение [5, 305]. Он предполагал издать текст и перевод во втором выпуске «Образцов народной литературы монголов». Однако обещанный выпуск так и не появился. Текст же был им опубликован [4, 42—47]. Был ли сделан А. М. Позднеевым перевод — неизвестно, во всяком случае, в его архиве, хранящемся в Ленинградском отделении Института востоковедения, до сих пор никаких следов перевода не обнаружено.

Краткое упоминание о «Повести» имеется в книге «Халха-монгольский героический эпос», где указывается, что содержание «Повести» сводится к высказываниям витязей-örlügov по поводу пользы и вреда, приносимого питьем вина [6, 14].

Многое для исследования «Повести» сделано В. Хейссигом в его работе о летописи «Болор эрихэ» («Хрустальные четки») [13, 58—68]. В этой летописи «Повесть» приведена полностью. В. Хейсиг привлек кроме текста «Повести», содержащегося в «Болор эрихэ», еще две редакции — одну Позднеева, другую — из сборника «*Činggis qaγan-un-šadig*». Хейсиг также упоминает о третьей редакции «Повести», сохранившейся в летописи «Алтан тобчи» Лубсан Данзана. Рассматриваемые В. Хейссигом три редакции «Повести» отличаются друг от друга вступлением, в котором рассказано о пире, устроенном Чингисханом. Согласно редакции Рашипунцуга, пир устроен в 1211 г. по случаю изъятия покорности ханом карлуков Арсланом; в двух других редакциях — Позднеева и из сборника «*šadig*» — указывается, что пировали по случаю свадьбы Тэмучина и Бортэгэлджин (вероятно, в 1179—1180 гг.). Анализируя редакцию Рашипунцуга, Хейсиг приходит к сле-

¹ Örlüg — витязь, герой.

дующим выводам: 1) редакция Рашипунцуга более поздняя, чем две другие [13, 63]; 2) создание «Повести» относится к юаньскому времени (1268—1360 гг.), так как в ней говорится о вреде и пользе употребления виноградного вина (bogo darasun) [13, 62]; 3) новый способ принесения жертвы шаманским божествам и предкам разбрызгиванием кумыса был введен Чингисом [13, 59, 66].

Кроме рассмотрения этих трех пунктов В. Хейссиг проследил влияние «Повести» на более поздние произведения монгольской литературы (*инжинаши* — дидактические стихотворения). На основании сведений, сообщаемых в летописи «Болор эрихэ», В. Хейссиг считает, что редакция «Повести», в ней содержащаяся, теснее других связана с историческими событиями.

Следующее (хронологически) исследование «Повести» принадлежит Ц. Дамдинсурэну, который в своем очерке монгольской литературы посвятил этому произведению две страницы [10, 86—88]. Ц. Дамдинсурэн также опубликовал полный текст «Повести» [13, 39—43]. Ц. Дамдинсурэн считает, что «Повесть» является произведением народного творчества, а не феодального, так как в ней показана мудрость мальчика-сироты, который не то слуга, не то раб. Мотив превосходства простого арата над ханами и феодалами неоднократно встречается в монгольском эпосе [10, 86]. Ц. Дамдинсурэн подчеркивает, что нельзя считать это произведение точно отражающим исторические события. Следует считать, что оно было сочинено сказителями, слагателями стихов, что в нем имеются и «песни для седла» и «песни для хура» [10, 88]. При публикации «Повести» Ц. Дамдинсурэн перечислил все четыре известные редакции, составил из них сводный текст.

Можно сделать вывод, что «Повесть» была достаточно широко распространенным среди монголов произведением, если дошла до нас в четырех редакциях. Две из них находятся в сочинениях XVII в. Из этих редакций одна (несколько более краткая) имеется в «Алтан тобчи» Лубсан Данзана, другая — в сборнике «*Činggis qaγan-u čadig*». Третья редакция может считаться редакцией XVIII в., так как содержится в летописи «Болор эрихэ», созданной в 1774—1775 гг. Четвертую редакцию, найденную А. М. Позднеевым, датировать затруднительно. Редакции отличаются вступлениями или зачинами. Имеются также некоторые небольшие разночтения, различные написания некоторых имен.

Рассмотрим прежде всего вступления к «Повести» из редакций А. М. Позднеева, из летописей «Алтан тобчи» и «Болор эрихэ». В редакции Позднеева «Повесть» начинается следующим вступлением.

erte urida čaγ — tur
erketü tngri — yln köbegün
erkin yeke arγ — a kücütü

er — e törügsen sutu boγda Činggis qaγan

boγda törügsen qan eJen minu
Börtegeljin sečen qatun — iyen abqu — yln
türüne
yisün örlügüd tabun tayljl terigülen

yerü tabun öngge dörben qari
yeke ulus — iyan qurlıaγü

«В древние времена
Сын всемогущего Тэнгри,
Обладающий силой, великим и высшим
умением,
Мужем рожденный Суту Богда Чингис-
хан²,
Священным рожденный хан, владыка мой.
Когда женился на мудрой ханше
Бörтагэлджин,
То девять витязей, пять тайджи и про-
чих
Пять цветных и четыре чужих
Великих народов собрал...»

² Эпитеты *sutu boγda* в значении «обладающий счастьем — величием, августейший» по отношению к Чингисхану часто встречаются в фольклорных произведениях.

В первой строке типичный для эпических произведений зачин; пышные эпитеты Чингиса и Бортэгэлджин также характерны для фольклора юаньского периода.

Вступительные слова к «Повести» в редакции из «Алтан тобчи» даны в прозе «tere qurim-tur yerü yisün örlüg tabun tayişi tabun ongge dörben qarı ulus qurıyaŋu qıran saŋuqi-dur...» [11, ч. 2, 3] («На тот пир собрались девять витязей, пять тайшей, пять цветных и четыре чужих народа, и когда сидели, пируя...»). Это просто несколько вводных слов; по какому поводу собрались пирующие, остается неизвестным.

В летописи «Болор эрихэ» дано довольно любопытное развернутое вступление, на котором следует остановиться подробнее. Оно начинается с прозаического текста, затем переходит в стихи, которые отличаются размером от последующих строк собственно «Повести».

«...čaŋaŋčın qonın jıŋuɖuŋar ol-u qabur Činggis qaŋan Kerülen neretü mören-dür nutu-ŋlan büküi-dür örün-e jüg-ün qalqalaqu ayımaŋ-un Aşılan neretü qaŋan Čıuggis qaŋan-dur dayaŋu irelüge. Jon-u terigün saratu Činggis qaŋan tüsimed-tür jarlıŋ bolorun. yerü man-u mongŋol-un teŋjigegsen

mal kedün jül bui bolbaču
üsiyetü dayısun luŋ-a bayılɖuqai-dur nökör-ün degedü
üldekü dayısun-u darul türgen güičegči.
ülü aldayči qabutu bayatur-ud-un jıkür
üsütü Jalaŋus-un beye-i čimegge boluŋsan
erdeni morin-u sim-e sün-ü degeŋi
erketü-yi burqan tngri-dür jalbarın ergüged
egünce sayıdur toŋtaŋaŋu bürün.
enekü mongŋol ulus-tur qaulı yosun bolŋay-a

kemen jarlıŋ bolorun. eldeb sečeg-iyer čimeggen Kerülen mören-ü serigün jölgen degere
ınu urıyangan-u jelme-ber jile tataŋulan jürčid Čuu mergen — iyer unaŋ-a bariŋulŋu dolu-
ŋan qonuŋsan-u qoyın-a boyda Činggis qaŋan öberiyen Jarlaŋu urıda ese boluŋsan törü
yosun-i sine toŋtaŋaŋu bürün. gegüü-yin sim-e öčig sačulı — yi burqan ħurban erdeni
keged tngri-ner-tür sačuŋu ergüged basa Börtečinu-a qaŋan terigülen Jalŋamjılaysan de-
gedüs-tür jorın ergüŋu bürün. tegünce oberiyen altan tabčing-tür sačuŋu tegünar ba
olan tüsimed ınu üy-e jergeber saŋun qurılmaquıdur... [12, 68—69]

В приведенном тексте вступления совершенно ясно выделяются две составные части. Прозаические пояснения обрамляют более древние стихотворные строки: «...весною в шестой год белой овцы, когда Чингисхан пребывал на реке Кэрулэн, то прибыл изъять покорность Чингисхану с Запада из области карлуков хаган по имени Ашилан³. В первый летний месяц Чингисхан тушимэлам повеленье ска- зал:

Вообще-то наши монголы возвращали
Несколько видов скота. Однако
В сражение с ужасным врагом конь — это лучший друг,
Быстро настигнет он преследуемого врага,
Не допустит стрелы ловких богатырей,
Украшением станет для юного молодца!
Сок — молоко коня драгоценного
Божеству верховному Тэнгри с молитвой подносится.
С этого времени так установлено!
Пусть станет законом этому народу монголов!

³ Это событие относится к 1211 г.

так приказал. На реке Кэрулэн в прохладной степи, украшенной разными цветами, урянхайскому Джэлмэ велел натянуть веревку для привязи [конской] и чжурчитскому Чуу Мэргэну жеребенка велел держать. После семи дней августейший Чингисхан велел оповестить всех, что им установлен новый закон, которого прежде не было,— приносить жертву соком — кумысом кобылицы Будде и Трем драгоценностям, возносить жертву тэнгриям, а также Бортэчоно-хагану и прочим следующим за ним один за другим предкам. Потом сам сидел на золотом престоле, а все тушимэлы рядами сидели, а когда пировали...».

Из приведенных примеров видно, что вступления к «Повести» очень отличаются друг от друга. Но дальнейший текст содержит лишь незначительные разночтения. Композиция произведения во всех редакциях одинакова. После вступления следуют одна за другой речи девяти витязей. По-видимому, некогда они были отдельными небольшими дидактическими стихотворениями о пользе и вреде вина. Вслед за витязями выступает мальчик-сирота, скромно сидевший у дверей и слушавший вельмож. Мальчик произносит довольно длинную речь обличительного характера, в которой подчеркивается вред чрезмерного употребления вина и осуждается поведение опьяневших. Это вызывает возмущение присутствующих вельмож, и один из них, негодуя и угрожая, произносит в ответ грозную речь. Но мальчик не испугался и ответил с достоинством, чем опять вызвал негодование вельможи. И тут в защиту мальчика-сироты вступает сам великий хаган. Он произносит иносказательное наставление вельможам и оказывает милость мальчику.

Смысл этого произведения в том, что простой и бедный мальчик, сидевший у дверей, на обычном месте слуги и рабов, произносит обличительную речь против знатных вельмож. Хан защищает его от оскорблений, говорит ласковое слово. Образ справедливого, доброго хана-владыки, как выражение народных чаяний, часто встречается в фольклоре феодальных времен.

Вероятно, композиция повести сложилась не сразу, в нее были включены не только дидактические стихи о вине, но и поучения, приписываемые Чингису, по своему содержанию близкие к собранным в «Cadig» и к так называемым «песням в седле», которые «заучивались наизусть, распевались „на седле“ и записывались в качестве обязательного наставления ханам и нойонам» [1, 104]. Эти отдельные стихотворения довольно ясно прослеживаются в «Повести». Однако за долгие годы все части произведения крепко спаялись и представляют собой единое целое. Возможно даже, что перед нами произведение одного сказителя-автора (имя которого не дошло до нас), сумевшего с тонким мастерством использовать различные фольклорные материалы.

Центральной темой «Повести» стали не высказывания о пользе и вреде вина, а обличительная речь мальчика-сироты против знати. Так, «Повесть» приобрела определенный социальный смысл. Речи же о вине составили как бы отдельную главу. Запреты пить виноградное вино превратились в поучительные стихи, произносимые девятью витязями. Порядок высказываний витязей во всех редакциях один и тот же. В написании же имен четырех ёрлугов наблюдаются разночтения. Так, имя солдуского витязя встречается в следующих формах: *Torqon Sira*, возможно чтение *Turqin Sira* («Алтан тобчи» и редакция Позднеева), *Torqan Sira* («Болор эрихэ»), *Sorqan Sira* (сводный текст Ц. Дамдинсүрэна). Превращение имени Сорхан Ши́ра в Торгон Ши́ра можно считать попыткой летописцев XVII в. объяснить непонятное им древнее «*Sorqan*», переделанное в понятное «*Torqon*» — «шелковый», в перенос-

ном значении «избранный» от термина *torγon čerig* — «гвардия», т. е. избранное войско. Претерпело изменения и имя ойратского витязя: *Qaqaγiγu* («Алтаң тобчи»), *Qaqa Gīrüge*, т. е. «Черная пила» («Болор эрихэ»), *Qaqa Ggīgaγu* (у Позднеева) и *Qaqa Qīγu* (у Дамдинсурэна). Имя Борухула в двух случаях написано *Boγuqul* («Алтаң тобчи» и Дамдинсурэн), *Boγuγul* (Позднеев) и *Boγuγul* (у Рашипунцуга). Любопытное изменение претерпело имя Шиги Хутуха, которое Рашипунцуг именует *Siri Qutuγ*, а Позднеев *Sengge Qutuγtu*.

К каким выводам может привести анализ этих изменений? В случае с Борухулом это скорее всего описки переписчиков. В случае с Сорган Ши́ра перед нами попытка осмыслить непонятное; то же, вероятно, происходит и с именем Хара Хи́ру. Любопытное изменение произошло с именем Шиги Хутуха, который в редакции Позднеева стал называться Сэ́нгэ Хуту́гту («священный лев»). После вторичного проникновения буддизма в Монголии распространился обычай давать буддийские имена вместо древних монгольских. Имя Сэ́нгэ тибетского происхождения и значит «лев». Изображения льва как бы охраняют вход во дворцы и храмы, стоят на страже закона. Деятельность Шиги Хутуха, как верховного судьи, могла подсказать и такую замену его имени.

Имена восьми из девяти фигурирующих в первой части «Повести» витязей-о́рлүгов неоднократно встречаются и в «Секретной истории монголов», и у Рашид ад-Дина, и у Джувейни, и в «Юаньши». Это исторически существовавшие деятели времен Чингиса. О каждом из них следует сказать хотя бы несколько слов.

О Торган Ши́ра или Сорган Ши́ра рассказывается, что он был из тайчжиутского рода Солдус. Когда тайчжиуты захватили молодого Тэмучина, надели на него кангу, т. е. деревянную шейную колодку, то Сорган Ши́ра, увидев бежавшего Тэмучина, не выдал его. А потом приютил его, спас и отправил домой [16, 18—19]. Впоследствии, когда Тэмучин, уже ставший Чингисханом, раздавал награды своим сподвижникам, он не забыл Сорган Ши́ра и пожаловал его землями и званием дархана [16, 85]. Рашид ад-дин также упоминает о спасении Тэмучина солдуским Соркан-Ширэ, в такой форме он передает имя Сорган-Ши́ра [7, 86].

Вторым в «Повести» выступает с речью джалаирский Гоа Мухали. Это был один из крупнейших полководцев Чингисхана. Впервые его имя встречается в «Секретной истории», в рассказе о том, как джалаирский Гуун-у́а представил Чингисхану двух своих сыновей — Мухали и Буха и сказал: «*Bosoqa-yin činu bo'ol boltuγai*» («Пусть станут рабами у порога твоего») [16, 38]. Так началась служба Мухали у монгольского хана. Мухали стал ближайшим сподвижником Чингиса; он считался одним из четырех неколебимых героев Чингиса, получил титул го-вана⁴. При распределении воинских должностей Мухали был назначен тысячником, а потом и темником, ведающим десятью тысячами воинов левого крыла. Стратегические способности Мухали особенно ярко выявились в походах на Северный Китай, после захвата которого он был назначен наместником завоеванных областей. К нему был направлен в 1221 г. из южносунских войск посланец Чжао Хун, который так описывает его: «У них (т. е. монголов) первейший по заслугам есть тай-ши и го-ван Мо-хэй-лэ... он на аудиенции у хана был пожалован управлением главнокомандующего войсками в Поднебесной, тай-ши и го-ван — черный татарин. Вот уже десять лет он всюду со-

⁴ *Süi ong* — заимствование с китайского в значении «князь государства».

вершает карательные походы и приводит в трепет восточных варваров и тангутов. Важные дела военных походов решаются им лично. Поэтому называют его временным императором. [У него] в форме одежды и системе установлений целиком применяется этикет для сына Неба...» [3, 82—83].

Довольно подробные сведения о Мухали приводит Рашид ад-дин, называя его Мукали-гойон. Так, Рашид ад-дин отмечает, что Мухали подавил восстание чжурчженей в 1214—1215 гг. О назначении его наместником Северного Китая персидский историк пишет: «Когда Чингисхан освободился от войны с Хитаем, он назначил на охрану страны и восточной стороны Мукали-гайона с многочисленным войском» [7, 183]. Это событие датировано 1218 г. Мухали покорил еще 72 крепости и рапортовал об этом Чингисхану [7, 204]. В летописи «Алтан тобчи» сохранилась эпитаграмма на Мухали го-вана [11, ч. 2, 53].

güi ner-e-dür-lyen buu künbörge
ong ner-e-dür-lyen-buu omoγši
čingsang ner-e-dür-lyen buu čad
tayisi ner-e-dür buu tamalan.

Не отягчай имени своего, Гоа,
Не гордись именем своим, Онг,
Не величайся именем своим, Чингсанг,
Не выставляйся именем, Тайши.

В «Юаньши» приведены биографические сведения о Мухали и его потомстве при Юанях.

Третьим витязем в «Повести» назван Чуу Мэргэн чжурчитский. Под этим именем в фольклоре выступает Елюй Чу-цай, советник двух великих ханов — Чингиса и Угэдэя. Елюй Чу-цай (1189—1244) был потомком киданьской императорской фамилии. Отождествление фольклорного Чуу Мэргэна с исторически известным государственным деятелем Елюй Чу-цаем впервые было отмечено Дамдинсурэном [10, 80—81].

В монгольских летописях можно найти подтверждения высказанному Дамдинсурэном мнению. Так, в летописи «Субуд эрихэ» (Жемчужные четки) сообщается, что өрлүг Чуу-Мэргэн занимал положение советника при Угэдэй-хане [15, 611]. В летописи «Алтан тобчи» приведен рассказ о битве Чингисхана с тремястами тайчжуитами [11, 101]. В этом рассказе неоднократно упоминается Чуу Мэргэн, причем к нему относится выражение *jaу čilүge* «судьба — свобода». Смысл этих слов становится понятным в свете монгольских легенд, по которым Чуу Мэргэн был сначала пленником монголов, затем получил свободу и стал близким советником Чингиса. Об Елюй Чу-цае ходило много разных легенд, и нет ничего удивительного, что имя его попало в фольклоре в число девяти өрлүгов — витязей Чингисхана. Подробности биографии Елюй Чу-цай и его деятельности зафиксированы в надписи на его надгробном памятнике, сохранившейся на китайском языке. Исследование этой эпитафии было недавно опубликовано Н. Ц. Мункуевым [2].

Вслед за Чуу Мэргэном в «Повести» выступает с речью Богурчи из рода Арулад. Это был ближайший друг Чингисхана с юношеских лет, когда вместе с ним отправился искать восемь украденных соловых мерингов. Рассказ о возникшей дружбе изложен в «Секретной истории монголов» [16, 20—21]. В «Секретной истории монголов» имя его упоминается много раз; в монгольских летописях некоторые эпизоды из его жизни изложены в стихах. При распределении военных должностей в 1206 г. на первом великом курилтае он получил звание темника правого крыла, причем Чингисхан произнес хвалебную речь в его честь, перечислив его дружеские услуги. Богурчи был одним из четырех күлүков — неколебимых героев Чингиса. Когда Чингисхан отдавал свою дочь в жены ойратскому владыке, то наставление ей от отца передавал Богурчи [11, ч. 2, 23]. Существует фольклорный рассказ о том, что

Чингис, раздавая награды, не упомянул Богурчи, и жена последнего, негодуя на такую несправедливость, говорила ночью своему супругу:

bütükü-yin urida oçlajū
büküi ulusi quriyalçaju
bürin yeke törü-yi inu qastılçaju
būqūde eçe ülemçi künün-iyen ökcü
eçiçe eke eme ketiken-iyen orkişu
ejen tü künün-iyen ökcü [8, 29]

Повстречался ты с ним раньше всех,
Вместе собирал все народы,
Охранял все великое правление его,
Больше всех отдавал свои силы ему!
Мать и отца, жену и детей оставя,
Владыке силу свою отдавал!

Слова эти были подслушаны и переданы Чингисхану, который щедро наградил Богурчи за его верность и преданность. Биографические сведения о Богурчи находятся также в «Юаньши» и у Рашид ад-дина [7, 267].

Пятым в «Повести» выступает урянхайский Джэлмэ, который считается одним из четырех верных псов (поqai) Чингисхана. О четырех псах в «Секретной истории монголов» упоминается дважды. Так, в § 195 приведены стихи, в которых сатирически описаны «четыре пса» — четыре верных воина Чингисхана: Хубилай, Джэлмэ, Джэбэ и Субутэй. Описание сделано в угрожающих тонах, но не следует забывать, что оно вложено в уста Джамухи, когда тот порвал дружбу-побратимство с Чингисханом и стал его врагом. Вот как описывает он четверых:

tere dörben noqais
şiremün manglaitan
şiguçi qosıyutan
şibüge keleten
temür öreten... [16, 70]

Те четверо псов
С бронзовыми лбами,
С рылами, как золото,
С языками, как шило,
С железным нутром...

В § 209 «Секретной истории монголов» приведены другие стихи, которые произносит сам Чингисхан, восхваляя своих верных четверых псов:

ede Qubılai, Jelme, Jebе, Sübegetei ta dörben noqas-ıyan sedkigsen-bur jörigüjü ilebesü

gür kemeksen-dür
gürü kemkelün
qai kemeksen-dür
qada qaqaıun
çetügen çilayun-i çewülün
çegel usun-i nitulun abai-Je ta. [16, 82]

Перевод. «Эти Хубилай, Джэлмэ, Джэбэ, Субэгэтэй, вы, четверо псов моих, когда подумаю отправить вас против непокорных, то

«Идите», сказал,
И булыжник дробили,
«Старайтесь», сказал,
И скалу раскалывали,
Крепкий камень в куски разбивали,
Ключевые воды останавливали — вот вы какие!

Из приведенных примеров ясно, что слово поqai (собака, пес) считалось не бранным, а похвальным; оно содержало в древние времена понятие верности и преданности своему владыке. Значение термина поqai было выяснено М. Гаадамбой [9, 147—153].

Джэлмэ недаром попал в число четырех псов — преданных товарищей, отличавшихся храбростью и решительностью. Еще в детстве стал товарищем-слугою Тэмучину [16, 22]. Джэлмэ во время военных походов отличался сообразительностью и смелостью. Когда Чингисхан был

ранен во время боя с тайчжиутами, Джэлмэ самоотверженно ухаживал за ним, отсасывая запекшуюся кровь, доставая из лагеря врага кислое молоко, чтобы напоить хана [16, 41]. Вспомнил об этом Чингис, раздавая награды своим приближенным, и, отмечая заслуги назначенного командиром тысячи Джэлмэ, обещал простить ему в будущем девять проступков, что было особенно высокой и почетной наградой. Рашид ад-дин упоминает о Джэлмэ как об одном «из числа уважаемых эмиров Чингисхана» [7, 270].

Следующим после Джэлмэ в «Повести» произносит речь Джэбэ, который также был одним из «четырех псов» Чингиса. Слово *jebe* (джэбэ) значит «наконечник стрелы», и дано оно было Джиргадаю из рода Бесут, который, сражаясь на стороне врагов Чингиса, прострелил шею его коню. Он открыто признался в этом и просил взять его на службу, обещая служить преданно и честно:

čegel usun-ı qoqturon
čeygen čilaγun
čeyrū dobtulju...

ключевые воды разрушу
крепкий⁵ камень
в куски разобью...

Чингис поверил ему, взял его в свое войско и дал ему новое имя — Джэбэ. Джэбэ служил преданно, был затем назначен тысячником. О военных действиях Джэбэ много рассказывает Рашид ад-дин. Джэбэ командовал отрядом авангарда во время похода на запад и участвовал в завоевании Азербайджана, Ирака, Ширвана и многих других областей. Вместе с Субудзем Джэбэ преследовал Хорезмшах Мухаммеда [7, 256]. Был убит в 1221 г. в походе через Кавказ.

Седьмым витязем в «Повести» назван ойратский Хара Хиру. Имя его не упоминается ни в «Секретной истории монголов», ни в «Сборнике летописей» Рашид ад-дина. В списке 95 тысячников его имени нет. Его имя упоминается в летописях XVII в., да и то только в фольклоре, цитируемом летописцами. Не установлено, был ли у ойратов в XIII в. владыка, называвшийся Хара Хиру. Историческое существование его вызывает сомнение [14, 58, прим. 74].

Восьмой витязь, как и остальные, не вызывает никаких сомнений. Это был существовавший в действительности Борохул из рода Ушин. Ребенком был он найден при разгроме ставки джургинов и отдан на воспитание Оэлун-эхэ, матери Чингиса [16, 38, 83]. Он был преданным сверстником-товарищем своему хану. Смело воевал, стал командиром тысячи, но погиб он относительно молодым во время похода на хоритуматов в 1217 г., отправившись без разведки лесными тропами к вражескому стану [16, 94]. Чингис был крайне огорчен и разгневан его гибелью. Рашид ад-дин также рассказал о гибели Борохула, но в несколько ином варианте [7, 178].

Наконец, последний из девяти витязей, Шиги Хутух, представляет собой весьма примечательную фигуру среди монгольских деятелей XIII в. Он, так же как и Борохул, был воспитанником Оэлун-эхэ [16, 37, 38]. Однако имеются сведения, что его воспитала Бортэгэлджин [7, 174]. Найден он был в стане татар маленьким ребенком, одетым в соболью шубку. Он хорошо овладел уйгурским письмом, и Чингис поручил ему вести записи в синих книгах (*kökö debter bičig bičiju...*), назначил его судьей, сказав: «служи государству».

qulaqal-ı kesegejü
qudal-ı moqaγaju [16, 78]

Уничтожая воровство,
искореняя обман.

⁵ Вольный перевод слова *čeygen*, не зарегистрированного в словарях.

Обязанность судьи Шиги Хутух выполнял и при преемнике Чингиса Угэдэй-хане. П. Пауха высказал предположение, что Шиги Хутух был автором «Секретной истории монголов» [17, 190]. Подробно его деятельность была исследована и освещена на основании китайских материалов П. Рачневским [18, 87—120], который полагает, что Шиги Хутух был в какой-то степени связан с созданием знаменитой летописи, но мнение это еще требует дальнейших исследований. Год смерти Шиги Хутух неизвестен, предполагается, что он умер между 1259 и 1264 гг. [18, 116].

Таковы краткие сведения о девяти витязях-өрлүгах, которые неоднократно воспеваются в монгольских фольклорных произведениях. Невольно возникает вопрос: почему өрлүгов было именно девять? Ведь было бы правильнее считать, что героев-сподвижников у Чингиса было больше, но особенно он выделял восьмерых, а именно четырех верных псов (Хубилай, Джэлмэ, Джэбэ и Субудэй) и четырех неколебимых күйүков⁶ (Богурчи, Мухали, Борохул и Чилаун). Как видно из «Повести», не все из этих восьми стали героями фольклора. Можно предположить, что число девять имело какое-то особое значение для древних монголов. По-видимому, оно было связано с шаманским культом и могло считаться священным. Поэтому-то к восьми исторически существовавшим героям был присоединен еще и девятый, ойратский Хара Хиру.

Предлагаемый вниманию читателей перевод сделан со сводного текста «Повести», опубликованного Ц. Дамдинсурэном.

* * *

Когда Чингисхан кочевал по реке Кэрулэн,
В первый летний месяц сказал он своим тушимэлам:
«Наши монголы выращивали
Несколько видов скота. Однако
Нет лучшего друга, чем конь, в бою со страшным врагом,
Быстро настигнет преследуемого врага,
Не допустит стрелы ловких баторов,
Украшением станет для юного молодца!
Сок — молоко коня драгоценного
Божеству верховному Тэнгри с молитвой подносится —
С этого времени так установлено твердо.
Пусть это станет законом для монгольского народа»
Сказал так.

* * *

Девять өрлүгов, пять тайджи и прочих
Пять цветных и четыре чужих народов своих,
Когда собрались и устроили великий лир,
То солдуский Сорхон Ши́ра сказал, обращаясь к владыке:
«Позволь доложить, верховный хаган, владыка мой!
Когда собрались на великое это собрание
И если б случилось, что нет вина,
То разве не стало б оно обыденным и скучным?»
Владыке с судьбой рожденному так говорил Сорхон Ши́ра,
И джалаирский Го́а Мухули, с тем согласившись, сказал:
«От вина не задерживаются ли связные слова мои?
Не возбуждаются ли кичливые, надменные мысли?
Не сокрушаются ли собранные слова мои?
Если отвергнуть вино и тяжкое пьянство⁷,
То будут тверды слова мои и тело мое здорово. Не так ли?»
Когда блестяще-рожденному Богда Го́а Мухули сказал так,

⁶ Kūlūg имеет два значения: 1) крепкая, неутомимая лошадь, аргамак; 2) человек неутомимый, непоколебимый, постоянный.

⁷ В тексте oīḡ-tu taḡu ūḡta (букв. «плохое питье с последствиями»).

Чжурчидский Чуу Мэргэн с тем согласился и молвил:
 «От вина обдуманые слова наши не становятся ли явными?
 Хорошее и плохое у нас не обнаруживается ли?
 Потаенные слова наши не выходят ли наружу?
 Низкое и высокое нам не внушает ли оно?
 С древнего времени и до нашего не рашиана ли онс?
 И для этого мира не наслаждение ли оно?
 Разве потом о нем не вспомнится?
 Если ныне от него воздерживаться,
 Станет пир этот слишком ровным!»
 Когда доложил так Чуу Мэргэн достойно-рожденному владыке,
 То арулатский кӱлӱк Богурчи согласился и молвил:
 «То, что входит в рот твой, мало, как золотая мошка,
 То, что выходит изо рта, вырастает в слона или льва⁸,
 То, что вкушает язык, мало, как слепень или мошка,
 То, что сходит с языка, вырастает в свирепого слона —
 Разум и мудрость мои не забываются ли?
 Найденное и собранное мое не истощается ли?
 Душа моего тела не унижается ли?
 Твердо сказанные слова мои не забываются ли?
 Не будьте привержены к напиткам,
 Обсуждайте, различая хорошее и плохое⁹.
 К водке-архи не будьте привержены!
 Разные дела свои обсудив, расходитесь!»
 Когда сказал так кӱлӱк Богурчи владыке Ухагату-хагану,
 То урянхайский Джэлмэ с тем согласился и молвил:
 «Чтобы стремиться к вину виноградному —
 На то нет приказа от Богда-владыки.
 Чтобы желать простого вина-архи,
 Нет запрещенья от владыки-хагана.
 Собираемся пить тарасун,
 Радуемся, как малые жеребята
 Рано иль поздно напьемся ведь,
 То упадем, то поднимемся, так и уляжемся.
 Сбравшись пить тарасун,
 Как серые гуси ведь радуемся!
 Милых, хороших друзей своих
 Принимаем и ведь веселимся!
 Разные желанья удовлетворив, ведь разойдемся!»
 Рожденному мудрым владыке Джэлмэ сказал так,
 И Джэбэ бесутский с тем согласился и молвил:
 «Если случится, что нет вина, разве мы [без него] не родные?
 Разве нет удовольствия нам, когда встретимся?
 Если случится, что нет архи, разве то значит, что нет и приязни?
 Разве нет удовольствия нам, что вместе с друзьями сидим?
 Воздержимся же от простого вина-архи,
 Воистину постараемся перед ханом-владыкой своим.
 О делах великого государства будем ведь совещаться,
 Ведь приготовимся к действиям возмутившегося врага!»
 Когда владыке особо-рожденному Джэбэ сказал так,
 Ойратский Хара Хиру с тем согласился и молвил:
 «Если все собрались, чтобы выпить, не радость ли это?
 Ближние, дальние, те кто услышат, разве не пожелают?
 Разве обещанье станет украшением к торопливо сказанному слову?
 Разве не тверды в сраженьях с врагами наши сердца?
 Перед владыкою августейшим
 Все собираемся выпить вина виноградного,
 Все по порядку мало ли много ли выпьют —
 Разве не веселье испытывает великий народ?»
 Когда Хара-Хиру сказал так Богда-владыке,
 То Борохул с тем согласился и молвил:
 «От любимых друзей не отвлекает ли вино?
 Шутливые и плохие мысли не порождает ли оно?
 От дружелюбных друзей не разделяет ли вино?»

⁸ Пословица, бытующая и поныне.

⁹ Эти две строки имеют характер приказа, заучиваемого наизусть, так называемые песни для седла.

Жестокие и надменные мысли не порождает ли оно?
 Вообще-то у вина виноградного мало достоинств — не так ли?
 Вообще-то вреда сокрушающего от него много — не так ли?»
 Когда Борохул избранному и верховному Богда сказал так,
 То Шики Хутух с тем согласился и молвил:
 «Это охрана свято-рожденного Богда-владыки,
 В криках своих подобная лебедям-гусям, соединясь,
 В масти своей, как дикие кони — хулары, смешавшись,
 Вместе все собрались, ведь радуясь, веселимся!
 Это охрана достойно-рожденного хана-владыки
 В криках своих, как серые гуси, соединившись,
 В масти своей, как дикие козы, олени, смешавшись,
 Любимых, красивых друзей приняв, мы ведь радуемся!»
 Когда пред священным владыкой Чингис-хаганом
 Девять могучих героев речи окончили,
 То у дверей сидевший мальчик-сиротка
 Поднялся и, подошедши, сказал:
 «Ну-ка, войду я в ряды великих,
 Ну-ка, скажу обыкновенную речь,
 Ну-ка, войду я в ряды вельмож,
 Ну-ка, скажу обдуманную речь!» — и замолк.
 Слова те августейший владыка, услышав, сказал:
 «Невозможный маленький мальчик, что же ты скажешь?»
 Тот мальчик ответил:
 «Ведь ты величавый, пресветлый наш августейший владыка,
 Заветные речи собравшихся здесь сказать было трудно.
 Ведь ты наш хаган пресветлый и величавый,
 Заветные речи всех собравшихся произнести было трудно.
 Вот и случилось так, что есть у меня что сказать,
 Поняв то, что сказано, хоть и трудно, но я скажу сам!»
 И августейший владыка отдал приказ:
 «Если есть что сказать, говори же!
 Если хочешь шутить, скажи складно!
 Все равно, говори!»
 Услышав приказ владыки верховного и превосходного,
 Возрадовался маленький мальчик
 И по своему разумению
 Сказал о пользе и о вреде от питья вина:
 «Если пить неразумно и много, не заболеешь ли?
 Если пить понемногу, то не радость ли это?
 Если пьянствовать часто и много, то и сбеситься можно!
 Если привыкнуть к питью, то не обидно ли станет?
 Если пить постоянно, не досадно ли будет?
 Если же вдруг воздержаться, это будет разумно.
 Если пить по хорошему поводу, это радостью будет.
 Если пьянеть до того, что упал, это невежеством будет¹⁰.
 Подобно лебедям-птицам [в стаю] слетевшимся,
 Все собрались вы, желая веселиться и радоваться,
 Но, опьянев, не следите за речами лжецов —
 Не оказались бы вы среди возмущенных врагов?
 Подобно чайкам-птицам, собравшись вместе,
 Приняв мудрецов и ученых, желали бы радоваться.
 Вы, опьянев, не следите за речью болтливых людей —
 И рядами своими к рубящимся врагам не попали бы?
 Как серые гуси, клювами своими сцепившись,
 Добрых любимых друзей приняв, веселиться хотите.
 Вы, опьянев, не следите за речью злобных людей,
 Разные желанья свои выполняя, веселились бы
 И один за другим к врагам убивающим не попали бы вы?
 Как птицы-луговки, клювами своими сцепившись,
 Старейших и в возраст вошедших приняв, наслаждаться хотите
 И, опьянев, не следите за речью низких, дурных людей,
 К врагам ненавистным, не трюся, не попали бы?»¹¹

¹⁰ Речь мальчика явно разделяется на две части, каждая из которых является самостоятельным стихотворением. Здесь кончается первое из них.

¹¹ Вторая часть речи мальчика состоит из четырех строф, в которых хорошо соблюден принцип последовательного построения стихотворения.

Когда доложил свою речь мудрый мальчик Чингису-хагану,
 То Чиндага Сэчэн Хубшигур выслушал и ответил:
 «Слова девяти брлүгов неправильны, говорил ты,
 Вообще, что за слова говоришь ты?
 Все собравшиеся здесь не мудры, сказал ты,
 Хану-владыке такие слова доложил ты?
 Разве речи такие подходят для сироты?
 Не бег ли это пугливой лошади?
 Ты, как утка, тину клевал бы,
 Ты, как собака, кости отнял бы!»
 Тот же мальчик сказал:
 «Ты неправ, Чиндага Сэчэн!
 Сущность мыслей моих плохая, сказал ты. Не так ли?
 Разве я говорил, что слова девяти брлүгов неверны?
 Разве я говорил, что слова мои правильны?
 Разве я говорил, что собравшиеся все не мудры?
 В сказанном не преступал я приказа хагана-владыки.
 Когда малого человека возвысят в пожаловании,
 Разве сердятся на него?
 Когда пугливую лошадь опекают, воспитывая,
 Разве дают ей жиреть?»
 Чиндага Сэчэн Хубшигур рассердился и молвил:
 «Будь почтителен ты в речах своих складных!
 Будь почтителен ты в сказанных шутках!
 Я сокрушу твоё тело, мышцы подобное,
 Я сделаю так, чтобы все над тобой посмеялись.
 Я проколю твоё тело, огарку подобное,
 Я сделаю так, чтобы все над тобой издевались.
 Ну, тяни свои речи, скверный мальчишка!
 Ты, противный, так, пожалуй, и победишь!
 Меру ты соблюдай в словах, малый мальчик,
 Ты глупец, так, пожалуй, и победишь!
 Разве я, Чиндага Сэчэн, о том не сказал тебе?
 Владыке своему Чингис-хагану я доложил.
 Разве я, Хубшигур Сэчэн, с твоими речами спорил?
 Я говорил, чтоб обдумал ты участь свою.
 Разве ты различаешь, что хорошо, а что плохо?
 Ты от жадности даже не подпустишь к незамутненному морю?
 Разве гордишься ты милостью августейшего владыки?
 Разве тебе невозможно со мной состязаться?
 Ты от жадности даже не подпустишь к драгоценному великому морю?
 Разве гордишься милостью нашего хана-владыки?
 Со мной состязаться разве плохо тебе без ответа?
 И возмущаться перед другими разве надо?
 Разве бадью ты можешь вычерпать реку Онон?
 Радугу в небе разве удержишь рукою своею?
 Разве песком ты можешь засыпать реку Эдэр?
 Разве можешь ценить ты людей уважаемых?
 Хотел бы, чтоб мысли твои были помягче,
 Хотел бы, чтоб порадовался ты словам моим правильным,
 Хотел бы, чтоб ты воздержался от злых, иных мыслей,
 Хотел бы, чтоб выправил наши неверные слова!»
 Так говорил. И Чингисхан дал наставленье Чиндаг-Сэчэну ¹²:
 «Когда очищаешь воду в колоде,
 То ведь сосудом своим не можешь,
 Не всплывшую наверх нечисть собрать,
 Если же черпать ее корытом,
 В одно мгновение осушится,
 И скверная, мерзкая грязь
 Все выйдет, от самого дна.
 Вода родника, выходя, бурлит,
 Выйдет наверх незамутненной,
 Вода родника, выходя, кипит,
 Когда почерпнут бадьей, не испарится
 Незамутненная, хорошая вода.

¹² Ср. с наставлениями Чингиса, упомянутыми в летописи «Алтан тобчи» Лубсан-Данзана, т. II, стр. 30—32, 58—60, близкими по характеру к дидактическим стихам.

Кипя, продолжает течь она! ¹³
 Воспитывая черноватую птицу ¹⁴,
 Запускают птицу ястреба,
 Увидев, его испугается и укроется,
 На землю спустившись
 В мышиной норке схоронится.
 Воспитывая птицу ястреба,
 Запускают птицу харигун ¹⁵,
 Увидав ее, высоко полетит.
 Пристанет к огромному орлу».

Такое наставление сказал.

Сын лучезарного светлого Тенгри августейший владыка
 Близ себя посадил того мальчика,
 Дал выпить глоток рашианы, меду подобной,
 Возвысил, пожаловав видеть лицо свое радостное.

* * *

Речи же девяти витязей во главе с августейшим владыкой,
 Говорившиеся меж собой о том и о сем,
 Опираясь на древние повести великие,
 Взял я из песен у них.
 Закончены речи одиннадцати мудрецов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Жамцарано Ц. Ж., Монгольские летописи XVII века, М.—Л., 1936.
2. Мункуев Н. Ц., Китайский источник о первых монгольских ханах, М., 1965.
3. Мункуев Н. Ц., О «Мэн-да бэй-лу и Хэй-да ши люе» — записках китайских путешественников XIII в. о древних монголах, — сб. «Китай и Япония», М., 1961.
4. Позднеев А. М., Монгольская хрестоматия для первоначального преподавания, СПб., 1900.
5. Позднеев А. М., Образцы народной литературы монголов, вып. 1, Народные песни монголов, СПб., 1880.
6. Поппе Н. В., Халха-монгольский героический эпос, Л., 1937.
7. Рашид ад-дин, Сборник летописей, т. 1, кн. 2, М.—Л., 1952.
8. Шаратуджи, Монгольская летопись XVII века, М.—Л., 1957.
9. Гаадамба М., «Монголын нууц товчооны» нэг уран хэллэгийн учир (Об одном термине «Секретной истории монголов»), — сб. «Монголын судлалын асуудал» («Вопросы изучения Монголии»), Улаанбаатар, 1964.
10. Дамдинсүрэн Ц., Монголын уран зохиолын тойм (Очерк литературы монголов), Улаанбаатар, 1957.
11. Altan tobči, A brief History of the Mongols by blo-bzan bsTan-'jin-Cambridge, Mass., 1952.
12. Bolur Erike, Mongolian Chronicle by Rasipungsu with a critical Introduction by the Reverend Antoine Mostaert Cambridge, Mass., 1959, pt. IV.
13. Damdinsüring, Се. Mongyol uran jokiyal-un degeji ja'yun bilig orošibai (Сто образцов произведений монгольской литературы), Ulaanbaator, 1959.
14. Heissig W., Bolur Erike. «Eine Kette aus Bergskristallen». Eine mongolische Chronik der Kienlung-Zeit von Rasipunzuу. Peiping, 1946.
15. Heissig W., Marginalien zur Ordos-Chronik Subud Erike, — ZDMS, 1951, vol. 100, H. 2.
16. Histoire secrète des Mongols. Restitution de texte mongol et traduction française des chapitrs I à VI. (Oeuvres posthumes de Pelliot. I). Paris, 1949.
17. Poucha, Paul. Die Geheime Geschichte der Mongolen. Praha, 1956.
18. Ratchnevsky, Paul. Sigi-Qutuqu, ein mongolischer Gefolgsmann in 12—13. Jahrhundert, — «Central Asiatic Journal», 1965, vol. X, № 2.

¹³ Здесь оканчивается первое наставление.

¹⁴ qarabtur sibayun — (род черного орла).

¹⁵ qariγun-a sibayun — название птицы.

А. Д. Бурман

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИРМАНСКОЙ РИФМЫ

(на материале драмы У Поун Ня «Водонос»)

Такие кардинальные проблемы бирманской просодии, как ритм, размер, рифма, еще не исследованы. В имеющихся работах можно найти лишь описание отдельных приемов бирманского стихосложения [5; 6; 7; 8].

В данной статье будет сделана попытка выявить некоторые особенности бирманской рифмы на материале пьесы знаменитого бирманского драматурга У Поун Ня «Водонос». Однако, прежде чем приступить к рассмотрению текста пьесы, следует сказать несколько слов об основных принципах бирманского стихосложения.

Бирманская стихотворная система существенно отличается от других систем версификации. Она базируется на классическом размере, характерном для пьюу (религиозных поэм, основанных на джатаках). Первые, дошедшие до нас пьюу датируются XV—XVI вв. В пьюу отсутствует выдержанное строфическое членение, в них преобладает произвольное объединение строк в большие или меньшие группы, хотя значительную часть составляют строфы в 30—35 стихов. Они написаны четырехсложным стихом со ступенчатой¹ рифмой, где строки объединяются по три, причем четвертый слог первой строки рифмуется с третьим слогом второй строки и с первым или вторым слогом третьей строки, например:

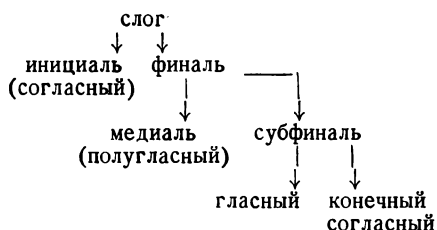
— — + а
— — а —
— а — б
— — б —
— б — в и т. д. [6, 9].

Ступенчатая рифма характерна не только для различных литературных жанров, но и для бирманских народных песен. Так как ни в русской, ни в западной востоковедной литературе не исследовалась бирманская рифма, то представляется целесообразным сказать о ней подробнее.

Ввиду того что в бирманском языке на звуковой состав слога наложены жесткие ограничения, общее количество употребляющихся в языке слогов сравнительно невелико. Соответственно в нем существует множество омонимов, что представляет широкие возможности для подбора рифмы.

¹ Хла Пе и Маун Тхин Аун называют эту рифму climbing (бука. «взбирающаяся»). Мы предлагаем назвать ее «ступенчатой».

По данным стихотворных материалов установлено, что в бирманской просодии рифмуются те части слов, которые следуют за начальнo-слоговым согласным и полугласным, если он имеется². Для определения рифмуемой части слога представляется удобной классификация В. Б. Касевича [2, 6], согласно которой слог расчленяется на инициаль и финаль, финаль в свою очередь — на медиаль и субфиналь и т. д., образуя такую схему:



Следовательно, можно сказать, что рифмующейся единицей в бирманском стихе является субфиналь.

Важной особенностью бирманского стиха является то, что рифмуемые субфинали связаны одним тоном. Это правило соблюдается достаточно жестко, вплоть до того, что автор может произвольно менять тон рифмуемого слога (рискуя тем самым затемнить смысл стиха)³, чтобы он не нарушил единства рифмовой схемы.

Хла Пе отмечает, что четырехсложный стих поэм пьюу с трехстрочной ступенчатой рифмой господствовал в поэтической литературе Бирмы вплоть до конца XVIII в. Впоследствии этот классический размер стал соблюдаться не так строго. Число слогов стало варьироваться (от трех до пяти-шести), хотя четырехсложный стих все еще оставался преобладающим. Рифма также претерпела некоторые изменения. Так, в стихотворном жанре *яган*, получившем распространение в конце века, строка уже состояла из трех, четырех или пяти слогов, была введена двойная рифма, где слоги рифмуются попарно и стоят на постоянном месте в строке, например:

— — а б
 — — а б
 — — а б

В *яган* использовалась и двустрочная рифма, связывающая всего лишь два стиха, а не три, как в классическом пьюу:

— — — а
 — — а — [6, 13].

Дальнейшее развитие новых стихотворных приемов можно найти в пьесах У Поун Ня, знаменитого писателя Бирмы (середина XIX в.). Реальным подтверждением этому служит материал пьесы «Водонос».

² Слог максимального состава в бирманском языке состоит из согласного, полугласного (w) или (J), гласного и одного из имплозивных согласных — (h) или (ʔ), слог минимального состава — из гласного.

³ В бирманском языке тоны несут смысловоразличительную функцию, таким образом этот прием можно рассматривать как поэтическую вольность.

Пьеса «Водонос» была написана в 1856 г. в Мандалае. Она основана на джатаке «Гангамала», № 421 (10). В пьесе рассказывается о бедном водоносе, который волею случая должен был наследовать престол и задумал убить короля, чтобы завладеть его троном, но, раскаявшись в своем греховном побуждении, стал отшельником. Большинство сцен состоит из рифмованных монологов и диалогов. Каждый стихотворный пассаж содержит от 15 до 50 строк, причем средняя их величина колеблется в пределах 40—50 строк. Всего пьеса содержит 1120 стихотворных строк.

На первый взгляд стихотворная система «Водоноса» может показаться хаотичной. Рифмовые схемы довольно разнообразны и расположены столь произвольно, что обнаружить какую-либо закономерность довольно трудно. Однако наблюдения над бирманским стихом позволяют выявить основные рифмовые схемы, реальность которых подтверждается частотностью их употребления.

Преобладающее место в тексте занимает классическая рифмовая схема пьюу — трехстрочная, со ступенчатой рифмой:

о...лу ¹ поун ² кхан ³ ва ²	— — — а
лу ¹ пий ² йва ² хма ¹	— — а —
вун ³ са ² кхэ ³ кхэ ³	— а — —

о ... в людских поселениях
среди мира людей
трудно добыть себе пищу [4, 57].

Непосредственная связь с жанром *яган* видна в том, что У Поун Ня широко пользуется двустрочной рифмой:

йэй ² коу ³ йаун ³ лоу ¹	— — а —
вун ³ чаун ³ па ² пйа ³ ка ¹ тэ ³	— а — — — —

продаю воду
и, как животное, ишу себе корм [4, 57—58].

Интересным представляется употребление У Поун Ня двустрочной рифмы, занимающей постоянное место в строке, что, казалось бы, противоречит принципу «ступенчатой» рифмы, характерному для бирманского стихосложения. Трудно сказать, была ли эта рифмовая схема изобретена У Поун Ня или использовалась и до него. Она встречается в основном в таком варианте:

а ² ка ¹ па ³ са ¹	— — — а
лу ² пхий ¹ чоу ³ на ¹ лэй ² нге ¹	— — — а — —

когда я сыт,
тогда доволен жизнью [4, 57]

Привлекает внимание и другая двустрочная рифма, с рисунком, противоположным обычному, т. е. рифма идет не от конца первой строки к началу второй, а наоборот, например:

эйн ² шэй ¹ нан ³ схэ ¹	а — — —
си ³ сэйн ² нэ ¹ нэ ¹	— а — —

я стал наследником престола,
получил много богатств... [4, 207].

У Поун Ня ввел в текст пьесы двойные, тройные и множественные рифмы, которые раньше использовались лишь в песнях. Они состоят

из двух, трех или четырех рифмующихся слогов в каждом стихе и занимают в строке постоянное место.

йвэй³лун³хлийн²май¹ а б в г
 тэй³лун³хлийн²махла¹тэ¹ а б в г —
 если выбирать слишком долго — не получишь ничего,
 если выбирать слишком мало — некрасиво [4, 105].

Хла Пе указывает, что употребление этих рифм в декламационных пассажах пьес было воспринято как новшество. Впоследствии они стали использоваться и другими драматургами [6, 15].

Иногда двустрочные и трехстрочные рифмовые схемы различной конфигурации накладываются одна на другую, что создает впечатление неупорядоченности стихотворного текста:

— б а —
 а в б
 б б в — — —
 швэй²йин²ча¹коу²
 пхйа¹кха²твин²
 лйин²лйин²нга²хлудан³вун²ти²
 золотую грудь
 пронзив,
 пожертвую собой [4, 234].

Переkreщиванием различных рифмовых схем достигается та же насыщенность рифмующимися слогами в строке, которая возникает благодаря употреблению двойных и тройных рифм.

Поскольку бирманская система версификации не отличается такой строгой внутристриховой организацией, как европейские системы, в ней широко используются дополнительные ритмизирующие средства. К ним относится такой традиционный для бирманского стиха прием, как анафорический повтор, который встречается еще в «Коукхан пью» знаменитого поэта XVI в. Шин Ратхатары [9, 134].

Вот пример употребления анафорического повтора в тексте «Водоноса»:

бэ²тхамин³нэ¹
 бэ²хин³чхоу³
 бэ²хнэ²мйа³мйау²йа³тоун³
 какой рис,
 какое карри
 употребляешь в пищу? [4, 85].

Рассматривая роль дополнительных ритмизирующих средств на материале «Водоноса», мы столкнулись со следующим любопытным явлением. В тексте было обнаружено созвучие инициалей в соседних строках, причем они располагаются примерно таким же образом, как и ступенчатая рифма, образуя конфигурации, подобные субфинальным рифмовым схемам:

мйэ¹ти³йо³йа² — — а¹ —
 му³йин³схоу²тэ¹ — а¹ б¹ в¹
 схан²оу²та²коу² б¹ — в¹ —
 йатана²чин²паун² — в¹ — г¹
 нга³пи¹ахлийн³ — г¹ — —

смешав травку мы
со старым рисом
(который называют муин)
и вкуснейшим соусом,
добавляю приправу нгапи [7, 90].

Это явление можно соотнести с фактом существования инициальной (анафорической) рифмы в некоторых тюркских и монгольских системах стихосложения [1; 3]. Отличие состоит в том, что в них имеются созвучия как в начальной букве, так и в группах букв, а в бирманском тексте мы находим лишь созвучие согласных инициалей (поскольку в бирманском языке гласные всегда относятся к финали). В тюркско-монгольских системах стихосложения инициальная рифма употребляется лишь в начале строки, в бирманском же языке она уподобляется субфинальной ступенчатой рифме, т. е., проходя через несколько строк, образует рисунок лесенки.

Пока еще трудно утверждать наверное, что созвучия инициалей в качестве определенного стихового средства действительно существуют в бирманской поэтике. Если же наше предположение окажется верным, то возникнет целый ряд вопросов.

Каким образом система рифмующихся инициалей соотносится с системой рифмующихся финалей? Является ли подобное созвучие инициалей рифмой, организующей стих, как и субфинальная рифма, или это только вспомогательное ритмизирующее средство? Характерно ли это явление для системы бирманского стихосложения или представляет собой индивидуальный прием автора?

Ответ на эти вопросы может дать лишь тщательное изучение стихотворных материалов. Да и само предположение о наличии инициальной рифмы нуждается в проверке на большом количестве материала.

Следует отметить одну особенность бирманского стиха — служебные элементы сведены в нем до минимума. Анализ стихотворного текста «Водоноса» показал, что служебные элементы располагаются в основном в конце строки за рифмующимся слогом. Число таких строк составляет 90% общего количества стихов в тексте. Это явление напоминает особенность некоторых типов китайского стиха, где служебные слова («пустые»), стоящие после рифмы, не входят в размер, следовательно, не включаются в композиционную структуру стиха. При декламации подобных стихов чтец голосом подчеркивает рифму, а «пустые» слова, стоящие за ней, произносит редуцированно.

Если дальнейшие исследования подтвердят правильность предположений о закономерности постановки служебных элементов после рифмующегося слога, то ступенчатую рифму бирманской просодии можно будет рассматривать как конечную. Однако 10% текста, где после рифмы следуют значащие элементы, заставляют нас думать, что проблема сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Если придерживаться мнения, что ступенчатая рифма в бирманском языке не является конечной (будучи исключением из большинства стихотворных систем в мире), это можно объяснить так: слух читателя воспринимает ритмическую инерцию не одного стиха, а целого ряда стихов. Таким образом, если в одном стихе рифма находится в конце, в других она перемещается к середине и далее к началу строки. В результате каждая из строк имеет рифму на одном из слогов в определенной последовательности (от начала к концу строки), что и создает ритмическую инерцию. Однако это применимо лишь к строгому классическому стиху поую.

Возвращаясь к непосредственной задаче исследования, можно ска-

зять, что стихотворный текст «Водоноса» отличается преобладающим употреблением четырехсложного классического размера пью с трехстрочной ступенчатой рифмой. Однако наряду с этим У Поун Ня широко пользуется следующими средствами.

1. Двустрочными рифмовыми схемами, как со ступенчатой рифмой, так и с рифмой, стоящей на постоянном месте в строке.

2. Двойными, тройными и множественными рифмами (стоящими на постоянном месте в строке).

3. Произвольным расположением двустрочных и трехстрочных рифм различной конфигурации.

4. Переkreшиванием на одних и тех же строках двустрочных и трехстрочных рифм, что создает большую насыщенность рифмующимися слогами в строке.

5. Нерифмующимися строками.

В тех отрывках стихотворного текста, где сконцентрированы эти приемы, нарушается четкий композиционный рисунок стиха, принимающего расплывчатые очертания и приближающегося к ритмической прозе. В основном это характерно для комических сцен, в возвышенных же и патетических пассажах стих принимает более строгую классическую форму.

Настоящая статья представляет собой лишь предварительные наблюдения над некоторыми особенностями бирманской рифмы, однако в ходе работы наметился определенный круг проблем, которые требуют дальнейшего тщательного анализа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Джангар, Калмыцкий народный эпос, М., 1958.
2. Касевич В. Б., Основные вопросы фонологической структуры бирманского языка (автореф. канд. дисс.), Л., 1968.
3. Манас, киргизский эпос, М., 1946.
4. Салэй У Поун Ня и йэйти пъяза (У Поун Ня, Водонос), Рангун, 1955.
5. Hla Pe, Dawn songs, — BSOAS, London, vol. 20, 1957.
6. Hla Pe, Konmara Pya-zat, vol. 1, London, 1952.
7. Hla Pe, A. Allot, J. Okell, Three immortal Burmese songs, — BSOAS, London, vol. 26, pt 3, 1963.
8. Maung Htin Aung, Burmese drama, Oxford, 1957.
9. J. Okell, «Translation» and «embellishment» in an early Burmese jataka poem, — JRAS, October 1967.
10. The Jātaka or stories of the Buddha's former births, edited by Cowell, vol. 3, Cambridge, 1897.

Б. Б. Вахтин

ЗАМЕТКИ О ПОВТОРЯЮЩИХСЯ СТРОКАХ В «ШИЦЗИНЕ»

В китайской литературе, особенно в поэзии, многократно цитируются строки и выражения из «Шицзина». Если бы до нашего времени и не дошел сам этот древний свод, то мы могли бы частично восстановить его по этим цитатам. Именно эта повторяемость цитат указала бы на существование источника общего для разных поэтов и разных эпох. Естественно, возникает вопрос: нет ли в «Шицзине» следов более древней словесности, какого-то не дошедшего до нас поэтического памятника? И нельзя ли попытаться проверить это предположение, рассмотрев повторяющиеся в разных песнях глоссы?

О целесообразности подобной проверки говорят некоторые обстоятельства. Прежде всего, по существующим версиям, «Шицзин» в том виде, в каком мы его знаем, — результат сознательного отбора из богатой поэтической традиции. Одни считают, что Конфуций составил его из лучших песен своего времени, отбросив две тысячи семьсот произведений, признанных недостойными внимания. Другие утверждают, что «Шицзин» возник в результате деятельности чиновников, собиравших и изучавших народные песни для нужд управления народом. Обе эти версии сходятся в одном — из многого взяли малое. Таким образом, «Шицзину» должна была предшествовать длительная и развитая поэтическая культура.

Другое соображение — отсутствие эпических произведений в древнем Китае, тем более странное, что в словесности некитайских народов, населяющих Китай, эпические сказания представлены весьма широко. В отдельных произведениях китайской анонимной поэзии мы находим рудименты сюжетов, мотивов и приемов, родственных эпическим сказаниям народов Южного Китая (прежде всего в поэмах «Туты на меже» и «Павлин летит на юго-восток»). Следы эпического повествования исследователи стараются обнаружить и в «Шицзине»¹. Не лишено оснований предположение, что древнейший эпос Китая просто не дошел до нас, вытесненный письменной традицией. В таком случае проверка повторяющихся глосс в «Шицзине» поможет выяснить, существовал ли некий поэтический памятник до «Шицзина» или эти повторы имеют другой источник (языковую действительность древнейшего Китая, заимствования внутри песен «Шицзина» или просто случай).

Следует оговорить, что повторы внутри отдельных песен «Шицзина» я не учитываю, так как параллелизм пронизывает все песни, а повторы

¹ См. подробнее в книге Н. Т. Федоренко: [1, 101 и сл.].

(в том числе и целых строк) в пределах одной песни являются лишь его частным случаем.

К сожалению, я не провел необходимую работу по всему тексту «Шицизна» и потому вынужден ограничиться только отдельными примерами, что, надеюсь, несколько компенсируется осторожностью выводов и суждений.

В «Гофыне», например, есть строка *И жи бу цзянь* — «Один день не увижу»², которая повторяется дважды — I, VI, 8 и I, VII, 17. Обе песни сходны по содержанию — это любовный призыв женщины. Фраза, образующая строку в тексте, вполне могла случайно попасть в обе песни. Столь же случайными могли оказаться и совпадения таких строк, как *Эр сань ци дэ* — «Вторая и третья (т. е. непостоянная) его мораль»³ (I, V, 4 и II, VIII, 5); *Ся шан ци инь* — «Спускаются, поднимаются их крики»⁴ (I, III, 3 и I, III, 8) и *Цзы чжи чан си* — «О, ваша величавость!»⁵ (I, VII, 14 и I, VIII, 2). В первом случае — традиционный упрек женщины, во втором — описание пения птиц, в третьем — восхваление достоинств человека, которое вполне могло быть стандартным.

Общими формулами языка можно счесть такие повторяющиеся строки, как *Сяо синь и и* — «Сдержан и внимателен»⁶ (III, I, 2 и III, III, 6); *Цзы сунь бао чжи* — «Дети и внуки сберегут это»⁷ (IV, I, 4 и IV, I, 5); *Фань бай цзюнь цзы* — «Все сто благородных мужей»⁸ (II, IV, 10 и II, V, 6); *Жэнь и ю янь* — «Люди тоже, бывает, говорят»⁹ (III, III, I; III, 2; III, III, 3 и III, III, 6). С меньшей уверенностью, но все же можно объяснить случайностью повторение таких строк, как *Шан ди линь нюй (жу)* — «Владыка с тобой»¹⁰ (III, I, 2 и IV, IV, 4), за которой в каждом случае следуют тоже почти совпадающие строки, близкие по смыслу и отличающиеся только последним знаком; *Гун ши сы чжан* — «Луки и стрелы вот наготове»¹¹ (II, VII, 6 и III, II, 6); *Бу вэй юй тянь* — «Нет страха перед небом»¹² (II, IV, 10 и II, V, 5) и *Бу цзы во сянь, бу цзы во хоу* — «Не до меня, не после меня»¹³ (II, IV, 8 и III, III, 10).

Следующий пример еще труднее объяснить случайностью: в песнях царств Бэй, Юн и Вэй четыре раза повторяются две стоящие рядом

² В переводе А. А. Штукина — «Лишь день мы в разлуке» и «День лишь его не увижу» [2, 91 и 111]. Римские цифры здесь и далее обозначают разделы «Шицизна» (первые две), а арабская цифра — порядковый номер песни в них.

³ В переводе А. А. Штукина — «Менялся часто, лгал, как только мог» и «Чувство два раза меняете вы, даже три» [2, 75 и 320].

⁴ В переводе А. А. Штукина — «Их крики то ниже, то к небу поднимутся вдруг» и «Крик слышен то снизу, то вдруг с высоты» [2, 38 и 44].

⁵ В переводе А. А. Штукина — «Как величав он собою и как он силен!» и «Сколь совершенно ваше искусство, о друг!» [2, 108 и 118].

⁶ В переводе А. А. Штукина — «Сердцем внимателен был и исполнен забот» и «Был осторожен, внимателен был до конца» [2, 332 и 395].

⁷ В переводе А. А. Штукина — «Дети и внуки их да сохраняют!» и «Дети и внуки пусть вечно ее сохраняют!» [2, 416 и 417].

⁸ В переводе А. А. Штукина — «...доблести мужи» и «...благородства мужи» [2, 256 и 271].

⁹ В переводе А. А. Штукина — «Народ поговорку имеет такую», «Люди теперь поговорку сложили», «Есть поговорка...» и «Тогда сложил поговорку такую народ» [2, 378, 379, 386 и 396].

¹⁰ В переводе А. А. Штукина — «Верховный владыка с тобою...» и «Небо верховный владыка пребудет с тобой!» [2, 334 и 454].

¹¹ В переводе А. А. Штукина — «Стрелы готовы, и каждый натягивал лук» и «Натянет луки, стрелы припасет» [2, 305 и 364].

¹² В переводе А. А. Штукина — «И нет почтения к небесам» и «Страха пред небом знать не надо» [2, 256 и 267].

¹³ В переводе А. А. Штукина — «Зачем не прежде я рожден... не после...» и «Зачем пришел не раньше нас, не позже...» [2, 248 и 407].

строки: *Нюй цзы ю син, юань фу му сюн ди* — «Девушка соблюдает правила — расстается с родителями и братьями»¹⁴ (I, III, 14; I, IV, 7 и I, V, 5). Чему бы ни приписывать совпадения этих строк, очевидно, что они представляют собой цитаты из некоей словесной культуры, предшествовавшей возникновению песен «Шицзина». Столь же бесспорной цитатой представляются и строки *У цзин взй жэнь, сы фан ци сюнь чжи* — «Нет соперника — единствен человек, весь мир следует его наставлениям»¹⁵ (III, III, 2 и IV, I, 4). Любопытно, что и в последующих строчках этих отрывков заметно некоторое сходство.

Таким образом, в повторяющихся строчках «Шицзина», возможно, наблюдается не только игра случая и отражение речевой практики, но и цитаты из неизвестной нам художественной словесности, более сложной, чем пословицы, поговорки и устойчивые словосочетания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Федоренко Н. Т., Шицзин и его место в китайской литературе, М., 1958.
2. Шицзин, изд. АН СССР, серия «Литературные памятники», М., 1957.
3. Ши цзин чжуань, Шанхай, 1958 (на кит. яз.).

¹⁴ В переводе А. А. Штукина — «Коль девушка замуж выходит, она Отца оставляет, и братьев, и мать», «Девушка к мужу идет, покидает Братьев своих, и мать и отца» (дважды) и «Девушка в дом уйдет к жениху, Братьев покинет, и мать, и отца» [2, 51, 64 (дважды) и 77]. По поводу выражения *ю син* («соблюдает правила» в буквальном переводе или «выходит замуж», как правильно переводит А. А. Штукин) см. комментарий к этому месту Чжу Си [3, 24].

¹⁵ В переводе А. А. Штукина — «Силы, мудрей человека, воистину, нет: Вся Поднебесная слушает мудрый совет» и «В мире ничто не бывает сильнее человека: Царства природы учатся к нему прибегают» [2, 379 и 416].

Ю. Л. Кроль

**ЗАМЕТКИ О ФИЛОСОФСКОЙ АЛЛЕГОРИИ
ЛИМ ДЖЕ «ИСТОРИЯ ЦВЕТОВ»¹**

Аллегория выдающегося корейского писателя Лим Дже (1549—1587) «История цветов» (*Хва са*), написанная на вэньяне,— яркое философское произведение, интересное во многих отношениях. В частности, оно заслуживает серьезного внимания с культуроведческой точки зрения. Здесь я остановлюсь на двух моментах, а именно на отношении аллегории Лим Дже к китайской литературной традиции и философско-религиозной мысли.

Однако, прежде чем перейти к этим вопросам, следует коснуться одной особенности «Истории цветов», которая недостаточно подчеркнута в предварительном литературоведческом описании этой аллегории [5]. Для данной статьи существенно определение аллегории Лим Дже как стилизации под исторический труд (а именно летопись). Для такого определения есть следующие основания.

1. Произведение Лим Дже написано в форме традиционной летописи (быть может, по образцу «Цзы чжи тун цзянь ган му» Чжу Си, 1131—1200 [14, 6]). Здесь использована литературная конструкция, элементами которой являются: а) высказывания историка от первого лица (предваренные формулой «подданный-историк говорит», которая из исторической литературы, где она стала применяться не позднее V в., попала в танскую новеллу, а впоследствии в корейскую аллерию XIII в.); б) летописное повествование; в) образцы чужого слова — высказывания и цитированные произведения персонажей. Высказывания историка от первого лица и летописное повествование являются двумя разновидностями авторского слова, которые различаются функционально и стилистически; высказывания историка имеют личный и эмоциональный характер, летописное повествование отличается безличностью и бесстрастностью [ср. 4, 48—51].

Высказывания историка от первого лица неоднократно перебивают летописное изложение внутри четырех глав аллегории, посвященных правлениям четырех царей цветов, обычно заключая самостоятельное сообщение, привязанное к определенной дате; функционально они играют роль точек с запятой и подчеркивают дробность внесюжетного повествования. Точно так же обобщающие суждения «подданного-исто-

¹ Статья эта — продолжение моей работы по комментированию двух аллегорий Лим Дже — «История цветов» в русском переводе А. Ф. Троцевич и «Города печали» в русском переводе Г. Е. Рачкова [9]. Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить А. Ф. Троцевич за консультации по истории жанра аллегории в Корее и по творчеству Лим Дже в особенности, а также за перевод использованных здесь материалов на корейском языке.

рика» в конце первой, второй и четвертой глав функционально играют роль точек.

Таким образом, произведение Лим Дже кроме своего предмета ориентировано еще и на высокий стиль исторических трудов, имевший в Китае и Корее многовековую традицию. Этот стиль был обусловлен авторитетностью и устойчивостью традиционных представлений о мире и во времена Лим Дже по-прежнему выражал «последнюю смысловую инстанцию» [3, 253—254, 257].

2. Высказывания «историка» от первого лица в аллегории очень похожи на высказывания историка в историческом труде и посвящены тем же вопросам: противопоставлению истинного «пути царя» дурному образу правления; оценке мудрого основателя династии и государей, приведших свое царство к упадку, достойных и недостойных министров, добродетельных государынь и губящих царство красавиц, придворных партий, фаворитов, льстецов и т. п.

Точно так же летописное повествование в аллегории чрезвычайно похоже на летописное повествование в традиционном историческом труде и по стилю и по отбору фактов. Рассказы о событиях и биографии персонажей привязаны к годам (иногда месяцам) правления одного из четырех государей цветов, принадлежащих к трем сменяющим друг друга династиям. Характерно, что здесь, как это часто бывало и в исторических трудах, эпизодически нарушается хронологическая непрерывность изложения (события приведены почти за каждый год за тремя исключениями, но далеко не за каждый месяц).

В историческом труде существует определенная дистанция между двумя разновидностями авторского слова. Она сохранена и даже подчеркнута в «Истории цветов». В высказываниях «историка» от первого лица читателю дано понять, что в летописном повествовании изложены «исторические факты», донесенные до «историка» традицией, и что он передает их объективно. Так, «историк» жалуется на скудость записей на бамбуковых дощечках об основателе царства Глиняный Горшок (Тао); рассказывает о своем разговоре с кем-то, кто, кроме него, знает историю цветов, и т. п.

Таким образом, авторское слово в аллегории намеренно обработано так, чтобы «ощущалась его характерность» [3, 250] для традиционного историка.

3. Автор говорит о своих персонажах (преимущественно растениях, но также насекомых, птицах, стихийных силах природы и т. д.) как о людях, что придает условность авторскому слову [ср. 3, 254, 255].

4. В аллегории прослеживаются два плана: план природы (назовем его «планом цветов») и исторических стереотипов (назовем его «планом людей»). Усилия автора направлены на то, чтобы связать оба плана, причем в обеих разновидностях авторского слова это достигается по-разному.

В суждениях «историка» эта связь устанавливается прямо, путем сопоставления персонажей и событий истории цветов с фигурами и событиями истории людей, путем выявления общих исторических схем, действующих в обеих историях. Благодаря этому «план цветов» открыто и равноправно включается в «план людей».

В летописном повествовании связь обоих планов достигается не прямо, а при помощи намеков, литературных и исторических аллюзий и — особенно часто — игры слов (в том числе каламбурного переосмысления имен и названий). Этому служит следующее: а) персонажи наделены человеческими именами, чинами, титулами, а также свойствами (причем широко используется символика, в частности симво-

лика цветов, а иногда употребляется формула «как человек он был таким-то»); б) люди упоминаются рядом с цветами, и говорится про их связи друг с другом; в) персонажам приписаны человеческие поступки, в частности поступки определенных исторических лиц, и о них рассказаны исторические анекдоты (иногда несколько переиначенные)². Нередко одному и тому же персонажу «Истории цветов» приписаны поступки и эпизоды из биографий разных исторических лиц³. Это в буквальном смысле слова собирательные образы, т. е. собранные из «деталей», принадлежащих разным фигурам разных времен [см. 9].

Так Лим Дже «нанизывает» на темы персонажей «человеческие» мотивы и получает образы, стилизованные под стереотипы традиционной историографии. Связь «плана цветов» с планом этих стереотипов является средством стилизации произведения Лим Дже под исторический труд.

5. Чужое слово в аллегории Лим Дже тоже укрепляет эту связь и участвует в создании стилизации. Виды чужого слова здесь те же, что и в обычном историческом труде, — речи, доклады, письма, государственные эдикты, стихи, песни и т. п. Их можно подразделить на заимствованные у других авторов и на созданные самим Лим Дже. Заимствованные вкладываются в уста новым персонажам, вписываются в новый контекст и приобретают новые смысловые оттенки, чем содействуют связыванию обоих планов и стилизации⁴.

Но преобладают в аллегории чужие высказывания, созданные самим Лим Дже; это стилизации под образцы из исторических трудов⁵.

Таким образом, Лим Дже одновременно остраивает историю людей

² Так, Дягилю (Цзян Ли) приписываются натура, поведение и судьба Цюй Юаня, включая написание поэмы «Скорбь Дягиля» (Ли сао). Название этой поэмы произносится так же, как название поэмы Цюй Юаня «Скорбь отрешенного», а на письме отличается от него только ключом «травя» над первым иероглифом *ли* (который в одном случае значит «дягиль», в другом — «отрешенный»).

³ Например, Пион (Яо Хуан), основатель государства Лето (Ся), имеет посмертный титул Вэнь-ван (Просвещенный, здесь — Пышный царь) и некоторыми поступками напоминает нескольких государей времен Чжоу. Но о его молодости рассказан анекдот, в основных чертах повторяющий историю о ханьском Гао-цзу, и в то же время о нем говорится как о современнике танского Сюань-цзуна.

⁴ Например, о фаворитке царя Лотоса (Бай Лянь) рассказаны два известных анекдота: один — связанный с красавицей Пань (VI в.), к которой относились слова «Под каждым ее шагом рождается цветок лотоса», и другой — связанный с красавцем Чжан Чан-цзуном (VII в.), про которого говорили, что не он похож на цветок лотоса, а цветок лотоса похож на него [9]. В обоих случаях в этих высказываниях в «Истории цветов» по-новому обыграно слово «лотос». Самому же царю Лотосу приписывается предсмертное восклицание лянского императора У-ди (502—549), который долго болел, ощущал горечь во рту и хотел отведать меду. Так и не добившись, чтобы ему дали сладкого, он гневно вскричал «хэ-хэ» и умер [13, 100]. В устах царя Лотоса звукоподражание «хэ-хэ» получает значение «лотос, лотос».

⁵ Особенно ощутима стилизация в тех случаях, когда наряду с общим духом этих образцов Лим Дже воспроизводит и целые фразы из них. Вот два примера. В докладе Сливового Счастья (Мэй Фу) — персонажа, который стилизован под образ ханьского ученого Мэй Фу (впоследствии ставшего даосским патриархом), так же как в докладах этого последнего, сообщается о знамениях, указывающих на беспорядки в управлении идущей к гибели династии. Там есть слова о приближающейся беде: «Вы не видите ее очертаний, и я хочу, чтобы вы вникли в ее знаменания». Такие же слова есть в реальном докладе Мэй Фу (ок. 14 г. до н. э.), предупреждающем государя о грозящей беде — усилении власти рода императрицы [11, 4458]. Такая же цитата без кавычек есть в государевом эдикте, изданном согласно аллегории при назначении лекарственного растения Дужо (Ду Жо) на пост первого министра. Это слова «Не дай же твоему предку (имеется в виду мудрый танский министр Ду Жу-хуй — Ю. К.) одному прославиться в глазах тех, кто владеет царством Пруд (Тан)», с небольшими изменениями повторяющие фразу из обращения шанского царя У-дина (1323—1266 гг. до н. э.) к отшельнику Юэ при назначении его первым министром: «Не дай же Э-хэну одному прославиться в глазах тех, кто владеет царством Шан» [25, III, 262].

материалом плана природы и создает стилизацию под исторический труд. Поскольку «История цветов» — это стилизация, к ней относится то, что говорит о стилизации как о слове «третьего типа» М. М. Бахтин [3, 250 и сл.].

* * *

Представляется, что между произведением Лим Дже и китайской литературной традицией есть связь и что с этой точки зрения наиболее интересно отношение «Истории цветов» к произведению Хань Юя (768—824) «Биография Кисти» («Мао Ин чжуань») [20, 36/6—8], или, в художественном переводе В. М. Алексеева, «Биография Иглы Волоскова» [2]. Это произведение в свою очередь связано с давней китайской традицией аллегорий (юй янь) [ср. 4, 43—44]; с древними аллегориями «Биографию Кисти» роднит известная свобода творческой фантазии, то, что героем здесь является вещь (кисть), изображенная как человек.

Хань Юй написал о Кисти в форме китайской биографии, точнее, в форме биографии из «Ши цзи» Сыма Цяня. В маленьком внесюжетном произведении Хань Юя есть обе разновидности авторского слова, характерные для исторического труда: суждение историка от первого лица (предваренное, как в «Ши цзи», фразой «Господин великий астролог говорит») и биографическое повествование; в ткань последнего введены образцы чужого слова.

По мнению специалиста по творчеству Хань Юя В. Ф. Гусарова, высказанному мне устно, это произведение — пародия. Такое мнение представляется справедливым по следующим соображениям.

Во-первых, в его пользу говорит оценка этой вещи современником Лю Цзун-юанем, который в 810 г. подчеркивал, что она вызывает громкий смех, и, прочитав ее, выступил в ее поддержку с теорией смеха в конфуцианском духе [15, 366—367]. Во-вторых, высокая форма и высокие образы серьезной биографии явно снижены здесь тем, что речь идет о зайцах и их потомке — Кисти. Как представляется, это снижение достигает предела в сцене последней аудиенции Кисти у императора Цинь Ши хуан-ди, когда выясняется, что у Кисти вылезли волосы и что ее работа уже не удовлетворяет государя. Со смехом император говорит, что «господин, ведающий дворцовыми писаниями (*чжун шу*)», т. е. Кисть, облысел от старости и более не подходит для службы — «не годится для письма (*бу чжун шу*)». В ответ Кисть заявляет: «Я, подданный ваш, — тот, кого называют «до конца отдавшим свои духовные силы». Это — удачное пародирование речи верного подданного, отвергаемого государем.

Однако Хань Юй пародирует не только биографическое повествование и образцы чужого слова, но и самую точку зрения историка (Сыма Цяня). Действительно, суждение «господина великого астролога» в «Биографии Кисти», столь напоминающее рассуждения Сыма Цяня о генеалогии, заканчивается словами: «И Кисть имела заслугу в том, что государь Цинь уничтожил удельных князей. Однако государевы награды не оплатили ей за труды, и она была отстранена по старости. Воистину император Цинь был немилостив!». Здесь пародийно обыгрывается точка зрения Сыма Цяня, считавшего, что характерной чертой мыслителей школы закона, чьи принципы осуществились в империи Цинь, был недостаток милосердия (*шао эн*) и что та же черта отличала Ши хуан-ди [4, 23—24, 35]. Употребляя выражение «шао эн» по поводу комического увольнения в отставку Кисти, Хань Юй, несомненно, вводит в использованное им слово Сыма Цяня враждебную ему направленность и таким образом пародирует чужую точку зрения [ср. 3, 258—261].

Есть прямые доказательства, что Лим Дже знал и любил «Биографию Кисти». Хань Юй говорит, что у Кисти было трое друзей. В «Записях о Городе печали» (*Су сон джи*)⁶ упоминаются четыре человека — компания Глиняной Тушечницы (Тао Хун, Луи Фаянса, в переводе В. М. Алексеева) и Кисти. Кроме того, Кисть введена в «Записи о Городе печали» как самостоятельный персонаж. Она фигурирует под двумя заимствованными у Хань Юя именами — Мао Ина (Иглы Волоскова) и Гуань-чэн-цзы (по В. М. Алексееву, барона Трубчевского) и ведет записи о Городе печали; в аллегории Лим Дже есть даже реминисценция о комической отставке Кисти — слова о том, что у нее вылезли волосы и это сделало ее непригодной для письма. Возможно, что смеховые, подчас пародийные интонации заключительной части «Записей о Городе печали» в чем-то продолжают пародийные интонации, в частности, и «Биографии Кисти». Следует добавить, что Лим Дже использует «Биографию Кисти» в другой своей аллегории — «Рассказе о судебном деле Крысы» (*Со ок соль*)⁷, где в речи Зайца содержится ряд намеков на произведение Хань Юя [6, 42—43, 227].

Значение «Биографии Кисти» для «Истории цветов» очевидно. Лим Дже, подобно Хань Юю, пишет о персонажах, взятых из мира природы, как о людях; делает это в форме традиционного исторического труда (хотя и не биографии, а летописи) с теми же элементами: двумя разновидностями авторского слова и образцами чужого слова. Он превращает эти элементы в слова «третьего типа», а именно в двунаправленные, двуголосые, условные слова (но при этом создает стилизацию, а не пародию). Наконец, Лим Дже в какой-то мере использует опыт Хань Юя по соединению друг с другом двух планов аллегории. Однако у Хань Юя план Кисти не представляет собой самостоятельного мира, он как бы вдвинут в мир людей: Кисть изображена как исполнительный циньский чиновник на службе у Ши хуан-ди. Хань Юй меньше использует игру слов (но каламбурное переосмысление фамилий и имен мы встречаем и у него), зато широко прибегает к намекам и (почти исключительно историческим и легендарным) аллюзиям.

При сопоставлении «Истории цветов» с «Биографией Кисти» особенно хорошо видно то новое, что внес Лим Дже. Его произведение не только гораздо больше по объему, но и гораздо «проблемнее». В «Биографии Кисти» Хань Юй использовал в основном принципы изображения отдельного подданного и связанные с этим идеи, выдвинутые китайской историографией в частности, идею Сыма Цяня о важности генеалогии (связанную с мыслью о наследовании заслуг в роде и в конечном счете — о воздаянии) [4, 62, 64—66, 101—111], а также его концепцию империи Цинь [4, 183—201]. В «Истории цветов» Лим Дже проецирует на план природы некоторые основные черты модели мира традиционного историка из Китая и Кореи. Тут кроме принципа изображения подданного есть и традиционные представления о «внутренней силе» (*дэ*) государства и о наследовании им достижений предков, о воздействии этой силы на мир, о «ветре ее влияния», который отождествляется с ароматом цветов; в связи с этим тут есть представление о пространстве, построенном по типу: центр — периферия, и даже периодическое отождествление царства цветов с государством Центра — Китаем; представления о смене династий, о целой галерее исторических стереотипов и т. д.

Особенно важно отметить, что Лим Дже использовал в «Истории цветов» традиционное представление о циклическом времени, без чего

⁶ «Город печали» в переводе Г. Е. Рачкова.

⁷ «Мышь под судом» в переводе Г. Е. Рачкова.

аллегория была бы невозможна. Традиционное представление о расцвете и упадке династии основано на универсальной концепции расцвета и увядания всего в мире [ср. 28, 5—6]. Лим Дже использовал универсальность этой концепции. Исходя из принципиального сходства природного и династийного циклов, он изобразил расцвет и увядание того или иного цветка как расцвет и гибель его династии. Но ведь жизнь цветов исчисляется днями, а правление государей годами; поэтому Лим Дже с помощью специальной оговорки со ссылкой на «Шицзин» «установил», что день лунного месяца в царстве цветов назывался месяцем и год состоял из двенадцати таких месяцев-дней. Это дало Лим Дже возможность приписать царям цветов названия (девизы) годов правления и тем прочнее соединить планы природы и людей.

Поэтому же он смог, используя теорию пяти элементов с ее концепцией циклического времени [26, 238—265], приписать династиям цветов правление от имени того или иного элемента. Как и полагается по данной теории, он выбрал такие элементы, которые являются «опорой» для того или другого цветка: дерево — для сливы, землю — для пиона и воду — для лотоса. Когда же оказалось, что зеленый, желтый и черный цвета этих элементов не совпали с белым цветом сливы, красным — пиона и белым — лотоса, Лим Дже не стал этого замалчивать, а выразил в «суждении историка» недоумение по этому поводу, таким образом подчеркивая объективность летописного повествования в целях стилизации.

Наконец, Лим Дже использовал циклическую теорию философа Шао Юна (1011—1077)⁸, в наше время описанную Д. Ланкаширом [24, 77—78]. По ней двенадцать месяцев года представляют собой цикл, параллельный другому в 129 600 лет, который также делится на двенадцать периодов по 10 800 лет в каждом; таким образом, каждому месяцу соответствует многолетний период, обозначаемый тем же циклическим знаком. Лим Дже вкратце изложил эту теорию устами «историка», когда ему потребовалось объяснить, почему эпоха царства Восточного Глиняного Горшка (Дун Тао) так похожа на эпоху империи Тан. Он объяснил это сходство тем, что в периоды, обозначенные одинаковыми циклическими знаками (а оба названных государства существовали именно в такие периоды), неизбежно бывают сходные фигуры и события. Лим Дже сделал это якобы для того, чтобы отвести от «историка» подозрения в необъективности, а в действительности — в целях стилизации.

На циклическом представлении о времени в Китае и Корее основана мысль о повторяемости типов людей и схем поведения в истории [28, 143; 4, 67, 85—98]. Именно потому, что Лим Дже использовал это представление, он приписал одним и тем же персонажам свойства, слова и поступки исторических лиц разных времен и описал персонажей, ассоциирующихся с историческими фигурами разных эпох, как современников.

Использование важных компонентов традиционной модели мира отличает «Историю цветов» от произведения Хань Юя, зато роднит ее с другой аллегорией Лим Дже — «Записями о Городе печали». В первой строке «Записей о Горске печали» появляется фигура «Небесного государя», или «Государя волею Неба» (Тяньцзюнь). Это название, которое философ III в. до н. э. Сюнь-цзы дал сердцу, указывая: «Сердце находится в центральной пустоте (т. е. в грудной клетке. — Ю. К.) и благодаря этому управляет пятью органами чувств (гуань), поэтому называ-

⁸ Для дальнейшего небезынтересно отметить связь этого мыслителя с даосской традицией [26, 455—456].

ют его Небесным государем». В другом месте Сюань-цзы называет сердце «государем тела» [16, 223, 297]. За этими определениями стоит концепция организма — представление о единстве структуры микрокосмоса и макрокосмоса, которое, по мнению Дж. Нидэма, существовало в китайской культуре в двух вариантах: как аналогия человеческого тела со всем космосом и как аналогия его с государством [26, 294—303]. Следы вариантов второй аналогии можно найти уже в «Шуцзине» [25, III, 79, 89—90, 262; IV, 580], в «Цзо чжуань» [21, 1565], во фрагментах сочинения Шэнь Бу-хая [23, 19], а позднее, при Хань, — в императорских эдиктах Вэнь-ди, У-ди [11, 135, 191], у Сыма Цяня [19, 5241] и т. п.

Совершенно в духе этой концепции Лим Дже пишет: «Когда Небесный государь взошел на престол, это был первый год периода его правления под названием „Хорошая человеческая природа, ниспосланная Небом“». Его чиновники-инстинкты назывались Человеколюбие, Справедливость, Нормы поведения и Мудрость; каждый из них выполнял свои обязанности и усердно трудился в соответствии со своими функциями. Его чиновники-чувства назывались Радость, Гнев, Печаль и Счастье; они были собраны внутри и когда выходили наружу, то все подчинялись дисциплине. Его чиновники — виды деятельности — назывались Зрение, Слух, Слова и Поступки; все они управлялись Нормами поведения, и государь регулировал их с помощью «четырех не» (не смотреть, не слушать, не говорить, не действовать, если это идет вразрез с Нормами поведения. — Ю. К.). В это время Небесный государь восседал высоко на Террасе духа со сложными на груди руками, а все сто чиновников — частей тела следовали его приказам».

Далее аллегория Лим Дже строится на том, что «устройство» человеком своего внутреннего мира изображено как решение вопросов управления — «устройство» государства; то, что человек топит свою печаль в вине, представлено как взятие воеводой Вином (Цюй Чунь) Города печали — словом, внутренняя жизнь личности остранина материалом государственной жизни, план микрокосмоса — планом макрокосмоса. Отсюда два значения выражения «город печали» в этом произведении: прямое и переносное (обстановка печали, в которой пребывает личность).

Отчего же Лим Дже использовал в обеих аллегориях культурные представления такого масштаба? Это, видимо, объясняется тем, что он стремился поставить и разрешить в этих произведениях большие философские вопросы — такие, как «чему учит история» и «какой путь избрать личности». Иными словами, тем, что он создал философские произведения. Поэтому в «Истории цветов» Лим Дже и потребовалась точка зрения историка, что он собирался говорить о вопросах такого большого масштаба и хотел, чтобы его ответ звучал как вывод из всей истории людей-цветов и был авторитетен, как суд историка.

Каков же этот вывод? Подданный-историк говорит: «Внезапно возвысились, сменяя друг друга, три династии, стремительно расцвели и увяли четыре государя. Да ведь это же все равно, что мгновение в восточном саду, что сон о Нанькэ. Нынче в садах и парках под весенним ветром слышны только печальные голоса птиц, а на прудах и террасах лишь туманы да облака блуждают в лучах заходящего солнца. Даже песней „Колосится пшеница“, которую сложил Цзи-цзы, побывав на развалинах иньской столицы, и стихами „Там просо склонилось“, сочиненными подданными династии Чжоу при виде запустения старой резиденции ее государей, невозможно выразить печаль об этом. Разве не грустно? Разве не жалко?».

Итак, вывод историка — самый пессимистический: царства с их го-

сударями и подданными уходят в прошлое, их история — не более чем сон о Нанькэ. Это даосский образ из новеллы Ли Гун-цзо, говорящий о суетности и бессмысленности всякой деятельности на государственном поприще, ибо чины, слава и богатство преходящи и неизбежно превратятся в свою противоположность [8, 46—58].

В «Истории цветов» есть эпилог, называющийся «общим суждением», который не приписан «подданному-историку», и, видимо, не случайно: в этом высказывании нет дистанции между голосом автора и голосом «историка», перед нами слово первого типа, прямое и непосредственно направленное на свой предмет. В эпилоге Лим Дже по-новому интерпретирует тему цветов: он оставляет мысль «историка» о том, что их история ничем не лучше человеческой, и стремится доказать особое совершенство природы цветов. Лим Дже пишет: «Они многочисленны, а как обстоит с этим в царстве людей? Они гуманны, заслуживают доверия и, как сказано выше, совершенно не знают страстей — а как обстоит с этим у государей?» И, отметив борьбу честолюбий, жажду прославиться в истории и хвастливости, свойственную людям (и осуждаемую даосами) [12, 323, 680; 22, 59, 63], продолжает: «Не таковы цветы. Отсюда понятно, что их природа, дарованная Небом, прекраснее, чем у других, она подобна природе благородного мужа среди людей. Вот поэтому перед двором сунского наставника из Ляньси⁹ трава не была выполота. Он говорил: «Она такая же, как я в моих помыслах». Если уж благородный муж хотел быть таким, как трава, то отсюда понятно, что его природа была цельной и совершенной. Да как же могут те, что удовлетворяют свое честолюбие на поприще произнесения речей (перед троном) и сочинения эссе, неутомимо усердствовать в области служебных достижений и дел, сохранить при этом свою природу и вернуться к совершенному образцу?».

Этот призыв вернуться к естественности носит даосский характер. Даосские симпатии автора чувствуются и в том, с какой любовью он рисует образы растений — «даосских отшельников»: Черного Бамбука (У Юнь), Сливового Счастья, Орхидеи (И Лань) и Красного Ириса (Чжу Чжи), Хризантемы (Хуан Хуа). О даосских настроениях автора как будто говорят и скептическое отношение его к конфуцианским гражданским идеям, выраженное в «суждениях историка», и критика проповеди буддизма в царстве Пруд, введенная в высказывание двух персонажей аллегории [см. 9].

Представляется, что мысли «Записей о Городе печали» тоже близки даосизму. Эта близость видна в том, как автор развивает тему «города печали» и тему вина. В аллегории рассказывается, что однажды в царстве Небесного государя, который уже начал поддаваться настроениям осенней печали, появились два человека, первый из которых, судя по описанию, несомненно Цюй Юань, и государь разрешил им выстроить город. Этот город, построенный печальной осенью, и есть Город печали. Он населен несчастными людьми — по большей части тенями исторических лиц, которые делятся на четыре категории по названиям четырех ворот города. Это преданные подданные, до конца оставшиеся верными своим идеалам и поплатившиеся за это; честолюбцы, посвятившие себя борьбе за титулы, чины, власть и славу и в конце концов погибшие из-за этого; воины и государственные деятели, отдавшие свою жизнь без ви-

⁹ Литературный псевдоним неоконфуцианского философа Чжоу Дунь-и (1017—1073), который «предпочел философские штудии высокому официальному рангу» [26, 457].

ны; наконец, женщины и мужчины, страдающие от разлуки — кто со своей страной (государем), кто с любимой или любимым. У всех этих людей есть нечто общее — они несчастны, и причина их несчастий лежит в государственной сфере, активными деятелями или пассивными жертвами которой эти люди являются. Интересно, что названия двух ворот — «преданности» и «борьбы» (соперничества) — указывают на типы социального поведения, которые с древности осуждал даосизм [22, 8, 19, 21, 46, 59, 173, 177, 184, 200]. К этим историческим персонажам присоединяется фигура стареющего современника Небесного государя, который читает стихи, полные грусти, по поводу неудавшейся служебной карьеры, сетований на напрасно потраченную жизнь.

Таким образом, в «Записях о Городе печали» источник грустного настроения — все та же государственная сфера и те же тщетные усилия людей чего-то в ней достигнуть, что и в «Истории цветов». Это опять «сон о Нанькэ».

Своеобразным знаком этой государственной сферы служит образ Цюй Юаня — преданного подданного, оклеветанного перед своим государем, изгнанного и покончившего с собой. Город печали выстроен по его просьбе. Когда этот город захватывает воевода Вино, Цюй Юань единственный из всех не признает себя побежденным и уходит. В этом уходе, связанном с отказом от вина, — намек на произведение «Отец-рыбак» (*Юй фу*) [17, 222], где происходит диалог между Цюй Юанем (которому по традиции приписывали это произведение) и рыбаком. Цюй Юань заявляет: «Все люди века грязны, один я чист. В толпе людей все пьяны, один я трезв. Поэтому я и был изгнан». Отец-рыбак возражает ему: «Совершенного мудреца не сковывают и не останавливают вещи окружающего мира: он способен меняться вместе с веком. Все люди века грязны; отчего же и вам не погрузиться в ту же грязь и не вздыматься на тех же волнах, что и они? В толпе людей все пьяны; отчего же и вам не глотать ту же винную барду и не пить то же слабое вино, что и они? Чего ради вы предались глубоким размышлениям, совершили высокий поступок и навлекли на себя изгнание?».

Тут существенно, что отказ Цюй Юаня от вина — знак его высоко принципиальной позиции человека, ощущающего «гражданский» долг в «пьяном мире». Отец-рыбак выражает противоположную точку зрения — индивидуалиста, стремящегося уйти от опасностей политического мира в смутную эпоху. Как видно из комментариев Такикава Камэтаро [19, 3848], Ма Мао-юаня [17, 224—226] и других, это даосская точка зрения; Ма Мао-юань, ссылаясь на Ван И, подчеркивал, что она отражает настроения отшельнического даосизма царства Чу.

В аллегории Лим Дзе тоже сталкиваются две точки зрения — Цюй Юаня и воеводы Вина. Позиция Цюй Юаня — такая же, как в «Отце-рыбаке»: он символически отказывается от вина. При этом, как уже говорилось, поступок Цюй Юаня — нечто противоположное тому, что сделал бы индивидуалист-даос, бегущий от политической жизни, службы государству. В аллегории на противоположной Цюй Юаню позиции стоит воевода Вино. Он призывает жителей Города печали не уподобляться Цюй Юаню, сказавшему: «В толпе людей все пьяны, один я трезв» — и сдаться. Значит, воевода Вино как бы замещает «отца-рыбака» (т. е. индивидуалиста-даоса) в диалоге с Цюй Юанем.

В. М. Алексеев специально останавливается на культе вина в китайской поэзии и отмечает, что, воспевая вино, в нем видели «возбудителя творчества, утешителя в скорбях, а главное, верного друга в добровольном самоотлучении от мира». Он характеризует отношение к вину ряда поэтов, начиная с Тао Цяня [1, 145—147], и в его списке не одно

это имя связано с даосизмом¹⁰. Не исключено, что Лим Дже почерпнул мысль о взятии Города печали воеводой Вино из поэзии этого рода. Так, в XII в. в стихах Фань Чэн-да (1126—1193) говорилось о желании поэта «добавить вина в глиняную чашу и оросить Город печали».

К «Записям о Городе печали» имеют прямое отношение две корейские аллегории XIII в. на вэньяне — «Биография Вина» (*Кук Сун джон*) и «Биография Денег» (*Кон Бан джон*) Лим Чхуна, по-видимому написанные под сильным влиянием «Биографии Кисти». И Вино и Деньги (*Кун Фан*) введены как персонажи в «Записи о Городе печали». Между тем Лим Чхун, у которого Лим Дже заимствовал обоих персонажей, — даосский поэт направления «Литературы бамбуковых рощ» из группы «Семеро мудрых из Страны к Востоку от моря» [7, 21]. Заимствование персонажей, созданных автором-даосом, между прочим, указывает на «даосские связи» темы вина в «Записях о Городе печали». На это же указывает перечень друзей вина, который приводит Лим Дже (отчасти развивая «Биографию Вина»): это даосские поэты Жуань Цзи, Жуань Сянь, Цзи Кан, Лю Лин, «как бы весь погруженный в даосско-поэтические мечтания» Тао Цянь и отдавший щедрую дань даосизму Ли Бо [26, 159; 27, 8, 10].

Отсюда логично заключить, что и вино и наслаждение им связаны в «Записях о Городе печали» с даосскими настроениями¹¹.

В начале истории аллегорий в Китае видное место занимают даосские трактаты «Чжуан-цзы» и «Ле-цзы». Через шестнадцать веков на корейской почве создаются аллегории автора-даоса Лим Чхуна, а еще три столетия спустя — аллегории Лим Дже, в которых ощутимы сильные даосские настроения. Невольно задаешь себе вопрос: чем объясняется интерес даосизма к аллегориям?

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеев В. М., Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту (837—908), Пг., 1916.
2. Алексеев В. М., Хань Юй. Биография Иглы Волоскова, — «Антология китайской классической прозы» (машинопись хранится в архиве В. М. Алексеева), т. III, № 230, стр. 598—602.
3. Бахтин М., Проблемы поэтики Достоевского, М., 1963.
4. Кроль Ю. Л., Сыма Цянь — историк, М., 1970.
5. Кроль Ю. Л., Философская аллегория «История цветов» Лим Дже, — «Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока. Тезисы докладов четвертой научной конференции, Ленинград, 1970», М., 1970, стр. 25—28.
6. Лим Дже, Мышь под судом. Повесть, пер. с кор. Г. Рачкова, М., 1964.
7. Никитина М. И., Троцевич А. Ф., Очерки истории корейской литературы до XIV в., М., 1969.
8. Фишман О. Л., Танские новеллы, М., 1955.
9. «Черепажовый суп» (корейские рассказы XV—XVIII вв.), изд. «Художественная литература», Л., 1970.
10. Эйслин Л., Тао Юань-мин и его стихотворения, М., 1967.

¹⁰ В. М. Алексеев считал Тао Цяня примером «синкретического совместительства» конфуцианства и даосизма в одном мировоззрении, отмечал, что Тао Цянь «как бы весь погружен в даосско-поэтические мечтания и более всех отвечает идеалам дао-поэта, по версии Сыкун Ту», что он «проповедует независимость от мира, и его *цзы-жань* есть... даосская идея...» [1, 084—086, 155]. Исследователь творчества Тао Цяня Л. З. Эйслин, подчеркивая, что представление Тао Цяня о «естественности» отлично от понимания «естественности» даосскими поэтами, придает большее значение конфуцианскому компоненту в мировоззрении писателя [10, 59, 66, 86—98, 115, 119—123].

¹¹ Ср. гл. 7 даосского трактата «Ле-цзы», где наслаждение личности вином противопоставляется вступлению на государственное поприще, почитанию норм поведения и долга, достижению славы, служебного поста и жалования.

11. Ван Сянь-цзянь, Хань шу бу чжу («История династии Хань» с дополнительным комментарием), Пекин, 1959, т. 1—8.
12. Чжуан-цзы цзи ши («Философ Чжуан» с собранием толкований), сост. Го Цинь-фань, Пекин, 1961, т. 1—4.
13. Ли Янь-шоу, Нань ши (История Южных династий), серия «Бо'на бэнь эр-ши-сы ши», изд. уменьш. формата, т. 10, Шанхай, 1958.
14. Лим Дже (авт.), Ли Чхольхва (пер.), Ккот ёкса (Хва са) (История цветов), Пхеньян, 1957.
15. Лю Цзун-юань, Лю Хэ-дун цзи (Собрание сочинений Лю Хэ-дуна), Пекин, 1958.
16. Лян Ци-сюн, Сюнь-цзы цзянь ши («Философ Сюнь» с краткими толкованиями), Пекин, 1956.
17. Ма Мао-юань (сост., комм.), Чу цы сюань («Чуские строфы». Избранные произведения), Пекин, 1958.
18. Сок Инхэ (пер.), Чон чакпхум сон (Избранные произведения в жанре биографии), Пхеньян, 1964.
19. Сыма Цянь (авт.), Такикава Сигэн (комм.), Ши цзи хуй чжу као чжэн («Записи историка» с собранием комментариев и критическим исследованием), Пекин, 1955, т. 1—10.
20. Хань Юй, Хань Чан-ли цзи (Собрание сочинений Хань Чан-ли), Пекин, 1958.
21. Цзо Цю-мин (авт.), Ду Юй (комм.), Чунь цю цзин чжуань цзи цзе (Комментарий на классическую книгу «Весны и осени» с собранием пояснений), Пекин, 1955, т. 1—3.
22. Чжу Цянь-чжи, Лао-цзы цзяо ши («Философ Лао», сверенный текст с толкованиями), Шанхай, 1958.
23. Creel H. G., *On the Origin of Wu-wei*, — «Symposium in Honor of Dr Li Chi on his Seventieth Birthday», Part I, Taipei, 1965, стр. 1—33.
24. Lancashire D., A Confucian Interpretation of History, — «The Journal of the Oriental Society of Australia», vol. 3, № 1 (January, 1965), стр. 76—87.
25. Legge J., The Shoo King, — «The Chinese Classics», vol. III—IV, Honkong, London, 1865.
26. Needham J., Science and Civilisation in China, vol. 2, Cambridge, 1956.
27. Waley A., The Poet Li Po, A. D. 701—762, London, 1919.
28. Watson B., Ssu-ma Ch'ien Grand Historian of China, New York, 1958.

Л. К. Павловская

ПИНХУА ПО ИСТОРИИ ПЯТИ ДИНАСТИЙ

(О композиционных особенностях и месте среди других пинхуа)

В дошедших до нас источниках упоминается о том, что события эпохи Пяти династий во времена Сун (960—1279) были популярны у народных рассказчиков исторических сюжетов и некоторые из них даже специализировались исключительно по этой тематике [5, 30]. Записи исторических повествований народных рассказчиков назывались пинхуа. В свое время существовало немало этих записей. Как указывает библиография «Сы ку цюань шу цзун му» [9, цз. 54, 1], в энциклопедии «Юн-лэ дадянь» имелся специальный раздел пинхуа, куда входили произведения на исторические темы, исполнявшиеся рассказчиками. Вероятно, там были помещены и пинхуа на тему Пяти династий. До наших дней эта часть «Юн-лэ дадянь» не дошла. Сохранилось лишь одно произведение на этот сюжет — «Синь бян у дай ши пинхуа» («Заново составленное пинхуа по истории Пяти династий»), рукопись которого была найдена только в 1901 г. Цао Юань-чжуном и опубликована в 1911 г. У Цзин-дуном.

Существуют две точки зрения о том, когда было написано «Пинхуа по истории Пяти династий»: а) во время «перехода на юг» (первая половина XII в.) [6, стр. 249]; б) эпоха Юань (XIII—XIV вв.) [4, 144—149]. Обе они не могут считаться окончательно доказанными. Определенно можно назвать только нижнюю дату создания памятника — конец XI—начало XII в., ибо «Цзы чжи тун цзянь», основной исторический источник повествования¹, был написан Сыма Гуаном в 1085 г., а исследуемое нами произведение могло появиться только после его опубликования. Кроме того, по нашим предварительным наблюдениям, цитируемые автором стихи не выходят за рамки XI в.: наиболее поздним является отрывок из стихотворения Шао Сюна (1011—1077).

Независимо от того, когда был создан дошедший до нас вариант «Пинхуа по истории Пяти династий» (а он является несомненно не первой редакцией произведения, на что указывают слова «синь бян» — «заново составленное», предшествующие названию), можно предположить, что само произведение принадлежит к наиболее ранним образцам жанра пинхуа.

В пинхуа синтезировались классическая историография и народная литература. Соотношение их в различных сочинениях этого жанра неодинаково. В «Пинхуа по истории Пяти династий» преобладает истори-

¹ Авторы, писавшие о «Пинхуа по истории Пяти династий», придерживаются различных точек зрения об историческом источнике повествования. Цзинь Дэ [11, 24—31] называет «Цзю у дай ши» («Старую историю Пяти династий»), М. В. Софронов [4, 144—149] — «Цзы чжи тун цзянь». Нам удалось установить, что «Цзы чжи тун цзянь» — основной, но не единственный источник. Автор заимствует для своего повествования фрагменты и из других исторических сочинений [2, 43].

ко-летописная традиция. Здесь не только излагаются подлинные события эпохи Пяти династий, но и текстуально воспроизводятся исторические источники. Внутренняя последовательность изложения материала — хронологическая — тоже заимствована из исторических источников. Такая зависимость от источников характерна, на наш взгляд, и для ранних образцов *суцзян* — популярных пересказов буддийских сутр монахами. Этот жанр был не только предшественником, но и родоначальником (особенно в его разновидности *цзянцзин вэнь*) всех последующих песенно-повествовательных жанров простонародной китайской литературы, в том числе и пинхуа. В ранних образцах *суцзян* зависимость от источника и связь с ним были особенно тесными. Обязательно цитировались название сутры и ее полный текст, и только потом давалось ее упрощенное изложение и истолкование в прозе и стихах. С развитием жанра и появлением его новых форм (*бяньвэнь*) зависимость рассказчика от источника постепенно становится менее ощутимой и завершается произвольным выбором сюжетов, разработка которых, идейная и художественная, имеет уже мало общего с источником [8, 1—3; 1, 5—29].

Можно предположить, что развитие жанра пинхуа шло в основном в том же направлении. Вначале рассказчик на рыночной площади пересказывает исторические сочинения максимально близко к источнику. Но простой пересказ, по-видимому, не может долго удовлетворять и слушателей и самого автора — не все в исторических сочинениях нравится, не все понятно, не все дано объяснение, популярные в народе герои очерчены официальной историографией. И рассказчик начинает выбирать наиболее интересные, с его точки зрения, события, дополняет их, вводит новые факты из других сочинений, пытается по-своему истолковать поступки героев. Все больше привлекается фольклорный материал, в котором полнее выражены народное осмысление и оценка многих персонажей и событий истории. Постепенно рассказчики все дальше отходят от текста исторических сочинений, заимствуя из них лишь отдельные сюжеты, интерпретация и развитие которых уже целиком зависят от рассказчика. В некоторых других пинхуа, сохранившихся до наших дней², заметнее отразилась фольклорно-художественная традиция, что, по нашему мнению, указывает на более поздние образцы жанра. Дальнейшее изучение и сопоставление «Пинхуа по истории Пяти династий» с другими произведениями этого жанра и ранними образцами исторического романа даст возможность закрепить или опровергнуть эти предварительные выводы.

Пинхуа были очень популярны. Рассказчиков слушали и простой люд и высшая сановная знать [10, 313]. И тех и других, по-видимому, привлекал не столько пересказ исторических событий, сколько авторское осмысление и художественность изложения. И поэтому, анализируя одно из ранних произведений этого жанра, «Пинхуа по истории Пяти династий», где 75—80 % текста является более или менее подробной передачей нескольких исторических сочинений и совпадает с ними текстуально, мы можем говорить и о композиции произведения, и о творческом отношении автора к отбору исторического материала, и о его структурной взаимосвязи. Автор пинхуа намеренно отступает в отдельных случаях от сюжетных ходов истории, вводит самостоятельные сюжеты в повествование, сочетает исторический материал с фольклорным,

² «У-ван фа чжоу пинхуа» («У-ван идет походом на Чжоу»), «Ци го чунью хоу цзи пинхуа» («Пинхуа о веснах и осенях семи царств. Последний сборник»), «Сюй цянь Хань шу пинхуа» («Пинхуа по истории Ранней Хань»), «Цинь бин Лю го пинхуа» («Пинхуа о том, как Цинь присоединило шесть государств»), «Сань го чжи пинхуа» («Пинхуа о трех царствах»).

стремится к художественному домыслу и некоторой идейной обработке материала. Довольно четко выражено и отношение автора к главным героям повествования [2, 43]. Наконец, что весьма существенно, все изложение имеет единый идейно-композиционный стержень — предопределенность всего того, о чем повествует автор. Тема судьбы, предначертанности звучит в повествовании настойчиво и неоднократно, начиная со стихотворного вступления.

В структурной композиции «Пинхуа по истории Пяти династий» выделяются две формы изложения: внешняя воспроизводит основные формальные особенности простонародной повествовательной литературы; внутренняя же сохраняет воспринятое от исторических источников хронологическое фиксирование событий. Мы остановимся на некоторых особенностях внешней формы.

В «Пинхуа» сохранились стихотворное вступление, прозаическое введение, изложение темы и стихотворное заключение. Но функции некоторых из этих структурных единиц претерпели качественные изменения. В упомянутых выше *суцзян*, например, вступительная часть повествования *кайцзян* состояла обязательно из двух частей: песенно-стихотворного вступления *яцзовэнь*, задачей которого был эмоциональный настрой слушателей, и *кайти* — прозаического вступления, где популярно толковались сюжет и основной смысл дальнейшего изложения. Это была своего рода аннотация на собственно изложение — *чжэцзян*, следовавшее после вступлений. Завершалось повествование стихотворным заключением *цзецзовэнь*, где еще раз подчеркивалась основная мысль рассказанного [8, 44]. Постепенно эта форма становилась более гибкой, варьировалась. В сунских *сяошо*, например [3, 11—140], уже необязательны оба вступления. Здесь возможно стихотворное или прозаическое вступление или оба вместе, задача их с помощью более краткой аналогичной или противоположной по смыслу истории подчеркнуть основную мысль произведения. Правда, здесь этот формальный прием несет определенную художественную нагрузку и воспринимается как прием художественный. Вступление в этом случае не связано с материалом изложения и развитием сюжета, оно имеет с ним только идейно-художественную связь. Стихотворное же резюме по-прежнему остается обязательным.

В «Пинхуа по истории Пяти династий» стихотворное вступление и заключение тоже присутствуют и функции их остаются прежними. Прозаическое же введение приобретает новые качества. Прежде всего оно связано с самим повествованием по материалу, служит началом сюжета повествования. Это уже неотделимая часть всего произведения, предшествующая изложению собственно материала истории.

Общая историческая экспозиция, начинающая «Пинхуа по истории Пяти династий», вслед за стихотворным эпиграфом излагает кратко историю Китая от времен, когда «разделился надвое первобытный хаос» [6, 3], до воцарения династии Тан и восстания Хуан Чао, т. е. подводит к тому историческому периоду, когда начинаются главные события повествования и появляются главные герои. В этом общем вступлении открыто звучит и основная идея повествования (в стихотворном вступлении она дана намеком) — идея предопределенности. Здесь же мы видим и сюжетную завязку, которая определяется самой идеей произведения. Динамично рассказав о бурных перипетиях китайской истории на протяжении многих веков, автор заканчивает свой экскурс воцарением на престол Тай-цзуна, когда в стране наконец-то наступило довольство и покой. «В годы Чжэнь-гуань, — рассказывает автор, — доу риса стоил три цян, ворота домов не закрывались, домашний скот пло-

дился и заполнял пастбища. Отправлявшимся в путь даже за тысячи ли не надо было брать с собою провиант. Вожди варварских племен покорились танскому двору и, вооруженные мечами, состояли в личной страже государя. И только двадцать девять человек было предано казни за год в Поднебесной. Вот, как хорошо и спокойно было в то время!» [6, 5; 12, 6085]. Но судьба династии Тан предрешена — автор тут же вводит эпизод, в котором Юань Тянь-ган по приказу императора Тай-цзуна составляет гороскоп династии и предсказывает восстание Хуан Чао. Пророчески звучат слова Юань Тянь-гана, обращенные к Тай-цзуну: «Ничто на свете не может избежать своего удела. Бывает, что небо и земля сокрушаются, бывает, что солнце и луна затмеваются. И продолжительность благоденствия государств и время появления разбойников имеют свое предопределение. Рок властвует над всем, и уклониться от его велений невозможно» [6, 5]. А далее идет обычный для рассказчика вопрос: «А знаете, что было в тех двух строках гороскопа, которые Юань Тянь-ган не хотел показать императору?».

Не зеленый, не белый, не красный, не алый,
Рек и полей восемнадцать, а людей убирать нет.

И тут же разъясняет, что эти строки — иероглифически зашифрованное имя Хуан Чао: первая расшифровывается как Хуан — желтый, во второй раздельно, по частям, изображен иероглиф Чао — гнездо [6, 5—6]. Теперь, когда тема задана и завязка есть, автор переходит к изложению событий. «Как написал Юань Тянь-ган в двух строках предсказания, так все и произошло при восемнадцатом императоре Великой (династии) Тан императоре Си-цзунэ, пятом сыне императора И-цзуна...» [6, 6].

Первая глава несколько отличается по композиции от остальных, так как первая ее часть является вводной не только к истории династии Лян, но и ко всему повествованию. Сразу же после общего вступления начинается вступление к истории династии Лян. Это большая художественная композиция, включающая и рассказ о детских и юношеских годах Хуан Чао и рассказ о семье Чжу, давшей истории Чжу Вэня, узурпатора танского престола. Мы приведем примеры вступлений к двум главам³.

«...Рассказывают, что в уезде Юаньсюй области Цаочжоу жил один богатый человек по имени Хуан Цзун-дань. Занимался он торговлей солью и любил собирать вокруг себя непутевую молодежь. И вот как раз в первый год [правления] Сянь-тун жена Хуан Цзун-даня забеременела. Четырнадцать месяцев не могла она разродиться. Наконец родилось что-то, какой-то мясистый комок — оказалось, это ребенок, покрытый фиолетовым шелком. Комната вдруг озарилась ослепительным светом. „Недоброе это что-то“, — сказал жене Хуан Цзун-дань и послал слугу унести комок и бросить его в тихом и безлюдном месте. Человек вернулся, но еще и не рассвело, а за воротами раздался плач ребенка. „Ох, недоброе это все-таки существо, — произнес Хуан Цзун-дань, — а умертвить его, так, пожалуй, накличем на себя беду“ — и приказал слугам занести его подальше — в деревню Цинцаоцунь и положить там в гнездо коршуна. А если он оттуда упадет, так где уж ему выжить! Прошло семь дней, Хуан Цзун-даню случилось проезжать через Цинцаоцунь. Вдруг он услышал: „Папа, — зовет его из гнезда ребенок, — сохрани мне жизнь. В будущем я сторицей отплачу за милость твою!“. Хуан Цзун-дань велел слуге влезть на дерево и забрать из гнезда ре-

³ Переводы даются в сокращении.

бенка. Вместе с мальчиком вернулся он домой и стал его воспитывать. Поэтому и называли его Хуан Чао — Хуан Гнездо. Рассказал опять жене Хуан Цзун-дань, как кричал ему мальчик. „Да, очень странный младенец, — сказала жена. — Если не возвеличит он имя наших предков, то род загубит непременно. Быть может, лучше, не откладывая, убить его?“. „Если Небу угодно уничтожить наш род, — ответил Хуан Цзун-дань, — то, убив это дитя, мы пойдем против начертанного Небом. Будем его растить, посмотрим, что из него выйдет“.

Незаметно мальчику исполнилось четырнадцать-пятнадцать лет. Ростом он был в семь чи; от рождения мышцы его левого плеча напоминали ползущую змею, правого — перекатывающийся мяч; на спине расположились отчетливые знаки „багуа“⁴, а на груди виднелись родинки — семь звезд. Однажды проходивший мимо ворот их дома какой-то даосский монах подарил Хуан Чао меч. „Это Небо дарует Хуан Чао“, — сказал монах и исчез. Внимательно рассмотрев меч, Хуан Чао обнаружил на нем надпись „Возмутивший царство Тан“» [6, 7—8].

В этом примере (взят только небольшой начальный отрывок) рассказчик строит изложение почти целиком на фольклорном материале, используя, по-видимому, легенды и предания, жившие в народе.

А вот другой пример — вступление, начинающее главу об истории династии Поздней Тан. «...Известно, что предки позднетанского Ли Кэ-юна происходили из западных тюрок и носили фамилию Чжусе, чжусе же — это название племени. Во времена правления Сянь-цзуна сын некоего Чжусе Цзинь-чжуна по имени Чжи-и, явившись с изъявлением покорности к китайскому двору, сказал, что прозвище его Шато, а фамилия Чжусе. Шато — название большой пустыни, а племена, проживающие южнее гор Цзиньшашань и восточнее озера Пулэйхай, называются тюрки Шато. Сын Чжи-и Чи-синь отличился в усмирении Пан Сюня. Ему была дана должность *цзедуши* в Чжэнъю и пожалованы фамилия и имя — его стали звать Ли Го-чаном. Были стихи, где говорилось:

Шато — это варваров край в огромной пустыне.

Отважных и смелых в том племени много,

Но лишь одному император пожаловал имя —

Чи-синь верно служит стране в невзгодах и бедах.

Когда туфани, заподозрив Шато в сговоре с уйгурами, вознамерились переселить их за реку, вождь Шато Цзинь-чжун посоветовался со своим сыном Чжи-и, и они решили восстать и перейти под власть танского двора.

У сына Чжи-и Чи-синя родился сын по имени Кэ-юн. А перед тем как родиться Кэ-юну, его отцу Чи-синю приснился ночью сон: попал он куда-то и увидел дворец — величественные, крепкие ворота, светлые, высокие строения — такой же, как в мире людском дворцы. Некто, сидевший в дворцовом зале, на голове имел корону и был одет в одежды вана. Чи-синь согнулся в поклоне, потом опустился на колени и поклонился до земли. Человек, восседавший в зале, произнес: „Война дракона и свиньи закончится, чоу-коу⁵ рухнет, четырнадцать лет будет восседать в золотом дворце. Десять старших братьев возьмут оружие, не встав против господина. Четыре государя, фамилий три“. Тут как раз Чи-синь проснулся, а жена его уже рождает. Родился мальчик, внешности богатырской, с голосом звонким. Вспомнив слова „десять старших

⁴ Багуа — восемь знаков, выражающих борьбу двух космических сил — темной и светлой (*инь-ян*). Употреблялись для гадания.

⁵ Знаки *чоу* и *коу* входят в иероглиф *Тан*. Здесь — намек на гибель государства Тан.

братьев возьмут оружие“, которые он слышал во сне, Чи-синь назвал ребенка Кэ-юн („десять старших братьев“ — это раздельное написание знака „кэ“, а „юн“ значит „взять“). Если истолковать этот сон, то станет совершенно ясно, что здесь излагается вся история династии Поздняя Тан...» [6, 43—45]. И дальше автор подробно толкует каждую фразу вещего сна. Здесь в отличие от первого примера равноценно представлен и исторический [7, 23] и фольклорный материал.

Эти примеры, на наш взгляд, дают некоторое представление о вступлениях, которые, сохранив свое изначальное назначение — аннотацию к собственному изложению темы, — стали исходным пунктом развития сюжета повествования: они содержат его завязку. Завязка же показывает, как правило, необычность главного героя, проявление и поступки которого есть результат предопределения свыше. А тема судьбы становится идейным и структурным стержнем в композиции повествования.

Итак, резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что «Пинхуа по истории Пяти династий» — ранний образец пинхуа, так как здесь еще весьма сильна зависимость рассказчика от исторических источников, не простой пересказ нескольких исторических сочинений, а художественное произведение с единой идейно-композиционной конструкцией. Оно имеет свою отправную точку и свое завершение, судьба героев показывается в развитии. Развитие это, правда, чисто внешнее, решенное лишь во времени, традиционными художественными приемами простонародной литературы.

В пинхуа произошли качественные изменения традиционных структурных компонентов, и это, на наш взгляд, привело к определенному стилистическому сдвигу, способствовавшему созданию нового жанра пинхуа — народного исторического романа. Эти изменения произошли прежде всего во вступлениях, ибо здесь, за рамками главных исторических событий, автор был более всего свободен от пут исторических источников и смог привнести свою идею, объединившую повествование в единое произведение и ставшую отправным пунктом развития сюжета.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бяньвэнь о Вэймоцзе. Бяньвэнь «Десять благих знамений» (Неизвестные рукописи бяньвэнь из Дуньхуанского фонда Института народов Азии), издание текста, предисловие, перевод и комментарий Л. Н. Меньшикова, М., 1963.
2. Павловская Л. К., «Пинхуа по истории Пяти династий» (Некоторые предварительные наблюдения над источниками и приемами использования их в пинхуа), — «Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока», Тезисы докладов, Л., 1966.
3. «Пятнадцать тысяч монет». Средневековые китайские рассказы, пер. И. Т. Зограф, М., 1962.
4. Софронов М. В., Об источнике и времени составления «Синь бянь у дай ши пинхуа», — «Проблемы востоковедения», 1960, № 1.
5. Мэн Юань-лао, Дун цзин мэн хуа лу (Пестрые заметки о снах в Восточной столице), Шанхай, 1956.
6. Синь бянь у дай ши пинхуа (Заново составленное пинхуа по истории Пяти династий), Шанхай, 1954.
7. Синь у дай ши (Новая история Пяти династий), — «Сыбу бэй яо», Шанхай, 1936, т. 80 (Тан бэнь цзи ди сы).
8. Сунь Кай-ди, Суцзян шохуа юй байхуа сяошо (Суцзян, шохуа и рассказы на байхуа), Пекин, 1956.
9. Сы ку шюань шу цзун му (Общий каталог всех книг четырех хранилищ), т. 17, Шанхай, 1926.
10. У Цзы-му, Мэн лян лу, — Мэн Юань-лао [5, 129—328].
11. Цзинь Дэ, Сун пинхуа сяошо (Пинхуа эпохи Сун), — сб. «Гудянь вэньсюе цзопинь цзеси», вып. 2, Шанхай, 1958.
12. Цзы чжи тун цзянь (Всеобщее зеркало, управлению помогающее), т. 1—10, Пекин, 1956.

Пан Ин

О ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ВАРИАНТЕ РОМАНА «РЕЧНЫЕ ЗАВОДИ» ШИ НАЙ-АНЯ

В этой статье рассматривается вопрос о том, какие части романа «Речные заводы» восходят к первоначальному варианту Ши Най-аня. Относительно первых семидесяти глав мнения исследователей не расходятся: все считают, что они входили в первоначальный вариант романа. Спор идет о том, входили ли в этот вариант рассказ о походе на государство Ляо, а также истории о покорении Тянь Ху, Ван Цина и Фан Ла. Ян Дин-цзянь в начале XVII в. в предисловии к изданию 120-главного романа «Речные заводы» пишет, что Го У-дин (Го Сюнь) при переиздании этого романа «устранил истории о разбойниках Ване и Тяне и добавил историю о походе на государство Ляо» [9, 2]. Таким образом, по мнению Ян Дин-цзяня, в первоначальном варианте романа содержались эпизоды покорения Тянь Ху, Ван Цина и Фан Ла, а история о походе на государство Ляо была включена Го Сюнем. Оценивая эту точку зрения, проф. Чжэн Чжэнь-до писал: «Первая половина высказывания Ян Дин-цзяня неверна, а вторая — верна» [8, 118].

Точка зрения проф. Чжэн Чжэнь-до следующая: эпизодов о походе на Ляо, походе на Тянь Ху и Ван Цина в первоначальном варианте не было. После рассказа об амнистии Сун Цзяна и его сподвижников непосредственно следовал эпизод о походе на Фан Ла. Роман кончался рассказом о том, как Сун Цзян, Лу Цзюнь-и и другие, с наградой вернувшись на родину, были погублены Гао Цю, Цай Цзином и их приспешниками [8, 113].

В подтверждение проф. Чжэн Чжэнь-до привел следующие аргументы:

1. Во время походов на Ляо, Тянь Ху и Ван Цина ни один из ста восьми героев не погиб, хотя они и испытали много невзгод. Погибают и получают ранения персонажи, введенные в эти части романа сверх ста восьми полководцев Сун Цзяна. Но в походе на Фан Ла гибнут уже ляншаньские братья. Это происходит потому, что в первоначальном варианте было заранее определено: многие герои должны погибнуть в походе на Фан Ла, или быть погубленными после возвращения с победой, или уйти со службы на покой. Те, кто дополнял роман, по какой-то причине не могли изменить эту концовку.

2. Издания романа, которые были у проф. Чжэн Чжэнь-до, сходны по сюжету до эпизода о получении амнистии и после эпизода, когда Чжан Шунь ночью прячется в храме Цзиньшаньсы. Те же главы, где описываются походы на Ляо, на Тянь Ху и на Ван Цина, во всех изданиях имеют расхождения [8, 113].

История похода на Фан Ла (гл. 110—118) есть уже в «Забытых деяниях годов Сюань-ха Великой Сун»; следовательно, этот эпизод существовал задолго до романа. С точки зрения композиции он является завершением всего романа и не может быть удален [1, 36—44]. Совершенно ясно, что эта часть — развязка «Речных заводов».

Мы согласны с проф. Чжэн Чжэнь-до в том, что главы о походах на Тянь Ху и Ван Цина (гл. 93 — первая половина гл. 110) не входили в первоначальный вариант романа.

В дополнение к аргументам Чжэн Чжэнь-до можно привести некоторые другие соображения, показывающие, что эпизоды с походами на Тянь Ху и на Ван Цина добавлены позднее:

1. По композиции эти два эпизода не похожи на прочие главы. Каждая глава романа «Речные заводы» начинается со слов «Стихи гласят» (*ши-юэ* или *цы-юэ*) или с названия мотива «цы»; далее следует четверостишие, восьмистишие, длинное стихотворение или стихотворение в жанре *цы*, после чего начинается прозаическое повествование. Однако эпизоды с походами на Тянь Ху и Ван Цина построены по иному образцу — они начинаются со слов: «В повествовании говорится» (*хуа-шо*), т. е. прямо с прозаического повествования. Это очень похоже на построение романов середины периода Мин (XV в.), которые уже достаточно далеко отошли от формы сунского народного романа *пинхуа* и новелл *хуабэнь*, предназначенных для устного исполнения.

2. В этих двух эпизодах словоупотребление отличается от других частей, например: при обращении к отцу во всех главах употребляются слова *де*, *аде* или *фуцин*, а в эпизоде с Ван Цином — *е* или *е-е*.

В рассматриваемых эпизодах встречается иероглиф *мэй* как показатель множественного числа для лиц, во всех других главах — только *мэнь*.

В этих же главах употребляются также выражения, которых нет в остальных главах, например ругательство *цзэй ванба* (разбойничий ублюдок) [4, 1583 и 1584]; «*жугу хаоши*» («стало второй природой», досл. «искусство, вошедшее в кости» — об искусном владении оружием) [4, 1512 и 1535].

3. Наиболее ясно видно происхождение глав при употреблении географических названий. Авторы использовали те названия, которые появились только при династии Мин. Например, в истории о Тянь Ху (гл. 91—100) сначала говорится о тех местностях, где обосновался Тянь Ху. Он «захватил пять округов и пятьдесят шесть уездов. Какие же округа? Один Вэйшэн, это нынешний Циньчжоу, другой Фэньян, нынешний Фэньчжоу, третий Чжаодэ, нынешний Луань, четвертый Цзиньнин, нынешний Пиньян, пятый Гэйчжоу, нынешний Цзэчжоу» [4, 1480].

Среди этих названий есть появившиеся только при династии Мин, например Чжаодэ при династии Сун назывался Лундэфу; в начале эпохи Юань — еще Лундэфу, потом был переименован в Лучжоу и только при Мин стал называться Луаньфу; таким образом, название Чжаодэ в романе употреблено по ошибке. Пиньян при Сун назывался Пиньянфу, в начале Юань — Пиньянлу, а в период Да-дэ (1135—1138) был переименован в Цзиньнинлу; при Мин снова получил название Пиньянфу. Вследствие того что авторы нетвердо знали географические названия периода Сун, они юаньское название ошибочно приписали сунскому времени. Из слов «Цзиньнин, нынешний Пиньян» становится ясно, что авторы жили после начала Мин [2, цз. 20, 1, цз. 21, 23].

4. Когда в полном варианте романа в последних главах перечисляются места боев Сун Цзяна и его товарищей, каждый раз говорится только: «На севере отогнали войска Ляо, на востоке поймали Фан Ла».

О походах на Тянь Ху и Ван Цина не сказано нигде ни слова. Сохранение этих слов в романе неопровержимо доказывает, что два рассматриваемых эпизода не могли входить в первоначальный вариант романа Ши Най-аня и являются позднейшими интерполяциями.

5. В истории Ван Цина (гл. 101 — первая половина гл. 110) есть много мест, в которых сходные события (сражения, аудиенции) выглядят как повторение одного и того же. Так, эпизод, в котором император посылает Сун Цзяна в поход, и эпизод, в котором на аудиенции у государя вручаются награды победителям, почти дословно совпадают. Имеется несколько отрывков, явно заимствованных в измененном виде из других глав:

а) Чжан Цин тайно проникает как лазутчик в расположение Тянь Ху (в гл. 96). Он получает приказ Сун Цзяна притвориться перебежчиком и жениться на принцессе Цюнь-ин, приемной дочери дяди самозванного императора Тянь Ху. Впоследствии, когда войско Сун Цзяна подступает к стенам города, лазутчик Чжан Цин и его жена Цюнь-ин способствуют поражению Тянь Ху и его пленению [4, 1516—1562]. Это очень похоже на эпизод, когда Чай Цзинь во время похода Сун Цзяна на Фан Ла получает приказ от Сун Цзяна сдать Фан Ла и стать его зятем [4, 1742—1785]. Разница только в том, что Цюнь-ин — приемная дочь Тянь Ху — искусна в военном деле, а у Фан Ла — родная дочь, воспитанная в женских покоях, которая кончает с собой, когда город пал;

б) эпизод, в котором Ван Цин отправляют в Шаньчжоускую тюрьму, а его тесть принуждает его дать развод жене [4, 1578], заимствован в основных чертах из гл. 8, где Линь Чун после ссылки дает развод жене [4, 125—126];

в) Ван Цин по дороге в ссылку фехтует на палках с Пан Юанем [4, 1579—1580]. Это заимствовано из другого эпизода: когда Линь Чуна ссылают в лагерь, он по дороге фехтует на палках с учителем Хуном в доме Чай Цзиня [4, 140—141]. Различие между этими двумя эпизодами в том, что Ван Цин при фехтовании показывает свое необыкновенное искусство — одерживать победу, не снимая канги (колодки) с шен, а Линь Чун, который также в канге, признает себя побежденным. Все остальное очень близко;

г) после того как Пан Юань получил от Вана Цина удар палкой, муж сестры Пан Юаня, начальник тюрьмы Чжан Ши-кай, ищет способ, как отомстить за поражение шурина, и замышляет убить Ван Цина. Но Ван Цин разгадывает его замысел и сам убивает Пан Юаня и Чжан Ши-кай [4, 1587]. Эта сцена написана в подражание эпизоду, в котором У Сун убивает Цзяна — духа ворот и обрызгивает кровью террасу Юаньян [4, 475—478], только сцена Ван Цина написана гораздо менее выразительно;

д) эпизод, где Ван Цин после убийства начальника тюрьмы Чжана скрывается в поместье своего двоюродного брата Фань Цюаня (в гл. 103), очень похож на то, как Линь Чун после поджога сенного двора скрывается в поместье Чай Цзиня (в гл. 111). Разница только в развязке: Линь Чун вынужден бежать от разыскивающих его чиновников в Ляншаньские заросли [4, 163], а Ван Цин, пользуясь тем, что «в нашем управлении тигр становится змеей» (т. е. гора рождает мышь), выводит на лице клеймо (кстати, описание процесса выведения клейма в свою очередь взято из гл. 72, где рассказывается, как врач Ань Дао-цюань выводил клеймо на лице у Сун Цзяна) и свободно разгуливает по городу [4, 1213 и 1590];

е) описание того, как Ван Цин бежит в заросли горы Фаншань (гл. 104), тоже заимствовано из рассказа о том, как Чао Гай, У Юн и

Линь Чун, расправившись с Ван Лунем, заставляют принять себя в Ляншаньское братство. Правда, эпизод с Ван Цином написан не только более кратко, но и менее искусно [4, 1600—1601].

Из всего вышеизложенного видно, что интерполятор стремился сохранить дух романа «Речные заводы» и его приемы, но, несмотря на это, рассказы о походах на Тянь Ху и Ван Циана, по словам проф. Чжэн Чжэнь-до, выглядят на общем фоне, как «капли масла на воде» [8, 118].

Что касается похода на государство Ляо (гл. 83—89), то в оценке этого эпизода мы не согласны с проф. Чжэн Чжэнь-до. Как он считает, этот эпизод вставлен Го Сюнем в годы Цзя-цзин (1522—1566) при династии Мин [8, 114]. Приводятся два доказательства:

1. Каждое из существующих изданий по-разному описывает поход на государство Ляо, точно так же как и походы на Тянь Ху, Ван Циана.

2. В цепи внешнеполитических событий, совершившихся в период 3—34 гг. правления Цзя-цзин (1524—1555), можно объяснить причины введения эпизода о походе на государство Ляо [8, 119—120].

По нашему мнению, эти два аргумента не могут надежно доказать точку зрения проф. Чжэн Чжэнь-до. Во всех изданиях полного варианта «Речных заводов» в эпизоде похода на государство Ляо разночтения ограничиваются несколькими фразами. Сходные разночтения имеются и во всех других главах романа. Этого недостаточно для объявления похода на государство Ляо позднейшим добавлением.

Рассмотрим второе доказательство. Если и возможно объяснить появление в романе похода на государство Ляо настроениями нации в годы Цзя-цзин, то еще больше оснований объяснить этот эпизод всей трагической историей непрекращающихся вторжений иноземных племен в Китай от конца Северной Сун до падения Южной Сун. В годы жизни Ши Най-аня, когда шла борьба, приведшая к уничтожению власти монголов в Китае, эпизод с походом на государство Ляо был также весьма актуален.

После того как Чжао Куан-инь основал в 960 г. династию Сун, все время проводилась политика, формулировавшаяся так: «сначала умиротворить страну, а потом усмирять иноземцев». Результатом этой политики явились падение династии Сун под напором иноземцев: Ляо (киданей), Си Ся (тангутов), Цзинь (чжурчжэней), Юань (монголов) — и разорение страны. В особенности во время Южной Сун, когда север Китая целиком попал под власть чжурчжэньского государства Цзинь, а правительственные войска были не в силах сопротивляться вторжениям иноземцев, когда народ организовал в бассейне р. Хуайхэ сопротивление вооруженным силам государства Цзинь, а южносунское правительство сокрушило это сопротивление, эти действия вызвали небывалый гнев народа. Примирение с восставшими, вовлечение их в борьбу против иноземных завоевателей и использование этих победоносных войск для того, чтобы «сначала усмирить иноземцев, потом умиротворить страну», — такая политика соответствовала чаяниям разумных представителей верхушки общества и ученого сословия. Поэтому предположение Лу Синя о том, что история похода на государство Ляо есть отражение условий периода Южной Сун, нам кажется более правдоподобным [3, 117].

Когда Ши Най-ань писал «Речные заводы», китайское общество также находилось в состоянии сильного брожения — в то время Чжу Юань-чжан основал династию Мин. Автор романа хотел использовать уроки горького исторического опыта — падение Сун — как пример для периода конца Юань и начала Мин. Он на историческом примере по-

хода на государство Ляо, а потом похода на Фан Ла хотел показать правильность политики: «сначала усмирить иноземцев, потом умиротворить страну».

Существуют и другие конкретные доказательства того, что эпизод с походом на государство Ляо принадлежит Ши Най-аню.

1. В сборнике «Уникальные цзацзюй периодов Юань и Мин» помещена пьеса «Сун Гун-мин строит лабиринт в девяти дворцах». В ней рассказывается, как Сун Цзян и его товарищи после капитуляции перед правительственными войсками подают доклад трону о походе на государство Ляо [5, 1—18]. По композиции и форме эта пьеса напоминает пьесы жанра *цза-цзюй* периода Юань или начала Мин. Некоторые исследователи относят эту пьесу к юаньскому периоду [7, 13] или к рубежу Юань и Мин [6, 11]. Но мы полагаем, что по характеристике персонажей и по числу действующих лиц, а также по ведущей идее пьесы (призывы к защите «подлинного государя», к «защите династии») [5, 6а] она похожа на *цзацзюй* периода Юань и также не могла быть написана много позже, чем «Баоцзы хэшан возвращается в мир» Чжу Ю-дуня (1379—1439). Пьеса в основном по сюжету сходна с соответствующими главами романа Ши Най-аня, расхождения есть только в деталях. Например, в романе «Речные заводы» рассказывается, как Сун Цзян попал в осаду и не мог победить войска государства Ляо. Ночью во сне к нему является фея Сюань-нуй и указывает способ, как разбить позиции Ляо. В пьесе же рассказывается, как Сун Цзян от наставника Гунсунь Шэна, праведника Ло, получил план «Лабиринта в девяти дворцах» для разгрома войск Ляо и устроил лабиринт с помощью Гунсунь Шэна, Чжу У и других.

В диалогах пьесы можно найти доказательства того, что она написана после «Речных заводов».

Гунсунь Шэн говорит: «Моя фамилия Гунсунь, имя Шэн, даоское монашеское имя И-цин, мои предки родом из Цзичжоу. После того как ушел в горы Ляншаньбо и побратался с Сун Гун-мином, я покинул свой дом, чтобы разбить Гао Юня» [5, 5]. В этих словах — намек на эпизод, когда Дай Цзун и Ли Куи отправляются в Цзичжоу, чтобы просить Гунсунь Шэна помочь Сун Цзяну разбить Гао Ляня из области Гаотан [4, 875—889].

Ли Куи говорит: «Завтра я разгромлю этого бездельника. Но нет, погоди. Наш наставник знает один прием — когда-то меня так заморочил» [5, 6а]. Здесь подразумевается эпизод, носящий название «Ли Куи топором рубит праведника Ло» [4, 884—887].

Эти два отрывка показывают, что пьеса появилась после романа — иначе откуда зрители могли бы понять намеки Гунсунь Шэна и Ли Куя.

2. Многие диалоги и стихи в романе «Речные заводы» тоже могут служить доказательством, что походы на государство Ляо и на Фан Ла входили в первоначальный вариант романа.

В гл. 42 романа рассказывается, как Сун Цзян увидел во сне фею Девятого неба Сюаньнуй, которая предсказала:

Встретите Су — будет радость да радость,
Столкнетесь с Гао — это не беда.
На севере Ю, на юге достигнете Му,
В обоих местах добьетесь великих заслуг [4, 679].

Это предсказание указывает на важные для романа события — речь идет о сановнике Су Юань-цзине, который несколько раз просил

у императора помилования для героев Ляншаньбо. При его помощи они получили помилование, добились славы и высоких титулов.

«Столкнетесь с Гао — это не беда» — в романе «Речные заводы» Гао Цю является отрицательным персонажем, смертельным врагом ляншаньских героев. Несколько раз он ведет войска на Ляншань, но всегда терпит поражение.

В двух последних строках — намек на походы на государство Ляо и на Фан Ла. «На севере Ю» — указывает на область Ючжоу, которой в то время владели кидане, основавшие династию Ляо. Едва только в романе войско Сун Цзяна достигает Ючжоу, как кидане капитулируют.

«Му» — это Мучжоу, область, где был основной район восстания Фан Ла. Многие исследователи признают, что история похода на Фан Ла есть эпизод первоначального варианта «Речных заводов». То обстоятельство, что поход на Фан Ла и поход на государство Ляо упоминаются вместе в цитированном предсказании, совершенно ясно показывает, что автор, едва приступив к написанию романа, уже включил в общий его план эти два важных эпизода.

В гл. 117 сказано: «Сун Цзян доложил, роняя слезы: „Когда в прошлом году я вслед за Чжао-шусяном пошел в поход на север, на великое государство Ляо, и войска наши добились полной победы, я не потерял из моих полководцев ни одного человека. Но с тех пор как я получил приказ пойти в поход на Фан Ла, первый покинул меня Гунсунь Шэн, а потом и Ваше величество оставили при себе несколько человек...“» [4, 1752].

То же говорится и в гл. 119: «Сун Цзян дважды поклонился и сказал, проливая слезы: „Вначале, когда я во главе ста восьми человек разбил великое государство Ляо, ни один из них не был даже ранен. Думал ли я, что первым покинет меня Гунсунь Шэн. Вы при себе оставили несколько человек. Мог ли я знать, что после нашего возвращения в Янчжоу и перехода через Дацзян из десяти от меня уйдут семь...“» [4, 1787].

И далее в той же гл. 119: «Когда Янь Цин сказал Лу Цзюнь-и о своем намерении скрыться, чтобы потерялись его следы и было забыто его имя, Лу Цзюнь-и ответил: „С тех пор как герои Ляншаньбо изъявили свою покорность сунской династии, разбили на севере войска Ляо и пошли на юг на Фан Ла, им пришлось выполнять нелегкий труд, узнать горечь пограничной службы. Наши братья погибли. Это счастье, что ты и я — оба из одной семьи — еще живы. Теперь я хочу вернуться домой, одетый в парчу, мечтаю дать титул жене и передать его сыновьям. Почему же ты ищешь такого бесславного завершения?“» [4, 1792].

В гл. 120 описывается, как Цай Цзин, Гао Цю, Тун Гуань и другие решают погубить Сун Цзяна, Лу Цзюнь-и и их друзей. Они подают императору ложный донос о том, что люди Сун Цзяна замышляют мятеж. Тогда «государь произнес: „Мы думаем, что Сун Цзян и Лу Цзюнь-и, разбив великое государство Ляо и поймав Фан Ла, хотя и держат в своих руках власть над сотысячным войском, но дурных замыслов не таят. Они ныне удалились от зла и вступили на стезю добра, могут ли они замышлять мятеж?“» [4, 1808].

Все имеющиеся издания романа в гл. 120 или 100 рассказывают об этих двух эпизодах как о событиях, завершающих роман (исключение составляет последняя, 70-я глава в редакции Цзинь Шэн-таня). В начале последней главы этих изданий помещено стихотворение «Цы» (на мотив «Дворик полон аромата»). В нем описаны все основные

деяния Сун Цзяна и его товарищей, начиная от восстания за справедливость до их гибели. Все, о чем говорится в этом стихотворении, также полностью соответствует предсказанию феи Сюань-ной.

Все приведенные материалы не только полностью подтверждают, что описание похода на государство Ляо и похода на Фан Ла входило в первоначальный замысел Ши Най-аня, но и свидетельствуют о том, что эпизоды с походами на Тянь Ху и Ван Цина не входили в первоначальный вариант романа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Забытые деяния годов Сюань-хэ Великой Сун (Дасун сюань-хэ и ши), Шанхай, 1954.
2. Ли Сянь, Географическое описание всей Поднебесной (Тянься итун чжи), издание лавки «Баосючжэ», 1461.
3. Лу Синь, Краткая история сяошо (Чжунго сяошо шиляо), — Полное собрание сочинений Лу Синя (Лусинь цзюань цзи), т. 8, Пекин, 1958.
4. Полный текст романа «Речные заводы» (Шуйху цзюань чжуань), под ред. Чжэн Чжэнь-до, Пекин, 1954.
5. Уникальные цзайцзюй периодов Юань и Мин (Губэнь юаньмин цзациюй), под ред. Чжао Цин-чжан, т. 3, Пекин, 1954.
6. Фу Си-хуа, Сборник пьес «Речные заводы» (Шуйху сицзюй цзи), т. 1, Шанхай, 1957.
7. Хэ Синь, Исследование по роману «Речные заводы» (Шуйху яньцзю), Шанхай, 1955.
8. Чжэн Чжэнь-до, Исследования по китайской литературе (Чжунго вэнсюэ яньцзю), т. 1, Пекин, 1957.
9. Ян Дин-цзянь, Предисловие к изданию двадцатиглавному роману «Речные заводы» (Ибай эрши хуэй дэ шуйху), Шанхай, 1958.

В. В. Петров

К ИСТОРИИ ОБЩЕСТВА «УТРЕННИЕ ЦВЕТЫ»

В конце 1928 г. Лу Синь, Жоу Ши, Ван Фан-жэнь и Цуй Чжэнь-у создали в Шанхае общество «Утренние цветы» (*Чаохуашэ*). Лу Синя и его молодых друзей объединила прежде всего общность литературных взглядов. Несколько лет спустя Лу Синь писал в воспоминаниях о Жоу Ши: «Мы провели вместе много дней, сдружились в ходе наших бесед и, договорившись с несколькими молодыми людьми, разделявшими наши взгляды, основали общество „Утренние цветы“. Целью его было ознакомление читателей с литературой Восточной и Северной Европы и с зарубежной графикой, поскольку все это мы считали необходимым для того, чтобы хоть как-то поддержать здоровую, простую литературу и здоровое, простое искусство» [11, т. 4, 369].

Созданию общества «Утренние цветы» благоприятствовали и хорошие личные отношения, сложившиеся между Лу Синем и его молодыми друзьями. Все организаторы общества жили тогда в Чапэе, в квартале Цзинъюньли. Ван Фан-жэнь, Цуй Чжэнь-у и Жоу Ши снимали квартиру рядом с квартирой Лу Синя. Они «встречались за завтраком и ужином,— вспоминает вдова Лу Синя Сюй Гуан-пин,— вели разговоры о том, какие книги будут переводить, и о том, как сами станут печатать свои переводы...» [13, 153]. Ближе всех Лу Синю был Жоу Ши (1902—1931) — единственный человек, к которому Лу Синь, по его словам, относился в то время с полным доверием: он «не только осмеливался запросто болтать и шутить» с Жоу Ши, но и «решался поручать ему некоторые личные дела» [11, т. 4, 369]. Впоследствии Лу Синь писал о Жоу Ши: «Он был моим учеником и другом» [11, т. 6, 406]. Критик Фэн Сюэ-фэн в своих воспоминаниях отмечает особую близость, установившуюся в отношениях между Лу Синем и Жоу Ши: «В представлении Жоу Ши Лу Синь был просто его любимым наставником или даже любимым отцом, но никак не великим человеком. Да и Лу Синь тоже относился к нему, как любящий отец» [16, 7]¹.

Из рассказа Лу Синя о его знакомстве с Жоу Ши трудно установить, к какому именно времени относятся их первые встречи: «Не знаю, где и когда я впервые познакомился с Жоу Ши. Он, кажется, говорил, что слушал мои лекции в Пекине. Значит, было это лет восемь-девять тому назад. Я забыл также, при каких обстоятельствах мы стали встречаться в Шанхае...» [11, т. 4, 369]. Действительно, еще в 1925 г., будучи вольнослушателем Пекинского университета, Жоу Ши, как свидетельствует его близкий друг Вэй Цзинь-чжи, «часто ходил на лекции Лу Синя» [19, 172]. И все же знакомство Лу Синя и Жоу

¹ Именно Жоу Ши в декабре 1928 г. впервые привел Фэн Сюэ-фэна к Лу Синю.

Ши состоялось, вероятно, лишь осенью 1928 г. в Шанхае², куда незадолго до этого приехал Жоу Ши, решивший целиком посвятить себя литературной деятельности³. Осуществлению планов Жоу Ши помог Лу Синь. С октября 1928 г. он привлёк Жоу Ши к участию в журнале «Бэньлю» («Поток»), где Жоу Ши сотрудничал до декабря 1929 г., т. е. до тех пор, пока журнал не был закрыт. Жоу Ши опубликовал в «Бэньлю» два рассказа («История про Жэнь-гуя и его жену», «Про то, как никто не выслушал ее»), две одноактные пьесы («Среди пиратов», «Жена революционера»), переводы двух рассказов датского писателя Иоганнеса В. Йенсена (1873—1950), стихотворения другого датского писателя, Йеппе Окьера (1866—1930), и рассказа австрийского писателя Германа Бара (1863—1934) «Его красивая жена». В декабре 1928 г. Лу Синь рекомендовал Жоу Ши издателью Ли Сяо-фэну как своего преемника на посту редактора журнала «Юйсы» («Нити слов»). Жоу Ши редактировал этот журнал до сентября 1929 г., а в период с марта по июль 1929 г. печатался в нём. В «Юйсы» было помещено пять рассказов югославских и датских писателей, переведённых Жоу Ши⁴, кроме того, Жоу Ши напечатал в «Юйсы» свой рассказ «Надежда».

Лу Синю нравились реалистические произведения Жоу Ши. 20 августа 1929 г. он написал краткое предисловие к повести Жоу Ши «Февраль», которую в ноябре 1929 г. выпустило в свет шанхайское издательство «Чуньчао шуцзюй» («Вешние воды»). В этом предисловии, опубликованном первоначально в десятом номере журнала «Чаохуа сюнькань» (1 сентября 1929 г.), дана характеристика главного героя повести — молодого интеллигента Сяо Цзянь-цю, которому свойственны и «пылкие чувства» и жажда деятельности, но недостает решительности. По словам Лу Синя, Сяо Цзянь-цю «ни за что не может стать маленькой шестерёнкой, вращающейся вслед за большой шестерней», хотя это явно мешает ему устроить свою жизнь; но «к счастью, он еще достаточно тверд и не превращается в смазку для шестеренок» [11, т. 4, 118]. «В рукописи повести, написанной автором с таким совершенным мастерством, я увидел, что и этот тип, встречающийся среди современной молодежи, и персонажи, его окружающие, выглядят как живые...» — подчеркивает Лу Синь в заключительном абзаце предисловия [11, т. 4, 119]⁵. Писатель Линь Дань-цю вспоминает со слов Жоу Ши, что Лу Синь «придавал большое значение» повести «Февраль», подверг ее «подробному устному разбору, очень конкретно указал и на достоинства и на недостатки». Далее Линь Дань-цю пишет: «Жоу Ши с радостью принял эту откровенную и конкретную критику. Он сказал, что только такая критика помогает автору» [19, 181]⁶. Не без участия

² В «Дневниках Лу Синя» имя Жоу Ши впервые упоминается в записи, сделанной 27 сентября 1928 г. [см. 9, т. 1, 688]. Начиная с ноября 1928 г. имя Жоу Ши в «Дневниках Лу Синя» встречается очень часто [9, т. 1, 691 и далее].

³ Вероятно, Жоу Ши приехал в Шанхай летом 1928 г., так как в мае он, как свидетельствует Вэй Цзинь-чжи, еще был в Нинхае, а в августе — уже в Шанхае, что подтверждает, в частности, и пометка о завершении чистового варианта романа «Смерть старой эпохи».

⁴ Три перевода Жоу Ши, опубликованные в «Юйсы» в марте — апреле 1929 г., подписаны псевдонимом Ай Тао.

⁵ Неполный русский перевод предисловия Лу Синя к повести «Февраль» выполнен Л. Д. Позднеевой [1, 19—20]; толкования этого предисловия в современной китайской печати не свободны от вульгаризаторства и от безосновательных конъюнктурных «выводов»; это заметно даже у такого автора, как Дин Цзин-тан, работам которого несвойственно произвольное обращение с фактами (см. «Жэньминь жибао», 17.IX.1964).

⁶ «Воспоминания о Жоу Ши» (И Жоу Ши) Линь Дань-цю впервые были опубликованы 6 февраля 1947 г. в журнале «Вэньцуй», т. 2, № 18.

Лу Синя был подготовлен к изданию и роман Жоу Ши «Смерть старой эпохи», выпущенный издательством «Бэйсинь шуцзюй» («Северные новости») в октябре 1929 г. Недаром Шэнь Пэн-нянь заносит роман Жоу Ши в список книг, рукописи которых редактировал или просматривал Лу Синь [23, 94]; об этом упоминает и Линь Дань-цю в «Воспоминаниях о Жоу Ши» [19, 180].

С Ван Фан-жэнем и Цуй Чжэнь-у Лу Синь познакомился в Амое, куда те приехали в сентябре 1926 г.: Ван и Цуй собирались учиться в Амойском университете⁷. Ван Фан-жэнь поступил на факультет отечественной словесности, Цуй Чжэнь-у — на факультет иностранных языков. Ван Фан-жэню было тогда двадцать два года, он был родом из Чжэньхая (пров. Чжэцзян) и до переезда в Амой в течение года учился в Шанхае в Наньцзянском университете. Цуй Чжэнь-у было двадцать пять лет, он был уроженцем Иньсяня (пров. Чжэцзян) и до переезда в Амой учился в Шанхае в Хуцзянском университете [21, 28—29 и 11, т. 10, 327]. С осени 1926 г. Ван Фан-жэнь и Цуй Чжэнь-у стали слушать лекции Лу Синя в Амойском университете, бывали у писателя дома. Когда Лу Синь уезжал из Амоя в Кантон, они проводили его на пристани [9, т. 1, 612], потом переписывались с ним⁸.

Осенью 1927 г. Ван Фан-жэнь приехал в Шанхай и возобновил знакомство с Лу Синем⁹. В конце февраля 1928 г. Лу Синя трижды посетил Цуй Чжэнь-у, также перебравшийся к тому времени в Шанхай¹⁰. В 1928—1929 гг. Ван Фан-жэнь и Цуй Чжэнь-у часто бывали у Лу Синя, который оказывал им обоим и творческую и материальную поддержку¹¹. Особенно частым гостем в шанхайской квартире Лу Синя был в ту пору Цуй Чжэнь-у. Нередко случалось, что вместе с Ван Фан-жэнем, Цуй Чжэнь-у и Жоу Ши Лу Синь посещал художественные выставки¹², ходил в кино, в книжные магазины. Он привлек Ван Фан-жэня и Цуй Чжэнь-у к сотрудничеству в журналах «Юйсы» и «Бэньлю», в которых они помещали главным образом переводы. Ван Фан-жэнь под псевдонимом Мэй Чуань печатался в «Юйсы» с марта 1928 г., в «Бэньлю» — с июля 1928 г. Цуй Чжэнь-у (иногда под псевдонимами Цай Ши или Янь Е) печатался в «Юйсы» с октября 1928 г., а в «Бэньлю» поместил лишь один перевод статьи Джона Нэша «История гравюры на дереве» [т. 2, №2, 20 июня 1929 г.]. Лу Синь помогал в составлении и редактировал первую книгу стихов Цуй Чжэнь-у «Вода из реки забвения», изданную в январе 1929 г. издательством «Бэйсинь шуцзюй»¹³. По рекомендации Лу Синя журнал «Сяошо юэбао» («Ежемесячник прозы») напечатал в январе 1929 г. в переводе Ван

⁷ Первая запись в «Дневниках Лу Синя», в которой упоминаются имена Ван Фан-жэня и Цуй Чжэнь-у, сделана 28 ноября 1926 г. [9, т. 1, 599].

⁸ См. записи, сделанные в «Дневниках Лу Синя» в период с 29 января до 19 сентября 1927 г. [9, т. 1, 614—616, 618, 620—622, 637].

⁹ В дневниковых записях от 16, 20 и 31 октября 1927 г. Лу Синь упоминает о визитах к нему Ван Фан-жэня [см. 9, т. 1, 640—642].

¹⁰ О первых шанхайских визитах Цуй Чжэнь-у к Лу Синю говорится в дневниковых записях от 22, 25 и 28 февраля 1928 г. [9, т. 1, 665, 666].

¹¹ См. записи в «Дневниках Лу Синя» от 11 июня, 7 и 12 сентября 1928 г., от 10 января, 11 июня, 29 июля 1929 г. [9, т. 1, 677 и 686; т. 2, 710, 726, 732].

¹² В «Дневниках Лу Синя» отмечено, например, что 13 марта 1928 г. Лу Синь, Ван Фан-жэнь и Сюй Гуан-пин посетили выставку художника Сыгу Цяо [9, т. 1, 668]; 22 марта 1928 г. Лу Синь, Ван Фан-жэнь, Цуй Чжэнь-у и Сюй Гуан-пин посетили выставку картин художника С. Секира [9, т. 1, 669]; 31 марта 1929 г. Лу Синь, Жоу Ши, Цуй Чжэнь-у, Чжоу Цзянь-жэнь и Сюй Гуан-пин осмотрели выставку японской гравюры на дереве школы «Укиё-э», устроенную в Шанхае поэтом и художником Канэко Мицухару [9, т. 2, 717].

¹³ Публикуя свой первый поэтический сборник, Цуй Чжэнь-у выступал под псевдонимом Цай Ши.

Фан-жэня (псевдоним — Мэй Чуань) «Красный смех» Леонида Андреева. Позже, в октябре 1930 г., этот перевод вышел отдельным изданием в книжной серии Общества изучения литературы (издательство «Шаньгу иньшугуань») с приложением статьи Лу Синя, в которой от Ван Фан-жэня отводились необоснованные обвинения в плагиате [11, т. 7, 113—117]¹⁴.

Финансовая база общества «Утренние цветы» с момента его создания была непрочной. Средства, необходимые для издания книг и журналов, поступили от четырех учредителей в равных долях. Но фактически основную тяжесть издательских расходов принял на себя Лу Синь. Он внес свой пай, по собственной инициативе добавил к нему пятый взнос — от имени Сюй Гуан-пин, а также дал в долг Жоу Ши, чтобы тот мог внести требуемую сумму. Таким образом, как пишет Сюй Гуан-пин, «в общей сложности три пятых всех средств были внесены Лу Синем» [13, 153]. В дальнейшем он также оказывал существенную материальную поддержку обществу «Утренние цветы» [9, т. 2, 710 и далее].

При обсуждении издательских дел Ван Фан-жэнь предложил сотрудничать с лавкой Хэцзи, торговавшей канцелярскими товарами. Владелец этой лавки на улице Сымалу был брат Ван Фан-жэня. В пользу такого сотрудничества Ван Фан-жэнем было приведено два довода: во-первых, закупка бумаги в лавке Хэцзи обошлась бы дешевле, чем в других местах, во-вторых, лавка Хэцзи могла бы взять на себя функции посредника в продаже книг и других изданий общества. Доводы Ван Фан-жэня показались Лу Синю и его друзьям убедительными, и лавке Хэцзи было передано право торговать изданиями общества «Утренние цветы»¹⁵.

Лу Синь писал в письме к Ли Цзи-е от 8 июля 1929 г.: «Лавка Хэцзи ведет оптовую торговлю канцелярскими принадлежностями. Сейчас общество „Утренние цветы“ поручило ей продажу своих книг. Говорят, что она рассылает их по канцелярским магазинам в разных местах и что получение денег гарантировано» [11, т. 9, 337]¹⁶.

Деятельность общества «Утренние цветы» выражалась в издании журналов, книг и художественных альбомов. Лу Синь и Жоу Ши выполняли всю редакторскую работу. Особенно активен был Жоу Ши. «Помимо закупки бумаги ему приходилось поставлять большую часть рукописей и выполнять самые разнообразные обязанности: бегать по типографиям, готовить иллюстрации, держать корректуры» [11, т. 4, 370]. К этому нужно добавить и сложность взаимоотношений с лавкой Хэцзи. «Почти все обязанности оказались взваленными на одного Жоу Ши, — вспоминает Сюй Гуан-пин, — он готов был стараться изо всех сил, но, увы, отношения с лавкой старшего брата Ван Фан-жэня, куда Жоу Ши ходил для переговоров, никак не удавалось наладить, и в итоге возникало множество затруднений. За поступающие в продажу книги, как говорили тогда, не выручили ни гроша, несколько раз приходилось пополнять основной капитал. Жоу Ши вынужден был и по типографиям бегать

¹⁴ Лу Синь написал эту статью в конце апреля 1929 г. в ответ на статью Хэ Си в приложении к газете «Хуабэй жибао» от 18 апреля 1929 г.; первоначально статья Лу Синя была напечатана в журнале «Юйсы» [т. 5, № 8, 29 апреля 1929 г.].

¹⁵ Подробнее об этом см.: [13, 153—154; 14, 69—70].

¹⁶ В русский перевод этого письма вкралась неточность: название лавки воспринято переводчиком как имя ее владельца [2, т. 4, 105]; в письме к Ли Цзи-е от 20 августа 1929 г. Лу Синь дает такое разъяснение: «Хэцзи — это лавка канцелярских принадлежностей, по всей вероятности, она поручает продажу книг тем канцелярским лавкам, с которыми поддерживает деловые отношения...» [12, т. 1, 79].

и при такой занятости еще переводить книги, чтобы заработать хоть какие-нибудь деньги и сделать свой взнос» [14, 70]¹⁷.

Важное место в деятельности общества «Утренние цветы» занимало издание журнала. 6 декабря 1928 г. вышел первый номер еженедельника «Чаохуа чжоукань» («Утренние цветы»). Он издавался до 16 мая 1929 г. В общей сложности в двадцати номерах журнала было помещено 6 статей, 2 пьесы, 23 стихотворения, 20 рассказов и 15 эссе [см. 19, 58]. С 1 июня 1929 г. общество «Утренние цветы» выпускало еженедельный журнал «Чаохуа сюнкань». Всего вышло двенадцать номеров. Объем каждого номера не превышал 28 страниц [19, 58]. Редактирование обоих журналов осуществляли Лу Синь и Жоу Ши. Основное место в «Чаохуа чжоукань» и «Чаохуа сюнкань» занимали переводы небольших произведений — рассказов, стихотворений, эссе, критических заметок. В журналах сотрудничали главным образом сами члены общества «Утренние цветы». Из немногих авторов, не состоявших в обществе, но печатавшихся в его журналах, назовем Фэн Сюэ-фэна, Вэй Цзинь-чжи, Цю Чжу-чана. Лу Синь опубликовал в журналах общества «Утренние цветы» несколько переводов. Это статья японского критика и журналиста Тиба Камэо (1878—1935) «Обзор мировой литературы за 1928 год»¹⁸, статья другого японского критика, Яманиси Мицунобу, «Лики экспрессионизма», эссе из книги французского писателя Жана Кокто (1889—1963) «Петух и арлекин», рассказ испанского писателя Пио Бароха-и-Неси (1872—1956) «Ночью к роженице» и его же очерк «Эпоха булочной».

Самым активным автором в журналах «Чаохуа чжоукань» и «Чаохуа сюнкань» был Жоу Ши — он печатался почти в каждом номере. Кроме нескольких переводов, среди которых отметим рассказы датских писателей Гольгера Драхмана (1846—1908), Германа Банга (1857—1912) и Густава Вида (1858—1914), Жоу Ши опубликовал семь своих рассказов («Дохлая кошка», «Зловещий взгляд ночи», «После пирушки», «Разлука», «Завещание», «Весенний полдень», «Раздавленные горем»), четыре стихотворения¹⁹, семь эссе из цикла «Пестрые заметки о мире людей» («Жэньцзянь цзацзи»).

Цуй Чжэнь-у и Ван Фан-жэнь выступали в журналах общества «Утренние цветы» как переводчики. В числе писателей, произведения которых переводил Цуй Чжэнь-у²⁰, были Анатолий Франс («Три поэта»), французский поэт Антуан Арно (1766—1834)²¹, Роберт Бёрнс, братья Чапеки²², еврейские писатели Давид Пинский (1872—1959) и Шолом Аш (1880—1957). Ван Фан-жэнь, печатавшийся под псевдонимом Мэй Чуань, переводил английских поэтов Алджернона Чарлза Суинберна, Томаса Гуда²³, Альфреда Теннисона, норвежца Кнута Гамсуна, венгра Шандора Петефи.

Силами участников общества «Утренние цветы» были выпущены два сборника переводов, представлявших творчество современных зару-

¹⁷ Об особой роли Жоу Ши в издательских делах общества «Утренние цветы» Сюй Гуан-пин пишет и в своих «Воспоминаниях о Лу Синь» [см. 13, 153—154].

¹⁸ Перевод статьи Тиба Камэо печатался в «Чаохуа чжоукань» в семи номерах (2—8).

¹⁹ Два из них Жоу Ши подписал псевдонимом Цзинь Цяо.

²⁰ Некоторые переводы Цуй Чжэнь-у помещал под псевдонимами Цай Ши и Янь Е.

²¹ Цуй Чжэнь-у перевел знаменитое стихотворение Арно «Листок» («La feuille») (1815).

²² Карел Чапек (1890—1938) и Йозеф Чапек (1887—1945).

²³ Ван Фан-жэнь перевел его популярную «Песню о рубашке» («The song of the shirt») (1843).

бежных писателей-новеллистов. Первый из этих сборников, вышедший в апреле 1929 г., назывался «Волшебный меч и прочее» («Цицзянь цзи цита»), второй, увидевший свет в сентябре 1929 г., — «В пустыне» («Цзай шамо шан»). Общее название обоих выпусков — «Сборник рассказов современного мира» («Цзиньдай шицзе дуаньпяньсяо цзи»). Готовился к изданию и третий выпуск, но работа над ним не была доведена до конца. Краткое предисловие к первому сборнику, перепечатанное без изменений и во втором, написал Лу Синь, изложивший свой взгляд на роль новеллы в современной прозе [11, т. 4, 104—105]. В каждый из сборников вошло по двенадцати рассказов. Лу Синь перевел восемь рассказов, Жоу Ши — пять, Цуй Чжэнь-у — девять, Ван Фан-жэнь — два. В сборник «Волшебный меч и прочее» вошли рассказы Горького («Рождение человека», «Однажды ночью») в переводе Ван Фан-жэня; Гаршина («Очень коротенький роман»), Михаила Зощенко («Виктория Казимировна», «Аристократка»), французского писателя Шарля Луи Филиппа («Рассказ о людоедах») в переводах Лу Синя; бельгийца Камилла Лемонье, классика чешской литературы Яна Неруды («Вампир»), братьев Чапеков («Живое пламя»), Анри Барбюса («Брат»), венгерского писателя Ференца Мольнара (1878—1952; «Волшебный меч») и Шолома Аша в переводах Цуй Чжэнь-у. Сборник «В пустыне» составили рассказы Александра Яковлева («Мужик»), Льва Лунца («В пустыне»), Пио Бароха-и-Неси (два рассказа) в переводах Лу Синя; югославских писателей Антона Густава Матоша (1873—1914), Ивана Цанкара (1876—1918) и Лаза Лазаревича (1851—1890; «У колодца»), еврейского писателя Абрама Рейзена (1876—1953) в переводах Жоу Ши; братьев Чапеков («Остров»), Михаила Пришвина и Давида Пинского в переводах Цуй Чжэнь-у²⁴.

Для составителей сборников характерно внимание к русской дореволюционной и советской литературе, к произведениям чешских, югославских, венгерских писателей. В отборе рассказов явно прослеживается интерес членов общества «Утренние цветы» к литературам Восточной Европы, о котором писал Лу Синь, характеризуя цели создания общества.

Но Лу Синь упоминал и о литературе Северной Европы. Действительно, общество «Утренние цветы» собиралось выпустить книжную серию, представлявшую литературу скандинавских стран. В проспект были включены четыре книги: предполагалось, что Лу Синь переведет повесть Кнута Гамсуна «Виктория», Жоу Ши подготовит сборник датских рассказов, Цуй Чжэнь-у — сборник шведских рассказов и Ван Фан-жэнь — сборник норвежских рассказов [19, 60]. Подобный проект имел реальную основу. В 1929 г. члены общества «Утренние цветы» часто публиковали в журналах «Юйсы» и «Бэньлю» переводы скандинавских писателей: Жоу Ши переводил датских авторов — Карла Ларсена (1860—1932), С. С. Бликера (1782—1848), Иоганнеса В. Йенсена, Йеппе Окьера; Цуй Чжэнь-у перевел рассказы шведских писателей Пера Гальстрёма (1866—1960) и Вернера Гейденстама (1859—1940). В переводе Ван Фан-жэня был напечатан рассказ норвежской писательницы Сигрид Унсет (1882—1951). Лу Синь посвятил номер журнала «Бэньлю», вышедший в августе 1928 г., столетию со дня рождения Ибсена, поместил в нем переводы нескольких статей (Георга Брандеса, Хавелока Эллиса и других авторов) о жизни и творчестве великого норвежского драматурга и сам перевел для этого номера

²⁴ К сожалению, не все названия рассказов в переводе на китайский язык удалось отождествить с названиями в оригинале.

статью японского писателя Арисима Такэо (1878—1923) «Отношение Ибсена к работе». В журнале «Чаохуа чжоукань» (№ 11, 14 марта 1929 г.) была напечатана статья Лу Синя «Несколько слов о Гамсуне».

Таким образом, предпосылки к изданию серии, посвященной литературе стран Северной Европы, имелись, но план Лу Синя и Жоу Ши остался неосуществленным²⁵, как и план другой книжной серии, задуманной членами общества «Утренние цветы». Эта вторая серия должна была включать пять книг: повесть чешской писательницы Каролины Светлой (1830—1899) «Поцелуй» в переводе Цуй Чжэнь-у; сборник сказок австрийской писательницы Герминии цур Мюлен (1883—1951) «Маленький Петер» в переводе Лу Синя; «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Гоголя в переводе Лу Синя; повесть Жоу Ши «Февраль» и первую часть романа Сервантеса «Дон Кихот» в переводе Ван Фан-жэня [19, 60]. Из пяти намеченных к изданию книг вышла только первая²⁶; вторая и четвертая были выпущены другим издательством («Чуньчао шуцзюй»).

Общество «Утренние цветы» внесло большой вклад и в ознакомление Китая с зарубежной графикой. Под редакцией Лу Синя и Жоу Ши оно выпустило пять художественных альбомов, объединенных в серию «Утренние цветы в саду искусства» («Июань чаохуа»). Каждый альбом включал 12 репродукций с гравюр на дереве, офортов, литографий или рисунков. Ко всем выпускам Лу Синь написал краткие предисловия, а к первому и третьему — еще и послесловия. Лу Синь и Жоу Ши больше всего увлекались гравюрой на дереве. Они рассматривали пропаганду современной зарубежной графики, в первую очередь европейской, как путь к возрождению искусства гравюры в Китае, где оно некогда процветало, а затем долгое время пребывало в упадке. При этом Лу Синь и Жоу Ши хотели, чтобы гравюра на дереве, «возвратившись на родину», обрела новую жизнь. Лу Синь сознавал, что «только преисполненные духовных сил художники и зрители способны породить „сильное“ искусство» [11, т. 7, 544], несущее в себе истинно творческое начало. Он ратовал за «творческую гравюру», имеющую самостоятельную художественную ценность и смело пренебрегающую привычные рамки заурядного копирования²⁷.

В январе 1929 г. вышел первый и в феврале 1929 г. — второй выпуск «Избранных современных гравюр на дереве» («Цзиньдай мухэ сюаньцзи»). Эти два альбома познакомили китайцев с произведениями английских (Клиффорд Вебб, Стивин Боун, Эрик Даглиш, Артур Гаскин, Роберт Гиббингс), американских (Эдвард Уорик, Чарльз Фоллс, Уильям Зорах), французских (Эрман Поль), русских (Мстислав Добужинский), итальянских (Бенвенуто Дизертори), шведских (Сире Магнус-Лагеркранц), японских (Нагасэ Ёсиро) графиков. В выборе произведений Лу Синь и Жоу Ши, составлявшие альбомы серии «Утренние цветы в саду искусства», были очень ограничены: они могли воспользоваться лишь теми книгами и журналами, которые случайно

²⁵ Значительно позже, в марте 1937 г., вышел «Сборник датских рассказов» в переводах Жоу Ши (под псевдонимом Цзинь Цяо) и Линь Дань-цю; одиннадцать из шестнадцати составивших его рассказов были переведены Жоу Ши, в том числе девять в 1929 г.

²⁶ Перевод повести «Поцелуй» вышел в августе 1929 г.; Лу Синь придумал для этого издания обложку и написал на ней название книги.

²⁷ Подробнее о деятельности Лу Синя, связанной с пропагандой зарубежной графики в Китае, см. в книге Чэнь Янь-цяо [22, 5], в статьях Цао Бая [17] и Дин Цзин-тана [7].

попадали тогда в Шанхай²⁸. Некоторые из этих книг и журналов Лу Синю присылали его друзья, учившиеся за границей. Прямых связей с зарубежными художниками не было. Только однажды Жоу Ши получил от ирландского графика Роберта Гиббингса три его гравюры, которые тут же передал Лу Синю [9, т. 2, 741; 13, 154].

В январе 1929 г. увидел свет «Сборник рисунков Фукия Кодзи» и в апреле 1929 г. — альбом «Избранные рисунки Бёрдслея». Оба этих художника были в ту пору очень популярны в Китае. Английского графика Обри Бёрдслея (1872—1898) китайцы хорошо знали как автора иллюстраций к «Саломее» Оскара Уайльда. Японский художник и поэт Фукия Кодзи (род. в 1898 г.), учившийся во Франции, также прославился как мастер книжной графики. В сборник, подготовленный обществом «Утренние цветы», вошли рисунки из альбомов Фукия Кодзи «Сны спящего лотоса», «Грустная улыбка», «Мои рисунки». Лу Синь перевел на китайский язык тексты коротких стихотворений, написанных художником к одиннадцати рисункам, воспроизведенным в китайском издании²⁹.

Творческой манере Бёрдслея и Фукия Кодзи нередко старались подражать молодые китайские художники. Лу Синь писал: «Стоило альбому О. В. Бёрдслея в издании «Современной библиотеки» попасть в Китай, как этот острый и сильный укол взбудоражил нервы, долгие годы пребывавшие в состоянии покоя. Тут же появилось множество поверхностных подражаний. Но для погруженных в покой, к тому же утомленных нервов линии Бёрдслея в конечном счете оказались слишком резкими. Как раз в это самое время в Китае появилась графика Фукия Кодзи. Своей спокойной и изящной кистью он смягчил остроту Бёрдслея. Его манера еще больше пришлась по душе современной китайской молодежи, поэтому и по сей день не переводятся подражания ему...» [11, т. 7, 530]. Одним из таких подражателей был Е Лин-фэн, известный в те годы беллетрист и художник-иллюстратор. Он сделал себе имя, копируя манеру Фукия Кодзи, а порою и просто «заимствуя» у японского графика сюжеты. Возмущенный подобным «новаторством», Лу Синь отпечатал «Сборник рисунков Фукия Кодзи» еще и для того, чтобы разоблачить псевдооригинальность Е Лин-фэна [11, т. 4, 369].

Лу Синь писал о том, что, «хотя изобразительное искусство новой России уже оказывает огромное влияние на весь мир, в Китае о нем имеют еще очень поверхностное представление» [11, т. 7, 577]. Восполняя досадный пробел, он задумал подготовить альбом советской графики, и вот в мае 1930 г. в серии «Утренние цветы в саду искусства» были изданы «Избранные рисунки новой России». Этот альбом знакомил Китай с произведениями таких графиков, как В. А. Фаворский, Н. Н. Купреянов, П. Я. Павлинов, Ю. П. Анненков, Н. Кринский, И. Гастев, Е. С. Кругликова. В предисловии к альбому Лу Синь дал краткую характеристику русского изобразительного искусства конца XIX—начала XX в., рассказал о некоторых его направлениях в послеоктябрьский период, в том числе о конструктивистах и футуристах, а также о «необыкновенном развитии» искусства графики в эпоху революции. Это предисловие Лу Синь написал, используя материалы «Общего обзора

²⁸ Были использованы, например, такие английские издания, как «The Bookman», «The Studio», «The Smaller Beasts», «The Wood-cut of Today» (ed. by G. Holme) [см. 11, т. 7, 527, 545].

²⁹ Эти переводы опубликованы в «Полном собрании переводов Лу Синя» [10, т. 10, 743—750]; в русском издании сочинений Лу Синя [2, т. 3, 106] допущена ошибка: переводчиком неверно прочтено имя японского художника — Отиан вместо правильного Фукия Кодзи.

изобразительного искусства новой России» («Син Ро бицзюцу тайкан») известного японского переводчика, знатока русской литературы Нобори Сёму (1878—1958).

Кроме названных выше пяти выпусков серия «Утренние цветы в саду искусства», по составленному Лу Синем проспекту, должна была включать еще два выпуска альбома «Избранные современные гравюры на дереве», сборники, характеризующие русскую, английскую и французскую книжную графику, альбом образцов искусства новой России, альбом рисунков на греческих вазах и альбом, посвященный творчеству Родена [11, т. 7, 751]³⁰. Но эти планы оказались не под силу обществу «Утренние цветы».

Для пропаганды зарубежной графики Лу Синь и его друзья использовали также журналы «Чаохуа чжоукань» и «Чаохуа сюнькань», в которых на отдельных листах печатались репродукции с гравюр на дереве, с офортов или рисунков. Для Китая тех лет это было новшеством: очень немногие китайские литературные журналы выходили с иллюстрациями. Среди репродукций, помещавшихся в «Чаохуа чжоукань» и «Чаохуа сюнькань», преобладали воспроизведения гравюр на дереве. Были представлены работы английских, японских, французских, чешских, норвежских, шведских, итальянских графиков.

Сотрудничество с канцелярской лавкой Хэцзи не дало ожидаемых результатов. Сбыт изданий общества через эту лавку не приносил никакого дохода. Напротив, то и дело приходилось погашать долги, а низкосортная бумага, которую поставляла лавка, не удовлетворяла требованиям, предъявляемым к художественным изданиям. 8 июля 1929 г. Лу Синь писал в письме к Ли Цзи-е: «„Утренние цветы в саду искусства“ отпечатаны не блестяще, и, наверное, европейцу они кажутся просто смешными. Нужно, полагаю, придумывать что-то другое. Посмотрим, как пойдет дело дальше...» [12, т. 1, 75].

С осени 1929 г. общество «Утренние цветы» прекратило издательскую деятельность. 21 сентября 1929 г. вышел последний номер журнала «Чаохуа сюнькань». «Внутри общества „Утренние цветы“, — сообщал Лу Синь в письме к Ли Цзи-е от 31 октября 1929 г., — возник конфликт» [12, т. 1, 82]. Ван Фан-жэнь, столь горячо поддерживавший идею создания общества, скоро потерял интерес к переводам, печатался редко. Он, «казалось, был занят чем-то другим, постоянно курсировал между Шанхаем и Нинбо. Случалось, нужно было срочно переговорить с ним по какому-нибудь делу, а его никак не удавалось дождаться... — рассказывает Сюй Гуан-пин в своих воспоминаниях. — Он вдруг потерял интерес к переводам и ходил с видом человека, которого ничто не занимает. В один прекрасный день он объявил, что дальше так продолжаться не может и что лавка его старшего брата отказывается впредь выполнять посреднические функции...» [14, 70].

19 января 1930 г. Лу Синь писал Ли Цзи-е: «Я уже сообщал, что общество „Утренние цветы“ оказалось несостоятельным. Это значит, что часть людей попала на удочку одному человеку, и теперь общество вот-вот прекратит свое существование» [12, т. 1, 84]. А два дня спустя, 22 января 1930 г., в дневнике Лу Синя появилась запись: «Срочно внес сто двадцать юаней в счет погашения задолженности общества „Утренние цветы“. Общество объявило о прекращении своей деятельности» [9, т. 2, 762]. Жоу Ши «отослал в издательства „Минжи шудянь“ и „Гуанхуа шуцзюй“ остатки книг общества „Утренние цветы“... в на-

³⁰ Л. Д. Позднеева неточно характеризует проспект серии как реальный состав уже изданных пяти выпусков [см. 4, 560].

дежде выручить за них хоть какие-то деньги, и с рвением принялся за переводы — для того, чтобы расплатиться с долгами» [11, т. 4, 370]. Таким образом, в январе 1930 г. общество «Утренние цветы» прекратило существование.

Некоторые авторы ставят эту дату под сомнение. Линь Чэнь, например, делает оговорку: поскольку предисловие к последнему выпуску серии «Утренние цветы в саду искусства» написано 25 февраля 1930 г., то, следовательно, правильное будет, не уточняя месяц, считать, что общество «Утренние цветы» закрылось весной 1930 г. [8, 61]. Ян Чжи-хуа вообще без всяких на то оснований относит закрытие общества к марту 1931 г., что является явной ошибкой [24, 390]³¹. В пользу точки зрения Линь Чэня, казалось бы, можно привести и еще более веский аргумент: последний выпуск серии «„Утренние цветы“ в саду искусства» вышел в мае (!) 1930 г. Но нельзя игнорировать существенное обстоятельство: последний альбом был выпущен уже не самим обществом «Утренние цветы», а издательством «Гуанхуа шуцзюй» — именно потому, что общество к тому времени было закрыто.

Отметим, что и дата основания общества, обычно указываемая в общих работах о Лу Синь, — январь 1929 г. — тоже неточна³². По-видимому, большинство лусиневедов ориентируются на «Летопись жизни Лу Синя» («Лу Сюнь няньпу»), составленную проф. Сюй Шоушаном, у которого январь 1929 г. назван датой основания общества — наверное, потому, что в январе стала выходить серия «Утренние цветы в саду искусства». Но, как известно, общество «Утренние цветы» развернуло свою издательскую деятельность несколько раньше: уже с начала декабря 1928 г. выходил печатный орган общества — журнал «Чаохуа чжоукань». Правда, есть и работы, в которых дается более верная датировка. Например, Цао Бай пишет, что общество было создано зимой 1928 г. [см. 17, 161]; Дин Цзин-тан относит образование общества к концу 1928 г. [7, 35]; наконец, Л. Д. Позднеева принимает в качестве даты создания общества декабрь 1928 г. [см. 4, 560]³³.

После закрытия общества «Утренние цветы» Ван Фан-жэнь и Цуй Чжэнь-у перестали бывать у Лу Синя³⁴. Ван Фан-жэнь вскоре уехал в Германию, а вернувшись оттуда, преуспел в торговле канцелярскими принадлежностями. Впоследствии он говорил, что у Лу Синя создалось о нем превратное представление [см. 13, 154]. С Цуй Чжэнь-у Лу Синь поддерживал переписку, хотя и нерегулярную³⁵. Только дружбе Лу

³¹ Это не единственная ошибка Ян Чжи-хуа. Он, например, пишет, что членами общества были Бай Ман, Инь Фу (это два разных псевдонима одного поэта. — В. П.), Ху Е-пинь, что с декабря 1928 г. выходил журнал «Чаохуа сюнькань» (на самом деле — «Чаохуа чжоукань»).

³² Эту дату называют в своих книгах Ван Ши-цин [6, 396], Чжу Чжэн [20, 128], Линь Чэнь [8, 58], Цао Цзюй-жэнь [18, 95, 341]; эта же дата дается и в примечаниях к «Полному собранию сочинений Лу Синя» [см. 11, т. 4, 511 и т. 10, 363]; ее приводят также советские и японские лусиневеды, например В. Петров [3, 339], Такэути Минору [26, 320], Накагава Тоси [25, 29].

³³ Л. Д. Позднеева опирается на слова Лу Синя, по-видимому, из его «Краткой биографии Жоу Ши» [11, т. 4, 219]; нельзя согласиться с Л. Д. Позднеевой в том, что «об этом обществе сохранилось еще меньше данных, чем об обществе „Без названия“» [4, 560].

³⁴ 22 января 1930 г. Лу Синь записал в дневнике, что приходил Ван Фан-жэнь и вернул долг [9, т. 2, 762]; 4 июня 1930 г. пришло письмо от Ван Фан-жэня, посланное из Гонконга [9, т. 2, 778]; 9 октября 1930 г. Лу Синь получил от Ван Фан-жэня, по всей вероятности из Германии, книгу «Einblick in Kunst» [см. 9, т. 2, 792]; в дальнейшем имя Ван Фан-жэня в «Дневниках Лу Синя» не упоминается.

³⁵ См. «Дневники Лу Синя» [9, т. 2, 796, 841, 862, 889, 895, 909, 1022, 1023, 1056]; последнее письмо от Цуй Чжэнь-у пришло 17 октября 1936 г., за день до смерти Лу Синя [см. 9, т. 2, 1139]; тексты трех сохранившихся писем Лу Синя к Цуй Чжэнь-у см. [12, т. 1, 253—256].

Синя с Жоу Ши закрытие «Утренних цветов» ничуть не помешало. Жоу Ши по-прежнему часто бывал у Лу Синя дома [9, т. 2, 764—795]. Оба они вместе с другими революционными литераторами участвовали в создании Лиги движения за свободу Китая и Лиги левых писателей Китая. В январе 1930 г. Лу Синь пригласил Жоу Ши сотрудничать в новом журнале — «Мэнъя» («Всходы»), где Жоу Ши напечатал рассказ «Мать-рабыня», а также перевод письма Горького о Толстом. В сентябре 1930 г. в переводе Жоу Ши вышел «Фауст и город» Луначарского. Лу Синь написал к этому изданию послесловие [11, т. 7, 581—586].

16 января 1931 г. Жоу Ши был арестован в шанхайской гостинице «Восток» вместе с другими участниками подпольного собрания, а ночью 7 февраля 1931 г. расстрелян в жандармской комендатуре Лунхуа в пригороде Шанхая.

Лу Синь писал о своей последней встрече с Жоу Ши: «Издательство „Минжи шудянь“ хотело выпускать журнал и пригласило редактором Жоу Ши. Он согласился. Издательство это собиралось также печатать мои переводы и поручило Жоу Ши договориться со мной об условиях выплаты процентов с проданных книг. Я переписал свое соглашение с издательством „Бэйсинь шуцзюй“ и отдал Жоу Ши. Он сунул его в карман и тут же ушел. Это произошло 16 января 1931 года. Кто бы мог подумать, что это наша последняя встреча, что мы расстались с ним навсегда...» [11, т. 4, 372].

Лу Синь тяжело переживал гибель Жоу Ши и других молодых писателей, членовлевой лиги [11, т. 4, 372—374]. Самому Лу Синю тоже грозил арест, и ему пришлось некоторое время скрываться³⁶. Лу Синь «хотел написать статью о Жоу Ши, но не мог» [11, т. 4, 374]: в Китае свирепствовал белый террор, и на сговорчивость цензуры рассчитывать не приходилось. И все же были найдены способы почтить память Жоу Ши. Для нелегального литературного журнала «Цяньшао» («Аванпост»), вышедшего в апреле 1931 г., Лу Синь написал «Краткую биографию Жоу Ши» [см. 11, т. 4, 219—220; 1, 221—222]. В сентябре 1931 г. в другом журнале Левой лиги, «Бэйдоу» («Большая Медведица»), появилась гравюра Кэте Кольвиц «Жертва». «Эту гравюру на дереве послал я, — писал Лу Синь, — как память о гибели Жоу Ши» [11, т. 6, 406]. В сборник «Арфы», вышедший в январе 1933 г., Лу Синь включил два рассказа, переведенные Жоу Ши («Старая крыса» М. Зощенко и «Вещи» В. Катаева).

В феврале 1933 г. в статье «Вспоминаю для забвения» Лу Синь рассказал историю своей дружбы с Жоу Ши, с настойчивым и в то же время очень застенчивым человеком, упрямым оптимистом и неутомимым тружеником: «Может показаться, что в его старых произведениях очень сильны пессимистические настроения, но на самом деле это совсем не так. Он верил в то, что люди добры. Порою я говорил ему о том, как обманывают, как продают друзей, как высасывают кровь, а он... удивленно округлял близорукие глаза и протестовал: „Возможно ли такое?.. До этого, наверно, все-таки не доходит?..“» [11, т. 4, 370; полный перевод см.: 2, т. 3, 102—112].

Так сложились отношения между Лу Синем и другими членами общества «Утренние цветы» после того, как общество было закрыто. Если Ван Фан-жэнь и Цуй Чжэнь-у оказались не более чем временными попутчиками, то Жоу Ши, напротив, оставался до конца своих дней верным соратником Лу Синя и продолжал бок о бок с ним бороться за революционную китайскую литературу.

³⁶ Подробнее об этом см.: [15, 94—96; 14, 176].

Общество «Утренние цветы» просуществовало недолго — немногим более года, но благодаря своей активной издательской деятельности успело завоевать признание в литературных кругах Китая, познакомить китайских читателей с рядом произведений зарубежной литературы. Особенно велики заслуги общества «Утренние цветы» в популяризации зарубежной графики. Издание художественной серии «Утренние цветы в саду искусства» оказало плодотворное воздействие на возрождение и развитие в Китае искусства гравюры на дереве, на творческие искания молодых китайских художников-графиков 30-х годов нашего века. Примечательно, что общество «Утренние цветы», вдохновляемое Лу Синем, стремилось к тому, чтобы китайцам стали известны достижения молодого еще в те годы советского изобразительного искусства и произведения советских писателей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Жоу Ши, Февраль. Мать-рабыня, М., 1958.
2. Лу Синь, Собрание сочинений в четырех томах, т. 3—4, М., 1955—1956.
3. Петров В., Лу Синь. Очерк жизни и творчества, М., 1960.
4. Позднеева Л. Д., Лу Синь. Жизнь и творчество, М., 1959.
5. Чэнь Янь-цяо, Лу Синь и гравюра на дереве, М., 1956.
6. Ван Ши-цин, Лу Сюнь чжуань (Биография Лу Синя), Шанхай, 1948.
7. Дин Цзин-тан, Лу Сюнь хэ Жоу Ши вэй цзешао вайго мэйшу цзопинь эр цзоды нули (Усилия Лу Синя и Жоу Ши в распространении произведений зарубежного изобразительного искусства), — Дин Цзин-тан, Сюэси Лу Сюнь хэ Цюй Цю-бай цзопиньды чжацзи (Заметки об изучении произведений Лу Синя и Цюй Цю-бо), Шанхай, 1961.
8. Линь Чэнь, Лу Сюнь шицзи као (Исследование фактов из жизни Лу Синя), Шанхай, 1948.
9. Лу Сюнь жицзи (Дневники Лу Синя), т. 1—2, Пекин, 1959.
10. Лу Сюнь ивэнь цзи (Полное собрание переводов Лу Синя), т. 10, Пекин, 1959.
11. Лу Сюнь цюаньцзи (Полное собрание сочинений Лу Синя), т. 1—10, Пекин, 1956—1958.
12. Лу Сюнь шусинь (Письма Лу Синя), т. 1—2, Пекин, 1952.
13. Сюй Гуан-пин, Лу Сюнь хуйилу (Воспоминания о Лу Сине), Пекин, 1961.
14. Сюй Гуан-пин, Синьвэйды цзинянь (Добрая память), Пекин, 1951.
15. Сюй Шоу-шан, Ванъю Лу Сюнь иньсянцзи (Впечатления о покойном друге Лу Сине), Шанхай, 1947.
16. Фэн Сюэ-фэн, Хуйи Лу Сюнь (Воспоминания о Лу Сине), Пекин, 1957.
17. Цао Бай, Лу Сюнь сяньшэн хэ Чжунго синьсинды мукэ (Лу Синь и возрожденная китайская гравюра на дереве), — «Лу Сюнь яньцзю» («Исследования о Лу Сине»), сост. Ся Чжэн-нун, Шанхай, 1937.
18. Цао Цзюй-жэнь, Лу Сюнь няньпу (Летопись жизни Лу Синя), Сянган, 1967.
19. Цзолян у лешу яньцзю цзыляо бяньму (Библиография материалов по изучению пяти героев-патриотов Левого лиги), сост. Дин Цзин-тан и Цюй Гуан-си, Шанхай, 1961.
20. Чжу Чжэн, Лу Сюнь чжуаньлюе (Краткая биография Лу Синя), Пекин, 1957.
21. Чэнь Мэн-шао, Лу Сюнь цзай Сямэнь (Лу Синь в Амое), Пекин, 1954.
22. Чэнь Янь-цяо, Лу Сюнь юй мукэ (Лу Синь и гравюра на дереве), Шанхай, 1949.
23. Шэнь Пэн-нянь, Лу Сюнь яньцзю цзыляо бяньму (Библиография материалов, посвященных изучению Лу Синя), Шанхай, 1958.
24. Ян Чжи-хуа, Вэньтань шиляо (Материалы по истории литературы), Шанхай, 1944.
25. Накагава Тоси, Ро Дзин нэнфу (Летопись жизни Лу Синя), Токио, Дайан, 1966.
26. Такэути Минору, Ро Дзин нэнфу (Летопись жизни Лу Синя), — «Ро Дзин то гэндай». Сост. Такэути Минору и Сасаки Кии, Токио, 1968.

О. Л. Фишман

ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
«ЗАМЕТОК ИЗ ХИЖИНЫ ВЕЛИКОЕ В МАЛОМ»
ЦЗИ ЮНЯ

«Заметки из хижины Великое в малом» («*Юэвэй цаотан бицзи*») крупного ученого и писателя XVIII в. Цзи Юня (1724—1805) продолжают традиции жанра *бицзи* — сборников заметок самого разнообразного содержания, включавших и короткие рассказы и разрозненные записи, посвященные примечательным событиям, высказываниям известных людей, воспоминаниям о каком-либо происшествии, рассуждениям, наставлениям и т. п.

Первые такие сборники появились в V—VI вв. Это, например, «Новые повествования нашего века» (*Шишо синьюй*) Лю И-цина (403—444), «Лес речений» (*Юйлинь*) Пэй Ци (V в.), «Простые рассказы» (*Сушо*) Шэнь Юэ (441—513). К этому же жанру относятся «Юянские записки о всякой всячине» (*Юян цзацзу*) Дуань Чэн-ши (?—863) и «Заметки» (*Бицзи*) Сун Ци (998—1061), давшие название жанру. Подражания сборнику Сун Ци были очень распространены в сунскую и последующие эпохи. Широкой известностью, например, пользовались сборники *бицзи* таких крупных литераторов, как Гун И-чжэн (XII в.), Лу Ю (1125—1210), Шэ Шэн (1420—1471), Ху Ин-линь (конец XVI — начало XVII в.), Ван Ши-чжэнь (1634—1711) и др.

Авторов подобных сборников интересовала и фантастика, исключительные и необычайные происшествия, и факты истории, и научные сведения. Наряду с сюжетными произведениями сборники *бицзи* включали свободные по форме наблюдения их авторов над жизнью современников, научные и публицистические заметки.

Литературовед Гуань Да-жу отмечал, что характерной особенностью этого жанра было то, что большинство «заметок» основывалось на конкретном событии, давало «прямое описание фактов», не обязательно «организованное» авторским вымыслом [2]. Как говорит акад. Я. Прушек, это были записи об одном факте, одном явлении, превращавшиеся в «архив фактов»; некоторые сборники *бицзи* включали анекдоты о личностях, бросавшие свет на частные стороны жизни людей, но и они не давали протяженной картины человеческой жизни [3].

Видоизменяясь на протяжении веков, жанр *бицзи* все же сохранил свои основные характеристики: информационность, известную «фактичность», сочетание произведений фабульного порядка с описаниями и рассуждениями, лаконизм изложения, определенную структуру сборников, своеобразный порядок сцепления частей и т. п.

По меткому определению М. М. Бахтина, жанр — «это память искусства» [1, 142]. Иначе говоря, жанр сохраняет весь предшествующий

опыт литературы, в его основе лежит литературная традиция, передающая следующим поколениям какие-то определенные устойчивые черты (сумму находящихся во взаимодействии первостепенных признаков¹) и в то же время оставляющая свободу для эволюции, для внесения авторами своего, отражающего интересы эпохи, новые устремления писателей.

Следуя традиции жанра *бицзи*, Цзи Юнь создал пять сборников смешанных записей². В основе фабульных произведений Цзи Юня лежит авторский вымысел, но, оставаясь верным традициям жанра, Цзи Юнь и этим рассказам и анекдотам стремится придать характер «фактичности» и «достоверности», выводя в качестве «рассказчиков» реальных своих современников, ссылаясь на свидетелей происшествия, указывая его дату, место действия, а главное, делая из самого невероятного «случая» конкретный вывод, адресованный читателю-современнику. Новым по сравнению с предшественниками было использование Цзи Юнем жанра *бицзи* для создания картины современного мира, для обличения нравов, для «поучения» с помощью конкретных примеров. Впервые, таким образом, в сборниках *бицзи* за разрозненными, перемешанными в беспорядке впечатлениями жизни, за отдельными наблюдениями и размышлениями стоит единый «наблюдатель», выносящий оценки тому, что он видел или о чем ему рассказывали.

По жанровым признакам произведения, включенные Цзи Юнем в «Заметки из хижины Великое в малом», можно разделить на три типа:

1. Необрамленные повествования, близкие к анекдоту.
2. Обрамленные повествования, близкие к коротким рассказам³.
3. Заметки.

В произведениях первого типа (необрамленных повествованиях, близких к анекдоту) содержание, по существу, совпадает с сюжетом, исчерпывается им. Такого рода повествования включают событие (обычно одно) и его результат и строятся на конфликте, на противоречии. Действие развивается однолинейно, без торможения, с расчетом на единство эффекта, достигаемое непрерывностью изложения. Время действия кратко и концентрировано. Каждый персонаж показан в какой-то один, чем-либо знаменательный момент его жизни или в определенной ситуации, помогающей раскрытию ведущей черты его характера. Так, в рассказе № 14 из первого сборника («Записи, сделанные летом в Луаньяне») фигурируют два начетчика, которые, забредя ночью в заброшенное подворье, испугались возможной встречи с бесами и душами мертвых; появившийся откуда-то старик упрекнул их в том, что они верят «глупой болтовне буддистов о существовании нечисти». Завязалась беседа, в ходе которой старик, блистая красноречием, излагал учение сунских неоконфуцианцев и опровергал существование сверхъестественных сил. Начетчики так его заслушались, что забыли о времени. А когда наступил рассвет, старик сказал: «Люди, покоящиеся под Желтыми источниками, обречены на вечное молчание. Если бы я не повел речей, отрицающих существование духов, то не смог бы удерживать вас здесь и мне не довелось бы скоротать вечерок за беседой».

¹ Р. Уэллек и О. Уоррен считают, что жанр надо рассматривать как группу литературных произведений, объединенных теоретически и внешней формой (специфической структурой) и внутренней (тоном, целью, подходом и т. п.) [6, 231].

² Помимо того, что вся коллекция «Заметки из хижины Великое в малом» носит жанровое название («*Юэвэй цаотан бицзи*»), в названиях трех из пяти составляющих ее сборников наличествуют жанровые термины *чжи* и *лу* (заметки, записи).

³ Деление это условно и у Цзи Юня отсутствует; осторожность, с которой мы употребляем жанровые термины, объясняется тем, что привычные нам жанровые определения европейских литератур не всегда применимы к жанрам китайской литературы.

Сейчас нам пора расстаться, и я почтительнейше прошу вас не сетовать на меня за шутку» [5, 9].

Здесь возникает ситуация, не подготовленная тем, что нам известно о персонажах. Неожданность концовки обеспечивается противоречием между утверждением старика о том, что духов нет, и сущностью его самого, оказавшегося душой покойника.

В этом и подобных «анекдотах» действие вводится стремительно, пролог отсутствует. Начальная ситуация сводится к минимуму информации о персонажах (в данном случае сообщаются их имена и профессия); дело здесь не столько в количестве событий и персонажей, сколько в способе их художественного изображения. События упрощены и сжаты, все подчинено динамике сюжета, стремящегося к неожиданной концовке.

В отличие от «анекдота» «обрамленное повествование», как правило, имеет некую предысторию; его отличает относительная длительность во времени, известная последовательность описываемых событий. Такое повествование обычно превосходит по размеру «анекдот», но главное — в «обрамленном повествовании» персонаж появляется не в одной, определенной ситуации, а в ряде эпизодов или на ряде этапов его жизненного пути. Здесь отсутствует подчеркнутая динамичность в развитии сюжета; даже если и описывается необыкновенное событие, если и действуют сверхъестественные силы, сюжет разворачивается без неожиданностей. Но и здесь, конечно, сюжет «замкнут», ибо рассказ, как и «анекдот», не часть художественного целого, а само это целое.

В рассказе № 209 из сборника «Записи, сделанные летом в Луаньяне» экспозиция объясняет ситуацию: два соседа — богатый Ло и бедняк Цзя — жили рядом; Ло хотел присоединить к своему дому жилище Цзя, но не соглашался дать цену, запрашиваемую соседом, и принимал втайне всякие меры, чтобы помешать Цзя продать дом кому-либо другому. Далее действие развивается так: с течением времени Цзя оказался в такой нужде, что вынужден был продать свой дом Ло за ничтожную сумму. Ло занялся перестройкой дома. Центральный эпизод рассказа, кульминационный его пункт — пожар, в результате которого сгорели оба дома. В пламени пожара Ло видит лицо отца Цзя и понимает, что пожар был возмездием за его корыстолюбие. Развязка — раскаявшийся Ло дарит сыну Цзя участок земли. И наконец, эпилог — Ло совсем переменился, посвятил себя добрым делам.

Рассказ этот характерен для второго типа повествований не только по структуре, но и по дидактической своей направленности. В отличие от «анекдотов» большинство «обрамленных повествований» в сборниках Цзи Юнь назидательны. Причем если в приведенном примере назидание содержится в самом сюжете, то в ряде других рассказов вводится морализующая концовка, в которой Цзи Юнь сам формулирует «назидание» — тот «нравственный урок», который должен извлечь из повествования читатель. Иногда такое назидание вкладывается в уста очевидца происшествия, иногда в уста «рассказчика» или кого-либо из персонажей рассказа.

Из 1193 произведений, включенных в коллекцию «Заметки из хижины Великое в малом», повествования первых двух типов составляют 87,6% (1044 «анекдота» и «рассказа»), третий же тип, заметки, — 12,4% (149 произведений). Эта последняя категория представляет собой «свободную прозу», без событийного ряда: эссе, наброски, отдельные мысли, соображения по поводу происхождения названия какой-либо местности или храма, описание древних тушечниц, наблюдения над явлениями природы, соображения по поводу авторства того или иного сти-

хотворения, размышления о местных суевериях, рецепты лекарств, заметки о различных растениях и фруктах, о сортах вин, этнографические подробности и т. п.

В предисловии к первому из своих сборников Цзи Юнь сообщал, что он записывал, что видел и слышал, без особого порядка заноса на бумагу то, что всплывало в памяти. Делал это он не только чтобы развеять скуку, но и потому, что «беседы на улицах и разговоры в переулках могут оказаться полезными для вынесения моральных оценок» [5, 1]. Иными словами, Цзи Юнь ставил перед собой ту же задачу, какую ставил Конфуций, вынося в летописи «Чуньцю» оценки историческим событиям и деятелям, с той разницей, что Цзи Юнь судил не исторических деятелей прошлого, а своих современников, сбившихся с «пути истины».

Цзи Юнь был ученым-конфуцианцем, для которого литература была ценна своей «учительностью», тем нравственным уроком, который содержался в ней. Факт, событие, случай (вымышленный или реальный) интересовали писателя в той мере, в какой они могли служить материалом для морализующего вывода, для назидания. Поэтому он и выбрал жанр, не требующий показа переживаний героев, их внутреннего мира. Цзи Юнь генерализует характер своих героев по одной какой-либо страсти, одному качеству (жадность, лицемерие, скупость, целомудрие и т. п.). Его персонажи обладают заранее заданным характером, чаще всего фигурируют в отдельном эпизоде, не связанном с их предшествующей жизнью, не обусловленном ею.

В отличие от древних авторов «рассказов о необычайном» Цзи Юнь занимается именно поведением разных людей в определенной ситуации (повторение одних и тех же ситуаций — это как бы варианты общей темы). Его не интересует подробное раскрытие душевной жизни героев (характерное, например, для китайского романа XVIII в.); персонажи Цзи Юня не раздумывают, а действуют; психологические причины их поступков (за исключением, конечно, нравственных соображений) писателя не волнуют. Второстепенные действующие лица вовлекаются в сферу действий главного героя, а не функционируют самостоятельно.

Из рассказа в рассказ как бы накапливаются отдельные черты характера героев, в итоге складывающиеся в цельный образ. Получается типический характер, но центр тяжести все же переносится на ситуацию, в которой этот характер проявляет себя. Черты этого типического характера часто бывают связаны с профессией или типом мышления персонажей (так, все новыми чертами обрастает тип начетчика: в одном рассказе он строг и требователен к своим ученикам, но сам втайне от всех предается разврату; в другом рассказе он участвует в обмане, цель которого — по дешевке купить дом; в новой ситуации он выступает как трусливый лицемер, или он хвастлив и заносчив и т. п.).

Существует некий идеальный характер, заданный конфуцианской нормой. Такого нормативного характера, подсказанного представлением о «должном», которое выработало конфуцианство, Цзи Юнь не воплощает в своих рассказах, но некоторые его герои приближаются к этому идеалу, большинство же предстает как отклонение от нормы, от идеала. «Должное» всюду невидимо присутствует, и мера индивидуальности персонажей — это мера отклонения от этого идеального характера или приближения к нему.

В понятие типического входит и обобщенная характеристика и индивидуальная (связанная именно с данным персонажем, а не с общим

типом). Сходство многих героев Цзи Юня между собой приводит к тому, что типическое превалирует, подавляя индивидуальное, акцент делается на моральной стороне человеческого поведения, т. е. на стороне понятийно воспринимаемой, а не на индивидуальной, неповторимой, образной. Отсюда — скупость индивидуальной характеристики (портрета, деталей), замена их словесными объяснениями, больше говорящими умозрительному, чем образному представлению. Собственно уже сам принцип «правильного» и «неправильного» поведения апеллирует к понятийному, а не к чувственному восприятию.

Цзи Юнь почти не описывает внешность своих персонажей. Исключение делается для женщин, но и в этом случае перед нами не индивидуализированные портреты, а стандартная фраза — «красавица девушка, подобной красоты на свете не бывало» или «красавица, какой во всем государстве не было, пожалуй, равных».

Детали описания обстановки, жилищ персонажей (в китайском романе этой поры все это часто является метафорическим выражением характера и пополняет характеристику персонажей) у Цзи Юня почти отсутствуют. Изображение пейзажа, описание явлений природы для Цзи Юня не самоцель, обычно все это лишь фактор действия, одна из пружин движения сюжета. Вот пример: «Внезапно потемнело, раздался гром, поднялся ветер, полил дождь» (рассказ № 7) — это изменение погоды заставляет героиню спрятаться в полуразрушенном храме, чтобы переждать грозу; там на нее нападает компания молодых бездельников.

Если луна светит ярко, то это помогает герою разглядеть появившуюся ночью в его комнате женщину; если «ущербная луна светила тускло», то другой женщине удастся выдать себя за духа повесившейся. Даже такая, казалось бы, чисто пейзажная зарисовка, как в рассказе № 164 («...павильон находится в густом лесу к западу от города, тысячи деревьев тянутся к самому небу, солнца там никогда не увидеть»), тоже служит фактором действия, ибо такое место — подходящая обстановка для бесов, водящихся там во множестве.

Цзи Юню неважны пейзаж, детали, внешность персонажей, описание их одежды; отсюда — известная трафаретность в изображении (ибо это условные детали и картины природы), и тропы Цзи Юнь использует простейшие, стараясь не загружать повествование ничем лишним, не задерживать стремительно развивающееся действие. Многие из используемых им сравнений стандартны, широко распространены в китайской литературе («Разве близость с любимой не похожа на весенний сон?»; «Лошадь стояла неподвижно, как глиняное изваяние»; «Слезы лились по щекам, как дождь»; «Трава шелковистая, словно зеленый ковер» и т. д.).

И все же в рассказах Цзи Юня подчас встречаются сравнения точные, необычные, неизбитые, в которых виден подлинный художник («Радость... мгновенна, как вспышка молнии, как искра, высеченная из камня»; «Люди, не совершившие при жизни добра и не творившие зла... гибнут, как роса или пузырьки на воде, которые на мгновение появляются и тотчас же исчезают, как полевые цветы и дикие травы, что сами расцветают и увядают»; «Волчья яма, какой является мир чиновников»; «Воздух был знойный, застоявшийся, словно сидишь в котле для варки пищи»; «Одежда поддается под рукой, как вялая трава, тело рыхлое, словно стебли неньюфаров... все проваливалось, как на воде, из которой вытянули бамбуковую вершу» и т. п.).

Присутствие таких сравнений, как и (правда, очень редко) емких деталей и превосходных пейзажных зарисовок (в специально посвя-

щенных пейзажу заметках, а не в рассказах), свидетельствует о том, что, отказываясь от многих способов психологической и портретной характеристики героев, Цзи Юнь отбирал средства изображения, связанные как с жанром его произведений, так и с их дидактической установкой, рассчитанной на воспитательное воздействие сюжета с его назидательным подтекстом, а не на изобразительность.

Отсюда прямолинейность и лаконизм характеристик, фиксирующих основное в характере человека, то, что иллюстрируется рассказом о нем. Так, развертывающееся в рассказе № 404 повествование о персонаже, который хотел продать беса, подтверждает авторскую характеристику его как человека «смелого, но глупого».

В рассказе № 1084 приводятся эпизоды, иллюстрирующие характеристику приятеля Цзи Юня — цензора Ху Му-тина, который был «человеком выдающимся, обладающим огромной эрудицией, но не от мира сего; ничего в житейских делах он не понимал, как говорится, сколько ног у лошади не знал. Слуги водили его за нос, как младенца».

Как правило, Цзи Юнь указывает время действия своих рассказов, но время это «внеисторическое»: ни события, ни персонажи не наделяются приметами времени; местный колорит также почти совсем отсутствует, хотя место действия в большинстве случаев указано.

При анализе рассказов Цзи Юня создается то же впечатление двуплановости, какое отмечал акад. Я. Прушек для произведений жанра *хуабэнь*: сочетание индивидуального, исторически уникального и типического, повторяющегося. В *хуабэнь* это впечатление создается за счет того, что «документальность» сведений о герое, привязанность персонажа к определенному времени и месту действия сочетаются с лирическими вставками — стихами, «поднимающими реальность в метафизический, вечный и поэтический план» [IV]. В большинстве же рассказов Цзи Юня, где даются варианты повторяющихся типов «человеческого поведения, общее (концепция мира и места в нем человека) сталкивается с частным (конкретным персонажем, отличающимся от других героев не столько своим поведением, сколько социальным положением, а также обстановкой, в которой он действует).

Цзи Юнь, видимо, не уделял специального внимания расположению материалов внутри своих сборников; нравоучительный, сюжетно-организованный материал соседствует и с чисто развлекательными рассказами, и с заметками научного или этнографического характера, и с публицистическими рассуждениями. Может быть, это осознанный прием — стремление избежать однообразия.

Отдельные рассказы и заметки Цзи Юня совершенно самостоятельны. На первый взгляд между ними вообще отсутствует какая бы то ни было связь, на самом деле связь эта имеется: есть группы рассказов на одну тему, группы, иллюстрирующие одну и ту же морализующую мысль, группы, объединенные одним и тем же рассказчиком; в редких случаях рассказы «сцепляются» местом действия, но главным связующим звеном всегда остается сам автор, объединяющий произведения, заключенные в «Заметках из хижины Великое в малом», своей личностью, своим мировоззрением, своим отношением к действительности. Он присутствует во многих рассказах как рассказчик или как действующее лицо, он вторгается в повествование — иногда с помощью заключительной сентенции, иногда — оценкой персонажа или события, иногда — юмористическим отношением к тому, о чем он повествует. Его сборники воссоздают картину (хотя и мозаичную) нравов и быта современного ему общества, имитируя в известной мере хаотичность и разнообразие жизненных впечатлений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бахтин М. М., Проблемы поэтики Достоевского, М., 1963.
2. Гуань Да-жу, Лунь сяошо (О жанре сяошо), — «Сяошо юэбао», т. 3, 1912, № 7.
3. Průšek Y., Reality and Art in Chinese Literature, Archiv Orientalni, vol. 32, 1964, № 4.
4. Průšek Y., The Realistic and Lyric Elements in the Chinese mediaeval story, — Archiv Orientalni, vol. 32, 1964, № 1.
5. Цзи Юнь, Юэвэй цаотан бицзи (Заметки из хижины Великое в малом), т. 1, Шанхай, 1923.
6. Wellek R., Warren A. Theory of Literature, New York, 1962.

И. Э. Циперович

**ОБ АВТОРСТВЕ СОБРАНИЯ
КИТАЙСКИХ ИЗРЕЧЕНИЙ**

«Продолжение Цзацзуань»¹

Под названием «Цзацзуань» в китайской художественной прозе IX в. появляется небольшое собрание своеобразных по форме изречений, принадлежащих кисти талантливого писателя Ли Шан-иня (второе имя И-шань, 812—858). Жизненные и мудрые, лаконичные и остроумные изречения Ли Шан-иня, написанные на языке, близком к разговорному, были популярны среди современников автора и не могли не вызвать отклик в литературе последующих эпох. Уже в XI в. одно за другим появляются «Продолжение Цзацзуань» Ван Цзюнь-юя и «Второе продолжение Цзацзуань» выдающегося писателя и философа Су Ши. Определенную преемственность этого жанра удастся проследить и далее, вплоть до начала XIX в.

Мы здесь не будем останавливаться на характеристике изречений *цзацзуань*, а также на истории развития жанра, поскольку оба эти вопроса сравнительно полно освещены в специальных работах [1, 3—20; 2, 63—73]. Чтобы дать представление об этом виде литературы, мы приведем лишь несколько выдержек из «Продолжения Цзацзуань» — собрания, о котором пойдет речь далее.

Не утнаться:

за испуганным конем, сорвавшимся с узды;
пешком — за лодкой, которая уплыла по течению;
за тенью на закате;
за аппетитом выздоравливающего².

Легко прибрать к рукам:

соседского котенка;
игрушку малыша;
старинную картину, если она принадлежит подчиненному по службе.

Невыносимо:

жить в комнате, за которую задолжал;
когда представляешься начальнику, а тебя кусает блоха;
когда прилег отдохнуть в жаркий день и одолевают мухи;
когда едешь верхом по узкому переулку, а навстречу ползет телега;
когда поссорился с женой;

¹ Варианты перевода на русский язык слова «цзацзуань»: «разное», «о разном», «заметки о разном», «смесь».

² Здесь и далее «Продолжение Цзацзуань» цитируется по собранию «Цуншу цзи-чэн» [9, т. 2987, 13—20].

когда тебя не любит начальство;
когда нужно переправиться и нет лодки;
когда чествуют высокое начальство.

Собрания *цзацзуань* различных авторов никогда в Китае широко не публиковались и оставались в течение многих веков произведениями не только неизученными, но почти неизвестными. Не удивительно поэтому, что и за пределами Китая очень мало знали о *цзацзуань*. Вплоть до недавнего времени существовали лишь отдельные переводы «Цзацзуань» Ли Шан-иня и несколько исследований (в основном японских), касающихся исключительно этого собрания³.

Одна из задач исследователя этого жанра заключается в том, чтобы выяснить, кто был автором «Цзацзуань» и «Продолжения Цзацзуань», иначе говоря — кто был родоначальником жанра *цзацзуань* и кто — его первым преемником.

Почему возникает подобный вопрос, если в антологиях, куда вошли названные произведения, неизменно указывается их автор?

В дошедших до нас антологиях, куда вошло первое собрание *цзацзуань*, оно озаглавлено «Цзацзуань И-шаня», либо «Цзацзуань Ли И-шаня», либо просто «Цзацзуань» с упоминанием автора: танский Ли И-шань. При этом нигде в антологиях нет указания на то, что И-шань или Ли И-шань — это и есть Ли Шан-инь. Между тем все старинные библиографии, а также литературные источники, где упоминается «Цзацзуань», совершенно определенно называют автором этого произведения поэта Ли Шан-иня, носившего, как отмечалось, второе имя — И-Шань. Сомнения в принадлежности «Цзацзуань» кисти Ли Шан-иня стали высказываться только в XX в. после выхода в свет «Краткой истории китайской повествовательной литературы» Лу Синя (1923 г.). В этой работе Лу Синь обратил внимание на то, что в конце IX в. жил еще один Ли И-шань, тоже писавший стихи, и выразил предположение, не мог ли этот второй Ли И-шань быть автором «Цзацзуань» [4, 70—71]⁴. Вопрос об авторстве «Цзацзуань» довольно подробно рассмотрен в специальной статье [3], и потому здесь мы не будем на этом останавливаться. Укажем только, что текстологический анализ источников, сопоставление данных старинных китайских каталогов и библиографий, а также знакомство с поэтическим творчеством Ли Шан-иня не дают оснований сомневаться в том, что автором «Цзацзуань» был именно он.

Что касается «Продолжения Цзацзуань», то вопрос об его авторе возник в связи с тем, что различные антологии, куда вошло это произведение, и отдельные источники, его упоминающие, называют автором «Продолжения Цзацзуань» в одних случаях одного писателя, в других — другого, но никаких биографических данных, которые помогли бы решить вопрос, не приводят.

Насколько нам известно, «Продолжение» вошло в семь различных антологий. В антологии «Свод повествований» («Шо фу», изд. 1646 г.) и в «Большом обзоре повествований пяти эпох» («У чао сяошо да гуань»), составленном в XX в., автором «Продолжения» назван сун-

³ О переводах «Цзацзуань» Ли Шан-иня и исследованиях см.: [1, 21—23; 2, 53—63].

⁴ Насколько нам известно, Лу Синь был единственным китайским ученым, обратившим внимание на *цзацзуань* и оценившим их. В названной работе Лу Синь особо останавливается на «Цзацзуань», приводит из него отрывки, дает краткую характеристику содержания этого произведения и называет известных ему продолжателей такого вида литературы: Ван Цзюнь-юя, Су Ши и Хуан Юнь-цзяо [4, 70—71].

ский Ван Чжи. В остальных пяти антологиях автором назван сунский Ван Цзюнь-юй.

Очевидно, именно поэтому в тех немногих китайских и японских источниках, а также отдельных японских энциклопедических справочниках и научных статьях, где упоминается «Продолжение», автором его называют то Ван Чжи, то Ван Цзюнь-юя.

В «Дополнении к литературному разделу Истории династии Мин» [5, т. 2, 1252] автором «Продолжения» назван Ван Юй. Но этот источник мы можем не принимать во внимание, так как здесь, по-видимому, имела место ошибка переписчика или опечатка, причиной которой явилось довольно сходное написание иероглифов *чжи* и *юй*. Это тем более очевидно, что на одной и той же странице указанного источника недоразумение повторяется. Во втором случае Ван Юй по ошибке назван автором сочинения, явно принадлежащего перу Ван Чжи.

В «Литературный раздел истории периода Сун» (*Сун ши ивэнь чжи*), как и в соответствующие дополнения к этому разделу, сунские *цзацзуань* не вошли, и у нас нет возможности проверить по этим источникам, описывающим среди прочих книг и произведения сунской эпохи, кому в тот период приписывалось авторство этого собрания. Очевидно одно: «Продолжение Цзацзуань» должно было появиться до «Второго продолжения Цзацзуань» Су Ши (1036—1101).

Представляется маловероятным, чтобы «Продолжение» принадлежало Ван Чжи. Мы не располагаем достаточно полной биографией этого писателя, но уже из тех кратких сведений, которые дает о нем «Большой биографический словарь» [10, 142], узнаем, что Ван Чжи (второе его имя — Син-чжи) был назначен на высокий государственный пост в первые годы правления под девизом Шао-син (1131—1162), т. е. в 30-х годах XII в. Если даже предположить, что этот пост он получил немолодым, скажем пятидесяти лет, то и в этом случае должен был родиться примерно лет на пятьдесят позже Су Ши. Вряд ли можно предположить поэтому, что он мог быть автором собрания *цзацзуань*, появившегося до «Второго продолжения Цзацзуань» Су Ши.

Данные антологий также подводят к выводу, что скорее может идти речь о Ван Цзюнь-юе, нежели о Ван Чжи. Фактически только одна антология из семи («Свод повествований») называет автором этого произведения Ван Чжи. «Большой обзор повествований» не принимается в расчет, так как он был составлен на основании «Свода». В остальных антологиях, составлявшихся в разные века, автором назван Ван Цзюнь-юй. Первая по дате антология, куда вошло «Продолжение», — «Море повествований древности и наших дней» («Гу цзинь шо хай», I изд. 1544 г.). Если даже допустить, что составитель этой антологии ошибся, назвав автором «Продолжения» Ван Цзюнь-юя, а не Ван Чжи, то вряд ли вероятно, чтобы ту же ошибку вслед за ним повторили составители остальных антологий, появившихся уже после «Свода повествований», где автором «Продолжения» был назван Ван Чжи.

Наше рассуждение подкрепляется еще и тем, что в предисловиях к собраниям *цзацзуань* последующих эпох автором «Продолжения», как правило, называют именно Ван Цзюнь-юя, а не Ван Чжи.

Итак, мы принимаем, что автором «Продолжения Цзацзуань» был Ван Цзюнь-юй. Однако в сунскую эпоху, примерно в одни и те же годы, которые вполне могли соответствовать периоду написания «Продолжения», жили два Ван Цзюнь-юя⁵. Один из них малоизвестный

⁵ Исключается третий сунский Ван Цзюнь-юй (Ван Ду), поскольку он жил намного позднее Су Ши — в XII—XIII вв. и, естественно, не мог поэтому быть автором «Продолжения» (краткую биографическую справку о нем см. [10, 105]).

писатель, носивший литературный псевдоним «Старец, скрывающийся от мира в Имэни» (*Имэнь инь соу*), другой — видный государственный деятель, ученый и поэт Ван Ци, второе имя которого Цзюнь-юй.

О первом мы располагаем скудными сведениями. Краткую справку о нем содержит биографический словарь, где сказано: «Ван Цзюнь-юй. Период Сун. Псевдоним: „Старец, скрывающийся от мира в Имэни“. Автор „Собрания бесед сановника в отставке“, в котором описываются события трех царствований — от императора Тайцзу до императора Чжэньцзуна. Эта книга дает достаточный материал для наведения справок по истории и литературе данного периода». Далее составитель биографического словаря в скобках добавляет: «Аннотированный каталог библиотеки Чжи-чжая» и «Литературный раздел истории периода Сун». Оба эти источника называют его «Цзюнь-юй из Имэни» и не указывают его фамилии [10, 93].

Из приведенной справки вытекают два обстоятельства. Во-первых, «Собрание бесед» написано после 1023 г. (последнего года правления императора Чжэньцзуна). В нем повествуется о событиях, имевших место с 960 по 1023 г., т. е. в начальные годы сунской эпохи. Если предположить, что автор рассказывал о тех событиях, которые происходили частично при его жизни или которые тогда еще были свежи в памяти его современников, то он должен был быть намного старше Су Ши и по времени вполне мог оказаться автором «Продолжения». Во-вторых, у составителей биографического словаря нет уверенности в том, что этот писатель действительно носил фамилию Ван, в связи с чем они ссылаются на авторитетные источники ранних эпох — «Аннотированный каталог библиотеки Чжи-чжая» («Чжи-чжай шу лу цзе ти» [9, т. 46]), составленный примерно в 1240 г. известным ученым-библиофилом Чэнь Чжэнь-сунем, и на «Литературный раздел истории периода Сун» [7], который составлялся в XIV в. на основании различных каталогов сунской эпохи. Учитывая это обстоятельство, мы тоже не можем с уверенностью говорить о том, что этому писателю принадлежит авторство «Продолжения», поскольку не можем быть уверенными в том, что его фамилия действительно была Ван.

Больше доводов за то, что автором «Продолжения» был Ван Ци или по крайней мере что именно ему *цзацзуань* могли быть приписаны⁶.

Ван Ци (второе имя — Цзюнь-юй), уроженец Хуаяна в пров. Сычуань. Уже в детстве он начал слагать стихи и впоследствии стал довольно известным поэтом, которого высоко ценили такие одаренные литераторы того времени, как Янь Шу, Ван Ань-ши и Оуян Сю. Начав служебную карьеру со скромной должности главного секретаря в одном из областных управлений, Ван Ци выдерживает экзамен на ученую степень *цзиньши* и получает высокое служебное назначение. Он занимал некоторое время пост редактора в одном из кабинетов академии, который ведал редактированием и изданием классических книг, а под конец жизни получил должность помощника начальника Палаты обрядов. С этого поста он ушел в отставку и вскоре умер. «Большой словарь китайских писателей» отмечает, что Ван Ци «...выделялся своей культурой и интеллигентностью. Он занимал пост правителя различных областей на юго-востоке страны, и правление его было безупречным» [8, 594].

⁶ Высказывалось предположение, не есть ли сунский Ван Ци (Цзюнь-юй) и сунский Цзюнь-юй, носивший псевдоним «Старец, скрывающийся от мира в Имэни», одно и то же лицо [6, 38]. Однако ни в одном из источников, приводящих биографию Ван Ци, нет упоминания о том, что он носил литературный псевдоним «Старец, скрывающийся от мира в Имэни».

В литературе мы не нашли точных дат жизни Ван Ци. Биографические справочники указывают обычно, что он жил до и после 1056 г. и умер семидесяти двух лет отроду [см., например: 8, 593—594; 11, 127]. Однако примерные даты его рождения и смерти можно установить. По-видимому, Тань Чжэн-би, который в своем словаре располагает справки о писателях в последовательности их годов рождения, ошибся, поместив Ван Ци между Цай Тинном (род. в 1014 г.) и Лю И (род. в 1017 г.). Исходя из того, что Ван Ци был младшим братом известного поэта, писателя и ученого Ван Гуя, который, как указывает сам Тань Чжэн-би, родился в 1019 г. [8, 597], наиболее ранним из возможных годов рождения Ван Ци следует назвать 1020 г. Если считать, что верна справка о том, что он умер семидесяти двух лет отроду, то примерные даты его жизни будут 1020—1092. Таким образом Ван Ци, современник Су Ши, был моложе его и, естественно, мог стать автором «Продолжения Цзацзуань».

В пользу такого вывода говорит и другое обстоятельство чисто литературного порядка. Именно Янь Шу и Ван Ань-ши, имена которых обычно называют среди современников Ван Ци, высоко ценивших его поэзию, цитировали в своих стихах выражения из «Цзацзуань» Ли Шан-иня. Не исключена возможность, что они делились с Ван Ци своими впечатлениями о «Цзацзуань», которые в ту эпоху были достаточно популярны.

Свое собрание изречений Ван Цзюнь-юй называет «Продолжением Цзацзуань», как бы подчеркивая тем самым традицию жанра, идущую от Ли Шан-иня. Всего в его собрании, как уже говорилось, тридцать одна группа изречений; все заголовки (за исключением одного, повторяющего Ли Шан-иня, и нескольких, синонимичных заголовкам первого собрания) новые. Ван Цзюнь-юй оригинален; в его собрании, пожалуй, больше, чем у других авторов *цзацзуань*, мягкого юмора, веселой улыбки, простых незлобивых шуток. Легко заметить, что изречения написаны ученым-литератором, эстетом, который подсмеивается над неуклюжим и нерасторопным слугой, над сельским артистом, когда тот поет, над плохим стилистом, который норовит писать на самой лучшей бумаге, над трактатами начинающего студента, которые всегда «маловразумительны». Но и в этом собрании сказано много правдивых и колких слов о подкупе и продажности в системе государственных экзаменов, минуя которые человек не мог получить чиновной должности, о сомнительном поведении монашеской братии, о тупости чиновников, жестокости и несправедливости по отношению к бедным людям. И если мы правы в нашем предположении, что автором этого сочинения был Ван Ци, то можно утверждать, что танские и сунские *цзацзуань* сочинены (или сочинение их приписывается) большими мастерами художественного слова, крупными поэтами своего времени — Ли Шан-инем, Ван Ци и Су Ши.

Представляется, что выяснение частного вопроса о подлинном авторстве первых двух собраний *цзацзуань* имеет значение не только для изучения жанра *цзацзуань*, но и для истории китайской средневековой литературы. Дело в том, что *цзацзуань* Ли Шан-иня, так же как *цзацзуань* Су Ши, не вошли ни в одно из собраний сочинений указанных авторов, и принадлежность этим мастерам таких своеобразных и в старинном традиционном понимании таких «низких» произведений, как *цзацзуань*, говорит о разносторонности и народности творчества лучших поэтов Китая IX—XII вв.

ЛИТЕРАТУРА

1. Цзацзуань. Изречения китайских писателей IX—XIX вв., пер. с кит. И. Э. Циперович, М., 1969.
2. Циперович И. Э., О жанре китайских изречений цзацзуань (история изучения и характеристика жанра), — «Жанры и стили литератур Китая и Кореи», М., 1969, стр. 51—73.
3. Циперович И. Э., По поводу авторства собрания заметок «Цзацзуань И-шаня», — «Историко-филологические исследования», М., 1967, стр. 401—408.
4. Лу Синь, Чжунго сяошо ши люе (Краткая история китайской повествовательной литературы), Пекин, 1958.
5. Мин ши ивэнь чжи; бу фу бянь (Литературный раздел Истории династии Мин с дополнениями и приложениями), Пекин, 1959.
6. Пэн Цзо-чжэн, Гу цзинь тун син мин да цыдянь (Большой словарь исторических лиц древности и современности, носивших одинаковые фамилии и имена), Пекин, 1936.
7. Сун ши ивэнь чжи (Литературный раздел Истории династии Сун с дополнениями и приложениями), Шанхай, 1957.
8. Тань Чжэн-би, Чжунго вэньсюецзя да цыдянь (Большой словарь китайских писателей), Шанхай, 1934.
9. Цуншу цичэн, вып. 1, Шанхай, 1935—1937.
10. Чжунго жэньминь да цыдянь (Большой китайский биографический словарь), Шанхай, 1930.
11. Weng T'ung-wen, Répertoire de dates des hommes célèbres des Song. Matériaux pour le manuel de l'histoire de Song, IV, Paris, 1962.

И. С. Гуревич

**ПРЕДЛОГИ
В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ III—V вв. н. э.¹**

Детальное рассмотрение и изучение грамматических особенностей языка каждого периода необходимо для уточнения и воссоздания полной картины исторической грамматики китайского языка.

Данная статья посвящена рассмотрению значений и употребления некоторых предлогов в китайском языке III—V вв.

В качестве основного источника для исследования грамматических особенностей и употребления предлогов в языке III—V вв. мною были взяты переводы на китайский язык произведений буддийской литературы. Тексты сутр «Бай юй цзин» [4] и «О царевиче Судане» [7] были обследованы полностью; кроме того, было обследовано 78 сюжетов из сутр, помещенных в сборнике Чан Жэнь-ся «Избранные сюжеты из произведений буддийской литературы» [9]².

В качестве дополнительного материала были использованы «Записки о поисках духов» Гань Бао [5] и некоторые другие оригинальные китайские произведения, относящиеся к рассматриваемому периоду³.

В рассматриваемый период истории китайского языка функция предлога становится наиболее обычной для ряда слов, которые в классическом древнекитайском языке употреблялись главным образом в знаменательных значениях (предлогами часто становились глаголы). Превратившись в предлоги, эти слова стали вытеснять более старые предлоги с теми же значениями. Кроме того, у новых предлогов появились и новые значения.

При рассмотрении предлогов глагольного происхождения возникают две трудности: первая из них связана с тем, что наряду с употреблением предлога продолжает употребляться также глагол, от которого данный предлог произошел, при этом между предлогом и глаголом сохраняется тесная смысловая связь, поэтому не всегда легко провести границу между глагольным и предложным употреблением материально одного и того же слова. В этом случае решение вопроса о том, в каком значении — знаменательном или служебном — употреб-

¹ Общую характеристику грамматического строя китайского языка указанного периода см. [1]. Здесь и ниже цифры в квадратных скобках отсылают к работам, помещенным в списке в конце каждой статьи под соответствующим номером. Номера разных работ отделяются друг от друга точкой с запятой. Если нужно указать страницу (страницы), соответствующая цифра (цифры) ставится после номера работы и отделяется от него запятой.

² Эти отрывки, как и сутра «О царевиче Судане», цитируются по: [8].

³ Характеристику источников см. [1, 182—185].

лено слово, зависит от функции его в предложении: если данное слово само выступает в функции сказуемого, значит, оно употреблено в знаменательном, глагольном значении; если же в функции сказуемого в предложении употреблен другой, явно знаменательный глагол, значит, интересующее нас слово выполняет служебную функцию, т. е. является предлогом. Вторая трудность состоит в том, что многие предлоги глагольного происхождения материально совпадают с модификаторами при сложных глаголах⁴.

Решить, в каком случае мы имеем дело с модификатором, а в каком — с предлогом, действительно очень трудно, особенно если учесть, что в языке рассматриваемого периода сложные глаголы легко разделялись и модификатор оказывался отделенным от первого глагольного корня другими словами. Мы условимся различать материально совпадающие предлоги и модификаторы следующим образом. Обозначим интересующую нас морфему (предлог или модификатор) буквой А. Если А стоит перед знаменательным глаголом (не обязательно непосредственно перед ним), то он заведомо не может быть модификатором, в этом случае А — предлог. Если А стоит после глагола (также не обязательно непосредственно после него), то, для того чтобы решить, чем оно является, надо рассмотреть конструкцию, которую образует А с глаголом. В том случае если это конструкция, характерная для сложных глаголов, у которых А может быть модификатором, то вопрос решается в пользу модификатора. Если же А с глаголом такой конструкции не образует, то мы считаем А предлогом [ср. ниже, разделы о предлогах (1) *цзай*, (2) *сян* и (3) *юй*]⁵.

В данной статье речь пойдет только о новых предлогах, т. е. о предлогах, не встречавшихся в эпоху Чжоу или заметно изменивших свое значение.

ПРЕДЛОГ (4) *ЦУН*

Предлог *цун* — один из наиболее ранних среди новых предлогов. В этой функции он начинает употребляться с конца периода Чжаньго (403—221 гг. до н. э.). Так, Лю Ци в «Кратком словаре служебных слов» [6, 4] приводит пример с *цун* в функции предлога из текста «Цзо чжуань». Наиболее обычные значения этого предлога — 'из', 'с'. Постепенно предлог *цун* вытеснил более старый предлог с теми же значениями — (5) *цзы*⁶.

В языке рассматриваемого периода предлог *цун* употребляется следующим образом.

1. Предлог *цун* вводит косвенное дополнение, обозначающее исходный пункт действия:

(6) *Тайцзы цун чжун гун бэй чу чэн мэнь* (III, 420в) 'Царевич вышел за ворота города из северной части внутреннего дворца';

(7) *Во цун юань фан лай* (III, 421в) 'Я прибыл издалека'.

Цун может также указывать на исходный момент действия, в этом случае он часто корреспондирует с (8) *лай* или (9) *илай*:

(10) *Во цун шэн илай, буши вэйчан ю хуй е* (III, 422а) 'Я всю

⁴ Подробно о сложных глаголах и модификаторах см. [2].

⁵ Цифры в круглых скобках перед транскрипцией китайских слов и предложений отсылают в конец книги, где эти слова и предложения даны в иероглифическом написании.

⁶ Предлог *цзы* несколько раз встретился в исследуемых текстах, но выглядит он в них как архаизм. Кстати, и встретился он в тех отрывках, которые помимо *цзы* содержат и другие архаичные элементы.

жизнь (досл. от рождения) раздавал милостыню и никогда не раскаивался [в этом].

Предлог *цун*, управляющий косвенным дополнением со значением исходного пункта или момента действия, продолжает употребляться и в среднекитайском языке.

В исследуемых текстах встретился один пример, где *цун* указывает не на исходный пункт, а на то, как совершается действие:

(11) *Чжайчжу цзян во, цун дао эр лай* (IV, 428в) 'Хозяин-арендатор привел меня сюда (досл. по дороге вел меня сюда)'.

2. Предлог *цун* мог также вводить косвенное дополнение со значением лица, у которого что-то берется:

(12) *Во юй цун ван цицю и юань* (III, 419а) 'Я хочу просить *правителя* [исполнить] одно желание';

(13) *Во бу вэнь, жу цун во со ши* (III, 798б) 'Я не слышал, чтобы ты просила у меня есть'.

Когда *цун* употребляется в таком значении, дополнение после него часто опускается:

(14) *Фэй цзи цзо ли, цун со сань юань* (III, 423а) 'Принцесса тут же совершила церемонию и попросила [его исполнить] три желания (досл. попросила у него три желания)'.

В отличие от значения 'из', 'с', которое предлог *цун* сохранил и в среднекитайском и в современном китайском языке, значение 'у', 'от' характерно для предлога *цун* только в языке рассматриваемого периода; ни в более ранних, ни в более поздних памятниках *цун* в этом значении почти не встречается.

ПРЕДЛОГ ЦЗАЙ

В древнекитайском языке *цзай* употреблялось главным образом как глагол⁷. Кроме того, судя по примерам, которые дает Ян Шу-да в работе «Толкование слов» [10, 378—380], оно могло употребляться как наречие [(15)*цай*, (16)*цай*] и в единичных случаях выступало как предлог. Однако и те немногие примеры на *цзай* в функции предлога, которые Ян Шу-да приводит из памятников доханьского времени, не очень убедительны.

В языке рассматриваемого периода *цзай* в функции предлога встречается еще довольно редко.

Дополнение, которым управляет предлог *цзай*, обозначает место действия и стоит, как правило, перед глаголом-сказуемым:

(17) *Цзай цы сюе дао, вэй цзихэ суй?* (III, 421б) 'Сколько лет [нужно пробыть] *здесь*, чтобы постичь истину?'.

В тех случаях, когда *цзай* с дополнением стоит после какого-то глагола, получается конструкция, характерная для сложных глаголов с модификатором направления движения. В исследуемых текстах встретился только один пример, когда *цзай* с дополнением стоит после глагола, но вряд ли его можно рассматривать как модификатор. Дело в том, что модификатор *цзай* присоединяется к односложным глаголам, а в примере, о котором идет речь, *цзай* стоит после двусложного глагола. Это дает основание считать, что *цзай* в этом примере скорее предлог:

(18) *Во цзюйчжи цзай да хай шуй-чжун* (III, 798б) 'Я живу в водах великого моря'.

⁷ Добсон считает, что *цзай* как предлог встречается уже в раннем древнекитайском (до IV в. до н. э.). См. [11, 37 и 133].

ПРЕДЛОГ *СЯН*

В исследуемых текстах предлог *сян* вводит дополнение со значением лица, к которому обращена речь. Дополнение с предлогом *сян* стоит перед глаголом, при этом чаще всего перед глаголами со значением «говорить» [в большинстве случаев *сян* с дополнением употребляется перед глаголом (19) *шо* 'говорить' или (20) *дао* с тем же значением].

Дополнение, управляющее предлогом *сян*, употребляется также при глаголах со значением «просить». В этом случае *сян* очень близко к предлогу *цун*, когда последний управляет названием лица:

(21) *Жу цзинь хэгу, бу сян во дао?* (III, 798б) 'Почему же ты мне ничего не говоришь?';

(22) *Сян сян сань шо...* (IV, 432а) '[Он] трижды сказал *слону*...';

(23) *Цзи сян фу-му чаньхуй* (IV, 452б) '[Они] тут же покалялись перед родителями';

(24) *У шэ фанбянь, сян ван цю ай* (IV, 685б) 'Я придумаю способ, как у правителя выпросить помилование'.

Сян может стоять также после глагола, тогда возможны два случая: если *сян*, будучи употреблено после глагола, управляет дополнением со значением лица, такое *сян* продолжает оставаться предлогом; однако *сян* после глагола может управлять дополнением со значением места — в последнем случае получается конструкция, характерная для сложных глаголов с модификатором, указывающим направление.

Пример на предлог *сян*, стоящий после глагола-сказуемого:

(25) *Цюн лу гуй сян пуса* (IV, 685в) 'Все олени преклонили колена перед бодисатвой'.

В среднекитайском языке дополнение, выраженное существительным с предлогом *сян*, стояло перед глаголом-сказуемым, предлог *сян* [он употреблялся так иногда вместо другого предлога — (26) *ван*] указывал направление действия. В языке же рассматриваемого периода предлог *сян* вводит дополнение со значением лица, к которому обращено действие; употребляется предлог *сян* перед глаголом-сказуемым. Морфема *сян* может также указывать направление, но тогда она стоит после глагольного корня и является модификатором сложного глагола.

ПРЕДЛОГ (27) *ГУН*

В древнекитайском *гун* употреблялось как наречие со значением 'вместе' [соответствовало современному (28) *икуай* 'вместе']. Продолжая употребляться как наречие, *гун* в языке рассматриваемого периода употребляется и как предлог⁸, близкий по значению к более старому предлогу *юй* 'с'. Следует отметить, что ни у Ян Шу-да в «Толковании слов», ни у Лю Ци не указано, что *гун* могло употребляться как предлог.

В исследуемых текстах предлог *гун* встречается довольно часто:

(29) *Гоцюй ю жэнь гун до жэнь чжун цзо юй у-чжун* (I, 10а) 'Некогда один человек находился в комнате со многими другими людьми';

(30) *Жу гун во чжо ша фэнь ци жоу* (II, 24а) 'Ты со мной будешь ловить и убивать [медведя], а [потом] поделим его мясом';

(31) *Шуй ю юнцзянь нэн гун во ши?* (I, 11а) 'Кто окажется [таким] смелым и сильным, что сумеет со мной состязаться?'

⁸ Мы отличаем наречие *гун* 'вместе' от предлога *гун* 'с' следующим образом: когда *гун* употребляется как наречие, оно стоит перед глаголом; когда *гун* употребляется как предлог, оно стоит перед именем.

Интересно проследить, как из наречия *гун* 'вместе' развился предлог *гун* 'с'. В древнекитайском языке существовала конструкция «существительное + *юй* + существительное + глагол» (где *юй* — предлог со значением 'с'). После предлога *юй* вместо существительного могло стоять местоимение 3-го лица (32) *чжи*. Местоимение *чжи* в языке рассматриваемого периода часто опускалось, тогда получалась конструкция «существительное + *юй* + глагол». Существовала другая конструкция, которая формально была похожа на первую, она выглядела так: «существительное + *гун* + глагол». Эта последняя конструкция вполне законченная, в ней ничего не пропущено. Но воспринимать ее стали по аналогии с конструкцией «существительное + *юй* + глагол», т. е. как конструкции с опущенным местоимением *чжи* после *гун*. Поэтому после *гун* стало возможным вставлять существительное; таким образом, *гун* оказалось между двумя именами или, во всяком случае, перед именем (так как первое имя могло быть опущено). Так, *гун* превратилось в предлог со значением 'с'.

Предлог *гун* встречается в среднекитайском языке. В современном языке ему соответствует слово (33) *хэ* 'и', 'с'.

ПРЕДЛОГ *ЮЙ*

В языке рассматриваемого периода выделяются два значения этого предлога, которые не связаны между собой исторически.

1. Предлог *юй*, как и в древнекитайском, употребляется в значении 'и', 'с'. В исследуемых текстах *юй* чаще всего встречается именно в этом значении:

(34) *Чан юй и у вэй чжиши* (III, 452 в) '[Олень] всегда был в дружбе с одной вороной'.

В предложении с предлогом *юй* в указанном значении перед глаголом часто стоит наречие *гун* 'вместе':

(35) *Тайцзы юй фэй цзи ци эр цзы гун чжи му со* (III, 420б) 'Царевич с женой и двумя их детьми вместе отправились к матери'.

Предлог *юй* со значением 'и', 'с' сохраняется и в среднекитайском языке, но там он выглядит как заимствование из вэньяня.

Наряду с *юй* в указанном значении стал употребляться, как уже было отмечено, новый предлог *гун*, который постепенно вытеснил *юй*.

2. Предлог *юй* во втором значении — 'для' — происходит от глагола *юй* 'давать' [в современном языке предлогу *юй* в этом втором значении соответствует предлог (36) *эй*]. Предлог *юй* 'для' с дополнением стоит перед глаголом (в отличие от модификатора *юй* того же происхождения, который стоит после глагола).

Примеров на *юй* в значении 'для' в исследуемых текстах немного. Употребление *юй* в качестве предлога, образованного от глагола «давать», начинается не раньше рассматриваемого периода [в более ранних памятниках значение «для» передавалось исключительно с помощью предлога (37) *вэй*]. Например:

(38) *Си ю и жэнь пиньцун куньфа, юй та кэ цзо* (I, 176) 'Некогда жил один человек. Он был беден, жил в нужде. [Он] нанимался к другим на работу (досл. для других выполнял работу)';

(39) *Би юй цы-чжэ, сянь юй ци хуань* (II, 3а) 'Служанка сказала второму: «Сначала постираю тому (досл. сначала для того постираю)...»'.

Однако гораздо чаще, чем *юй*, в этом значении выступает старый предлог *вэй*, при этом дополнение может быть опущено.

(40) *Тайцзы вэй шэ инь ши* (III, 420а) 'Царевич для [них] приготовил кушанья'.

Юй может стоять также после глагола, управляя дополнением со значением адресата, тогда мы считаем его частью сложного глагола; такое *юй* обладает признаками модификатора, в частности может присоединяться к глаголу и без дополнения.

СЛОВА (41) *ЮН* И (42) *ЧИ*

В исследуемых текстах предлог *юн* имеет несколько значений.

1. *Юн* может указывать на орудие, средство или способ совершения действия. Это значение *юн* примерно то же, что и у предлога (43) *и*: (44) *Юн хэ хэту дэ жу цзянь хао?* (I, 23а) 'На чем ты замешиваешь глину, что получается так хорошо?'

При этом характерным для употребления *юн* является то, что название самого орудия или средства, с помощью которого совершается действие (т. е. существительное, которым должно было управлять *юн*), обычно опускается, и на орудие или способ действия указывает один предлог, который стоит непосредственно перед глаголом:

(45) *Фу ми вэй цзи, цзао ду яо вань, юй юн хай фу* (II, 10а) 'Жена втайне придумала план. [Она] изготовила ядовитые пилюли и хотела ими погубить мужа';

(46) *Вэй ян жуло, май юн цзы цзи* (IV, 413а) '[Я] надеюсь только на кумыс, продаю его и этим живу'.

2. *Юн* перед глаголом может также указывать на объект действия, обычно при глаголах с двумя дополнениями. В древнекитайском в этом значении употреблялся предлог *и*, после которого дополнение, выраженное местоимением 3-го лица *чжи*, могло опускаться [3, 84—85]. Что же касается *юн*, то он в исследуемых текстах почти всегда стоит непосредственно перед глаголом, а дополнение опускается. Последнее может быть восстановлено, как правило, из предыдущей фразы, где оно является названием объекта действия и стоит после глагола. Иногда дополнение, называющее орудие действия, управляется предлогом *и*, а после него, непосредственно перед глаголом, стоит *юн*, который как бы дублирует дополнение с *и*:

(47) *Гэ цзи бао чжу, лай юн фэн жу* (IV, 412б) 'Каждая [из пятисот небесных дев], держа драгоценную жемчужину, подойдет и поднесет ее тебе';

(48) *Цзи и шэнь жоу, юн чжао чэн тоу* (IV, 322в) 'Затем [он] взял собственное мясо и положил его на чашу весов'.

3. Предлог *юн* может указывать на причину действия. В этом случае он обычно корреспондирует со словом (49) *гу* в конце предложения. На русский язык конструкция *юн ...гу* переводится 'из-за':

(50) *Ван цзи пан чэнь юн ши-чжи гу, хуй гун чжу во эр* (III, 420б) 'Правитель и приближенные сановники разгневались из-за этого и изгнали меня'.

Конструкция *юн ...вэй* служит для выражения вопроса. На русский язык она обычно переводится 'зачем?', 'к чему?'. По смыслу такой вопрос, как правило, риторический:

(51) *Дан юн цы го вэй?* (III, 422б) 'К чему мне эти плоды?'

Значения предлога *юн* частично перекрещиваются со значением слова *чи*. Последнее может выступать и как знаменательное и как служебное слово. В первом случае это обычный самостоятельный глагол со значением 'держатъ':

(52) *Чи и ба доу* (II, 22а) '[Обезьяна] держала пригоршню бобов';

(53) *Цзо чжо по ци, ю чи чжэ чжан* (IV, 410в) 'В левой руке [он] держал разбитый сосуд, в правой руке он *держал* сломанный посох'.

Как видно из примеров, *чи* в этих предложениях выступает в роли сказуемого и, кроме *чи* 'держать', в предложении нет другого глагола. Такое употребление слова *чи* вполне обычно.

Однако очень часто *чи* встречается не в качестве основного сказуемого, а в качестве полуслужебного слова, которое вводит существительное, являющееся второстепенным членом предложения. Такой второстепенный член предложения может иметь несколько значений.

1. Сочетание существительного со словом *чи* может выступать в роли обстоятельства образа действия, указывающего на то, что субъект, осуществляя действие, имеет при себе что-то. В этом случае сказуемое чаще всего бывает выражено глаголом движения или направления движения (но возможны глаголы и с другим значением):

(54) *Чжун бицю и ши чи инци жу чэн цю ши* (III, 40в) 'Все монахи с патрами *вошли* в город просить пищи';

(55) *Ши Шэлифо, мин жи дао ши, чжао и чи бо, чжи Сюйда цзя* (IV, 420а) 'И тогда, с наступлением следующего дня, Шарипутра, одевшись и *взяв* патру, *отправился* в дом к Судатте';

(56) *Цзибянь чи цянъ, ван май ци го* (II, 14а) 'Взяв деньги, [он] сразу же *пошел* покупать эти плоды';

(57) *Лю и юй хуанъ юе: чи цы кэи би нань* (Соу, 136) '[Он] оставил яшмовое кольцо и сказал: «*Имея его при себе, можно избежать трудностей*»'.

Существительное, которое вводится посредством *чи*, может быть опущено, тогда *чи* окажется непосредственно перед самым глаголом:

(58) *Фэньна чи ван, цзи дэ эр цян лан цзинь* (IV, 588б) 'Фэньна с [лекарством] *пошел* к [богачу] и сразу получил две тысячи лан золота'.

2. Существительное, вводимое при помощи *чи*, может выступать в функции косвенного дополнения со значением орудия действия (в этом случае *чи* соответствует предлогу *юн* в современном китайском языке):

(59) *Чи дао цзы гэ гу жоу юй ин* (IV, 531в) '[Он] сам отрезал *ножом* мясо от собственного бедра и дал соколу';

(60) *Чи те со сифу* (IV, 514в) '[Он] был связан *железной цепью*';

(61) *Шоу цзи чи дао цы се ся и чуан* (Соу, 119) 'Шоу сразу *вонзил нож* в бедро и нанес рану';

(62) *Хэгу вэй та, чи цзян цюй шуй?* (IV, 346а) 'Почему я для других ношу *кувшином* воду?'

3. Существительное с *чи* может выступать в роли прямого дополнения. Тогда *чи* функционально очень близко к предлогу (63) *ба*, выносящему прямое дополнение в современном китайском языке.

Как правило, существительное с *чи* выступает как прямое дополнение тогда, когда главное сказуемое выражено глаголом давания — отнимания. В этом случае дополнение, обозначающее объект действия, с помощью *чи* выносится вперед и ставится перед глаголом, а дополнение со значением адресата (если оно не опущено) стоит после глагола:

(64) *Ши ю и жэнь чи хуанъси вань шоу-юй сяо эр* (II, 24а) 'В это время какой-то человек *дал* мальчику «пилюли радости» (досл. *взяв* «пилюли радости», *дал* их мальчику)'.

Дополнение со значением адресата может быть опущено:

(65) *Го фа ши жэнь, яо лин тун нюй, чи у буши* (IV, 418б) 'Согласно законам [этой] страны нужно было, чтобы девушка, *взяв* вещи, раздавала [людям]'.

Иногда помимо *чи*, который вводит дополнение, называющее обь-

ект действия, перед сказуемым стоит еще старый предлог *и*, выполнявший в древнекитайском языке ту же функцию, которую в рассматриваемый период выполняет *чи*:

(66) *Жу цзинь хэгу чи во бай сян и юаньцзя?* (III, 420а) 'Почему ты отдал врагу моего белого слона?'

Иногда же перед глаголом стоит слово *чи*, а дополнение, называющее объект действия, вводится с помощью старого предлога *и*:

(67) *Цзюй-цзя цайу, фэнь взй и фэнь, и ну фэньна, чи цзо и фэнь* (IV, 588б) 'Все богатство, которым владела семья, составило одну долю наследства, а раба [по имени] Фэньна сделали второй долей (досл. *взяв* раба Фэньна, сделали второй долей)'

Из всего сказанного выше можно заключить, что в исследуемых текстах слово *чи* имеет очень широкую сферу употребления.

Сравнивая употребление слов *чи* и *юн*, замечаем, что в ряде случаев эти слова употребляются как синонимы; ниже приводим два примера, в первом из которых дополнение, называющее объект действия, вводится с помощью слова *чи*, а во втором на него указывает *юн* (само дополнение здесь опущено):

(68) *Тайцзы шэнь чи бай сян юй юаньцзя бу?* (III, 419в) 'Царевич действительно отдал врагу белого слона?'

(69) *...эр тайцзы юн юй юаньцзя* (III, 419в) '...а царевич отдал его врагу'.

Кроме того, встречаются примеры, когда синонимы *чи* и *юн* стоят рядом; в следующем примере *чиюн* вводит косвенное дополнение, значение которого довольно трудно указать точно:

(70) *Ван дэ сань ху, чиюн гун ян чжу шамэнь* (IV, 532в) 'Он надеялся получить три ху [молока] и [этим молоком] угостить всех шраманов'.

Из этого можно заключить, что одно и то же значение в языке рассматриваемого периода могло выражаться с помощью разных предлогов.

СЛОВО (71) ЦЗЯН

В исследуемых текстах *цзян* употребляется очень широко, проявляя, видимо, тенденцию превратиться в служебное слово.

Как чисто знаменательное слово *цзян* 'вести' редко употребляется в исследуемых текстах, т. е. редки примеры, в которых *цзян* было бы единственным глаголом в предложении и выступало бы в функции основного сказуемого.

Как известно, в классическом древнекитайском языке *цзян* употреблялось как показатель будущего времени. В языке рассматриваемого периода и в этой функции *цзян* встречается редко, ибо в данной роли его заменило служебное слово (72) *дан*.

В языке рассматриваемого периода наиболее обычным для *цзян* является его употребление в сочетании с глаголом движения. В этом случае *цзян* очень похоже на рассмотренное слово *чи*, когда последнее сочетается с глаголами движения.

Отличие в употреблении слова *цзян* от слова *чи* состоит в том, что *чи*, как правило, вводит неодушевленное существительное, а *цзян*, наоборот, — одушевленное.

Сочетание *цзян* с глаголом движения мы переводим на русский язык глаголом «вести» с приставкой или же переводим *цзян* предлогом или наречием, а глагол движения — глаголом же. Иначе говоря, при переводе в зависимости от общего смысла предложения мы считаем главным словом то *цзян*, то следующий глагол:

(73) *Цянь цзян у бай гукэ, жу хай цай бао* (IV, 719в) 'Сначала [я] с пятьюстами торговцами отправился в море искать сокровищ';

(74) *Ван цзян гуй-нуй, жу нэй гун-чжун* (IV, 719в) 'Правитель ввел девушку-ракшасу во внутренний дворец';

(75) *Цзи цзян фужэнь, чу го таоцзоу* (IV, 719в) '[Он] немедленно бежал с женой из государства';

(76) *Во дан цзян жу ду хай би ань* (III, 798в) 'Я переправлю тебя на другой берег моря'.

Во всех приведенных выше примерах *цзян* употреблено в предложениях, где главное сказуемое выражено глаголом движения, т. е. переходным глаголом. Однако иногда *цзян* может быть употреблено в предложениях, где сказуемым является переходный глагол:

(77) *Во юй цзян жу цзо юй шань ю* (III, 798в) 'Я хочу сделать тебя лучшим другом'.

Если в последнем примере подставить вместо *цзян* морфему *ба*, то получится современная конструкция с вынесенным дополнением. Однако в языке рассматриваемого периода *цзян* еще редко встречается в такой конструкции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гуревич И. С., К характеристике грамматического строя китайского языка III—V вв. в связи с вопросом периодизации, — сб. «Спорные вопросы строя китайского языка», М., 1965.
2. Гуревич И. С., Сложные глаголы в китайском языке III—V вв., — сб. «Спорные вопросы строя китайского языка», М., 1965.
3. Яхонтов С. Е., Древнекитайский язык, М., 1965.
4. «Бай юй цзин», перевод выполнен в 492 г., переводчик Гуннавриддхи; цитируется по изданию «Цзин лин кэ цзин чу» (1914); указывается цзюань (I, II), страница (арабская цифра) и сторона (а, б).
5. Гань Бао, Записки о поисках духов (Соу шэнь цзи), Шанхай, 1958 (в цитатах: Соу).
6. Лю Ци, Краткий словарь служебных слов (Чжу цзы бань люе), Шанхай, 1940.
7. «О царевиче Судане» («Тайцзы Сюйдана цзин»), перевод выполнен в эпоху западной Цинь, т. е. в период между 385 и 437 гг.; цитируется по «Трипитаке».
8. «Трипитака» («Да чжэн синь сю да цзан цзин»), Токио, 1924—1928; указывается том (римская цифра), страница (арабская цифра), столбец (а, б, в).
9. Чан Жэнь-ся, Избранные сюжеты из произведений буддийской литературы (Фо цзин вэньсюе, гуши сюань), Шанхай, 1958.
10. Ян Шу-да, Толкование слов (Цы цюань), Пекин, 1956.
11. Dobson W. A. C. H., Late Han Chinese. A Study of the Archaic-Han Shift, University of Toronto Press, 1964.

И. Т. Зограф

**ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНΙΑ
В КИТАЙСКИХ ПАМЯТНИКАХ
СЕВЕРНОЙ ГРУППЫ (ЮАНЬ — МИН)**

В период эпох Сун, Юань и начала Мин в китайской литературе на байхуа выделяются две группы памятников—северная и южная,—отличающиеся системой грамматических признаков. Северная и южная группы памятников отражают два диалекта, развивающиеся параллельно; Люй Шу-сян называет их северным и южным гуаньхуа [II, 148].

Различия в языке отдельных памятников китайской литературы наиболее отчетливо проявляются в области так называемых пустых морфем (сюда относятся не только служебные слова или частицы, но также местоимения и некоторые наречия).

В данной статье будут рассмотрены личные местоимения северной группы памятников, причем только те, которые не употребляются в южных памятниках. Таким образом, на местоимениях, распространенных и в северных и в южных памятниках [(1) *во*, (2) *ни*, (3) *та*]¹, мы не будем останавливаться². Материал почерпнут из различных по жанру произведений: пьес юаньского периода («Западный флигель» [IV] и «Сборник юаньских цзацзюй» — [V]) и «Юань-чао би-ши» («Секретная история монголов») — [VI]. Привлечение памятников разного жанра полезно в том отношении, что позволяет проследить, были ли рассматриваемые грамматические явления общедиалектными, или они свойственны только какому-то определенному жанру.

Несколько слов о «Юань-чао би-ши». Это произведение (издание текста с предисловием Б. И. Панкратова осуществлено в 1962 г.) «представляет собой полуэпическое, полуисторическое повествование о предках монгольского царского рода, о племенных взаимоотношениях в период, предшествовавший объединению монголов под властью Чингисхана, о жизни и деятельности самого Чингиса и о некоторых событиях, происходивших во времена его сына и преемника Угэдэя» [III, 5]. Создано оно в Монголии в XIII в. Автор его неизвестен. Точная дата написания памятника пока не установлена [III, 5]. Люй Шу-сян включает его в список письменных памятников эпохи Мин [II, 200]. «До нас не дошел монгольский текст „Юань-чао би-ши“ в оригинальном написании уйгурским алфавитом. Сохранилась лишь транскрипция этого текста китайскими иероглифами с подстрочным переводом каждого монголь-

¹ Цифры в круглых скобках перед транскрипцией китайских слов и предложений (в нескольких случаях без транскрипции) отсылают в конец книги, где эти слова и предложения даны в иероглифическом написании.

² О личных местоимениях в южных памятниках см. [I, 29—39].

ского слова на китайский язык и связным, во многих случаях сокращенным, китайским переводом каждого параграфа, на которые разбито все сочинение» [III, 6]. Этот связный перевод и явился объектом исследования [VI]³.

МЕСТОИМЕНИЕ (4) АНЬ

Местоимение *ань* [слитная форма от (5) *вомэнь*] в рассматриваемых текстах употребляется как в значении множественного, так и в значении единственного числа. Оно может выступать в роли определения [обычно без оформления и только в очень редких случаях с определительно-именным суффиксом (6) *ды*], а также подлежащего и дополнения. Примеры из пьес:

(7) *Ань чжэли ю игэ туди* (С, 59) 'У нас здесь есть один послушник';

(8) *Ань бянь ши сун цзян* (Ю, 148) 'Я — Сун Цзян';

(9) *Ань сун гун мин цзай нали?* (Ю, 156) 'Где наш Сун Гун-мин?';

(10) *Цин цзя гунчжу юй ань* (Ю, 125) '[Я] просил отдать принцессу мне в жены';

(11) *Лаофуцзэнь чжао ань вэнь чжанлао...* (С, 18) 'Госпожа послала меня спросить у настоятеля...'

Люй Шу-сян указывает [II, 163], что в «Юань-чао би-ши» не встречается местоимение *ань* в значении единственного числа, даже в функции определения (по мнению Люй Шу-сяна, местоимение *ань* в единственном числе чаще употребляется в притяжательном значении). Следует заметить, что подобные примеры хотя и редки, но не исключены. В следующем примере из «Юань-чао би-ши» *ань*, употребленное в функции дополнения, имеет значение единственного числа:

(12) *Жо гуай ань а, хэ бу аньжань гуайцзэ* (Ши, 6, 32а) 'Если [ты, отец], укоряешь меня, то почему бы не делать это спокойно?'.

В значении множественного числа местоимение *ань* в пьесах иногда оформляется суффиксами множественности — (13) *мэнь*, (14) *мэй* и (15) *дэн* (на восемь случаев *мэнь* по одному разу *мэй* и *дэн*); в «Юань-чао би-ши» местоимение *ань* обычно не оформляется суффиксом *мэй* (суффикс *мэнь* там совершенно отсутствует). Пример из пьесы:

(16) *Хао цзю, аньмэнь цзо е ду цзуйляо е* (Ю, 171) 'Хорошее было вино, вчера вечером мы сильно напились'.

В цзиньских песенно-повествовательных произведениях — чжугундяо — (17) «Лю Чжи-юань чжугундяо» и (18) «Дун си сян», относящихся также к северной группе памятников, местоимение *ань* наблюдается и в значении множественного, и в значении единственного числа; с суффиксами множественности оно не отмечено.

МЕСТОИМЕНИЕ (19) НИНЬ

Местоимение *нинь* [слитная форма от (20) *нимэнь*], как и *ань*, в рассматриваемых текстах употребляется и в значении множественного, и в значении единственного числа; оно выступает и как определение, и как подлежащее. Примеры:

(21) *Нинь ду бу эн, во цюй* (Ши, 2, 31а) 'Вы [оба] не можете, я поеду';

(22) *Нинь бу чжидео* (Ши, 1, 136) 'Вы не знаете';

(23) *Гэгэ цзао дуй нинь сюнди шо* (Ю, 324) 'Ты, брат, раньше сказал бы мне (букв. твоему младшему брату)'.

³ Ввиду существования двоякой разбивки текста на цзюани (12 и 15) считаем нужным оговорить, что ссылки даются по изданию, имеющему 12 цзюаней.

Хотя Люй Шу-сян указывает [II, 165], что в «Юань-чао би-ши» *нинь* не отмечено в значении единственного числа, нам удалось встретить такие примеры; однако местоимение *нинь*, как и *ань*, в значении единственного числа здесь наблюдается редко, например:

(24) *Кэи шэндэ та-ды ши*, нинь *цзы чжи чжэ* (Ши, 5, 45а—б) 'Сможешь ли [ты] справиться с ним, [об этом] ты думай сам'.

В значении множественного числа *нинь* в «Юань-чао би-ши» иногда оформляется суффиксом *мэй* (в пьесах нам подобные случаи не встретились). Например:

(25) *Ниньмэй сю набань цзо* (Ши, 2, 9а) 'Вы не поступайте так'.

В пьесах встречается и графический вариант местоимения (19) *нинь* — (26); последнее выполняет в предложении функции подлежащего, дополнения и определения. Примеры:

(27) *Нинь лянгэ цзинь е цинь чжэчжэн* (С, 73) 'Вы оба сегодня ночью лично докажете [это]';

(28) *Цзинь е сян фэн гуань цзяо нинь* (С, 136) ['Я] учу тебя, как встретить ее сегодня ночью';

(29) *Нинь хайэр бе ю и цзи* (С, 52) 'У меня (букв. твоей дочери) есть другой план'.

В «Юань-чао би-ши» иероглиф (26) вообще не отмечен — ни как графический вариант *нинь*, ни в других значениях.

В чжугундяо местоимение *нинь* употребляется и в значении множественного, и в значении единственного числа; с суффиксами множественности не встретилось. Часто вместо (19) употребляется (26).

МЕСТОИМЕНИЕ (30) ЦЗА

Местоимение *цза*, как указывает Люй Шу-сян [II, 176], является стяженной формой местоимения (31) *цзыцзя*, распространенного в средневековом китайском языке (оно сохранилось в современных диалектах) и синонимичного современному местоимению (32) *цзыцзи*. Как и *цзыцзя*, местоимение *цза* в сунских, цзиньских и юаньских памятниках могло употребляться после личных местоимений, но на этом мы здесь останавливаться не будем.

Как личное местоимение *цза* и в пьесах и в «Юань-чао би-ши» использовалось и в значении единственного числа (= *во*), и в значении множественного числа [= (33) *цзамэнь*]. По мнению Люй Шу-сяна [II, 177], оба эти значения у местоимения *цза* возникли одновременно (у рассмотренных выше местоимений *ань* и *нинь* значение единственного числа вторично, оно явилось результатом расширения их значения, первичным является значение множественного числа). Местоимение *цза* в значении множественного числа представляет собой включающее местоимение [= (34) *ни во*] и отличается от *ань* так же, как современное *цзамэнь* отличается от *вомэнь*. Примеры:

(35) *Цза хэ ни цюй начу шохуа цюй* (Ю, 88) 'Пойдем (букв. я и ты пойдем) туда и поговорим';

(36) *Буцэн ю чжэньши хай цза-ды яньюй* (Ши, 8, 236) '[Он] никогда не говорил ничего такого, что могло бы действительно навредить мне';

(37) *Цза тун шан цзин цюй ба* (Ю, 368) 'Поедем (мы) в столицу вместе';

(38) *Цза цзяо байсин цилля* (Ши, 7, 30а) 'Мы поднимем народ'.

Местоимение *цза* в значении множественного числа могло выступать и с суффиксом *мэй* (в пьесах — редко, в «Юань-чао би-ши» — часто). Например:

(39) Цзамэй бэнь ши и цзунцзу-ды жэнь (Ши, 3, 6б) 'Мы с тобой одного рода';

(40) Цзамэй е-ли це сю син (Ши, 3, 17а) 'Ночью нам не следует двигаться дальше'.

В пьесах употребляется также форма (41) *цзацзя*, обычно в значении единственного числа. Местоимение *цза* представляет собой стяженную форму сочетания, уже содержащего (42) *цзя* [II, 177], но тем не менее по аналогии с (43) *воцзя*, (44) *ницзя*, (45) *тацзя* образуется еще и *цзацзя*. Например:

(46) *Цзяосин* цзацзя (Ю, 141) 'От крика проснулся я'.

В чжугундяо *цза* употребляется и в значении единственного, и в значении множественного числа; отмечена форма *цзацзя*.

МЕСТОИМЕНИЕ (47) ЦЗАНЬ

Местоимение *цзань* (слитная форма от *цзамэнь*) возникло позднее, чем *ань* и *нинь*, и в чжугундяо оно не представлено, там употребляется только *цза*. Как указывает Люй Шу-сян [II, 165], само местоимение *цза* возникло сравнительно поздно (оно появилось одновременно с *ань* и *нинь*) и, когда создавались чжугундяо, в разговорном языке еще не было слитной формы *цзань*.

Встречается *цзань* главным образом в пьесах юаньского периода и изображается там и как (48) или (49). Наблюдается оно как в значении множественного, так и в значении единственного числа. Примеры:

(50) Цзань цюй бу цюй? (Ю, 342) 'Мы поедем или нет?';

(51) Дао минжи цзань бе ю хуа шо (С, 83) 'Завтра мы еще поговорим';

(52) Цзань хэ ни тун цюй (Ю, 208) 'Я пойду с тобой';

(53) Цзань бу ши чжэли жэнь (Ю, 344) 'Я не здешняя'.

Местоимение *цзань* крайне редко встречается с суффиксами множественности *мэй* и *мэнь*.

В «Юань-чао би-ши» *цзань* совершенно отсутствует; как уже говорилось, там употребляются *цза* и *цзамэй*. Местоимение *цзань* не представлено и в ряде других памятников северной группы того же времени. В качестве одной из возможных причин, объясняющих это явление, Люй Шу-сян указывает на то обстоятельство, что слитная форма *цзань* в разговорном языке не была так распространена, как *ань* или *нинь* [II, 166]. Но более вероятной причиной он считает следующее. Уже в то время некоторые читали (30) как (47); в разговорном языке этого периода *цза* постепенно вытеснилось и заменилось на *цзам* (что соответствует современному *цзань*). В сунских и цзиньских памятниках (30) еще можно с уверенностью читать *цза*, но в юаньскую эпоху все обстоит сложнее; когда нет доказательств, что местоимение (30) читается *цза* (таким доказательством может быть, например, рифма), то не исключена возможность, что оно читается так же, как местоимение (47). В современном китайском языке (базирующемся на пекинском диалекте) местоимение (33) произносится *цзамэнь* или редуцированно — *цзам*; пишется либо (33), либо (54); эти два написания встречаются не только в разных произведениях, но часто в одном и том же [II, 151].

Итак, мы рассмотрели личные местоимения, специфичные для памятников северной группы. В их употреблении в различных памятниках (в данном случае—юаньские пьесы и «Юань-чао би-ши») нет полного параллелизма. Так, в «Юань-чао би-ши» местоимения *ань* и *нинь* редко встречаются в значении единственного числа; нет местоимения *цзань*;

цза часто сочетается с суффиксом множественности *мэй*; не представлено написание (29) *нинь*. Несмотря на эти частные расхождения, юаньские пьесы и «Юань-чао би-ши» вместе с цзиньскими чжугундяо составляют одну группу памятников, которую как раз и отличает от южной группы наличие местоимений *ань*, *нинь* и *цза*.

ЛИТЕРАТУРА

- I. Зограф И. Т., Очерк грамматики среднекитайского языка, М., 1962.
- II. Люй Шу-сян, Ханьюй юйфа луньвэнь цзи (Сборник статей по грамматике китайского языка), Пекин, 1955.
- III. «Юань-чао би-ши» («Секретная история монголов»), 15 цзюаней, т. 1. Текст, издание текста и предисловие Б. И. Панкратова («Памятники литературы народов Востока. Тексты. Большая серия», VIII), М., 1962.
- IV. Ван Ши-фу, Си сянь цзи (Западный флигель), Шанхай, 1954 (сокр.: С).
- V. «Юаньжэнь цзацзюй сюань» («Сборник юаньских цзацзюй»), Пекин, 1959 (сокр.: Ю).
- VI. «Юань-чао би-ши» («Секретная история монголов»), Шанхай, 1934, Сы-бу цун-кань (сокр.: Ши).

С. Х. Иоффе

О ГРАММАТИЧЕСКОЙ ТЕНДЕНЦИИ В ЛЕКСИКОГРАФИИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА

В статье анализируются два словаря современного китайского языка: 1) «Опыт китайско-русского фонетического словаря», автор — Б. С. Исаенко (М., 1957) и 2) «Иванами Тю:гоку го дзитэн» («Словарь китайского языка, выпущенный издательством Иванами»), автор — проф. Кураиси (Токио, 1963). По форме это китайско-иноязычные словари для некитайцев, однако их отличительная черта еще и в другом — в объеме грамматической информации.

Из предшествующих работ ближе всего к указанным двум стоит «Бэйцзин хуа дань инь цы цыхуэй» («Односложный словарный состав пекинского диалекта») проф. Лу Чжи-вэя (Пекин, 1951). В данной работе изложен метод выделения слов в современном китайском языке и собран большой иллюстративный материал по пекинскому диалекту. Многие из того, что можно сказать о словарях Б. С. Исаенко и Т. Кураиси, относится и к работе Лу Чжи-вэя. Однако эту работу нельзя рассматривать как словарь, с помощью которого, например, можно читать тексты на китайском языке. Следует отметить также и «Concise Dictionary of Spoken Chinese» («Краткий словарь разговорного китайского языка») проф. Чжао Юань-жэня и Ян Лянь-шэна [Кембридж (Массачусетс), 1947]. В этом словаре современный китайский язык является самостоятельным объектом исследования, указаны такие единицы, как «free word» и «bound word», дано описание грамматических морфем китайского языка (предлоги, послелогов, классификаторы, частицы и т. д.). Однако в этом словаре в отличие от словарей Исаенко и Кураиси почти нет иллюстративных примеров, с помощью которых (о чем будет сказано ниже) можно расширить и уточнить представление о грамматической системе языка.

Данная статья в известном смысле является рецензией на первые два словаря, поэтому ниже дано краткое описание каждого из них.

«Опыт китайско-русского фонетического словаря». Работа в основном состоит из трех разделов:

1. От составителя (стр. 3—9) — раздел, в котором автор касается основной для данного словаря проблемы — проблемы слова в китайском языке, а также рассматривает предшествующие работы того же типа (т. е. фонетические словари слов китайского языка).

2. Текст словаря [стр. 15—238 (223 стр.)] содержит около 5500 слов, которые расположены в алфавитном порядке (использован «Проект китайского алфавита» 1956 г.). За словом (в круглых скобках) помещается его иероглифическое написание, далее — переводы на русский язык и, наконец, — пример, взятый из диалогов в произведениях

Ба Цзиня, Лао Шэ, Мао Дуня, Цао Юя и других современных китайских писателей. Пример должен иллюстрировать отдельность данного слова.

3. К проблеме границ китайского слова [стр. 241—318 (77 стр.)] — теоретическая статья, в которой дан содержательный анализ грамматических средств выделения лексико-грамматических единиц китайского языка.

«Иванами Тю: гоку го дзитэн». Автором словаря, судя по титульному листу, является проф. Т. Кураиси — один из ведущих японских лингвистов-синологов, председатель Японского научного общества по изучению китайского языка. Однако, как следует из Предисловия и Послесловия к словарю, проф. Т. Кураиси — идейный вдохновитель словаря и ведущий член коллектива лингвистов разной квалификации, всего около 60 человек.

Рассматриваемый словарь состоит из следующих разделов: 1) Предисловие (стр. 1—2); 2) Введение (стр. 3—25); 3) Текст словаря [стр. 1—747 (пагинация собственно словаря)]; 4) Список китайских и некитайских имен собственных (стр. 748—754); 5) Иероглифический указатель (стр. 757—784); 6) Семантический указатель [стр. 785—898 (113 стр.)]; 7) Таблицы родственных отношений (стр. 899—902); 8) Таблицы мер и весов (стр. 903—904); 9) Список сокращенных иероглифов (стр. 905—960); 10) Таблица слогов китайского языка (стр. 907—910); 11) Послесловие (стр. 911—914).

Содержание разделов 4, 5, 8, 9, 10 исчерпывается их названием, и, кроме того, они стоят в стороне от нашей темы. Поэтому перейдем к остальным разделам.

Из Предисловия мы узнаем о характере словаря: это фонетический словарь. Для расположения слов в алфавитном порядке использован утвержденный в КНР китайский алфавит (Hanyu Pinyin). В этом же разделе говорится об источниках словника и материалов словаря. Во-первых, были использованы словник и материалы работы Лу Чжи-взя. Далее, была произведена роспись ряда произведений писателя Лао Шэ, уроженца Пекина. Из словаря «Ханьюй пиньинь цыхуэй» («Словарный состав китайского языка, расположенный в алфавитном порядке») (Пекин, 1958) была взята новейшая лексика. Наконец, преподаватель Токийского университета Ли Бо передал для словаря материалы по разговорной лексике, которые он собирал в течение многих лет.

В конце раздела отмечается, что благодаря иероглифическому указателю фонетический словарь остается словарем иероглифов, а семантический указатель придает ему свойства справочника.

Во Введении к словарю содержится краткий и в общем традиционный очерк грамматики и лексики современного китайского языка. Но — интересная особенность — в разделе о лексике предлагается выделять в китайском языке 11 стилистических пластов: нейтральный, литературный, деловой, местный пекинский и т. д. (что и реализуется в тексте словаря).

Текст словаря имеет следующую структуру. Все слова расположены в алфавитном порядке. Сначала идет чтение слова, затем его иероглифическое написание, часть речи, номер одного из стилистических пластов. Далее идут переводы на японский язык, а после них расположены иллюстративные примеры, которые даны, однако, не для всех слов. Примерами обеспечено примерно 9 тыс. словарных единиц из 37 тыс. В тех случаях, когда примеры есть, их число при словах различно.

Семантический указатель. Все слова из текста словаря распределены по частям речи, а затем сгруппированы, как полагают авторы словаря, по семантическим признакам. Вот отдельные примеры получившихся группировок. В существительных: часть тела, семья, одежда, пища, жилище и т. д. В глаголах: действия, относящиеся к зрению, к слуху, к обонянию; действия, осуществляемые в основном руками, ногами; глаголы, связанные с одеждой, приемом пищи, жильем и т. д.

Таблицы родственных отношений представляют собой деревья от «я» к старшим и младшим родственникам по крови и по жене (мужу).

В Послесловии его автор, проф. Т. Кураиси, более подробно, чем в Предисловии, рассказывает о том, как у него зрела идея создания словаря, а также о том, как велась работа над ним.

Итак, в чем же заключается грамматическая тенденция в лексикографии китайского языка, представленной рассматриваемыми словарями?

Прежде всего объектом исследования становится не китайский язык вообще (от первых памятников до настоящего времени), а современный китайский язык. В этом лексикография китайского языка следует тому направлению в грамматике, которое анализирует одно из синхронных состояний языка.

В рамках современного китайского языка исследуются не иероглифы, а слова. Иероглифы — единицы, имеющие отношение к письменности, которой пользуется данный язык, они не связаны с системой языка непосредственно. Слова же являются лексико-грамматическими единицами и имеют непосредственное отношение к системе языка.

И в выборе объекта исследования (современный китайский язык), и в выборе единицы исследования (слово) оба словаря едины.

Далее, «грамматикализация» словаря китайского языка идет за счет грамматической информации о слове. Указывается часть речи, как это делается в словаре Т. Кураиси.

Другие виды грамматической информации обычно рассматриваются как относящиеся к семантике. Такой точки зрения придерживаются и авторы рассматриваемых словарей. Однако возможно расширенное или измененное понимание роли этой информации.

В первую очередь сказанное относится к иллюстративным примерам. Справедливо считается, что они иллюстрируют значение слова. Однако кроме этого иллюстративные примеры являются трансформами данного слова. Так как трансформ — единица грамматического порядка, то, следовательно, чем больше мы имеем разнотипных иллюстративных примеров, тем больше знаем о грамматической сущности данного слова. Трансформационная грамматическая информация в известном смысле противоположна указанию на часть речи. Зная часть речи, к которой принадлежит слово, мы знаем минимальное количество грамматических признаков, общих для максимального числа слов с теми же признаками. Зная трансформационный потенциал слова (в котором, заметим, каждый из грамматических признаков данной части речи образует отдельный трансформ), мы знаем максимальное количество грамматических свойств одного слова (и затем, как было показано в работах А. А. Холодовича [3] и Ю. Д. Апресяна [1], класса слов с таким же трансформационным потенциалом).

В этом отношении оба словаря ценны тем, что они вводят в научный оборот иллюстративный материал, новый полностью (у Б. С. Исаенко) или большей своей частью (у Т. Кураиси — за вычетом примеров

Лу Чжи-вэя). При этом надо отдать предпочтение словарю Т. Кураиси, так как здесь значительно больше слов, иллюстрированных примерами, и самих примеров.

Дальнейшая «перекодировка» семантической информации в грамматическую относится уже только к словарю Т. Кураиси, она связана с Семантическим указателем.

Проанализируем приведенные выше в разделе «Семантический указатель» примеры семантических группировок.

Прежде всего, некоторые из них обоснованно признаются рядом лингвистов как частные лексико-грамматические категории какой-то части речи (например, части тела), т. е. как группировки грамматические. Другие (например, термины родства в группировке «Семья») рассматриваются как семантические поля у И. Трира [6] или как семантические категории у П. Роже [5]. Однако, как показал Ю. Д. Апресян [2], группировки типа семантических полей являются группировками единиц с общими трансформационными свойствами, т. е. грамматическими группировками. Последняя разновидность семантических группировок (например, действия, относящиеся к зрению и т. д.) напоминает группировки В. Порцига [4] (которые, кстати, в китайской лингвистике были известны задолго до Порцига). Возможно, что и в отношении этих группировок грамматика может сказать свое веское слово, однако пока что не существует работ, посвященных грамматической природе группировок Порцига.

Итоги грамматического анализа Семантического указателя таковы: поскольку некоторые из семантических группировок признаны грамматическими, то, следовательно, трансформационный потенциал одного из слов данной группировки, представленный в Тексте словаря, свойствен **и остальным членам группировки**. Таким образом, подробные грамматические свойства (трансформационный потенциал) относятся уже не к одному конкретному слову (что делало бы описание языка неэкономным), а к группе слов с таким же трансформационным потенциалом. Разумеется, в словаре Т. Кураиси только путем самостоятельно проведенного сопоставления иллюстративных примеров слов одной группировки можно воссоздать, да и то не полностью, трансформационный потенциал группировки слов. Но ценно уже то, что словарь дает материал для таких сопоставлений.

Важно отметить также, что довольно часто — как и в «Тезаурусе» П. Роже [5] — слово в словаре Т. Кураиси входит в семантическую группировку (у Роже — в семантическую категорию) только в одном из своих значений, в другом значении оно входит уже в другую группировку и т. д. А так как по крайней мере некоторые семантические группировки в словаре Т. Кураиси являются грамматическими, то, следовательно, разные значения слова обладают разными грамматическими свойствами, т. е. проблема разграничения полисемии носит грамматический характер (см. по этому вопросу работы Ю. Д. Апресяна [1; 2]). И в этом отношении словарь Т. Кураиси дает ценный материал для наблюдений.

В силу сказанного выше о грамматической информации в словаре Б. С. Исаенко и особенно в словаре Т. Кураиси ясно, что словарь такого типа значительно расширяют обычные функции китайско-иноязычного словаря для некитайцев (и вообще любого иноязычно-родного словаря). Задача прежних словарей заключалась в том, чтобы содействовать переводу текста. Словарь являлся как бы приложением к тексту, без текста он был бы почти бесполезен. Словарь нового типа, сохраняя старые функции (перевод текста), во многом превращается

в описание языка, имеющее самостоятельную ценность, описание, которое не зависит от текста. Такое описание может быть использовано как пособие для изучения языка.

Выше мы касались главным образом положительных черт двух словарей, именно это было основным в данной статье. Но, разумеется, оба словаря не свободны от недостатков. Критика этих недостатков особенно желательна в отношении словаря Т. Кураиси, так как в настоящее время в китайской лексикографии это самый полный и наиболее интересный словарь. На базе этого словаря, совместными усилиями всех, кто интересуется кругом проблем, охватываемых словарем Т. Кураиси, можно создать словарь еще более высокого качества. Однако критика недостатков не входит в задачи данной статьи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Апресян Ю. Д., О понятиях и методах структурной лексикологии. — «Проблемы структурной лингвистики», М., 1962.
2. Апресян Ю. Д., Дистрибутивный анализ значений и структурные семантические поля, — «Лексикографический сборник», 1962, № 5.
3. Холодович А. А., Опыт теории подклассов слов, — ВЯ, 1960, № 1.
4. Porzig W., Wesenhafte Bedeutungsbeziehungen, — «Beitrage zur Geschichte der deutsche Sprache und Literatur», 1934, 58.
5. Roget P., Thesaurus of English Words and Phrases, London, 1852.
6. Trier J., Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes, Heidelberg, 1931.

В. Б. Касевич

О МОРФОНОЛОГИИ БИРМАНСКОГО ЯЗЫКА

Маргинальные элементы бирманского слога, вступающего в сочетание с другими слогами, не остаются неизменными, но определенным образом варьируют в зависимости от типа комбинаторики. Эти комбинаторные изменения исследователями бирманского языка обычно именуются термином «сандхиальные» [9, 10; 11]. Иными словами, указанному комбинаторному варьированию приписывается морфонологическая природа [5; 8]. Это становится понятным в свете того определяющего для фонологической структуры бирманского языка факта, что в бирманском языке слог, как и в других слоговых языках, достаточно регулярно выступает означающим морфемы. Существеннейшей же частью морфонологии является именно изучение таких фонетических альтернантов морфем, появление которых обусловлено сочетанием этих морфем с другими морфемами [5, 116; 10, 315].

Возникает, однако, вопрос: всякое ли комбинаторное варьирование в составе бирманского слога (означающего морфемы) должно рассматриваться как морфонологическое?

Обычное определение морфонологических изменений рассматриваемого рода как звуковых [5, 116] в общем случае (в неслоговых языках), по-видимому, не препятствует верному пониманию их природы и выглядит лишь как терминологическая небрежность: ясно, что в действительности имеются в виду не всякие звуковые изменения, но лишь замена фонем в составе фонемной оболочки (означающего) морфемы. Однако это обстоятельство приобретает принципиальное значение, когда исследователь сталкивается с материалом такого слогового языка, как бирманский, в котором фонемам в определенном отношении соответствуют инициали и финали¹ [1]. В связи с этим требуется ясно оговорить, что для бирманского и подобных ему языков в ранг морфонологического может возводиться только такое комбинаторное варьирование, которое приводит к замене инициали или финали на другую, самостоятельно существующую в системе инициаль или финаль (разумеется, при наличии тех общих условий, о которых говорилось выше). Варьирование же, затрагивающее лишь, скажем, конститuentы финали (которая фонетически может быть достаточно сложной), никак не должно признаваться морфонологическим.

Целесообразно, далее, уточнить, какие из морфонологических чередований относятся к сандхиальным.

¹ Под инициалью понимается начальнослоговой согласный (считая и его отсутствие), под финалью — остальная часть слога, взятая в целом.

Хотя это обычно и не оговаривается явным образом, предметом теории сандхи выступают лишь живые фонологические чередования (в указанных выше условиях), которые, как известно, противопоставляются историческим. Представляется, что указанное противопоставление живых и исторических чередований нуждается применительно к морфонологии в определенных оговорках.

Дело в том, что под историческими чередованиями часто понимают лишь такие чередования, которые полностью невыводимы из современного состояния языка: «... они... существуют в силу традиции и опираются на узус» [4, 109]. Но это справедливо лишь применительно к синхронному состоянию фонологии. Морфонология же, по определению, изучает чередования фонем, правила наступления которых формулируются не в фонологических терминах, а в терминах фонемных оболочек морфем, «субморфов», как называют их некоторые авторы [6]. Так, в русском языке замена /k/ на /č/ для пары типа *сук* — *сучок* абсолютно закономерна как обязательная перед субморфом /ок/ и, следовательно, представляет собой морфонологически вполне живое чередование.

Поэтому представляется более предпочтительным исходить вслед за Л. Блумфилдом из деления чередований на автоматические — такие, которые определяются исключительно фонологическим окружением, и неавтоматические — все остальные [7, 210—211]. Тогда сандхиальные чередования можно будет определить как автоматические чередования маргинальных фонем субморфов, наступающие в результате их сочетания с другими субморфами.

Среди неавтоматических морфонологических чередований целесообразно выделять как закономерные чередования регулярные [ср. 12, 100] (*сук* — *сучок*) и узуальные (*сон* — *сна*, но: *кон* — *кона*).

Перейдем к рассмотрению бирманского материала.

В имеющихся исследованиях бирманского языка к сандхиальным чередованиям относится обычно регрессивная ассимиляция по месту образования носового завершения назализованных финалей, которое уподобляется инициали. Однако в силу вышеизложенного это варьирование не может считаться морфонологическим, так как оно не приводит к замене финали: чередование, например, [aŋ] — [am] — это аллофоническое варьирование финали /aŋ/.

Иначе обстоит дело с варьированием инициалей, которое также обычно относится к сандхи. Это варьирование прежде всего состоит в замене глухих и придыхательных шумных инициалей на звонкие, если слогу с такими инициалами предшествует слог с финалью в одном из первых трех тонов.

В данном случае положение осложняется тем, что система бирманских инициалей находится в процессе перехода от исходной системы, для которой признак звонкость/глухость является дифференциальным, к «предельной» системе, для которой этот признак уже иррелевантен [2]. Соответственно, указанное варьирование инициалей должно описываться отдельно для исходной и предельной систем. Для исходной системы все чередования указанного выше типа (т. е. типа /k/ — /g/ и /kh/ — /g/) являются морфонологическими, сандхиальными. В предельной же системе чередование типа [k] — [g] становится аллофоническим и, следовательно, не может более рассматриваться в морфонологии.

Как в этом случае следует рассматривать для предельной системы чередование [kh] — [g]? Очевидно, что это чередование фонологическое, так как [g] представляет здесь самостоятельную инициаль /k/. Следовательно, такие чередования продолжают оставаться морфонологическими и состоят в том, что в определенных условиях (сформулированных

выше) придыхательные инициалы заменяются на непридыхательные. С фонологической точки зрения существенно то, что в результате чередования в данном случае придыхательная инициаль заменяется обязательно именно неосновным (звонким) вариантом непридыхательной инициали.

Нужно обратить также внимание на то, что условия наступления чередования оказывается необходимым формулировать в просодических терминах — в терминах тона.

В бирманском языке существует еще одно чередование инициалей — замена непридыхательных на придыхательные, с помощью которой от ряда некаузативных глаголов образуются их каузативные формы: /luʔ/ 'быть свободным' — /hluʔ/ 'освобождать'. Если следовать Н. С. Трубецкому [5], то такие чередования должны рассматриваться в качестве морфонологических. Однако, по нашему убеждению, в данном случае прав А. А. Реформатский, согласно которому чередования такого рода принадлежат не морфонологии, а непосредственно грамматике [4]. Морфонология, будучи промежуточной, пограничной дисциплиной, изучает не выражение грамматических категорий фонологическими средствами, а фонологические явления, сопровождающие грамматические процессы. Следовательно, чередование в бирманском языке, описанное выше, должно изучаться грамматикой, так как оно представляет собой случай внутренней флексии, под которой понимается именно передача грамматических значений с помощью изменений в фонемном составе означающего корня.

Таким образом, та часть морфонологии бирманского языка, которая занимается поведением инициалей, имеет своим предметом лишь немногочисленные сандхиальные чередования, описанные выше.

Что касается морфонологических чередований, в которых участвуют финалы, то к ним относятся чередования ненулевых финалей с нулевой². Эти чередования уже не являются сандхиальными, так как условия их наступления невозможно сформулировать в фонологических терминах. В качестве регулярного неавтоматического (несандхиального) чередования выступает замена финалы слогов — означающих временных показателей /ti/, /tē/, /mi/, /mē/ — нулевой финалью перед во-
просительными частицами /lā/, /lē/, например: /lātī/ 'приходит' — /lātōlā/
'приходит?'; /loʔmē/ 'сделает' — /loʔmōlā/ 'сделает?'.

Регулярным выступает и замещение нулевой финалью финалы /iʔ/ в слогах /tiʔ/ (означающее морфемы «один») и /hniʔ/ (означающее морфемы «два»), когда эти морфемы находятся в препозиции к другой морфеме — обычно счетному слову, например: /lūtōlā/ 'один человек', /luhnpōlā/ 'два человека', где /lū/ 'человек', /ā/ — счетное слово.

Остальные чередования ненулевых финалей с нулевой следует отнести к типу узуальных. Например, финаль /aŋ/ слога /rāŋ/ со значением 'цветок' заменяется на нулевую в словах /rōŋhka/ 'картина', /rōŋrē/ 'кузнец', /rōŋtūŋ/ (название дерева) и т. д., но сохраняется в словах /rāŋtāŋ/ 'цель', /rāŋhāŋ/ 'парк' и др. Как следует из самого понимания узуальных чередований, они могут быть лишь «инвентаризованы», но не систематизированы (что, впрочем, не исключает возможности объяснения, почему в одном случае чередование происходит, а в другом — нет).

С фонологической точки зрения все чередования ненулевых финалей с нулевой характерны тем, что в них не принимают участия диф-

² О нулевой финалы в бирманском языке см. [3].

тонгические финали. Нам неизвестны также случаи чередования с «нулем» финали /ɔ/. Систематической связи описываемых чередований с тоном не наблюдается, но можно заметить, что финали в первом тоне заменяются нулевой финалью несколько чаще.

Описанными выше чередованиями исчерпывается вся (комбинаторная) морфология бирманского языка (применительно к полному стилю произношения). Таким образом, сфера морфонологии оказывается в бирманском языке крайне суженной. По-видимому, можно утверждать, что вместе с бедностью морфологии слоговые языки характеризуются также бедностью морфонологии.

Вместе с тем комбинаторные изменения на стыках бирманских слогов гораздо более разнообразны, если мы рассматриваем не только фонологическое, но и аллофоническое варьирование. Можно предположить, что общим для бирманского языка является именно варьирование на границах слогов, а морфонологические чередования представляют собой скорее частный случай. Наиболее ясно это в случае сандхальных чередований, которые, будучи автоматическими, дают те же межморфемные фонологические сочетания, которые характерны и для позиции внутри многосложной морфемы (а такие существуют в бирманском языке). Точно так же и аллофоническое варьирование зависит лишь от фонологических и комбинаторных условий: например, уже упоминавшееся уподобление назализованных финалей последующей инициали, разумеется, не зависит от того, является ли соответствующий слог означающим морфемы или входит в состав означающего многосложной морфемы.

В связи с этим можно отметить, что в бирманском языке усматриваются две тенденции: с фонологической точки зрения всякий слог выступает прежде всего как слог со всеми вытекающими из этого комбинаторными и тому подобными последствиями — вне зависимости от того, является этот слог означающим морфемы или нет; с морфологической же точки зрения всякий слог рассматривается прежде всего как морфема — вне зависимости от того, является он означающим морфемы или нет. Последнее можно видеть из таких, например, фактов: субстантивирующий префикс [ə] может присоединяться к обоим слогам двусложной морфемы, хотя морфологически они невычленимы: [ʎðsà] 'стараться' → [əʎðsà] 'усилие'; точно так же ведет себя модальный показатель желательности /hhiŋ/: /pɔ̃pɾà ti/ 'радуется' (где /pɾà/ синхронно немотивировано) → /pɔ̃hhiŋpɾàhhiŋti/ 'хочет радоваться'.

Изложенное свидетельствует о неразрывности и первостепенном значении связи между слогом и морфемой в бирманском языке.

ЛИТЕРАТУРА

1. Драгунов А. А. и Драгунова Е. Н., Структура слога в китайском национальном языке, — «Советское востоковедение», 1955, № 1.
2. Касевич В. Б., О системе инициалей современного бирманского языка, — «Вестник ЛГУ», 1967, № 2.
3. Касевич В. Б., Функциональные нули и их место в фонологической системе бирманского языка, — «Народы Азии и Африки», 1970, № 6.
4. Реформатский А. А., О соотношении фонетики и грамматики (морфологии), — сб. «Вопросы грамматического строя», М., 1955.
5. Трубецкой Н. С., Некоторые соображения относительно морфонологии, — сб. «Пражский лингвистический кружок», М., 1967.
6. Чурганова В. Г., О предмете и понятиях фономорфологии, — «Известия АН СССР, ОЛЯ», 1967, т. XXVI, вып. 4.

7. Bloomfield L., *Language*, London, 1935.
8. Bloomfield L., *Menomini Morphophonemics*, — «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 1939, № 8.
9. Cornyn W., *Outline of Burmese Grammar*, — «Language», 1944, vol. 20, № 4 (Suppl.).
10. Hockett Ch., *Peiping Morphophonemics*, — «Readings in Linguistics», ed. by M. Joos, New York, 1958.
11. McDavid R., *Burmese phonemics*, — «Studies in linguistics», 1945, vol. 3, № 1.
12. Wells R., *Automatic Alternation*, — «Language», 1949, vol. 25, № 2.

В. С. Колоколов

**НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ
О КИТАЙСКОЙ ИЕРОГЛИФИЧЕСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
И ЯЗЫКЕ**

Мне выпала высокая честь ознаменовать этим опусом юбилейную дату в жизни Бориса Ивановича Панкротова — выдающегося знатока почти всего Дальнего Востока, свободно владеющего китайским, монгольским и маньчжурским языками, а также санскритом, не говоря уже о европейских языках.

События в жизни ученого, как отмечает Г. М. Добров, служат также фактами для качественного (содержательного) анализа двух главных наук — философии и истории, систематически изучающих опыт всех других наук [1, 5—6]. Таких событий в жизни Бориса Ивановича целая уйма, но мало кто о них знает. Все, кому дорог Борис Иванович как ученый, как педагог, наконец, просто как замечательный человек и как «кладезь знаний», не могут мириться с тем, чтобы в тени оставались научные факты, которыми он располагает, добыв их ценой многолетних странствований по ряду государств Восточной Азии. Надо надеяться, что посвященное 75-летию со дня рождения Бориса Ивановича заседание Восточной комиссии Географического общества, где в полный голос прозвучал рассказ о его жизни и о его научных заслугах, послужило стимулом не только к созданию этого сборника в честь нашего выдающегося востоковеда, но и большего внимания к нему со стороны всей советской общественности.

Я знаю Бориса Ивановича почти пятьдесят пять лет, с 1913 г., когда мы впервые встретились в Пекине. Помнится, он разгуливал по пекинской стене, когда гурьба китайских мальчишек, с которыми я рос, учился и играл, кинулась к нему с криком: «Ян гуйцзы!» («Черт заморский!»). Борис Иванович был тогда студентом Владивостокского восточного института и проводил каникулы в Пекине, побуждаемый к этому своей любознательностью. Каково же было изумление всех мальчишек, услышавших находчивый ответ на чистейшем пекинском диалекте. Так состоялось мое первое знакомство с Б. И. Панкратовым. С годами я все больше преисполнялся чувством уважения к Борису Ивановичу как выдающемуся ученому и человеку. Выражая свои сердечные чувства юбиляру, я решился написать эту небольшую статью, где излагаю некоторые свои соображения о характере китайской иероглифической письменности и классического китайского языка, выдающимся знатоком которых является Борис Иванович.

«Знание — сила» — этими словами Фрэнсиса Бэкона назван советский журнал для юношества, в третьем номере которого за 1955 г. я дерзнул поместить статью о китайской письменности. В ней я писал о самих иероглифах, почти не касаясь вопроса о письменном языке, созданном на базе этих же иероглифов-символов.

«Все отрицать или во все верить, — писал Жюль-Анри Пуанкаре, известный математик и философ, — одинаково удобно, потому что и то и другое избавляет нас от необходимости рассуждать» [2, 1]. Вряд ли, однако, нужно доказывать, что никакая наука без размышлений не обходится. Взаимосвязь размышления с научным поиском установлена очень давно, подтверждением чего может служить также и разбираемое ниже изречение в китайской классической книге «Лунь-юй», которую я когда-то учил наизусть в китайской школе. Мой перевод этого изречения, состоящего всего лишь из двенадцати иероглифов, из которых пять пар идентичны, основан на длительном размышлении о китайской иероглифической письменности. В дальнейшем изложении я хотел бы, предваряя перевод изречения в конце статьи, изложить свои представления о моем подходе к этой удивительно живучей письменности, которую неизвестный мне мой тезка, Всеволод Чешихин, пытался приспособить к использованию в качестве всемирного письменного языка [3, 18—22].

«История китайского языка, — пишет акад. Н. И. Конрад в статье „О китайском языке“ [4], — нам известна более чем за три тысячи лет. Датированные памятники непрерывной цепью идут с VII века до нашей эры. Эти памятники самые разнообразные; они отражают все стороны культурной жизни китайского народа. Среди них огромная философская литература, особенно отчетливо передающая размах и силу теоретической мысли. Если бы она, эта литература, была более известна у нас, мы увидели бы, что развитие теоретической мысли в древнем и средневековом Китае ни в какой мере не уступает прославленным проявлениям этой мысли в древней Греции, в средневековой Европе, в мусульманском мире средних веков...» [4, 49].

Ясно, что с помощью древнейших рисунков, пиктограмм, резов и прочих приемов первобытного письма создать подобную литературу, о которой так восторженно высказался акад. Н. И. Конрад, совершенно невозможно. Больше того, в той же статье совершенно справедливо отмечено: «...китайский язык уже с древних времен был полноценным средством выражения сложной человеческой мысли ...сейчас он по мощи своих средств стоит в ряду самых развитых языков мира... Достаточно сказать, что и любая работа, скажем по ядерной физике, может быть написана на китайском языке так же легко, как она пишется на любом другом из культурных языков мира» [4, 50].

Акад. Н. И. Конрад в приведенной цитате под китайским языком, несомненно, подразумевает иероглифические тексты, так как других видов письма, насколько мне известно, в древнем Китае не было. Об исключительном положении иероглифов в китайской письменности свидетельствуют в своих научных трудах сами же китайские ученые. В самом деле, вся древняя китайская наука о языке сводилась к изучению иероглифов, к их классификации и систематике в самых различных аспектах. Древнейшей книгой, посвященной смысловой стороне иероглифов и их синонимике, если можно так выразиться, является книга «Эр-Я», составление которой началось чуть ли не с IX в. до н. э. Но наиболее важной и ценной книгой является, как это признают все

китайские ученые, «Шо вэнь цзе цзы», датируемая первым веком нашей эры. Ее автор, Сюй Шэнь, впервые дал пояснения иероглифам и охарактеризовал их структуру. Он сгруппировал иероглифы по внешнему сходству и подразделил их на 540 рубрик (отделов) по смысловому (семантическому) содержанию. В эпоху Тан (618—906), особенно в период увлечения поэзией, появились поэты-каллиграфы Юй Ши-нань (558—638), Ли Бо (701—762) и др. Но поэзия немыслима без звучания слов, что и вызвало появление в свет замечательного словаря-справочника для поэтов — книги «Гуан юнь» (XII в.), в которой все письменные знаки группируются по принятым в эпоху Тан звучаниям. Словари рифм положили начало внимательному изучению фонетики, как она отражена в иероглифике.

Было бы ошибочно думать, что этими тремя книгами исчерпывается обширная китайская литература по изучению иероглифов. В список пособий, обязательных для студентов-филологов Пекинского университета, в 1959 г. было включено 96 названий капитальных трудов по истории развития китайской письменности. Среди них упоминаются прописи знаменитого каллиграфа Ван Си-чжи (321—379), а также компиляция Дуань Юй-цая, вобравшая почти все комментарии и разномыслия к книге «Шо вэнь цзе цзы», в которой даны пояснения к составу каждого иероглифа.

Весьма любопытны сведения о количественном росте иероглифов по эпохам (династиям) в Китае, приводимые в виде таблицы Лай Юй-санем в пособии по китайской письменности [5]:

Эпоха	Количество иероглифов	Источники
Чжоу	9 000	«Чжоу вэнь» и «Шо вэнь цзе цзы»
Цинь	9 353	«Сяо чжуань»
Хань	10 510	«Шо вэнь цзе цзы»
Вэй	18 150	«Гуан Я»
Цзинь	12 824	«Цзы линь»
Лян	22 779	«Юй пянь»
Тан	36 194	«Гуан юнь»
Сун	34 235	«Тун чжи лю шу люэ»
Юань	данных нет	
Мин	33 179	«Цзы хуэй»
Цин	42 174	«Кан-си цзы дянь»

В переводе на русский язык название последнего из источников, указанных в таблице, примерно означает: «Свод иероглифов, составленный в годы „благополучного сияния славы“». Этот большой словарь был издан в 1716 г. и служил своего рода официальным справочником для правильного написания, толкования и прочтения каждого иероглифа, вошедшего в его состав. Словарь этот разбит на 214 отделов соответственно основным темам или материям, а внутри каждого отдела иероглифы расположены по числу черточек в возрастающем порядке их написания. По явному недоразумению этот результат творчества более 300 ученых при дворе маньчжурского императора, правившего Китаем уже в качестве китайского богдыхана, был принят европейскими миссионерами в Китае, а вслед за ними и некоторыми видными европейскими учеными не как справочник-энциклопедия, а как начальное пособие, что, естественно, дезориентировало многих китаеведов и повлекло за собой сбивчивое и невразумительное объяснение всей системы китайской письменности. Так, например, начальные знаки ука-

занных выше 214 отделов словаря были названы европейцами «ключами», знание которых якобы, как мне говорил один из английских китаеведов, позволяет «открыть двери в кладовую китайской премудрости». Однако практика вскоре показала, что эти пресловутые ключи не только не помогают европейцу открыть «тайну» китайского письма, но еще более усугубляют ее. Вот что писал об этом акад. Василий Павлович Васильев: «Итак, благодаря небольшому количеству взятых в ключевой системе знаков для распознавания иероглифов произошла путаница, сбивающая с толку учащегося. Но европейский гений давно уже чувствовал необходимость освободиться из-под китайской рутины: мы знаем, что, когда еще Пруссия не была королевством, некто Андрей Мюллер трудился над упрощением расположения китайских иероглифов. Но только в 1841 году появился первый дельный труд по этой части: мы разумеем китайский словарь г. Каллери... Этот труд не был, кажется, оценен достаточно... кажется, они (европейские синологи. — В. К.) не старались рекомендовать этот труд и своим ученикам...» [6, 4].

Неумоимо работая над изучением графики китайских иероглифов, «исписав кипы бумаги», как признается сам акад. В. П. Васильев в цитируемом выше произведении, он первый из всех европейских ученых открыл графическую систему в структуре китайских иероглифов и изложил ее в самой популярной форме. «Рассматривая иероглифы в письменном составе, находим, что они бывают простые и сложные, в последние входят по большей части те же простые знаки, которые сами по себе, в измененном или неизменном виде, имеют значение, и потому, конечно, сложные иероглифы должны быть распространены по простым» [6, 7].

Большим подспорьем для меня в раздумьях и размышлениях над иероглификой, над методами ее изучения и преподавания явился труд Леона Вигера «Китайские иероглифы», который мне преподнес в подарок в 1924 г. проф. Б. К. Пашков. Часть этой книги, касающуюся анализа иероглифов, перевел с французского языка на русский и издал стеклографическим способом мой ученик — Итыгин. В предисловии к своей работе Л. Вигер писал: «Идею написать эту книгу мне внушил следующий абзац из книги Этьена Фурмона... (далее следует латинский текст, который я опускаю. — В. К.). Плохая латынь, но идея прекрасна. Проанализировать органическую структуру иероглифов, а затем сгруппировать по их элементам в порядке логическом и одновременно синоптическом (что позволяет одним взглядом обнять все части целого. — В. К.)! Все свободное время я вынашивал эту идею!» [7, 3].

Тщательно изучив книгу Л. Вигера, я понял, что вовсе не нужно запоминать иероглифы сотнями, тысячами и десятками тысяч. Надо всего лишь твердо заучить и знать смысл 223 элементов, из которых путем парных, тройных, учетверенных и даже упятеренных и более сочетаний в разных (!) комбинациях образуются и могут еще образовываться огромные количества иероглифов, соответственно росту все новых и новых понятий и терминов по мере прогрессирующего развития всех человеческих знаний. В современном Китае новая терминология преимущественно создается за счет иероглифики, а именно:

1. Путем сочетания элементов и идеограмм в новом расположении. Так, например, «водород» обозначается сочетанием элемента «Ци» (воздух, пар, № 7794 по «Китайско-русскому словарю», под ред. проф. И. М. Ошанина, М., 1955) с идеограммой «Цзин» (русло реки, № 121, там же), взятой в качестве рудимента иероглифа «Цин» (легкий по весу, № 127). Получается новый сложный знак с чтением «цин» [водород (H), № 7796], т. е. газ (ср. воздух, пар) легкий по весу.

2. Путем использования иероглифов, первоначальные значения которых уже давно вышли из употребления. Например, сочетание усеченного иероглифа, принятого в значении «кислород», с только что приведенным сложным знаком, обозначающим водород, образует иероглиф с чтением «цин»», когда-то очень давно обозначавший вымершую породу овец. Ныне ему придано значение «гидроксил» (окись водорода). (В словаре он не оказался.)

В области химии за первую половину XX в. было создано не менее двухсот новых иероглифов, в большинстве прочно вошедших в научную практику китайских ученых-химиков. Не может быть сомнений в том, что и в других областях естественных и технических наук наблюдается такое же обогащение иероглифического запаса новыми знаками.

Основной принцип, которым руководствуются все создатели китайских иероглифов, начиная с древнейших времен,— это комбинирование и логизирование различных понятий, от простых до самых сложных, обозначаемых условными знаками, напоминающими схематичные пиктограммы. К такому выводу я пришел не сразу. Теперь, обращаясь мысленно к пройденным этапам в изучении китайской письменности, с детских лет, даже до поступления в школу, я вспоминаю занятия с китайской графической головоломкой в виде квадрата, разделенного диагональю и параллельной ей линией внутри квадрата на семь геометрических фигур: два больших прямоугольных треугольника, два таких же маленьких, один средний треугольник, тоже прямоугольный, один маленький квадрат, сторона которого равна катету среднего треугольника, и один ромбовидный параллелограмм, равный двум маленьким треугольникам, сложенным по катетам. Используя специальное пособие, составленное для занятий с детьми преподавательницей Цю Фэнь-ши, из этих семи фигурок можно было составить 1500 разных фигур, в том числе более двухсот иероглифов [8, 1—2]. В детстве я, конечно, не понимал, какую цель преследовали мои китайские наставники, заставляя складывать эти фигуры. Теперь же вполне уразумел. Во мне пытались развить способности к комбинированию простейших элементов, к комбинаторной логике. Что ж, в какой-то мере цель была достигнута хотя бы потому, что я не робею перед новым иероглифом и расшифровываю его по составным частям и по контексту, прежде чем браться за словарь, чтобы проверить себя.

Труднее всего оказалось с переводом текста, написанного иероглифами, в расчете на зрительное, а не на слуховое восприятие текста, т. е. на письменном языке взъязынь. На этом языке написана огромная литература, вся древняя китайская классическая философия и история. Как и следовало ожидать, недостаточно знать отдельные иероглифы, чтобы читать составленный из них текст. В связи со сказанным можно напомнить слова акад. Л. В. Щербы: «...обучаясь иностранным языкам, мы очень скоро убеждаемся, что действительность в разных языках представлена по-разному. Каждое новое иностранное слово заставляет вдумываться в самое существо человеческой мысли» [19, 43].

Примерно такую же мысль высказывает и К. А. Ганшина в статье «К вопросу о роли и значении перевода в преподавании иностранных языков»: «Польза перевода, проводимого вдумчиво, с тщательностью после истолкования и проработки текста, может быть очень велика. Посредством его достигается большая точность проникновения в чужой язык; сравнивая два языка, родной и иностранный, учащийся постигает особенности обоих, кроме того, он приучается к точности и правильности выражения, научается внимательно читать текст» [10, 4].

Как известно, в китайском письменном литературном языке вэнь-янь слова не имеют тех морфологических признаков, которые для нас привычно считать конкретными грамматическими формами. В иероглифическом тексте, написанном на вэньянь, есть только деление иероглифов по их функциям в связном тексте на шесть стилистических троп и на два класса: а) иероглифы, сохраняющие реальный смысл и действительное содержание и называемые по-китайски «ши-цзы» («полные» знаки); б) иероглифы, не сохраняющие реального смысла, или знаменательного значения, носящие китайское название «сюй-цзы» («пустые» знаки), причем четкой грани между этими двумя классами иероглифов нет, она устанавливается по контексту, т. е. путем логических рассуждений и размышлений. Вот и все.

В предисловии к русскому изданию книги Люй Шу-сяна «Очерки грамматики китайского языка» ее автор, видный современный лингвист, пишет: «Меня всегда занимал вопрос, почему старые китайские ученые с таким упорством посвящали свою жизнь изучению китайской фонологии и лексикологии и в то же время, по-видимому, не прилагали особых усилий к тому, чтобы написать систематический курс грамматики. Они писали целые книги о „пустых“ знаках (служебных словах, в самом широком смысле этого слова, включая личные и указательные местоимения и многие наречия), писали комментарии к необычным синтаксическим конструкциям, но дальше этого не шли. Может быть, и в самом деле, кроме „пустых“ знаков и необычных конструкций, в китайской грамматике нет ничего, что затрудняло бы китайца — живого носителя своего языка, даже при изучении норм старого литературного языка, — в такой степени, как затрудняет его лексика?» [11, 11].

Вот так, путем поисков, размышлений и снова поисков, я пришел к решению загадки письменного китайского языка вэньянь, в основу которого положена не грамматика, а силлогистика, требующая умения рассуждать. Одним из немногих, кто компетентен судить об этом, является наш многоуважаемый Борис Иванович.

Приведу теперь изречение из книги «Лунь-юй» и попытаюсь с изложенных позиций подойти к его истолкованию, а затем и к переводу на русский язык.

Текст изречения привожу в номерах иероглифов, под которыми они значатся в «Китайско-русском словаре», 1955 г. издания, под ред. проф. И. М. Ошанина:

Сюе	Эр	Бу	Сы	Цзэ	Ван
3140	3750	7977	8579	2968	3809
Сы	Эр	Бу	Сюе	Цзэ	Дай
8579	3750	7977	3140	2968	1455

Выделяю сначала «пустые» знаки («сюй-цзы»), каковыми являются 3750, 2968 и знак отрицания (не, нет) — 7977. Реверсия знаменательных знаков («ши-цзы») 3140 и 8579 сразу же бросается в глаза при сличении обеих строк, намеренно написанных одна под другой, чтобы легче было сопоставить оба ряда. Их значение на русском языке может быть выражено существительными либо глаголами — словом, так, как это удобно для русского языка, но не выходя за пределы реальных значений. Так, иероглиф 3140 можно переделать словами «учение», «наука», «учиться», «заниматься науками», «учись», «учитесь» и т. п., а 8579 — «дума», «размышление», «мысли», «размышлять»,

«думать», «думай», «думайте» и т. п. Два последних знака — 3809 и 1455 — тоже являются знаменательными. Первый из них имеет значение «попасть в сети», «запутаться в сетях», «исчезнуть», «пропасть» или «силки для ловли птиц и зверей». Читая разные тексты и подставляя к ним подходящие значения, автор полного китайско-русского словаря Палладий Кафаров придал этому иероглифу еще и такие значения: «нарушить», «развращать» (?), «обманывать» (заманивать в сети?—В. К.), «неправильно», «неверно», а также абстрагированное обозначение отрицания «не» (запреты.—В. К.) [12, 62]. Второй — 1455 — означает «опасность», «погибель», «попасть в беду», «быть в опасности» и т. п. Все эти значения я могу подкрепить анализом составных элементов соответствующих иероглифов, но нет необходимости в этом. Когда-то рекомендовалось переводить текст слово в слово в неопределенных грамматических формах, а затем пытаться додуматься, что может означать их совокупность. Такой подход, безусловно, приводил к нелепостям. Были и другие методы, в которых отводилось большое внимание «пустым» знакам, которым подыскивались подходящие грамматические значения. В этом особенно преуспел немецкий синолог прошлого века Георг Габеленц [13], но у него в разных частях его книги (в аналитической и синтетической) порой одни и те же примеры одинаковых по содержанию китайских текстов переведены почему-то по-разному (sic!).

Попробуем подойти по-иному. Примем, что знак 3750 служит для обозначения конъюнкции или дизъюнкции, смотря по тому, является ли высказывание, суждение или умозаключение положительным либо отрицательным. Тогда в зависимости от этого мы и можем передавать его словами «и», «а» («но») и т. п.

Примем, что знак 2968 выполняет функцию союза следствия, короче говоря, «функтора» импликации, указывающего на консеквент. Тогда мы можем смело переводить его словами «то», «тогда», «в таком случае», «следовательно» и т. п. Можно также вводить в antecedенте соответствующие условные и условно-временные союзы «если», «когда» и т. п.

Вот теперь можно будет попытаться дать черновой перевод, литературную обработку которого я всецело предоставляю всем, кто владеет хорошим литературным слогом в русском языке.

Итак, один из многих возможных вариантов перевода:

«[Когда] учатся, но не размышляют, тогда запутываются, [как в сетях]:

[Когда] размышляют, но не учатся, тогда попадают в беду»¹.

Когда-то академик Василий Михайлович Алексеев писал: «Европеец нашего времени, занимаясь китайской археологией, не посмеет более пробавляться кражей китайского научного достояния, пользуясь своей переводческой адаптацией, а должен, углубясь в науку китайцев по-настоящему, видеть в ней собственный оригинальный путь» [14, 80].

В какой-то мере я стараюсь следовать этому предначертанию в силу своих скромных познаний, накопленных за полвека, и отразил его, как сумел, в этом небольшом произведении.

Позволю себе на этом закончить этот маленький опус, в который вкладываю свои большие и глубокие симпатии к Борису Ивановичу Панкратову.

¹ «Лунь-юй», гл. 2 («Вэй чжэн»), § 15. Перевод проф. Джемса Лерга: «Learning without thought is labor lost; thought without learning is perilous» [15, 150].

ЛИТЕРАТУРА

1. Добров Г. М., «Наука» о науке (Введение в общее науковедение), Киев, 1966.
2. Пуанкаре Ж.-А., Гипотеза и наука, М., 1903 (предисловие).
3. Чешихин Вс., О приспособлении китайской грамоты к роли всемирного письменного языка, — «Вестник Азии», 1916, № 4.
4. Конрад Н. И., О китайском языке, — «Вопросы языкознания», 1952, № 3.
5. Лай Юй-синь, Хань вэнь дзянь (A Manual of Chinese Grammar for Middle Schools), т. 1, изд. 18, Шанхай, 1924.
6. Васильев В. П., Опыт первого китайско-русского словаря по графической системе, СПб., 1867 (литографское издание, предисловие).
7. Wiegner L., Caractères Chinois. Etymologie, Graphies, Lexiques, Hien-hien, 1924 (Préface).
8. Цю Фэнь-ши, Ци цяо ба фэнь ту (A Book on the Construction of Figures by Seven Pieces of Metals), изд. 5, Шанхай, Commercial Press, 1926 (предисловие, разд. «Ту шо»).
9. Щербат Л. В., Преподавание иностранного языка в школе, — сб. «Общие вопросы методики», М., 1947.
10. Ганшина К. А., К вопросу о роли и значении перевода в преподавании иностранных языков, — «Сборник материалов по методике преподавания иностранных языков», М., 1925.
11. Люй Шу-сян, Очерк грамматики китайского языка, М., 1961.
12. «Полный китайско-русский словарь Палладия и Попова», т. I, Пекин, 1888.
13. Gabelentz G. von, Chinesische Grammatik, Leipzig, 1888.
14. Алексеев В. М., Судьбы китайской археологии (отдельный оттиск из «Известий РАИМК», М., 1924, т. 3, № 3).
15. Legge J., Chinese Classics, vol. 1, Oxford, 1893.

Н. И. Носова

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И ФОРМООБРАЗОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРЕФИКСА А- В БИРМАНСКОМ ЯЗЫКЕ

А- — один из немногих префиксов, существующих в бирманском языке¹. Он выполняет разнообразные функции. В связи с этим возникает вопрос, имеем ли мы дело с одним префиксом а-, выступающим в разных функциях (грамматическая полисемия), или же с разными префиксами а- (грамматическая омонимия)².

В настоящей работе мы рассмотрим лишь основные случаи употребления а-, обращая внимание на грамматическую природу этого префикса и тех образований, в которые он входит.

Прежде всего можно выделить такие образования, где префикс а- присоединяется к так называемым связанным³ морфемам именного характера.

Образование, состоящее из связанной морфемы плюс префикс а-, является словом — существительным — и имеет то же лексическое значение, что и соответствующая связанная морфема. Например, слово *акха*² 'время' состоит из префикса а- и связанной морфемы *кха*², которая самостоятельно не употребляется. Разница между *кха*² и *акха*² не затрагивает значение: и в том и в другом случае оно одно и то же — 'время'. Но их грамматическая природа различна, так как морфема *кха*² не может функционировать самостоятельно и, следовательно, не может составить слова. Лишь путем присоединения префикса а- (или же какой-нибудь знаменательной морфемы) можно образовать слово, содержащее морфему *кха*².

Таким образом, в данном случае роль префикса а- состоит в том, что, присоединяясь к связанной морфеме, он образует слово от этой морфемы. Следовательно, здесь префикс а- является словообразующим аффиксом⁴.

Теперь рассмотрим образования на а-, где этот префикс присоединяется к глаголам.

Исследователи бирманского языка обычно считают, что все образования этого типа представляют собой имена существительные [3,

¹ Для бирманского языка преимущественно характерно постфигирование.

² Аналогичная проблема применительно к материально сходному префиксу а- существует и в других китайско-тибетских языках [9].

³ Под связанными подразумеваются такие однозначные морфемы, которые, как правило, не употребляются самостоятельно, а только в сочетании с другими морфемами (ср. «связанные формы» у Л. Блумфилда [1, 167]).

⁴ Ср. замечание Бенедикта о том, что в этих случаях префикс а- является «особой морфемой (highly specialized morpheme), которая превращает связанные формы (именного типа) в свободные формы» [6, 166 (сноска)].

276; 4, 36; 8, 32; 10, 164]. Очевидно, при таком решении вопроса префикс *а-* должен признаваться словообразующим.

Однако изучение языкового материала показывает, что, хотя во многих случаях сочетание префикса *а-* с глаголом действительно дает имя (отглагольное), наряду с этим существует большое число образований типа «префикс *а-* + глагол», которые не обладают ни одним из признаков, характерных для имени.

В связи с этим возникает сомнение в том, что присоединение префикса *а-* к глаголу всегда дает отглагольное имя.

Если же присоединение префикса *а-* к глаголу в определенных случаях не дает имени, то, очевидно, в этих случаях префигирование *а-* либо вообще не является словообразовательным процессом, либо же образует какую-то другую часть речи (не имя существительное)⁵.

Чтобы разграничить эти разнородные образования, можно предложить в качестве критерия операцию замены слов типа «префикс *а-* + глагол» обычными именами существительными (причем такая замена не должна приводить к изменению синтаксической структуры предложения).

Применение предложенного критерия показывает, что результат в значительной степени зависит от того, к какому глаголу присоединяется префикс *а-*.

Если все глаголы разбить на две большие группы — глаголы действия и глаголы качества (как это часто и делается), то обнаружится, что слова, образованные с помощью префикса *а-* от глаголов первой и второй групп, имеют разные грамматические свойства.

Основная масса слов на *а-*, образованных от глаголов действия, может быть заменена на существительные⁶.

Например, в предложении *чама¹ ди² алоу⁴ коу² лоу⁴мэ²* 'Я сделаю эту работу' слово *алоу⁴* 'работа', образованное от глагола *лоу⁴* 'работать' с помощью префикса *а-*, можно заменить, например, существительным *оу⁴са²* 'вещь': *чама¹ ди² оу⁴са²коу² лоу⁴мэ²* 'Я сделаю эту вещь'.

Синтаксическая структура предложения при такой замене не изменилась. Очевидно, что слово *алоу⁴* также представляет собой имя существительное (отглагольное). Итак, в результате присоединения префикса *а-* к глаголу одна часть речи (глагол) превращается в другую (имя существительное). Превращение же одной части речи в другую является типичным случаем словообразования. Следовательно, присоединение префикса *а-* к глаголам действия — это словообразовательный процесс, и префикс *а-* выступает в этом случае как словообразующий. Таким образом, в отношении этих слов традиционная точка зрения не вызывает возражений.

Слова на *а-*, образованные от глаголов качества, как правило, ведут себя совершенно иначе. Они не могут заменяться в предложении именами существительными⁷. Это связано с тем, что основными для таких слов являются функции постпозитивного определения к существительному и определения к глаголу.

Например, в предложении *лу² амйа³тоу¹ти² ча¹схоун³ кхэ¹ча¹ти²* 'Многие люди погибли' образование на *а-* *амйа³* 'многие' (от глагола

⁵ Последнее положение мы не будем здесь рассматривать, укажем лишь на точку зрения тех авторов, которые признают в бирманском языке (не считая частиц и междометий) лишь две части речи — имя и глагол [7; 2] (хотя существует и другая точка зрения, согласно которой выделяются, в частности, также и наречия [5]).

⁶ Случай, не входящие в эту «основную массу», будут рассмотрены ниже.

⁷ Об исключениях из этого правила см. ниже.

качества *мйа*³ 'быть многим') выступает в функции постпозитивного определения к имени *лу*² 'человек'⁸. Замена образования на *а-* *амйа*³ каким-нибудь именем существительным невозможна.

Другой пример: *ту*²*ка*¹ *амйан*² *тва*³*ти*² 'Он идет быстро'. В этом предложении образование на *а-* *амйан*² 'быстро' (от глагола качества *мйан*² 'быть быстрым') выполняет функцию определения к глаголу *тва*³ 'идти'. Заменить образование *амйан*² каким-нибудь именем нельзя.

В то же время слова на *а-*, образованные от глаголов качества, как в функции постпозитивного определения к имени, так и в функции определения к глаголу могут быть заменены редуцированной формой глагола или глагольной формой на *-сва*². В результате такой замены синтаксическая структура и содержание предложения не изменяются.

Например, в приводимом выше предложении *лу*² *амйа*³*тоу*¹ *ти*² *ча*¹*схоун*³*кхэ*¹*ча*¹*ти*² 'Многие люди погибли' образование *амйа*³ 'многие' можно заменить на *мйа*³*мйа*³ или *мйа*³ *сва*²: 1) *лу*² *мйа*³*мйа*³*тоу*¹ *ти*² *ча*¹*схоун*³*кхэ*¹*ча*¹*ти*²; 2) *лу*² *мйа*³*сва*²*тоу*¹ *ти* *ча*¹*схоун*³*кхэ*¹*ча*¹*ти*² 'Многие люди погибли'.

В предложении *ту*²*ка*¹ *амйан*² *тва*³*ти*² 'Он идет быстро' образование на *а-* *амйан*² 'быстро' можно заменить на *мйан*²*мйан*² или *мйан*²*сва*²: 1) *ту*²*ка*¹ *мйан*²*мйан*² *тва*³*ти*²; 2) *ту*²*ка*¹ *мйан*²*сва*² *тва*³*ти*² 'Он идет быстро'.

По-видимому, можно предположить, что если образования «префикс *а-* + глагол качества» могут быть заменены определенными формами глагола, то и они сами являются глагольными формами.

Очевидно, в таких случаях префикс *а-* будет не словообразующим, а формообразующим.

Вместе с тем надо отметить, что существует некоторое количество слов, образованных с помощью префикса *а-* от глаголов качества, которые могут выступать в функциях, свойственных имени, и могут быть заменены «обычными» (не отглагольными) именами существительными. Это слова *ахла*¹ 'красота', *ану*² 'жара', *азй*³ 'холод', *айэ*⁴ 'смелость', *акхэ*⁴ 'трудность' и некоторые другие.

Например, слово *ахла*¹, образованное от глагола качества *хла*¹ 'быть красивым', может выступать не только в качестве той формы глагола на *а-*, о которой говорилось выше, но также и в качестве имени. Так, слово *ахла*¹ в сочетании *лу*¹ *ахла*¹ 'красота человека' (где слово *лу*¹ является притяжательной формой от имени *лу*² 'человек') представляет собой имя, а в сочетании *лу*²*ахла*¹ 'красивый человек' слово *ахла*¹ является упомянутой выше формой глагола.

Таким образом, большинство этих слов (*ахла*¹, *ану*² и т. д.) расщепляется на два омонима — один ведет себя как имя, другой — как особая глагольная форма.

Выше мы выяснили, что основная масса слов, образованных от глаголов действия с помощью префикса *а-*, представляет собой имена существительные (см. стр. 231). Однако наряду с этим существует ряд случаев, когда образования «префикс *а-* + глагол действия» не обладают именными свойствами (ни одним из них) и соответственно не могут быть заменены в предложении существительными. Такие образования употребляются довольно редко и, по-видимому, именно поэтому практически не упоминаются в бирманистической литературе.

⁸ Показатель множественного числа имени *тоу*¹ стоит после образования *амйа*³.

Можно выделить три случая такого употребления слов на *а-*, образованных от глаголов действия.

Первый случай характерен тем, что слово, образованное присоединением префикса *а-* к глаголу действия, функционирует в качестве особого определения к глаголу-сказуемому. Такое определение может быть ориентировочно названо результативным определением. Это определение обычно указывает на действие или состояние, которое появляется в результате действия, выраженного глаголом-сказуемым.

В данном употреблении образование на *а-* можно заменить глагольной формой на *-аун*², что является основным способом выражения результативного определения. При замене рассматриваемого образования на *а-* глагольной формой на *-аун*² значение предложения не изменяется.

Например, в предложении *эйн² айау⁴ ла²поу¹тэ²* 'Проводил до самого дома' (букв. 'Проводил **так, что дошел** до самого дома') слово *айау⁴* (от глагола действия *йау⁴* 'приходить') выступает в качестве результативного определения к сказуемому *ла²поу¹* 'проводил'. В данном употреблении слово *айау⁴* можно заменить глагольной формой на *аун²*: *эйн² йау⁴аун² ла²поу¹тэ²* 'Проводил до самого дома' (букв. 'Проводил **так, что дошел** до самого дома').

В качестве второго случая, когда слово, образованное от глагола действия с помощью префикса *а-*, не обладает именными свойствами, можно выделить употребление такого слова в функции так называемого дополнения цели. В этом случае образование на *а-* всегда может быть заменено глагольной формой на *йан²*.

Например, в предложении *маун²мин³ аша² тхвэ⁴ло¹* 'Ты иди искать!' слово *аша²* (от глагола *ша²* 'искать') функционирует в качестве дополнения цели к сказуемому *тхвэ⁴* 'иди'. Слово *аша²* здесь можно заменить формой на *йан²*: *маун²мин³ ша²йан² тхвэ⁴ло¹* 'Ты иди искать!'

В качестве третьего случая можно выделить употребление образований на *а-* в функции особой формы глагола, называемой формой предварительного сказуемого. В этом случае образование на *а-* можно заменить глагольной формой на *-йвэй¹*.

Например, в предложении *эйн²тоу¹ айау⁴ тхамин³хин³са³тау⁴ти²* 'Придя домой, он поел' образование *айау⁴* (от глагола *йау⁴* 'приходить') употребляется в функции предварительного сказуемого. В данном употреблении его можно заменить глагольной формой на *-йвэй¹*: *эйн²тоу¹ йау⁴йвэй¹ тхамин³хин³са³ тау⁴ ти²* 'Придя домой, он поел'.

Суммируя вышеизложенное, можно отметить, что во всех трех случаях образования на *а-*, полученные от глаголов действия, не могут быть заменены существительными, но могут замещаться соответствующими глагольными формами. Следовательно, эти образования могут быть сочтены особыми формами глагола (приуроченными к специфическим синтаксическим функциям), а префикс *а-* в составе таких образований должен быть признан формообразующим.

Как уже упоминалось, лишь сравнительно редко можно встретить в тексте образования на *а-*, за которыми закреплены вышеуказанные функции. Поэтому трудно сказать, от любого ли глагола действия можно образовывать такие слова. Кроме того, их употребление, видимо, зависит и от глагола, по отношению к которому эти слова выступают в качестве дополнения цели или результативного определения.

Итак, мы можем констатировать, что префикс *а-* расщепляется на целый ряд омонимов, одни из которых участвуют в словообразовании, другие — в формообразовании.

Как нам представляется, наличие такого большого числа омонимичных префиксов *a-* можно объяснить следующим образом. В бирманском языке имеется всего лишь несколько префиксов. По-видимому, именно в силу этого они (в особенности же наименее специализированный из них — префикс *a-*) стали использоваться во многих функциях, что в итоге привело к расщеплению исходного префикса и появлению ряда омонимов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Блумфилд Л., Язык, М., 1968.
2. Еловков Д. И., О частях речи в бирманском языке, — «Ученые записки ЛГУ», 306, серия востоковедческих наук, 16, 1962.
3. Мазо В. Д., Классификация образований с префиксом *a-* в бирманском языке, — сб. «Языки Юго-Восточной Азии», М., 1967.
4. Маун Маун Ньюн, Орлова И. А., Пузицкий Е. В., Тагунова И. М., Бирманский язык, М., 1963.
5. Омелянович Н. В., Проблемы частей речи в бирманском языке, — сб. «Спорные вопросы строя языков Китая и Юго-Восточной Азии», М., 1964.
6. Benedict P. [рец. на: Cornyn W., Outline of Burmese Grammar, — «Language», 1944, 20, 4 (Suppl.)], — JAOS, 1947, vol. 57, № 1.
7. Cornyn W., Outline of Burmese Grammar, — «Language», 1944, 20, 4 (Suppl.).
8. Latter T., Grammar of the Language of Burmah, Calcutta, 1845.
9. Laufer B., The Prefix *a-* in the Indo-Chinese Languages, — «The Journal of the Royal Asiatic Society», October, 1915.
10. Lonsdale A. W., Burmese Grammar and Grammatical Analysis, Rangoon, 1899.

Ю. М. Осипов

СЛОЖНЫЕ СЛОВА ТИПА БАХУВРИХИ В СОВРЕМЕННОМ ТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Термин «бахуврихи», используемый в теории словообразования, был заимствован из индийской классической грамматики (он встречается еще в «Правилах» Панини, датируемых V в. до н. э.)¹. Согласно индийской грамматической традиции этим термином обозначается сложное слово, не содержащее в своем составе главного по значению компонента и только поясняющее какое-то другое, «постороннее» слово. Явление, которое именуется бахуврихи, входит в определенную систему словосложений и отчетливо выявляется именно в рамках этой системы: 1) словосложение, где оба компонента равноправны по значению, — двандва; 2) словосложение, где главенствует первый компонент, — авьяйибхава; 3) словосложение с главенствующим вторым компонентом — татпуруша; 4) словосложение, не имеющее главного компонента и выступающее как определение слова, находящегося как бы «за кадром» (присутствующего в тексте или только подразумеваемого), — бахуврихи, например: санскр. *anyarūpa* 'имеющий другой вид' (букв. 'иноформенный').

Эта традиционная система словосложений построена на основе семантической классификации сложных слов, когда учитываются лексические значения компонентов и целого. При формально-грамматическом подходе к разграничению сложных слов — композита употребление традиционной индийской терминологии оказывается не всегда целесообразным (хотя такие попытки и делались²). Выяснилось, например, что «тип бахуврихи представляет собой определенное синтаксическое использование слов других типов (татпуруша, кармадхарая, двигу), т. е. не является самостоятельным типом словосложения, а выделяется лишь в предложении» [2, 35]. В дальнейшем будет показано, что и тайские бахуврихи по характеру соотношений составляющих элементов или по категориальной принадлежности этих элементов не могут быть выделены в какую-то особую группу, специфика таких слов проявляется лишь в лексико-семантическом плане.

Сложные слова типа бахуврихи отмечают как в индоевропейских языках (санскрит, пали, хинди, персидский, немецкий, русский), так и

¹ Сведения из области индологии почерпнуты из работ В. И. Кальянова [3, 77—84], Т. Е. Катениной [4, 25—27], В. А. Кочергиной [5, 13—90], А. С. Бархударова [2, 28—36].

² Так, представители школы младограмматиков (К. Бругман, Я. Вакернагель, Г. Пауль и др.), классифицируя сложные слова санскрита, брали за основу характер синтаксических отношений между компонентами (при этом сохранялась традиционная терминология).

в языках Дальнего Востока (китайский) или Юго-Восточной Азии (тайский). Обычно к этой группе композита принято относить прилагательные или глаголы с качественным значением, употребляемые преимущественно в роли определения к существительному³. Таковы, например, санскр. *mahātma* 'великодушный', *bahuvrīhi* 'имеющий много риса', *vipula-chāyāḥ* 'обильный тенью' ('широкотенистый'); перс. *badbū* 'зловонный', *golrox* 'розовощекий', *xubru* 'красивый лицом'; нем. *barfuß* 'босой, голоногий'; русск. *широкоспечий*, *вислоухий*, *грубошерстный*; кит. *няньцин* 'молодой' ('имеющий годы легкие'), *синькуань* 'жизнерадостный' ('с широким сердцем'); тайск. *мытән* 'быть щедрым' ('с большими руками'), *тыайкхэп* 'быть эгоистичным' ('с узким сердцем').

Для композита указанного типа характерна заметная идиоматизация смысла, в ряде случаев значение целого невозможно вывести из значений компонентов. Эта особенность была отмечена еще при описании санскритских бахуврихи⁴. В языках неиндоарийских наблюдаются преимущественно бахуврихи-идиомы.

Наряду с прилагательными в группу композита типа бахуврихи входят и существительные, которые образовались в результате субстантивации отдельных сложных слов или даже устойчивых словосочетаний. Значение существительных такого рода тоже сильно идиоматизировано. Примеры: хинди *dudhmuñhā* 'грудной младенец' (букв. 'молочноротый'); перс. *buz-dil* 'трус' ('имеющий сердце козла'), *khargoš* 'заяц' ('ослоухий'); нем. *Graukopf* 'седой (человек)' (букв. 'седая голова'), *Schlafmütze* 'соня' (букв. 'ночной колпак'); кит. *хэйфа* 'молодой (человек)' (букв. 'черные волосы'), *тунчжо* 'одноклассник' (букв. 'общий стол'), *циннянь* 'юноша' (букв. 'молодые годы'); тайск. *хуамай* 'хулиган' (букв. 'деревянная голова'), *тинка* (бот.) 'гусиная травка' (букв. 'воронья нога'), *наммай* 'отлив' (букв. 'умирающая вода').

До сих пор описанием слов бахуврихи занимались в основном индологи. Опыт изучения бахуврихи в неиндоарийских языках весьма скумен. Исследователи, интересующиеся вопросами словообразования в этих языках, обычно упоминают о данном явлении лишь вскользь, а специальных работ о бахуврихи (в плане общего языкознания) пока не создано. Даже в использовании самого термина подчас наблюдаются определенные расхождения: в одних случаях к бахуврихи относят посессивные сложные прилагательные с конкретным значением (вроде русск. *широкоспечий*, *тонкорунный*) — см., например: [1, 63]; в других случаях этим термином обозначают метонимические и метафорические образования (типа нем. *Vierblatt* 'четырёхлистник', *Nashorn* 'носорог', *Langfinger* 'воришка') — см. [6, 131—132]. Нередко подбор примеров оказывается случайным и не отражает реальной картины наличия бахуврихи в данном языке, а это в свою очередь не дает возможности проанализировать свойства подобных слов. Между тем подробное и тщательное рассмотрение сложных слов этого типа помогло бы вскрыть внутреннюю логику ряда словообразовательных явлений, оказалось бы весьма полезным и в плане общей семасиологии.

В тайском языке группа сложных слов типа бахуврихи сравнительно невелика. Это идиоматизированные имена существительные и глаголы качественного состояния, характеризующиеся тем, что они

³ Например, Т. Е. Катенина отмечает: «Определительная функция сложных слов этого типа в санскрите и персидском языке выясняется по месту их в предложении или диктуется широким контекстом» [4, 27].

⁴ Вспомним, например, высказывание Я. Вакернагеля о бахуврихи: «Их значение сразу вызывает удивление, поскольку оно не вытекает из значений элементов этих слов» [4, §112a].

называют или определяют понятия, не представленные в самих композита специальными элементами. В структурном отношении слова этой группы неоднородны. Имена существительные могут быть построены по схеме «имя+глагол», «глагол+имя» или (редко) «имя+имя»; глаголы — по схеме «имя+глагол». Эти структурные схемы весьма распространены в тайском языке и характерны не только для композита типа бахуврихи. Иными словами, только на основании формальных особенностей бахуврихи не выделяются. Сравним, например, следующие пары сложных слов: *кхрыангбин* 'самолет' (*кхрыанг* 'механизм' — *бин* 'летать') и *таванок* 'восток' (*таван* 'солнце' — *ок* 'выходить'); *ноккхау* 'голубь' (*нок* 'птица' — *кхау* 'голубь') и *хуакхуан* 'дятел' (*хуа* 'голова' — *кхуан* 'топор'). Оба члена первой пары построены по одинаковой схеме «имя+глагол=имя»; оба члена второй пары построены по схеме «имя+имя=имя». Отношения между составляющими этих композита атрибутивные. Однако в словах *таванок* 'восток' и *хуакхуан* 'дятел' отсутствует компонент, выражающий характеризующее понятие («место, откуда солнце выходит», «птица, у которой голова напоминает топор»), это примеры бахуврихи. Специфика таких слов проявляется в семантической (и логической) несамостоятельности (как бы «незавершенности») целого: подразумевается какой-то предмет (вещь, место, событие, время) или живое существо (человек, животное, птица), к которому по смыслу относится свойство, признак, особенность, представленные в слове бахуврихи: *тбайкхэп* 'быть эгоистичным, корыстным' [*тбай* 'сердце' — *кхэп* 'быть узким', т. е. «быть таким (человеком), у которого сердце узкое»], *чокди* 'быть удачливым' [*чок* 'судьба' — *ди* 'быть хорошим', т. е. «быть таким (человеком), у которого судьба хорошая»], *таванок* 'восток' [*таван* 'солнце' — *ок* 'выходить', т. е. «(место), откуда солнце выходит»], *намтхуам* 'наводнение' [*нам* 'вода' — *тхуам* 'подниматься', т. е. «(время), когда вода поднимается»], *кхайкхуанг* 'отвертка' [*кхай* 'завинчивать' — *кхуанг* 'винт', т. е. «инструмент, которым заворачивают винты»], *тинка* (бот.) 'гусятая травка' [*тин* 'нога' — *ка* 'ворона', т. е. «(травка), напоминающая воронью ногу»].

К группе бахуврихи можно причислить и небольшое количество сложных имен, являющихся сочетанием числительного и счетного слова-классификатора, вроде *силиам* 'четырёхугольник' [*си* 'четыре' — *лиам* 'угол', т. е. «(фигура) с четырьмя углами»].

Наряду с общими особенностями, присущими всем композитам типа бахуврихи, которые встречаются в тайском языке (упомянутая семантическая неполнота, функция описания или уточнения подразумеваемого главного понятия, яркая образность), слова данной группы обладают и определенными различиями. Различия эти двоякого рода: 1) бахуврихи-глаголы лишь обозначают какой-либо признак понятия, бахуврихи-существительные называют понятие по какому-нибудь признаку; 2) слова указанного типа допустимо разграничить в соответствии с характеризующим (называемым) ими общим понятием. Первый момент достаточно ясен сам по себе, остановимся подробнее на втором.

Основная масса слов бахуврихи характеризует человека (его внешность, нрав, привычки, положение и т. п.), например: *хуалан* 'быть лысым' (*хуа* 'голова' — *лан* 'быть лишенным растительности'), *тасан* 'быть близоруким' (*та* 'глаз' — *сан* 'быть коротким'), *мытён* 'быть щедрым' (*мы* 'рука' — *тён* 'быть большим, широким'), *тбайреу* 'быть нетерпеливым' (*тбай* 'сердце' — *реу* 'быть быстрым'), *хуакау* 'быть старомодным' (*хуа* 'голова' — *кау* 'быть старым'), *хуамай* 'хулиган,

бандит' (*хуа* 'голова'—*май* 'дерево'), *хуанок* 'получивший образование за границей' (*хуа* 'голова'—*нок* 'находиться вне'), *хуанай* 'получивший образование на родине' (*хуа* 'голова'—*най* 'находиться внутри'), *тинто* 'простонародье' [*тин* 'нога'—*то* 'быть большим', т. е. «(люди) с большими ногами»], *тинлек* 'знать' [*тин* 'нога'—*лек* 'быть маленьким', т. е. «(люди) с маленькими ногами»].

Некоторое количество бахуврихи дает образные наименования птиц и растений: *хуакхуан* 'дятел' [*хуа* 'голова'—*кхуан* 'топор', т. е. «(птица) с головой в виде топора»], *пакханг* 'ибис' [*пак* 'рот, клюв'—*ханг* 'отстоять, быть удаленным', т. е. «(птица) с отставленным клювом»], *паккуанг* 'козодой' (*пак* 'клюв'—*куанг* 'быть широким', т. е. «широконос»); *тинка* (бот.) 'гусиная травка' [*тин* 'нога'—*ка* 'ворона', т. е. «(травка), напоминающая воронью ногу»], *тинпет* (бот.) 'кутра' [*тин* 'нога'—*пет* 'утка', т. е. «(травка), похожая на утиную лапу»], *хуахом* 'репчатый лук' (*хуа* 'голова'—*хом* 'аромат', т. е. «ароматная головка»).

Примечательны композита типа бахуврихи, которые обозначают предметы (вещи для работы, различные инструменты, одежду): *пакка* 'ручка (для письма)' (букв. 'вороний клюв'), *пакпет* 'гобой' (букв. 'утиный клюв'), *хуарэнг* 'паяльник' (букв. 'голова грифа'), *хуаму* 'лемех плуга' (букв. 'свиная голова'), *кхайкхуанг* 'отвертка' (*кхай* 'ввинчивать'—*кхуанг* 'винт'), *йоксонг* 'бюстгальтер' [*йок* 'держат'—*сонг* 'форма', т. е. «(приспособление), чтобы удерживать форму»].

Как видно из примеров, в состав бахуврихи этого рода почти всегда входят в качестве компонентов корни (слова) со значением неотчуждаемой принадлежности (в основном названия частей тела).

Немногочисленны образцы бахуврихи, характеризующие общие понятия места и времени: *намток* 'водопад' [*нам* 'вода'—*ток* 'падать', т. е. «(место), где падает вода»], *намвон* 'водоворот' [*нам* 'вода'—*вон* 'кружиться', т. е. «(место), где вода кружится»], *таванток* 'запад' [*таван* 'солнце'—*ток* 'падать, опускаться', т. е. «(место), куда опускается солнце»], *фасанг* 'заря, рассвет' [*фа* 'небо'—*санг* 'светлеть', т. е. «(время), когда небо светлеет»], *намтай* 'отлив' [*нам* 'вода'—*тай* 'умирать', т. е. «(время), когда вода умирает»], *намкхын* 'прилив' [*нам* 'вода'—*кхын* 'подниматься', т. е. «(время), когда вода поднимается»], *намтхуам* 'наводнение' [*нам* 'вода'—*тхуам* 'вздвигаться', 'подниматься', т. е. «(время), когда вода поднимается»], *питпхакрыдунау* 'зимние каникулы' [*пит* 'закрывать, заканчивать'—*пхакрыдунау* 'зимний семестр', т. е. «(время), когда закончили зимний семестр»].

В настоящей работе отмечены лишь некоторые общие понятия, по связи с которыми и сгруппированы сложные слова—бахуврихи. Число таких понятий и число таких групп можно было бы увеличить; от этого представление о роли и особенностях бахуврихи в тайском языке стало бы более полным. Здесь намечен один из возможных путей описания данной группы тайских композита. Вполне допустимы иные подходы к классификации бахуврихи (скажем, с точки зрения того, какую сторону общего понятия характеризует бахуврихи, какой признак дает), что было бы небесполезно для разработки вопросов тайской семасиологии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахманова О. С., Словарь лингвистических терминов, М., 1966.
2. Бархударов А. С., Словообразование в хинди, М., 1963.
3. Кальянов В. И., Классификация сложных слов в санскрите, — «ИАН СССР. ОЛЯ», 1947, ч. VI, вып. 1.
4. Катенина Т. Е., Язык хинди, М., 1960.
5. Кочергина В. А., О некоторых сложных словах санскрита, — сб. «Языки Индии», М., 1961.
6. Степанова М. Д., Словообразование современного немецкого языка, М., 1953.
7. Wakenagel J., Altindische Grammatik, Bd II, Göttingen, 1896.

Н. А. Спешнев

К ВОПРОСУ О ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ НОРМЕ КИТАЙСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Произносительная норма китайского литературного языка зафиксирована в специальных фонетических таблицах [5], справочниках [7] и словарях. Авторы отдельных работ, рассматривающие различного рода отклонения от произносительной нормы китайского языка, как правило, относят их либо к диалектным [6, 24—27], либо к индивидуальным особенностям говорящего [4, 188].

В ином плане рассматривается норма сценической речи, в особенности в пекинской опере, где она также в известных случаях отходит от произносительной нормы литературного языка [3, 31; 8, 31—34].

Тем не менее все фонетические отклонения обычно сводятся к нескольким типам. Это либо замена одного или нескольких элементов слога нулем или чаще всего близкими по месту или по способу образования звуками, либо замена суперсегментной единицы — тона или перенос места ударения.

Однако в перечисленных работах не затрагивается вопрос об использовании фонетических средств в эмоциональной речи, которые, видимо, также следует отнести к отклонениям от произносительной нормы.

В русском языке, в частности, эмоциональная речь (высокопарный стиль, манерность, детская речь и др.), как правило, использует такие фонетические средства, как темп, долгота звука, частотный перепад, замена звуков и т. д. (лексические и грамматические средства не рассматриваются).

Китайский язык для этих же целей использует главным образом замедленный темп речи, чеканную дикцию, тонирование безударных слогов и, что весьма существенно, нестандартное произношение гласных в финалях. Как известно, использование частотных модуляций в интонационных целях в китайском языке ограничено вследствие его тональной структуры.

Таким образом, становится ясным, что колебания произносительной нормы в реальной китайской речи достаточно значительны, однако не менее очевидно и то, что эти колебания не должны переходить определенной границы, за пределами которой правильное восприятие китайской речи становится невозможным.

Китайские ученые Ло Чан-пэй и Ван Цзюнь, например, пишут, что в Пекине некоторые люди произносят слово «собака» как [g̊əɳ³], а не-

которые как [ḡo^{u3}] или [ḡy^{u3}]. Слово «свековъ» одни произносят как [p'ʰə²p'ʰə⁰], другие — как [p'ʰo²p'ʰo⁰]. Слово «небо» также имеет варианты произношения: [t'ien¹], [t'æn¹] или [t'ien¹] [4, 188]. Все эти вариации произношения тем не менее входят в понятие произносительной нормы, несмотря на то, что слогообразующие гласные финалей, например [o] и [ʏ], [æ] и [e], представляют собой смысловоразличительные фонетические единицы китайского языка.

Возникает явление, при котором фонетические единицы, несмотря на несовместимость конкретных звуковых реализаций, тем не менее составляют основу общения и взаимопонимания. Такие фонетические единицы называются диафонами или диафонемами. Понятие диафонемы охватывает значительно большее число звуковых реализаций, чем индивидуальные отклонения от литературной нормы произношения (здесь и далее речь идет только о полном стиле произношения), однако настоящая статья ограничивается именно рассмотрением индивидуальных отклонений говорящих, которые не искажают норм литературного произношения (диалектные варианты произношения нами не рассматривались).

Решение поставленной задачи ограничено также исследуемым материалом, в качестве которого были выбраны финалы с конечным элементом микросистем обеих пятичленных серий «а» и «э» [1, 63—64]. Не рассматривались ядра микросистем и финалы [in], [iŋ], [y'n] и [y'ŋ], в которых качественные колебания слогообразующих гласных незначительны [2, 10].

Анализировались только изолированные слоги-морфемы, ибо очевидно, что вероятность правильного восприятия слогов, произнесенных в контексте, сильно возрастает, даже если отсутствует отчетливое произнесение тона.

Слоги с различной вариацией произнесения слогообразующего гласного (материал исследования), предварительно записанные на магнитную ленту, после прослушивания фиксировались в иероглифическом виде аудиторами-китайцами, владеющими литературной нормой произношения. При неузнавании слога ставился прочерк. Аудиторы обычно констатировали, что предъявленный слог звучит не по-китайски.

В статье также учитывались выводы, полученные для слогообразующих гласных в первом тоне в результате экспериментальных исследований спектров финалей китайского языка [2, 13—16].

Более всего качественным изменениям подвержены слогообразующие гласные финалей. Исследования показали, что маргинальные элементы слога оказывают заметное воздействие на центральный гласный. Причем наиболее характерным в этом отношении являются финалы серии «э». Известно также, что качество слогообразующего гласного финалей меняется в зависимости от тона [2, 18—19]. Наиболее характерным здесь является первый тон, хотя изменения качества гласного по различным причинам могут происходить и в слогах с другим тоном. Все эти допустимые колебания в индивидуальной речи (наподобие русского аканья и оканья) широко представлены в китайском языке.

Фиксированная структура слога и тональная система языка наложили заметный отпечаток на восприятие китайской речи. На слушающего нестандартное произношение обычно производит впечатление акцента, который, однако, не мешает правильному восприятию сказанного.

Рассмотрим теперь конкретные финалы китайского языка и отметим «предел прочности» их слогообразующих гласных.

Финали основного ряда.

Финаль [a]. В данной финали допустимы (т. е. не приводят к непониманию) колебания качества слогообразующего гласного в пределах от заднего [ɑ] до сильно закрытого [æ], даже [ɛ]. Например, морфема «должен» [ḡaɪ¹] может быть произнесена как [ḡɑɪ¹], [ḡæɪ¹] и даже [ḡɛɪ¹]. В то же время в морфеме «изменять» [ḡaɪ³], которая произносится в третьем тоне, пределы колебания качества слогообразующего гласного заметно сужены. Гласный [a], например, в этой морфеме не может быть заменен на гласный [ɛ]. Объяснение причин такого феномена следует искать в фонетической структуре самого языка.

В первом случае замена слогообразующего гласного на [ɛ] возможна потому, что в китайском литературном языке после инициали [ḡ] финаль [ɛɪ] встречается только в третьем тоне, в связи с чем [ḡɛɪ¹] не вызывает у аудитора никаких семантических ассоциаций. Аудитор улавливает лишь небольшой акцент в произношении [ḡaɪ¹]. Заметим, что в слогах с данной финалью подобную замену часто произвести невозможно, например в слогах [ḡaɪ¹] или [p'aɪ¹], так как в китайском языке реально существуют слоги [ḡɛɪ¹] и [p'ɛɪ¹], хотя [ɛ] произносится в первом тоне с ы-образным оттенком [2, 16]. Аналогичная ситуация возникает и в слогах с третьим тоном. При замене гласного [a] в слоге [ḡaɪ³] на [ɛ] получается реальное слово [ḡɛɪ³] 'давать'. Однако в слоге [k'aɪ³] э-образный оттенок гласного вполне возможен, ибо в китайском языке морфема [k'ɛɪ³] отсутствует.

Если же произвести подъем слогообразующего гласного с одновременным его отодвижением назад до уровня [ɔ], то в этом случае аудитор фиксирует появление дифтонга [ɔɯ]; финали слогов [ḡɔɯ¹] и [ḡɔɯ³] будут отнесены им к финалям лабильного ряда и отождествлены с [ɔai].

Мы специально подробно остановились на данной финали [aɪ], так как рассуждения, приведенные выше, целиком относятся и к другим финалям.

Таким образом, на первый план выступает сочетаемость инициалей и финалей, которые в языке реализуются в виде тонированного слога.

Рассмотрим в этом аспекте остальные финали, акцентируя свое внимание на полученных результатах.

Финаль [aŋ]. Слогообразующий гласный данной финали ведет себя так же, как финаль, рассмотренная выше.

Финаль [aɥ]. В данной финали наблюдается явная тенденция перехода от слогообразующего гласного [ɑ] к более закрытому гласному, но только в первом тоне. Например, морфема [ḡaɥ¹] 'высокий' может быть произнесена как [ḡɔɥ¹] или [ḡɫɥ¹]. В слогах с другими тонами слогообразующим может быть только [ɑ], например [ḡaɥ³], но не [ḡɔɥ³], имеющий другое значение.

Финаль [aŋ]. Слогообразующий гласный данной финали не претерпевает существенных изменений, ибо в случае перехода [ɑ] в [ɔ], например в первом тоне, непременно появляется медиаль [ɥ], которая образует новую финаль [ɔŋ¹]. Последняя не встречается в китайском языке после губных и переднеязычных инициалей, поэтому после них она будет отождествляться с финалью [aŋ]. Именно так может быть произнесена финаль [ɔaŋ] в первом тоне. Аналогичная ситуация возникает и при замене слогообразующего гласного рассматриваемого слога на [A].

Финали лабиального ряда.

Финаль [ɥaɪ]. Слогообразующий гласный в слоге с первым тоном допускает при данной финали максимальные (в сравнении с прочими финалями) качественные колебания. Например, морфема [ɥaɪ]¹ 'кривой' может произноситься и как [ɥɔɪ]¹ и как [ɥɛɪ]¹. Другими словами, в качестве слогообразующего гласного в данном случае может выступать любой гласный среднего и низкого подъема. Кажущееся на первый взгляд смешение двух финалей, а именно финали [ɥɛɪ]¹ — варианта [ɥaɪ]¹ — и собственно финали (морфемы) [ɥɛɪ]¹ 'величие', невозможно, ибо слогообразующий гласный первой финали не приобретает в первом тоне ы-образного оттенка, который, как правило, имеет слогообразующий гласный второй финали.

Финаль [ɥaɪ]. Слогообразующий гласный в данной финали ведет себя так же, как в финали [ɥaɪ]. Напомним, что многое зависит от того, с какой инициальной сочетается данная финаль, ибо крайние точки предела качественного колебания реализуются лишь в тех случаях, когда в преобразованном виде полученный слог не имеет параллели в другой финали.

Финаль [ɥaŋ]. Как уже говорилось, в данной финали слогообразующий гласный может приобрести о-образный оттенок, а именно [ɥɔŋ]¹. Этому способствует наличие медиали [ɥ]. Такое явление характерно и для слогов с другими тонами.

Финали палатального ряда.

Финаль [jæɪ]. Данная финаль в известной мере может служить классическим примером возможных колебаний качества слогообразующего гласного [4, 188], причем не только в первом тоне. Так, морфема [t'jæɪ]¹ 'небо' произносится и как [t'jɛɪ]¹ и как [t'jɛɪ]¹, а морфема [t'jæɪ]² 'поле' — [t'jɛɪ]² и [t'jɛɪ]².

Финаль [jɔɪ]. Правильней всего рассматривать данную финаль в сравнении с финалью [ɥaɪ]. В них переставлены лишь маргинальные элементы. Вариативность гласного сохраняется. Наблюдаются те же максимальные изменения качества слогообразующего гласного, что и в финали [ɥaɪ].

Финаль [jɔŋ]. Как и финаль [ɔŋ], рассматриваемая финаль не представлена вариантами гласного, ибо финаль [jɔŋ] аудитором не фиксируется, а изолированная финаль [jɛŋ] воспринимается как [jɪŋ].

Финали лабио-палатального ряда.

Данный ряд представлен только одной финалью [ɥaɪ]. Возможно колебание качества слогового гласного в пределах от [œ] до [ɛ] для всех тонов. Например, [šɥaɪ]¹ 'проводглашать' может быть произнесено как [šɥœɪ]¹ и как [šɥɛɪ]¹. Или [šɥaɪ]³ 'выбирать' — как [šɥœɪ]³ и как [šɥɛɪ]³.

СЕРИЯ «Ә»

Финали основного ряда.

Финаль [eɪ]. Мы уже отмечали ы-образный оттенок, появляющийся у слогообразующего гласного в слогах первого тона. Добавим только, что на месте слогообразующего может стоять и закрытое [e] и открытое [i]. В остальных тонах качество гласного также может меняться. Ы-образный оттенок слогообразующего гласного в слогах с другими тонами (или замена его на гласный [ʏ]) производит на слух впечатление акцента и правильно ассоциируется аудитором с исход-

ной финалью. Например, [bɛi¹] 'кружка' произносится как [bɛi¹], [bɪi¹], [bʏi¹] или [bɜi¹], а [bɛi³] 'север' — как [bɛi³] или [bʏi³].

Финаль [əɲ]. Краткий характер слогообразующего гласного финали позволяет безболезненно производить замены в пределах, указанных для предыдущей финали.

Финаль [oɲ]. В слогах первого тона, как было рассмотрено выше, качество слогообразующего гласного меняется довольно значительно. Гласный становится более высоким по подъему и теряет лабиальную окраску. Так, [dʒoɲ¹] 'фамильный знак' может произноситься как [dʒʏɲ¹] или [dʒɜɲ¹]. В остальных тонах ы-образный оттенок гласного не встречается, однако возможно появление гласного [e] на месте слогообразующего. Например, [dʒoɲ⁴] или [dʒeɲ⁴].

Финаль [ʌɲ]. Во всех без исключения тонах в слогах с данной финалью слогообразующий гласный может быть представлен гласными [ɜ] и [ʏ]. Например: [dʌɲ¹], [dɜɲ¹] и [dʏɲ¹]; [dʌɲ³], [dɜɲ³] и [dʏɲ³].

Финали лабиального ряда.

Финаль [ɥɛi]. Как известно, качество слогообразующего гласного [e] сильно меняется в связи со значительным сокращением его длительности. Такое явление характерно, правда, только для слогов в первом и втором тонах. Тем не менее в третьем и четвертом тонах также возможны изменения качества гласного. Но в отличие от первых двух тонов здесь изменения качества гласного следует рассматривать не в качестве литературной нормы, а в качестве допустимых колебаний в произношении, хотя оно и может звучать неестественно. Так, слоги [t'ɥɛi³] или [ʃɥɛi⁴] могут соответственно произноситься как [t'ɥɜi³] и [t'ɥoɪ³]; [ʃɥɜi⁴] и [ʃɥoɪ⁴].

Финаль [ɥəɲ]. Незначительные колебания качества слогообразующего гласного характерны для слогов во всех тонах. Возможные варианты финали [ɥəɲ] — это [ɥɜɲ] и [ɥɪɲ].

Финаль [ɥʌɲ]. Настоящая финаль в сочетаниях с инициалами теряет первоначальный слогообразующий гласный, на место которого становится медиаль. В изолированном виде финаль встречается только в первом тоне и имеет варианты произношения: [ɥɜɲ] и [ɥʏɲ].

Единственная финаль палатального ряда [iɔɲ], которую мы рассматриваем, обладает теми же особенностями, что и финаль [ɥɛi]. В слогах с третьим и четвертым тонами качество гласного имеет значительную вариативность ([iɔɲ⁴] фиксируется, аудиторами даже тогда, когда произнесено [iɜɲ⁴] или [iɛɲ⁴]).

* * *

Если теперь использовать традиционную трапецию гласных и обозначить на ней границы вариативности произношения китайских финалей (см. схемы 1—2), то в глаза прежде всего бросается симметричность всей системы, которая напоминает симметричные системы китайских финалей [2, 18].

Предварительные наблюдения, естественно, не могут отразить в полной мере всех изменений гласного финалей. К тому же количество аудиторов должно быть существенно увеличено. Однако уже теперь возможно сделать некоторые предварительные выводы:

1. Исходная и предельная формы нормативного произношения в китайском языке имеют значительные отличия, объясняемые наличием в языке фиксированной структуры слога и тональной системы.

2. Большая вариативность качества слогообразующего гласного

финалей в произношении различных людей — носителей китайского языка обязывает более внимательно относиться к подбору дикторов при подготовке экспериментальных исследований. Следует в этом случае также отличать индивидуальные отклонения говорящих от диалектных отклонений.

Схема 1

Серия «а»

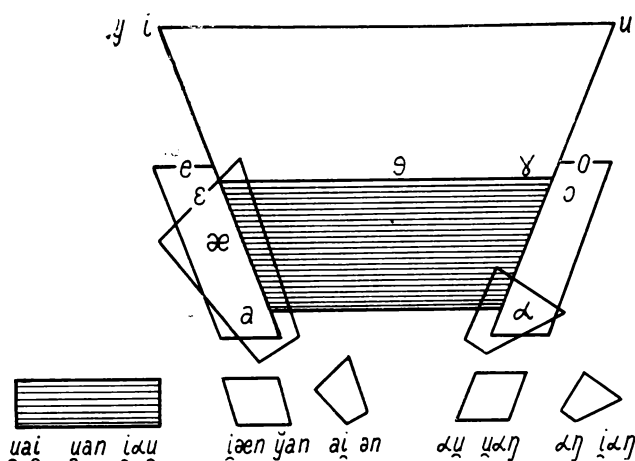
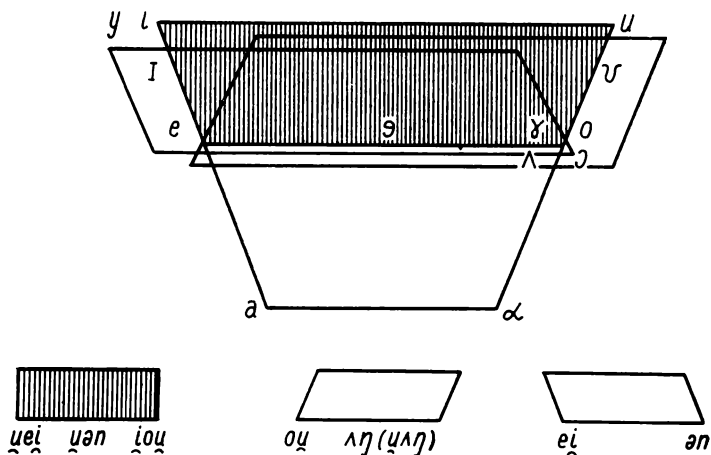


Схема 2

Серия «Э»



3. Приведенные данные могут представить известный интерес при исследовании передачи китайской речи на расстоянии, где лингвистическая вероятность занимает не последнее место.

4. Полученные схемы могут найти применение в методике преподавания фонетики китайского языка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Драгунов А. А., Драгунова Е. Н., Структура слога в китайском национальном языке, — «Советское востоковедение», 1955, № 1.
2. Спешнев Н. А., Акустическая характеристика гласных китайского языка, автореф. канд. дисс., Л., 1968.
3. Ли Шао-чунь, Цзинцзюй хэ цзинъинь (Пекинская опера и пекинское произношение), — «Чжунго юйвэнь», 1956, № 5.
4. Ло Чан-пэй, Ван Цзюнь, Путунхуа юйиньсюе ганъяо (Основы фонетики путунхуа), Кэсюе чубаньшэ, Пекин, 1957.
5. Сюй Лян-ци (составитель), Чанъюнцзы пиньинь бяо гуату (Наглядная таблица транскрипции наиболее употребительных иероглифов), Вэньцзы гайгэ чубаньшэ, Пекин, 1957.
6. Сюй Ши-жун, Бэйцзин хуа ли ды туы хэ туинь (Диалектизмы и местное произношение в пекинском диалекте), — «Чжунго юйвэнь», 1957, № 3.
7. «Ханьюй пиньинь цыхуэй» («Лексика китайского языка в транскрипции»). Справочник, испр. и доп. изд., Вэньцзы гайгэ чубаньшэ, Пекин, 1964.
8. Цуй Ань, Лунь цзинцзюй юйинь гайгэ вэньти (О фонетической реформе в пекинской опере), — «Чжунго юйвэнь», 1956, № 8.

А. А. Торопов

СЕГМЕНТАЦИЯ КИТАЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВОГО ТЕКСТА

(на материалах текста «Цзин бэнь тунсу сяошо»)

Известно, с какими трудностями сталкивается любой лексикограф, составляющий словарную картотеку путем сплошной расписки текста. Особую трудность представляет работа с иероглифическим текстом.

Старый (в том числе средневековый) китайский текст состоит из сплошной цепочки иероглифов, стоящих один подле другого без каких-либо знаков пунктуации и без пробелов. В силу этого в отношении китайского текста не может быть использовано широко распространенное в работах по машинному переводу формальное определение слова как цепочки букв от одной до *n*, ограниченной слева и справа пробелами. Следовательно, задача лексикографа заключается в обнаружении соответствующих дифференциальных признаков (ДП), отличающих одну единицу от другой, и в нахождении методов выделения единиц языка (ЕЯ), зафиксированных в тексте. Без обращения к смыслу, без предварительного прочтения невозможно членение текста на слова или на какие-то другие ЕЯ или единицы речи (ЕР). Поэтому при выделении соответствующих единиц текста чаще всего приходится прибегать к чисто смысловым или к формально-смысловым ДП.

В статье С. Е. Яхонтова [7] дается анализ ряда ДП и формальных способов выделения ЕЯ. Вот основные из них:

- 1) цельнооформленность;
- 2) способность единиц к употреблению в качестве самостоятельного предложения;
- 3) возможность вставки отрезков речи между частями сложных образований;
- 4) способность единиц к перекрестной замене;
- 5) возможность опущения части предложения без нарушения его грамматической правильности;
- 6) метод отрицательной выделяемости (невыделяемости).

Как отмечается в указанной статье, универсальных признаков и способов выделения ЕЯ нет, разные авторы пользуются небольшим числом по-разному комбинируемых приемов. Ни один из методов не может быть применен ко всем языкам, причем каждый из них подвергается определенным ограничениям. Неприменимы они — ни каждый в отдельности, ни в комбинациях — и к китайскому языку, особенно к языку исследуемого нами памятника («Цзин бэнь тунсу сяошо», XII—XIV вв. н. э. В современном издании текст размечен) [6], ограниченного узкими временными рамками и имеющего сравнительно небольшой объем (7 рассказов, 56 тысяч знаков).

В своем докладе «Лексико-грамматические принципы составления словаря средневекового китайского языка (эпоха Сун)» [5, 101] автор данного сообщения уже приводил основные ДП, применяемые для выделения ЕЯ. Основные из них: синтаксическая цельнооформленность (Ц_с) и раздельнооформленность (Р_с), идиоматичность (И), воспроизводимость (В), устойчивость (У) и цельность значения (Ц_з). Побочные: морфологическая цельнооформленность (Ц) и раздельнооформленность (Р_м), наличие-отсутствие словообразовательного аффикса (А_с) и ряд других, внешних признаков (контекст, лексикографические традиции, параллелизм, словообразовательные модели и т. п.). Побочные ДП позволяют выделить ЕЯ более формальным способом, но они применимы к незначительному числу единиц. Основные ДП позволяют выделять ЕЯ менее формализованным способом, но охватывают основную массу единиц текста.

Содержание большинства из названных здесь ДП несколько отличается от традиционного, поэтому представляется необходимым дать более подробные пояснения к некоторым из них:

1. Ц_с — это способность ЕЯ к самостоятельному употреблению в какой-либо синтаксической функции (предложения, члена предложения, служебного показателя). Процедура применения Ц в основном сводится к выделению главных членов предложения или их групп, что позволяет обнаружить многие односложные слова¹ и наметить «кандидатов» в сложные (главным образом двусложные) слова.

2. Р_с — то же, но в отношении компонентов сложной единицы. При этом подразумевается не потенциальная способность компонента сложного образования к самостоятельному употреблению², а его реальное употребление в какой-либо синтаксической функции в данном конкретном случае. Этот ДП применим ко всем единицам, но иногда не дает однозначного решения, особенно в случае атрибутивных сочетаний. Например, по одному этому признаку трудно решить, чем (словом или словосочетанием) является двусложное образование *бянь*⁴ *жэнь*². Не помогает здесь и признак Ц_з. Но в другом месте компонент *жэнь*² стоит в начале, а компонент *бянь*⁴ отделен от него двумя самостоятельными элементами. Таким образом, налицо признаки У и И, что говорит в пользу отнесения данного образования к словосочетанию («подходящий человек»), а не к слову. Авторы ряда работ по проблеме слова [например, см.: 2, 12], использующие этот ДП для выделения ЕЯ, под самостоятельным употреблением компонентов понимают только употребление последних в качестве предложения. Некоторые авторы [3, 55], применяя признак Р_с, делят на части и сложные слова, так как фактически признают достаточным наличие всего лишь одного компонента сложного образования, способного к самостоятельному употреблению.

3. В — неоднократная повторяемость готовых единиц в конкретных случаях их употребления как следствие узуральности языкового знака. Различается несколько ступеней В — от единичных до регулярного по-

¹ Здесь используется некоторая фонетическая информация, заключенная в письменном тексте и вытекающая из известного положения, что иероглиф как письменное выражение языкового знака равен морфеме в системе звукового языка. А каждая такая морфема, обладающая синтаксической оформленностью, и есть односложное слово. Таким образом, процедура выделения морфем и основной массы односложных слов из китайского текста, как правило, не вызывает особых затруднений.

² В китайском языке (в том числе в нашем тексте) часто встречаются сложные слова, каждый из компонентов которых может быть употреблен в тексте и самостоятельно. Например, компоненты *тин*⁴ 'слушать' и *шо*¹ 'говорить' из двусложного слова *тин*⁴ *шо*¹ 'услышать'.

вторения в одинаковых или различных контекстах. Этот ДП применим ко всем единицам, но требует статистики.

4. У — невозможность без изменения значения замены, изъятия, взаимозамены или разъединения компонентов единицы. Как и В, У требует статистики. Из всех перечисленных элементов У для выделения ЕЯ чаще всего используется метод разъединения компонентов сложного образования вставкой [например, см.: 1, 90].

5. Ц_з — обязательная соотнесенность значения со всей единицей. С компонентами сложной единицы значение целого может соотноситься через посредство внутренней формы. Сложные единицы могут быть как со значимыми компонентами, так и без них. Это ДП, внутренне присущий каждой классической ЕЯ, но иногда трудно обнаруживаемый, особенно в сложных единицах с атрибутивным сочетанием компонентов.

6. Ц_м — совпадает с тем, что А. И. Смирницкий [4, 190, 197] называет просто «цельнооформленностью», подразумевая под этим грамматическую изменяемость всего сложного образования. Этот (как и два последующих) ДП дает всегда однозначное решение, но применим к крайне малому кругу единиц³ и далеко не в каждом конкретном случае их употребления.

7. Р_м — то же, но в отношении компонентов сложной единицы.

8. А_с — наличие словообразовательных суффиксов, таких, например, как суффиксы существительных *-цзы* и *-эр*.

9. И — различная по степени трудность мотивированности значения единицы значениями компонентов (или компонента) с точки зрения современных языковых норм. Данное определение нуждается в более подробном пояснении.

И трактуется здесь гораздо шире ставшего уже традиционным понятия И, введенного А. И. Смирницким [4, 199]. Согласно А. И. Смирницкому, под И подразумевается «невыводимость значения целого языкового образования из совокупности значений входящих в него частей...». Различие этих двух определений И заключается главным образом в признании или отрицании самой возможности выведения цельного значения из значений компонентов. Дело в том, что значение сложной единицы в конечном счете может быть выведено только из значений компонентов, но мотивировка этого значения с точки зрения норм современного языка может быть осложнена различными причинами. В зависимости от характера этих причин различается несколько видов И, которые можно условно назвать следующим образом:

а) лексико-семантическая И, когда причиной, осложняющей толкование цельного значения, являются лексические значения компонентов единицы. Например *ба²бу⁴* 'убегать, отрываться, освобождаться' (досл. 'выдергивать, извлекать' + 'шаг'). Именно этот вид И имеется в виду, когда И определяется как несводимость цельного значения к сумме значений компонентов. Степень этой несводимости может быть различной;

б) лексико-грамматическая И, когда мотивировка осложняется различной категориальной принадлежностью всей единицы, с одной стороны, и ее компонентов — с другой. Например: *бу⁴хао³* наречие 'неловко, неудобно' (досл. отрицание 'не' + прилагательное 'хороший, удобный');

в) структурно-синтаксическая И, являющаяся след-

³ Главным образом к некоторым глаголам, оформляющимся временными суффиксами, и к личным местоимениям, принимающим во множественном числе суффикс *-мэнь*.

ствием условности порядка компонентов единицы. Действительно, с точки зрения чисто синтаксических отношений трудно мотивировать твердый порядок компонентов в таком сложном слове с копулятивной связью компонентов, как *бао¹го³*: 1) существительное 'узел' (досл. 'узел' + 'узел'); 2) глагол 'завернуть (в узел)' (досл. 'завертывать' + 'завертывать').

Здесь приводится лишь самое общее деление И на виды. Оно позволяет отличать ЕЯ от ЕР. Дальнейшее подразделение ЕЯ на слова и фразеологизмы производится по более дробному делению И на подвиды, например по степени ощущения носителем языка образности: фразеологизмы, как правило, более образны, слова — нет.

Несомненно, что настоящее деление И на виды является условной абстракцией от реальных единиц. Каждая ЕЯ фактически может быть идиоматичной во всех планах, по всем направлениям.

Трудность мотивировки цельного значения значениями компонентов объясняется условным характером связи плана выражения с планом содержания, присущим языковому знаку, произвольностью ЕЯ как знака.

Таким образом, мы видим, что И является наиболее важным ДП, позволяющим отличать один тип единиц от другого. Это — свойство всех ЕЯ, внутренне присущее им и являющееся ярким выражением самой сущности отношений между языковым знаком и значением. Применение И для выделения ЕЯ не требует статистики.

Несмотря на содержательный характер понятия И, представляется возможным найти некоторые формальные признаки ее обнаружения. Так, например, при трансформации переменного атрибутивного словосочетания *бянь⁴жэнь²* 'подходящий человек' в предикативное *жэнь²бянь⁴* 'человек подходящий' не происходит нарушения ни грамматической правильности, ни общего смысла высказывания. Соответствующая трансформация номинативной ЕЯ *гань¹синь¹* (глагол 'примириться', досл. 'сладкий, приятный' + 'сердце') не может быть произведена без изменения значения.

В силу центрального положения И среди других ДП, отличающих ЕР от ЕЯ, это понятие нуждается в дальнейшей, более тщательной разработке как на материале китайского языка, так и языков других типов. Также требуется дальнейшая разработка в смысле уточнения и других ДП (*Ц_з*, *В*, *У*), по которым ЕР стлчаются от ЕЯ, а внутри последних — слова от устойчивых словосочетаний (по специальному применению этих же ДП и по признакам *Р_с*, *Ц_м*, *Р_м* и *А_с*).

По причине явной неприложимости к исследуемому материалу здесь не рассматриваются такие не менее важные ДП, как фонетический и связанность значения компонентов.

Процедура выделения ЕЯ начинается с применения *Ц_с*. Затем, после выделения некоторых односложных слов, для определения характера оставшихся сложных образований последовательно применяются И, *Ц_з*, *Р_с*, *В* и *У*. Некоторые ЕЯ выделяются сразу же после применения *Ц_с* по наличию у них одного из побочных ДП (*Ц_м*, *Р_м*, *А_с*).

В результате соответствующих процедур выделяются морфемы, определяемые как самостоятельные или несамостоятельные, знаменательные или служебные. В исследуемом нами тексте встретились морфемы, характеризующиеся любой из комбинаций указанных здесь оппозиций: самостоятельные + знаменательные, самостоятельные + служебные и т. д. Имеются переходные случаи. Каждый тип морфемы характеризуется определенным набором ДП, классические сложные слова состоят из несамостоятельных, знаменательных (реже — служебных)

морфем и обладают такими ДП, как Ц_с, И, Ц_з, В и У. Кроме того, они могут характеризоваться наличием Ц_м и А, а также отсутствием Р_с и Р_м.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гринберг Дж., Квантитативный подход к морфологической типологии языков, — сб. «Новое в лингвистике», вып. III, М., 1963.
2. Лу Чжи-вэй, Бэйцзин хуа даньиньцы цыхуэй (Словарь односложных слов пекинского диалекта), Пекин, 1956.
3. Ревзин И. И., Модели языка, М., 1962.
4. Смирницкий А. И., К вопросу о слове (Проблема «отдельности слова»), — сб. «Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию», М., 1952.
5. Торопов А. А., Лексико-грамматические принципы составления словаря средневекового китайского языка (эпоха Сун), — сб. «Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. Тезисы докладов III годичной научной сессии ЛО ИНА», Л., 1967.
6. «Цзин бэнь тунсу сяошо» («Популярные рассказы, изданные в столице»), Шанхай, 1954.
7. Яхонтов С. Е., Методы выделения грамматических единиц, — сб. «Языковые универсалии и лингвистическая типология», М., 1969.

А. А. Холодович

КАТЕГОРИЯ ЛИЦА В ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ

1. По отношению к глагольной категории лица все языки делятся, как известно, на две группы: языки, обладающие глагольной категорией лица, например русский (группа А), и языки, лишенные ее, например китайский (группа В).

Языки, обладающие категорией лица, в свою очередь делятся на языки, указывающие только на лицо, коррелирующее с подлежащим, например русский, и языки, указывающие как на лицо, коррелирующее с подлежащим, так и на лица, коррелирующие с дополнениями, например грузинский. О глаголе в языках первого рода говорят, что он имеет субъектное спряжение. О глаголе в языках второго рода говорят, что он помимо субъектного имеет также субъектно-объектное спряжение.

Языки с субъектно-объектным спряжением делятся в свою очередь на: а) языки, где лицо глагола может коррелировать только с одним дополнением; это языки с субъектно-однообъектным спряжением; сюда относится, например, венгерский и б) языки, где лицо глагола может коррелировать с двумя дополнениями; это языки с субъектно-двухобъектным спряжением; сюда относится, например, абхазский.

Языки, обладающие категорией лица, обычно называют языками с глаголом, имеющим личное спряжение.

Между тем можно указать еще на один тип языков, видимо уникальный, но все же существующий. Этот тип представлен японским языком. Другие языки, подобные в этом отношении японскому, нам неизвестны. В этом языке нет личного спряжения. Тем не менее глагол обладает категорией лица, и язык, таким образом, принадлежит к группе А, а не В.

2. В дальнейшем мы будем исходить из того предположения, что в японском языке существует парадигматическое отношение типа $V:N':N''$, где V — собственно глагол, N' — его глагольный субстантив со значением имени действия, а N'' — его глагольный субстантив со значением имени деятеля. Например: *домору* 'зайкаться' : *домори* (= *домору кото*) 'зайкание' : *домори* (= *домору моно*) 'зайка'. Ср. то же отношение в русском: *ловить* : *лов* (имя действия) : *лов* (в *зверолов* — имя деятеля). Это парадигматическое отношение в разных случаях реализуется по-разному, с разной полнотой. Но независимо от полноты реализации во всех случаях оно используется для выражения категории лица в специфически японском варианте.

3. Практически каждый исконно японский глагол, например *сусумэру* 'предлагать', может быть «разложен» на образующие его смысловые элементы, которые выражаются: 1) глагольным субстантивом со значением имени действия (например, *сусумэ* 'предложение') и 2) гла-

голом со значением «делать» (например, *суру*). Таким образом, существуют регулярные пары типа *сусумэру* 'предлагать' : *сусумэ суру* 'делать предложение' с тождественным денотатом. Формально второй член таких пар является производным от первого. В русском языке аналогом этого отношения будут пары типа *предлагать* : *делать предложение* с той, однако, разницей, что здесь они охватывают лишь незначительную часть глагольной лексики (ср., например, невозможность «делать чтение»). Итак, в японском языке каждый простой исконно японский глагол имеет соответствующий ему аналитический эквивалент. Обратное утверждение, однако, является неверным: в японском языке есть глаголы типа «делать предложение», у которых отсутствует «склеенная» форма типа «предлагать». К таким образованиям относится, например, *кигаэ суру* 'переодеваться' (букв. 'делать переодевание'), которому нет соответствия в виде глагола *кигаэру*. И таких аналитических глаголов без соответствующих им «склеенных» форм в японском языке довольно много. Здесь, таким образом, в парадигматическом отношении $V : N' : N''$ место V оказывается незаполненным.

4. Аналитический вариант глагола: «глагольный субстантив со значением имени действия + глагол со значением „делать“» — выступает в виде пяти синонимов. Это связано с тем, что в японском языке есть пять глаголов со значением «делать»: *суру*, *насару*, *асобасу*, *итасу*, *мо:су*. Таким образом, в действительности существует следующее сложное соотношение:

$$(a) \text{ сусумэру : } \begin{cases} \text{сусумэ суру} & (b) \\ \text{сусумэ насару} & (c) \\ \text{сусумэ асобасу} & (d) \\ \text{сусумэ итасу} & (e) \\ \text{сусумэ мо:су} & (f) \end{cases}$$

Рассмотрим правую часть этого соотношения:

1) Во-первых, *сусумэ суру* противостоит всем остальным синонимам:

$$b : (c, d, e, f) \\ (b) \text{ сусумэ суру : } \begin{cases} \text{сусумэ насару} & (c) \\ \text{сусумэ асобасу} & (d) \\ \text{сусумэ итасу} & (e) \\ \text{сусумэ мо:су} & (f) \end{cases}$$

Это противопоставление связано с категорией лица: форма *сусумэ суру* — неличная (не путать с безличностью!); все противостоящие ей формы — личные. Форма *сусумэ суру* может употребляться при существительном-подлежащем любого личного класса и подкласса («я», «ты», «он» и т. д.), остальные формы — нет. Вот примеры на неличную форму¹:

Ёва... Мэйдзито до:нэн да то хокэри¹ мэ си², хадзи³ мо ситэ⁴ ита (Ток.)² 'Я... одновременно и гордился^{1,2} и испытывал⁴ стыд³ по поводу того, что я ровесник эпохи Мэйдзи';

¹ Наиболее важные в данном контексте слова из японских предложений и их соответствия в русском переводе обозначены одинаковыми надстрочными цифрами.

² Принятые сокращения фамилий авторов приводимых примеров: Ки. — С. Киси; Кик. — К. Кикутти; Ко. — Ф. Кодзакаи; Кун. — Д. Кунижида; Мас. — Масамунэ; Мик. — О. Миками; Мур. — К. Муро; Му. — С. Мусякодзи; Наг. — К. Нагаи; Нац. — С. Нацумэ; Одз. — К. Одзаки; Сим. — Т. Симадзаки; Тан. — Д. Танидзаки; Ток. — Р. Токутоми; Фуд. — С. Фудзимори; Ям. — Ю. Ямамото.

Корэва кими нанка ёндаттэ вакари¹ я синайн² да (Ки.) 'Ты это ни за что не^{1,2} поймешь^{1,2}, сколько бы (ты) ни читал';

Бокуно нэтэ ита утини дарэка ки¹ я синакатта² ка нэ (Нац.) 'Не^{1,2} приходил^{1,2} ли кто, пока я спал?'

Примечание. Неаналитическая форма типа *сусумэру* тоже является неличной. Различия между неличной формой типа *сусумэру* и неличной формой типа *сусумэсуру* здесь не рассматриваются. Укажем лишь на то, что такое различие существует; так, например, аналитическая форма необходима в том случае, когда в глагол вносятся некоторые дополнительные оттенки, выражаемые частицами *мо*, *я*, *ва*, *саэ*, *бакари*, *нанка* (типа русских «и», «лишь», «даже», «вовсе»), инфиксируемыми между составными частями аналитической формы.

2) Во-вторых, формы *сусумэ насару* и *сусумэ асобасу* противостоят формам *сусумэ итасу* и *сусумэ мо:су*:

(с, d) : (е, f)

(с) <i>сусумэ насару</i>	}	:	{	(е) <i>сусумэ итасу</i>
(d) <i>сусумэ асобасу</i>				(f) <i>сусумэ мо:су</i>

Формы левого столбца означают либо второе, либо третье лицо, а формы правого столбца — либо первое, либо третье лицо. Иначе говоря, формы обоих столбцов совпадают по обозначению лица, не участвующего в диалоге, но отличаются по обозначению лица, участвующего в диалоге: формы левого столбца употребляются только в отношении второго лица, формы правого столбца — только в отношении первого лица. Формы левого столбца мы будем называть формами непервого лица, формы правого столбца — формами невторого лица.

Непервое лицо:

а) со значением «ты/вы»:

Дага синдаттэ они:санва бэцуни комарива¹ насаранайно² дэсё: (Мус.) 'Но мне сдается, что ты не будешь^{1,2} особенно убиваться^{1,2}, даже если она умерла';

Сицурэй дэсу кэрэдо докодэ о-юи¹ асобасуно² (Наг.) 'Простите, где вы завиваетесь^{1,2?}';

б) со значением «он (она, оно, они)»:

...итидомо нихондзиннива о-аи¹ насаранайно² дэсу (Наг.) '...он ни разу не^{1,2} встречался^{1,2} ни с одним японцем';

Оя, оя, ицу о-каэри¹ асобаситаро:^{2?} (Кун.) 'Господи, когда же это он изволил^{1,2} вернуться^{1,2?}'

Невторое лицо:

а) со значением «я»:

Дэмо ватасива моти имано коно курусимига ватасиэно бацудэ годзаймаситара, ёрокондэ о-укэ¹ итасимасу² (Мик.) 'Если мои теперешние страдания это наказание [за содеянное], то я с радостью принимаю^{1,2} это';

Ватасива окусамао о-ситаи¹ мо:ситэ² оримасу (Мик.) 'Я люблю^{1,2} вас';

б) со значением «он (она, оно, они)»:

Хонто:ни нэннэ:но кусэни тондэмонай котоо итасимаситэ¹ (Кик.) 'Вот ведь, ей-богу, еще дитя, а что натворил!'

3) В-третьих, в левом столбце форма *сусумэ насару* противостоит форме *сусумэ асобасу* как немаркированная маркированной: *сусумэ насару* употребляется любым говорящим, независимо от того, мужчина это или женщина, *сусумэ асобасу* употребляется только в речи женщин; в правом столбце форма *сусумэ итасу* противостоит форме

сусумэ мо:су, видимо по признаку пейоративности: форма с *мо:су* является более уничижительной, нежели форма с *итасу*.

Таким образом, в конечном итоге имеем следующую иерархию оппозиций:

$$a : \{b : [(c : d) : (e : f)]\}$$

5. Выше мы рассматривали такие японские глаголы, у которых есть как формы типа «предлагать» («склеенные»), так и формы типа «делать предложение» («расщепленные» на семантические элементы). Но в японском языке есть немало таких глаголов, у которых существуют только «расщепленные» формы: например, есть *кигаэ суру* и нет *кигаэру*. В этот класс входят все глаголы так называемого китайского лексического фонда (т. е. глаголы, составленные из морфем китайского происхождения) и немалое число глаголов исконно японского лексического фонда, особенно же глаголы, знаменательная часть которых состоит из двух морфем (например: *аюцури суру* 'делать ловлю-форелей' → 'ловить форелей', *магари суру* 'делать снятие-комнаты' → 'снимать комнату', *тодзимари суру* 'делать закрытие-двери' → 'закрывать дверь' и т. п.). Здесь, таким образом, существуют только формы *b*, *c*, *d*, *e*, *f* с описанным выше значением и отсутствует форма *a*:

$$(b) \text{ кэнкю: суру} \quad \left\{ \begin{array}{ll} \text{кэнкю: насару} & (c) \\ \text{кэнкю: асобасу} & (d) \\ \text{кэнкю: итасу} & (e) \\ \text{кэнкю: мо:су} & (f) \end{array} \right.$$

Неличная форма:

Сорэва кокорокара о-якусоку¹ симасу² (Мик.) 'Я вам обещаю^{1,2} от всей души это';

Омаэва иттай сэйдзин¹ ситэ² нанини нару ка (Мур.) 'Кем ты будешь, когда вырастешь^{1,2?}';

Итинэнно ноти Хираокава кэккон¹ сита² (Нац.) 'Спустя год Хираока женился^{1,2}'.

Непервое лицо:

а) со значением «ты/вы»:

Госюдзинто кэнка¹ насуттан² дэсу ка (Кик.) 'Вы что, поссорились^{1,2} с мужем?';

Го-тайин¹ насуттара²... итидо о-ён насуттэ кудасай (Мас.) 'Когда выйдете^{1,2} из^{1,2} больницы^{1,2}... заходите как-нибудь ко мне';

б) со значением «он (она, оно, они)»:

Ото:сан мо корэнива го-сансэй¹ насару² даро: (Кик.) 'Думаю, что отец тоже согласится^{1,2} с этим';

Ото:сан мо ока:сан мо го-симпай¹ асобасу² (Ям.) 'Папа и мама будут^{1,2} волноваться^{1,2}'.

Невторое лицо:

а) со значением «я»:

Сорэва кэсситэ сё:ти¹ итасимасэн² (Ям.) 'С этим я абсолютно не^{1,2} согласен^{1,2}';

Осо:сикикара каэттэ мада кигаэ¹ мо итаситэ² инакаттано дэсу моно (Кик.) 'Я (только что) вернулась с похорон и еще не переоделась^{1,2}';

Го-аннай¹ мо:симасё² 'Давайте я провожу^{1,2} вас';

б) со значением «он (она, оно, они)» примеров нет.

6. В рассматриваемой нами иерархической оппозиции $a:\{b:[(c:d)::(e:f)]\}$ крайний левый член оппозиции — a — либо имеется налицо (см. п. 4), либо отсутствует (см. п. 5). Если он имеется налицо, то представляет собой либо простую неаналитическую форму глагола, либо сложную аналитическую форму. В п. 4 мы рассмотрели первый случай ($a = \text{сусумэру}$ 'предлагать' — неаналитическая форма). Теперь нам предстоит рассмотреть тот случай, где « a » представляет собой аналитическую форму, т. е. имеет вид $V = v + v_{aux}$, где v — основной глагол, v_{aux} — вспомогательный глагол. В этом случае «расщеплению» на семантические множители подвергается не основной глагол, а вспомогательный, вносящий то или иное грамматическое значение. Иными словами, при «расщеплении» аналитической формы на семантические множители эта аналитическая форма превращается в имя действия через номинализацию вспомогательного глагола:

(a) <i>эндэ симау</i>	{	<i>эндэ симаи суру</i>	(b)
		<i>эндэ симаи насару</i>	(c)
		<i>эндэ симаи асобасу</i>	(d)
		<i>эндэ симаи итасу</i>	(e)
		<i>эндэ симаи мо:су</i>	(f)

где *эндэ симау* 'прочитать' — аналитическая форма со значением завершенности действия от *эму* 'читать'.

Как правило, в речи чаще всего встречается непервое лицо:

Химао даситэ¹ о-симаи² насай³ (Тан.) 'Уволь^{1,2,3} ты его наконец!' (исходная аналитическая форма *даситэ симау* от глагола *дасу* со значением завершенности действия, выражаемом вспомогательным глаголом *симау*);

Киёва сумасита монодэ ани:самава ото:самага каттэ¹ о-агэ² насару³ кара камаимасэн то ю: (Нац.) 'Киё же невозмутимо отвечала, что старший братец ее не волнует, так как [подарок] ему купит^{1,2,3} отец' (исходная аналитическая форма *каттэ агэру* от глагола *кау* 'покупать' со значением центробежности, выражаемом вспомогательным глаголом *агэру*).

7. Во всех рассмотренных выше случаях отглагольный субстантив со значением имени действия имел тот же корень, что и соответствующий ему глагол: *сусуму* — *сусумэ суру*. Однако в японском языке в ряде случаев при разложении глагола на семантические множители отглагольный субстантив выражается супплетивным корнем. Это имеет место, видимо, всего лишь при двух глаголах, которые, однако, отличаются от многих других глаголов исключительной частотностью. Речь идет о глаголах *миру* 'видеть' и *иру* 'быть', 'уходить', 'приходить' как в самостоятельном употреблении, так и при использовании их в качестве служебных слов для образования форм длительности (*иру*) и форм, обозначающих попытку совершения действия (*миру*). Оппозиция типа $a:\{b:[(c:d):[(e:f)]]\}$ представлена здесь не полностью:

(a) <i>иру</i> :	{	—	(b)
		<i>оидэ насару</i>	(c)
		<i>оидэ асобасу</i>	(d)
		—	(e)
		—	(f)

(a) <i>миру</i> :	{	—	(b)
		<i>горан насару</i>	(c)
		<i>горан асобасу</i>	(d)
		—	(e)
		—	(f)

Нанио вараптэ¹ оидэ² насару³ (Одз.) 'Что вы смеетесь?^{1.2.3}' (форма длительности от *варау* 'смеяться');

Таттэ сокоо аруитэ¹ горан² насай³ 'А ну-ка встаньте и попробуйте^{2.3} пройти¹ здесь' (форма попытки совершения действия от *ару-ку* 'идти').

8. Для противопоставления непервого лица невторому в рассмотренных выше случаях использовался отглагольный субстантив со значением имени действия. Но для обозначения непервого лица может быть использован тот же отглагольный субстантив, но уже со значением имени деятеля. Совмещение в одном и том же отглагольном субстантиве двух значений — имени действия и имени деятеля — вполне обычное явление для японского языка; ср., например, существительные типа *тякики* 'дегустация чая' и 'дегустатор чая', *хитокороси* 'человекоубийство' и 'человекоубийца', *оннагираи* 'женоненавистничество' и 'женоненавистник', *хитоакинаи* 'работорговля' и 'работорговец'. Такой отглагольный субстантив употребляется, как правило, в качестве именного члена составного сказуемого и сопровождается связками: а) «быть» (*дэсу*, *да*, *ару*, *годзару*) // «не быть» (*най*); б) «становиться» (*нару*). При связках *дэсу*, *да* отглагольный субстантив принимает форму основного падежа, при связках *ару*, *годзару*, *най* — форму творительного падежа, при связке *нару* — форму дательного падежа:

<i>сусумэру</i> :	{	невторое лицо — нет
		непервое лицо: <i>сусумэ дэсу</i>
		<i>сусумэдэ годзару</i> <i>сусумэни нару</i>

Таким образом, в японском языке для невторого лица используется глагольный субстантив только со значением имени действия, а для непервого лица — глагольный субстантив со значением как имени действия, так и имени деятеля:

	Субстантив — имя действия	Субстантив — имя деятеля
Непервое лицо	{ <i>сусумэ насару</i> <i>сусумэ асобасу</i>	<i>сусумэ дэсу</i> <i>сусумэни нару</i>
Невторое лицо	{ <i>сусумэ итасу</i> <i>сусумэ мо:су</i>	— —

А. Глагольный субстантив со связкой «быть»:

Ты/Вы — *Мо: оясуми¹ дэсу² ка* (Ям.) 'Вы уже легли^{1.2} спать^{1.2?}';

Ицу о-каэри¹ дэсита² ка (Мус.) 'Когда вы вернулись^{1.2?}';

Ма: охаяи о-татидэ¹ годзаимасу² нэ (Кик.) 'Рано же вы уезжаете^{1.2?}';

Со: о-омоидэ¹ найн² дэсу ка (Фуд.) 'А вы не^{1.2} думаете^{1.2} так?'

Он — *Хираокасанва оидэ¹ дэсита²* (Нац.) 'Хираока был^{1,2} дома^{1,2}';
Анатава нагаку го-тайдзай¹ дэсу² ка (Кик.) 'И надолго вы думаете там остановиться^{1,2}'

Б. Глагольный субстантив со связкой «становиться»:

Ты/Вы — *Дэва анатава нанисини сокоэ о-юкини¹ наримасита² ка* (Ко.) 'Тогда зачем же вы пошли^{1,2}туда?';

О-каэрини¹ наранай² нантэ хонто: дэсу ка (Кик.) 'Так это правда, что вы не^{1,2} вернетесь^{1,2}'

Он — *Сорэдэмо они:санно эо аннани о-хомэни¹ наттано² дэсу моно* (Му.) 'И все же он так хвалил^{1,2} ваши картины';

Хэкисё:но катава... соросоро о-каэрини¹ наримасу² (Кик.) 'Проводящие тут лето господа... понемногу возвращаются^{1,2} домой^{1,2}'.

То же явление имеет место и в случае супплетива основ у глаголов *иру* 'быть', 'ехать', 'идти' и *миру* 'видеть'. Супплетив *иру* и *миру* может употребляться:

а) самостоятельно:

Окусама яппари оидэни¹ наранай²? (Тан.) 'Так вы не^{1,2} поедете^{1,2}';

До:ка има горанни¹ натта² котоо химицуни ситэ кудасаима-сэн ка? (Кун.) 'Не потрудитесь ли вы сохранить в секрете то, что вы сейчас видели^{1,2}';

б) в составе аналитических форм:

Саккикара маттэ¹ оидэ² дэсу³ (Нац.) '[Он] уже давно ждет^{1,2,3}' (форма длительности от *мацу* 'ждать');

Гэндзива... кадокадоо сасан утини то исойдэ¹ оидэни² натта³ 'Гэндзи торопился^{1,2,3}: «Надо спешить, а не то закроют ворота»' (форма длительности от *исогу* 'спешить').

Примечание. У супплетивов *иру* и *миру* связка может быть опущена: *Аттиэ иттэ ясундэ¹ оидэ²* (Нац.) 'Иди туда и отдохни^{1,2}'; *Тэттян, тётто коттио муитэ¹ горан²* (Одз.) 'Тэттян, повернись^{1,2}-ка ко мне на минутку'.

9. Чем отличается категория лица в японском языке от категории лица в таких, например, языках, как русский, венгерский, абхазский и т. п.? Она отличается по крайней мере в трех планах:

а) в формальном: в языках типа русского категория лица выражается синтетически, с помощью так называемых личных окончаний или, в общем виде, с помощью аффиксов, тогда как в японском языке она выражается аналитически — путем сочетания отглагольного субстантива (имя действия или имя деятеля) со служебными глаголами, имеющими значение «делать», либо со связками «быть» или «становиться»;

б) в семантическом: в языках типа русского категория лица представляет собой систему противопоставления трех лиц либо в виде трехчленной оппозиции 1 : 2 : 3, либо в виде двухуровневой двучленной оппозиции (1 : 2) : 3; в японском языке категория лица — это противопоставление непервого лица невторому: (1, 3) : (2, 3);

в) в грамматическом: в языках типа русского категория лица является в позиции сказуемого обязательной (случаи типа «я бежать, а он за мной» не меняют общей картины, представляя собой эллипс особого рода); в японском языке категория лица выражается только в том случае, если подлежащим или темой предложения является личное существительное [случаи типа *Сибуи какива мотто сокона симбо: ситэ оидэ насай* (Сим.) 'А вы, терпкие плоды хурмы, еще немного потерпите на дереве' возможны только потому, что здесь имеет место олицетворение; в случае типа *Тиёкосан, кё: баннива (анатанива) го-*

ё : га о-арини наттэ? (Наг.) 'Тиёко, вы сегодня вечером заняты?' (букв. 'У вас дела есть?') сказуемое «есть» имеет форму непервого лица в силу «согласования» с подразумеваемой темой «вы», а не с подлежащим «дела»], но даже и в этом случае выражение категории лица не обязательно: глагол в непервом или невтором лице всегда можно заменить глаголом в неличной форме. Употребление категории непервого или невторого лица всегда маркировано стилистически так же, как в русском языке, например, маркировано неупотребление личного местоимения. Ср. У Достоевского речь одного из героев: «Стану поучать праздную толпу. Наученный опытом, представлю из себя пример величия и смирения перед судьбой! Буду, так сказать, кафедрой, с которой начну поучать человечество. Даже одни естественнонаучные сведения, которые могу сообщить об обитаемом мною чудовище, — драгоценны. И потому не только не ропшу на давешний случай, но твердо надеюсь на блистательнейшую из карьер».

Автор-рассказчик замечает по поводу этой сентенции: «Всего более обозлило меня то, что он почти уж совсем перестал употреблять личные местоимения, — до того заважничал»³.

Как свидетельствует Р. Якобсон, в чешском, наоборот, стилистически маркировано употребление личных местоимений (хвастливый стиль!). В отношении маркированности японский совпадает с чешским: если в чешском стилистически маркировано употребление личных местоимений, то в японском — употребление непервого и невторого лица. Ср., например, следующий диалог:

— *Омаэва Аикавани атта котога аруно ка?*

— *Э: то:ка ходо маэни дэнсядэ о-мэни какаримаситано. Оба:санно о-томо ситэ дэнсяни норимаситара, Сабуро:санга о-томодатито гоиссёни ирасситтано дэсу.*

— *Кэйго нанка цукаунова ёсэ (Му.).*

'— А тебе приходилось встречаться с Аикава?

— Да, дней десять тому назад я изволила встретиться с ним в трамвае. Когда я села-с в трамвай с тетушкой, то они изволили быть там вместе-с с приятелем-с.

— А, брось ты эти свои словоерсы!

Таким образом, грамматический статус категории лица в японском языке резко отличается от грамматического статуса соответствующей категории во всех известных нам языках.

³ Ф. М. Достоевский, Собрание сочинений, т. 4, М., 1956, стр. 264.

А. Г. Шпринцин

**ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ИМЕННЫМ
СЛОВООБРАЗОВАНИЕМ В ЯЗЫКЕ
СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ
НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В советской синологической литературе аффиксальное словообразование в современном китайском языке было охарактеризовано как система еще 25 лет назад в специальной главе университетского курса китайской грамматики А. А. Драгунова [1, 150—157]. Одну из важных особенностей китайской аффиксации А. А. Драгунов усматривал в том, что «в современном китайском литературном языке, как в письменной, так и в устной его формах, наблюдается в связи с созданием новой терминологии отчетливо выраженная тенденция расширить сферу аффиксации» [1, 152].

Истекшие десятилетия подтвердили вывод о расширении сферы аффиксации в области терминологической лексики. Об этом свидетельствует современная китайская научная литература, где аффиксация представлена значительно большим количеством разновидностей, чем отмечено в указанной работе А. А. Драгунова.

Ниже следующие замечания имеют своей задачей прежде всего детализировать отмеченное явление, описав ряд формантов, распространенных в китайской естественнонаучной, преимущественно геологической, литературе последних лет¹ и функционирующих, как мне кажется, в роли аффиксов и полуаффиксов. Обращение к научному стилю современного китайского языка объясняется тем, что в языке научной и технической литературы отчетливо проявляются те лексико-грамматические процессы, которые свойственны развитию современного китайского языка. Это прежде всего касается словообразования, поскольку именно язык научной литературы является областью массового появления новых слов, предназначенных для выражения новых понятий. А так как китайский язык использует в таких случаях свои собственные ресурсы (в отличие, например, от японского, прибегающего к прямым заимствованиям, передаваемым на письме алфавитом), то язык научно-технической литературы больше всего пополняется неологизмами и даже вразрез с общей тенденцией использует для этого новые иероглифы.

Широко распространены в языке научно-технической литературы и лексико-грамматические новообразования. Это связано с тем, что научно-техническому стилю особенно свойственно стремление к максималь-

¹ Приводимые ниже примеры заимствованы из китайских научных журналов «Ке-хуе Tongbao», «Dizhixue bao», «Dizhi Lunping», «Dizhi Yuekan» за 1959—1965 гг. и даны в написании, соответствующем китайскому фонетическому алфавиту (Hanyu Pinyin).

ной точности и однозначности высказывания, для чего используются не только лексические, но и морфологические средства: например, усложнение морфологической структуры слова, при котором оно получает дополнительную уточняющую характеристику. Рассмотрению таких типов словообразования и посвящено дальнейшее изложение².

ВЫРАЖЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОСТИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Известно, что в современном китайском языке так называемые счетные слова (классификаторы) иногда могут стоять не перед обычным существительным, а после него. Ван Ляо-и считает [2, 84—85] — и в этом с ним согласен А. А. Драгунов [2, 239] — постановку счетных слов после обычного существительного особым способом образования имен существительных. Хотя ни Ван Ляо-и, ни А. А. Драгунов не указывают на функцию этого особого типа словообразования, но из приводимых в книге Ван Ляо-и двух десятков примеров следует, что слова с такой структурой либо обозначают имена существительные собирательные (*renkou* 'население', *shengkou* 'скот', *yinyuan* 'деньги'), либо же (в случае исчисляемых существительных) выражают неопределенную множественность. Единственное известное мне указание на неопределенную множественность имеется в статье Лю Лина «Словообразование в современном китайском языке» [4, 119], где автор, повторяя формулировку Ван Ляо-и, отмечает, что в этой позиции счетные слова обозначают неопределенную множественность предшествующего существительного.

Наблюдения над языком китайской геологической литературы подтверждают тенденцию современного китайского языка использовать счетные слова в постпозиции к существительным в качестве особого способа словообразования. Так, в статьях по геологическому картированию понятие «карта» передается и односложным словом *tu* и двусложным словом *tujian*. Однослог *tu* выступает:

а) в виде самостоятельного слова, которое «может быть отделено от предыдущего и последующего другими однослогами, допускает оформление атрибутивно-именным суффиксом *dy*» [1, 59], например:

Yi xind ziliao lai chongshi tud neirong 'Дополнить новыми материалами содержание карты';

Zai lao tu-shang xi-bei diqu kongbai didian po duo 'На старой карте в северо-западных районах имеется много «белых пятен»';

Cong tu-zhong keyi qingchudi kanchulai... 'Из карты можно отчетливо видеть...';

б) в качестве главного слова атрибутивного именного словосочетания, как правило, в названиях специальных карт с преимущественным учетом того или иного специального признака, например: *dizhi tu* 'геологическая карта', *gu dili tu* 'палеогеографическая карта', *chengkuang yuce tu* 'металлогеническая прогнозная карта', *dizhi gouzao tu* 'структурно-геологическая карта', *shuiwen dizhi tu* 'гидрогеологическая карта'.

Встречающийся в этих же текстах двусложный вариант *tujian* состоит из того же слова *tu* и примыкающей к нему в постпозиции морфемы *jian*, основная функция которой служить счетным словом.

Естественно, встает вопрос о том, какие изменения в значение слова *tu* вносит добавление морфемы *jian*.

² В известном плане приводимые ниже примеры производных слов могут привлечь внимание лингвистов-синологов при исследовании таких вопросов, как: факультативность показателей, лексические варианты слова, словарные дублиеты, нулевая, маркированная — немаркированная форма слова и т. п.

Сопоставление слова *tujian* с двусложными словами *tuban* 'планшет', *tubiao* 'диаграмма', *tuji* 'атлас' и *tuli* 'легенда к карте' не проясняет вопроса, так как все сопоставляемые слова построены по принципу сложения знаменательных корней. Более обещающим оказывается сопоставление слова *tujian* с рядом других двусложных слов, также имеющих в качестве второго слога морфему *jian*: *shijian* 'событие, события', *wenjian* 'документ, документы', *tiaojian* 'условие, условия', *xinjian* 'письма', *beijian*, *lingjian*, *peijian* 'детали, запасные части'. Слова *xinjian* и *wenjian* могут обозначать также и собирательную множественность — то, что в русском языке передается особыми словами: «корреспонденция» (*xinjian*), «документация» (*wenjian*).

В структурно однотипной группе слов с морфемой *jian* слова *tujian*, *xinjian* и *shijian* обособляются в двух отношениях. Во-первых, однослоги *tu*, *xin*, *shi* обозначают то же явление (предмет), что и двуслоги *tujian*, *xinjian*, *shijian*, тогда как в остальных примерах однослоги *wen*, *tiao*, *bei* не выражают значения соответствующих двуслогов. Отсюда возможность сопоставления *tu* и *tujian*, *xin* и *xinjian* и невозможность сопоставления *wen* и *wenjian*, *tiao* и *tiaojian*. Во-вторых, слова *tujian* и *xinjian* не сочетаются с числительным «один», тогда как остальные слова этой группы совместимы с этим числительным.

Сказанное выше позволяет полагать, что в подобных случаях слог *jian* является морфемой, в неодинаковой степени грамматикализованной и функционирующей в качестве показателя неопределенной множественности. Ниже этот вывод иллюстрируется конкретными языковыми фактами на примере слова *tujian*.

В предложениях со словом *tujian* множественность либо обозначена специальными словами, либо же с очевидностью явствует из контекста.

В первом случае предложение содержит такие слова, как: *gezhong* 'разного рода', *yixie*, *youxie* 'некоторые', *qita* 'другие', *xuduo* 'много', *suoyou* 'все', *xilie* 'ряд' и т. п., например:

Zhexie tujian bianzhi... youzho hen dad lilun jiazhi... 'Составление этих карт... имеет большое теоретическое значение...';

You yi xilie qita zhuanmenxingd tujian... 'Кроме того, имеется ряд других специальных карт...'.
Примеры, где множественность явствует из контекста:

Quanguo gedi zui xind dizhi tujian 'Новейшие геологические карты для разных районов Китая';

Waiguo tujian, qizhong zhuyao you... 'Зарубежные карты, среди которых наиболее важными являются...'

Другим доказательством указанного выше значения слова *tujian* служит то обстоятельство, что это слово, как правило, несовместимо с показателем единичности. Так, не говорят **Na yizhang tujian* в смысле 'Возьми одну карту'. Наоборот, там, где имеется в виду число больше единицы, обычно употребляется слово *tujian*, а не слово *tu*. Например: *Bing zhunbei jiang youguan tujian yue wushi zhang zai quanguo dizhi bian tu huiyi shang zhanlan* 'И подготовили около пятидесяти соответствующих карт для выставки на Всекитайском картосоставительском совещании'.

В изложенную схему не укладываются, однако, случаи, где в предложении стоит слово *tujian*, но вместе с тем подразумевается из контекста либо же непосредственно выражена единичность. Например:

Dadigouzao tu shi yige gaodud zonghexingd tujian 'Тектоническая карта является картой высокой степени обобщения';

Kuangqie 1 : 100 wan dizhi tu shi guomin jingji jianshe zui ji youd

sankao tujian 'Притом карта миллионного масштаба является основной справочной картой для народнохозяйственного строительства'.

Мне затруднительно сейчас дать точное объяснение этой особенности. Можно указать на одно обстоятельство, очевидно имеющее значение для выяснения вопроса. Дело в том, что в приведенных выше примерах слово «карта» представлено в одном и том же предложении и однослогом *tu* и двуслогом *tujian*. Как правило, это имеет место в предложении с именным сказуемым, где однослог *tu* выступает в функции подлежащего, а двуслог *tujian* — в функции именной части сказуемого этого же предложения. Не исключено также и влияние стилистических факторов, требующих постановки слова в двусложной, а не односложной форме.

Примечание. Слово-бином *tujian* следует отличать от слов-биномов *tufu* и *tuzhi*, где вторые компоненты также могут в определенных условиях служить счетными словами. Различие состоит здесь в том, что слова *tufu* и *tuzhi* построены по принципу сложения знаменательных корней и означают не просто 'карта', а 'лист, экземпляр карты'. Ср. русское «карта на двадцати листах» и английское *map-sheet*.

Высказанные выше соображения касательно обозначения единичности и множественности относятся не только к исчисляемым существительным, но и к так называемым вещественным существительным.

Хотя вещественные имена существительные в китайском языке, так же как в русском и английском, не образуют форм множественного числа, однако в определенных условиях, в частности в языке научной литературы, возникает необходимость точно указать, идет ли речь о множественности или единичности. Подобные случаи известны и для русского языка, где в обиходном употреблении названия веществ выступают в единственном числе, а в специальных текстах получают и форму множественного числа, например: «жирные кислоты», «соли кобальта», «технические масла», «сахары» и т. п.

Для выражения такой специальной множественности в языке современной китайской научной литературы пользуются той же структурной моделью, что и для обозначения неопределенной множественности исчисляемых предметов, с той лишь разницей, что в постпозиции к данному вещественному существительному ставятся не счетные слова, а другие форманты. Чаще всего в подобных случаях используется морфема *lei*, как знаменательное слово означающая 'разряд, класс, категория, тип'. Примеры: *huagangyan* 'гранит' (горная порода) — *huagangyanlei* 'гранитоиды' (совокупность гранитов и их разновидностей); *yan* 'соль' — *yanlei* 'соли'; *xisuanyan* 'силикат' — *xisuanyanlei* 'силикаты'; *yanghuawu* 'окисел' — *yanghuawulei* 'окислы'. Далее, такие слова, как: *anlei* 'амины', *tulei* 'почвы', *yanlei* 'горные породы' и т. д. Другие примеры: *renlei* 'человечество', *yulei* 'рыбы', *menlei* '(биологические) типы'.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕССА И РЕЗУЛЬТАТА (ПРОДУКТА) ПРОЦЕССА

Говоря о словообразовании существительных, следует упомянуть еще один формант, довольно широко используемый в современном китайском языке при образовании научных терминов. Мы имеем в виду существительные, обозначающие действие, процесс и результат, продукт этого действия, процесса. В русском языке оба эти значения нередко совмещаются в одном слове; в китайском языке намечается определенная тенденция разграничить эти значения, обособляя результат,

продукт процесса (или действия) от самого процесса добавлением к соответствующему слову морфемы *wu* (этимол. 'вещь, предмет'). Примеры:

chenji 'отложение' (процесс отложения и образовавшаяся порода) — *chenjiwu* 'отложение, отложения' (только продукт, т. е. порода, образовавшаяся в ходе процесса). Ср. англ. *sedimentation* 'процесс' — *sediment* 'продукт';

jiaru 'привнесение' (процесс привнесения) — *jiaruwu* 'привнесенный материал';

yang 'кислород' — *yanghua* 'окисление' — *yanghuawu* 'окисел';

xichu, *paichu*, *paixie* 'выделение' (процесс) — *xichuwu*, *paichuwu*, *paixiewu* 'выделение, выделения' (вещество).

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И СВОЙСТВА

Морфема *wu*, служебная функция которой была охарактеризована выше, может в качестве знаменательной морфемы входить в состав слов, образованных по принципу корнесложения, например *wuzhi* 'вещество, материя'. Второй из корней этого слова — *zhi* (этимол. 'вещество, свойство, качество') — также используется в функции служебной морфемы, участвующей в образовании качественных прилагательных со значением «частично содержащий что-либо».

Известно, что в китайском языке существительное, стоящее перед другим существительным, является определением к нему, например *shiying mo* 'кварцевая жила' (*shiying* 'кварц', *mo* 'жила').

Однако очень часто, в особенности там, где имеется в виду частичное наличие или присутствие данного вещества, качества, свойства, к существительному, выступающему в роли определения, добавляется морфема *zhi*. В русском переводе в таких случаях обычно стоит имя прилагательное с суффиксом *-ист* и реже прилагательные другой структуры. Примеры: *tanzhi* 'углистый', *xizhi* 'кремнистый', *shihuizhi* 'известковистый', *bolizhi* 'стекловатый', *tiezhi* *xichuwu* 'железистые выделения', *tanzhi yeyan* 'углистый сланец', *shazhi huangtu* 'опесчаненные лёссы', *qianbanyanhua tanzhi*, *nizhi*, *gaizhi*, *fenshazhi yeyan* 'филлитизированные углистые, глинистые, известковистые, алевролитистые сланцы'.

Морфема *zhi* еще не везде утратила свое знаменательное значение 'вещество'; в этих случаях соответствующее слово с *zhi* не занимает позицию непосредственно перед другим существительным. Например: *huiyan fuhan nizhi* 'известняки, обогащенные глинистым материалом'; *Tiezhi chang yu shalo xiang nianjie* 'Железистое вещество зачастую цементировано с галькой песчаников'.

Коротко следует охарактеризовать словообразовательную морфему *zhuang*, которая присоединяется к существительным в качестве их второго компонента и служит для передачи значения «имеющий сходство, облик, свойство того, что выражено именной основой, на которую наращивается морфема *zhuang*». В этой функции морфема *zhuang* весьма сходна с английским суффиксом прилагательных *-like*. Например: *zhenzhuang* 'игольчатый', *yezhuang* 'листоватый', *bozhuang* 'волнистый', *huangtuzhuang* 'лёссовидный'.

Слова, оформленные в постпозиции морфемой *zhuang*, в русском языке нередко передаются прилагательными с суффиксом *-ист*. Это, однако, имеет место в тех случаях, когда речь идет не о материальном свойстве, а о внешней особенности. Ср., например, *tuzhuang jiegou* 'землистая структура' (т. е. структура, как у земли) и *tuzhi jiegou* 'землистая структура' (т. е. структура с примесью земли).

Что представляют собой разобранные выше морфемы? Аффиксальные это морфемы или же знаменательные?

А. А. Драгунов, относя морфемы к знаменательным или аффиксальным, исходил из фонетических критериев. «Основное внешнее отличие корней-аффиксов от знаменательных корней заключается в том, что корни-аффиксы не имеют ударения и лишены своего индивидуального тона, тогда как знаменательные корни имеют и то и другое» [1, 151]. На этом основании А. А. Драгунов не признавал суффиксами счетные слова, стоящие в позиции после корневой морфемы [2, 239].

Процесс образования аффиксов из знаменательных слов свойствен многим языкам и, как отмечают исследователи (см., например: В. Д. Аракин, О превращении лексических единиц в аффиксальные морфемы, — «Научные доклады Высшей школы. Филологические науки», 1959, № 4), развивается постепенно. В частности, фонетическое упрощение знаменательного слова при его переходе в словообразовательный аффикс характеризует завершение этого процесса. В китайском языке утрата ударения и индивидуального тона, по-видимому, относится лишь к немногочисленным чистым аффиксам, не связанным со знаменательными корнями. Что же касается так называемых полуаффиксов, т. е. знаменательных корней разговорного и письменного языка, используемых в служебной роли аффиксов, то они, очевидно, сохраняют присущую им тональность. Во всяком случае, «Фонетический словарь китайского языка» [3] дает, например, слова *zibenjia*, *dianche*, *feiji*, *huaxie* и даже *kenengxing*, *zhiminzhuyi*, *duzhe* с обозначением тона морфем *jia*, *che*, *ji*, *xue*, *zhe*, *xing*, *zhuyi*, которые, как правило, относят к суффиксам и полусуффиксам. Вместе с тем чистые суффиксы, например в словах *fangz*, *mutou*, *wod*, *women*, *wotend*, приведены в этом словаре без обозначения тона и даже с упрощением звукового состава слога.

Из сказанного можно заключить, что при разграничении знаменательных и аффиксных морфем фонетический критерий не всегда является обязательным и что в подобных случаях следует обратиться к другим различительным признакам. Можно предположить, что там, где знаменательный корень, не утратив полностью своего лексического значения, способен вместе с тем функционировать в качестве аффикса, существенным признаком, позволяющим определить, построено ли слово по типу сложения знаменательных корней или же по аффиксальному типу, является смысловая структура слова, точнее, отношение между значением всего слова и значением слагающих его морфем.

Намечается два случая таких смысловых соотношений между компонентами преобладающих в современном китайском языке двусложных имен существительных.

Первый тип подразделяется на два подтипа: 1) значение слова-бинома выводимо из значения его компонентов, а порой даже равно сумме значений последних, однако ни один из компонентов сам по себе не может выступать в значении всего целого (словообразующей основой). Например: *huangtu* 'лёсс'; 2) компоненты слова обладают самостоятельным лексическим значением, но значение всего слова невыводимо из значения слагающих компонентов; тем более ни один из них сам по себе не может служить словообразующей основой. Например: *shuitu* 'климат'.

Второй тип. В слове-биноме выделяются морфема — носитель основного лексического значения и морфема — носитель созначения, как

правило грамматического, дополняющего или уточняющего основное значение. При отсутствии этой уточняющей морфемы основное значение слова сохраняется. Проще говоря, наличие аффикса обусловлено существованием и наличием основы, к которой он присоединяется. Рассмотренные выше слова типа *tujian*, *yanlei* и др. построены по этому типу, что и дает основание считать их аффиксальными.

Конечно, предлагаемое объяснение не является исчерпывающим. В силу двойственной природы полуаффиксов и наличия переходных, пограничных случаев строгое без остатка распределение многосложных имен существительных по двум группам (строящимся либо по типу сложения знаменательных корней, либо по аффиксальному типу) — дело довольно трудное и зачастую спорное. Известно, например, что значительное число производных имен существительных, в том числе почти все термины, построено по принципу определительной связи, где второй компонент — определяемое — является как бы родовым понятием, по отношению к которому первый компонент — определение — будет уже видовым, например морфема *che* в ряду: *huoche* 'поезд', *qiche* 'автомашина', *dianche* 'трамвай', *mache* 'повозка' и т. д.

Многие китаисты склонны считать подобные построения аффиксальными (*che* — полуаффикс). Но если так, то к числу аффиксов придется относить почти любую знаменательную именную морфему, поскольку почти всегда можно подобрать ряд существительных, у которых второй компонент будет общим и как бы родовым по отношению к различным предшествующим компонентам слова-бинома. Аффиксами придется в таком случае считать, например: *bi* 'кисть' в ряду *qianbi* 'карандаш', *gangbi* 'перо', *fenbi* 'мелок', *zilaishuibi* 'авторучка'; *rou* 'мясо' в ряду *yangrou* 'баранина', *zhurou* 'свинина', *niurou* 'говядина', *jiurou* 'курятина'.

В терминологии пришлось бы считать аффиксом морфему *juan* 'сфера', так как можно подобрать соответствующий ряд: *yanshijuan* 'литосфера', *shuijuan* 'гидросфера', *daqijuan* 'атмосфера', *shengwujuan* 'биосфера'.

Примечание. Морфема *xue*, общая для слова *kexue* 'наука' и названий отдельных наук (*wulixue* 'физика', *shengwuxue* 'биология', *huaxue* 'химия', *zhexue* 'философия' и т. д.), большей частью опускается там, где имеется в виду не научная дисциплина, как таковая, а изучаемые ею объекты или свойства (*guti wuli* 'физика твердых тел', *daqi wuli* 'физика атмосферы'), или же там, где названия выступают в качестве определений в терминологических словосочетаниях (*wuli guocheng* 'физический процесс', *shengwu fangzhi* 'биологический контроль', *shengwu fanying* 'биологическая реакция'). Примечательно, однако, что в таких же условиях морфема *xue* не опускается в тех терминах, где за ее вычетом остается один слог. Ср. соответственно: *huaxue* 'химия' (как наука), *chunlei huaxue* 'химия спиртов', *huaxue fanying* 'химическая реакция'.

Что касается столь распространенного и, казалось бы, прозрачного в своем аффиксальном значении суффикса *xing*, то просмотр китайских научных и публицистических текстов свидетельствует о весьма сложном лексико-грамматическом значении этой морфемы, не укладывающемся в скудные характеристики словарей и грамматик, определяющие ее как суффикс существительных, обозначающих качество, свойство и т. п. Морфема *xing* требует специального анализа, предваряя который укажу на два обстоятельства. Суффикс *xing* указывает лишь на присутствие данного качества, свойства вообще, как такового. Там же, где имеется в виду степень наличия этого свойства, употребляются в той же позиции морфемы *du* и *lü*, например: *suānxing* 'кислотность' (как таковая), но *suāndu* 'кислотность' (степень кислотности); *shéntōuxing* 'проницаемость' (свойство), но *shéntōulü* 'проницаемость' (большая или меньшая).

Китайские по своему происхождению *xing*, *du*, *lei*, *hua* и другие свойственны и японскому языку, откуда они именно в данной функции вернулись, как отмечают многие исследователи, в современный китайский язык³.

³ Предлагаемая статья уже находилась в издательстве, когда из библиографических справочников начала 1970 г. автору стало известно о совсем недавних публика-

ЛИТЕРАТУРА

1. Драгунов А. А., Грамматическая система современного китайского языка (лекции 1941—1946 гг.), изд. ЛГУ, 1962.
2. Ван Ляо-и, Основы китайской грамматики, пер. с кит., М., 1954 (с примечаниями А. А. Драгунова, стр. 217—261).
3. «Hanyu Pinyin Cihui (Zengdinggao)», Beijing, 1964.
4. Liu Ling, Xiandai Hanyu goucifa, — «Hanyu Luncong», изд-во «Zhonghua shuju», Beijing, 1958.

циях на эту же тему в СССР и в Чехословакии. Не имея возможности остановиться на этих работах по существу, отмечу их для сведения читателей, интересующихся проблемой китайской аффиксации, и как свидетельство несомненного интереса к этой проблеме в нашей стране и за рубежом (см.: Фролова О. П., К вопросу о происхождении словообразовательных аффиксов и о границах между словосложением и аффиксацией в китайском языке (на материале китайской биологической терминологии), — «Вопросы языка и литературы», вып. II, ч. 1, Новосибирск, 1969; Heřmanová-Novotná Zd., Affix-like word formation patterns in Modern Chinese, Prague, 1969).

С. Е. Яхонтов

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИНИТИЧЕСКИХ ЯЗЫКОВ

1. Языки большей части населения Китая и Индокитая (за исключением алтайских на севере и аустронезийских на юге этой территории) обладают рядом общих структурных черт, позволяющих рассматривать их как представителей одного языкового типа [3]. Во всех этих языках, во-первых, отношения между словами в предложении выражаются не изменением формы самих слов, а либо порядком слов, либо так называемыми «частичами», т. е. такими служебными элементами, которые, подобно русским предлогам и союзам, сохраняют формальную самостоятельность и могут отделяться от тех знаменательных слов, которые они обслуживают; во-вторых, в этих языках фонетические границы между слогами, как правило, являются одновременно границами между значимыми элементами — словами или морфемами. По этим признакам интересующие нас языки являются изолирующими и слоговыми.

Изолирующие, а возможно, и слоговые языки встречаются и в других частях мира, однако мы везде будем говорить только об изолирующих слоговых языках Китая, Индокитая и некоторых прилегающих к ним районов Южной Азии. Эти языки мы будем называть синитическими.

Термин «синитические языки», как он здесь понимается, не является названием семьи (так же как, например, не являются названием семьи термины «кавказские языки», «палеоазиатские языки», «индейские языки»). Не все синитические языки родственны между собой, или по крайней мере их родство не доказано. В генеалогической классификации они входят в состав по крайней мере трех семей — китайско-тибетской, аустроазиатской и тайской (или чжуан-дунской); открытым остается вопрос о языках мяо-яо (которые, возможно, родственны аустроазиатским языкам), а также о родстве тайских языков с малайско-полинезийскими (аустронезийскими). Языки, входящие в состав одной семьи, не обязательно будут типологически ближе друг к другу, чем к языкам других семей. Например, вьетнамский язык (аустроазиатской семьи) по строю очень близок к тайским языкам; китайский язык тоже ближе по строю к неродственным ему тайским языкам и группе мяо-яо, чем, например, к тибетскому. Языки мунда (в Индии), родственные аустроазиатским, а также некоторые тибето-бирманские языки в Гималаях, по-видимому, вообще не являются синитическими и представляют другой тип.

Численность населения, говорящего на синитических языках, достигает 700—800 млн. человек, т. е. около четверти населения Земли.

«Самых синитических языков насчитывается никак не менее ста, а скорее гораздо больше»¹.

Развитие всех изолирующих слоговых языков идет в одном и том же направлении. Хотя весь ход этого развития нельзя проследить полностью ни на одном известном языке, так как он занимает многие тысячелетия, мы все же можем обнаружить общую тенденцию, общее направление движения, сравнивая аналогичные изменения, происходившие в разных, часто неродственных языках.

В зависимости от того, насколько далеко зашли в каждом языке эти изменения, какие именно черты в нем нарастают или убывают, все синитические языки могут быть разделены на архаичные, средние и поздние. Конечно, это деление очень условно. Есть немало языков, занимающих промежуточное положение между архаичным и средним или между средним и поздним подтипом. Более того, иногда в языке, частично сохраняющем архаичные особенности, появляются наряду с ними признаки позднего подтипа (таковы, например, многие современные тибетские диалекты или язык хма, о котором будет сказано ниже).

В основе деления синитических языков на архаичные, средние и поздние лежат преимущественно фонетические признаки (которые легче наблюдать и классифицировать) и во вторую очередь — признаки грамматические.

2. Примерами архаичных синитических языков могут послужить кхмерский, классический тибетский или древнекитайский язык I тысячелетия до н. э. Все это древнейшие литературные языки Восточной и Юго-Восточной Азии. Современные аустроазиатские языки по большей части также относятся к архаичному подтипу. В тибето-бирманской группе ряд архаичных черт сохранили языки некоторых малочисленных горных народов, например кэру (гьярунг), труг (дулун) или ронг (лепча).

В области фонетики архаичные языки характеризуются сравнительно сложным составом слога. Во всех слоговых языках слог имеет твердую внутреннюю структуру; каждый звук в составе слога занимает определенное место, не все последовательности и сочетания звуков допускаются. Но в архаичных языках слог может еще иметь довольно сложное строение. Свободно допускаются сочетания двух, а иногда и более согласных в начале слога; некоторые сочетания возможны и в ауслауте.

Так, в классическом тибетском слог может начинаться с двух, трех или даже четырех согласных, как, например, в словах *brgyags* 'запас еды на дорогу' или *bsgrad* 'идти'². В каждом сочетании один из согласных является основным; его позицию может занимать любой согласный тибетского языка. Позицию перед основным согласным могут занимать

¹ В «Атласе народов мира» [1] показано распространение около ста народов, говорящих на синитических языках. Говоря о ста языках, я предполагаю, что каждый народ говорит на одном языке, хотя это не всегда так: некоторые части народа яо в Южном Китае говорят не на языке яо, а на других языках трех разных семей. К тому же список синитических народов в «Атласе», по всей вероятности, далеко не полон. В других источниках можно найти сведения более чем о 500 синитических языках и диалектах.

² Здесь и в дальнейшем примеры приводятся в обычной для каждого языка транскрипции: русской — для китайского (пекинский диалект) и латинской — для остальных языков и диалектов. В некоторых случаях транскрипция немного упрощена; в частности, заднеязычный носовой согласный везде обозначается сочетанием *ng*. Примеры из языков, пользующихся латинской или русской письменностью (соответственно вьетнамский и дунганский), приводятся в обычном орфографическом написании. Тон везде (в том числе и во вьетнамских примерах) обозначен цифрами.

лишь немногие звуки (а также два сочетания согласных — *br* и *bs*); после основного согласного, перед гласным, возможны только *r*, *l*, *y*, *w*. В кхмерском языке в начале слога может находиться не более двух согласных, причем между ними обычно вставляется соединительный *h* или *ə*, не имеющий самостоятельного фонологического значения: *khmae* 'кхмер', *mənuh* 'человек'. Слова с соединительным *ə* фонологически рассматриваются как односложные.

Даже в архаичных слоговых языках далеко не все согласные, возможные в начале слога, могут стоять и в конце его. Все же число конечных согласных в них довольно значительно; в частности, среди них могут быть щелевые, а также *r* или *l*. В тибетском слог может кончаться сочетанием некоторых согласных с *s*: *sems* 'сердце'. Такие же сочетания, согласно одной из существующих теорий, были возможны в древнекитайском языке: *nips* (современное *нэй*⁴) 'внутри'. В языке кэру возможны скопления двух и трех согласных в конце слога, однако последний согласный (или последние два согласных) в таких случаях представляет собой аффикс, выражающий лицо глагола [7, 145—146].

Корень в языках архаичного подтипа не всегда совпадает со слогом и не является совершенно неизменяемым. В составе односложного слова могут быть суффиксы или префиксы, не образующие отдельного слога. Так, в классическом тибетском время глагола выражается префиксами и (иногда) суффиксами, состоящими из одного звука: *rtsig* 'строит', но *brtsigs* 'построил'. Служебные элементы, выражающие падежные отношения, могут сокращаться до одного звука и «прирастать» к предшествующему корню: *ngas* (вместо *nga-yis*) 'мною', *ngar* (вместо *nga-ru*) 'мне'. Возможны также чередования звуков внутри корня. В древнекитайском можно найти следы существовавших еще раньше суффиксов, префиксов и инфиксов, использовавшихся для словообразования, ср.: *njip* 'входить', *nip* 'впускать', *nips* 'внутри'. Словообразование с помощью аффиксов (префиксов и инфиксов), не всегда образующих отдельный слог, еще более распространено в кхмерском языке. В этом последнем деление двусложного производного слова на морфемы может даже не совпадать с его делением на слоги, т. е. происходит нарушение главного принципа слоговых языков: если от слова *krip* 'полный' образуется *kumrip* 'наполнять', то в этом втором слове фонетически выделяется слог *kum*, а морфологически — не совпадающий с ним инфикс *-um*.

При переходе от архаичных языков к средним и далее к поздним эта внутрислоговая морфология почти полностью утрачивается; процесс разрушения ее можно наблюдать в истории тибетского языка. Следы ее сохраняются иногда в виде морфологического чередования инициалей (начальных согласных) или тонов. Например, в бирманском языке (поздний подтип) чередование придыхательных и непридыхательных согласных используется для противопоставления переходных и непереходных глаголов: *phwing*¹ 'открывать', *pwing*¹ 'открываться'.

Важной особенностью архаичных синитических языков является отсутствие или, точнее, необязательность счетных слов.

В большинстве языков Восточной и Юго-Восточной Азии числительное может непосредственно сочетаться в предложении лишь с небольшим числом слов или морфем, называемых счетными словами, нумеративами, классификаторами, служебными именами, а в китайской лингвистической литературе — мерными словами (*лянцы*). Примерами счетных слов являются китайские *цзинь*¹ 'фунт', *вань*³ 'чашка', *тоу*² 'голова' в сочетаниях *сань*¹ *цзинь*¹ *жоу*⁴ 'три фунта мяса', *сань*¹ *вань*³ *ча*² 'три чашки чаю', *сань*¹ *тоу*² *ню*² 'три коровы' (досл. 'три головы

коров'). Счетные слова существуют отнюдь не в одних только синитических языках: турецкое *iki kilo elma* 'два кило яблок' построено точно так же, как приведенные выше китайские примеры. Специфика китайского языка (и большинства других синитических языков) состоит в том, что наличие счетного слова при числительном обязательно. Сказать просто «одна корова», не присоединив к числительному счетного слова (в китайском «голова»), нельзя.

Поэтому счетные слова синитических языков можно разделить на две категории: одни (как «фунт») имеют собственное лексическое значение и соответствия в других языках, другие (как китайское *тоу*² 'голова' в сочетании *сань*¹ *тоу*² *ню*² 'три коровы') выполняют только служебную, грамматическую роль и на европейские языки, за редкими исключениями, не переводятся. Эти вторые, служебные счетные слова представляют собой классификаторы в собственном смысле. Выбор того, а не другого классификатора определяется не смыслом высказывания или желанием говорящего, а чисто формальными, автоматически действующими правилами. Для каждого существительного известно, каким именно классификатором он обслуживается. Например, слову *чжу*¹ 'свинья' соответствует не *тоу*² 'голова', а *коу*³ 'рот' (*сань*¹ *коу*³ *чжу*¹ 'три свиньи'), слову *ма*³ 'лошадь' — классификатор *пи*³ и т. п.

Классификаторы представляют собой категорию настолько характерную для синитических (или по крайней мере для китайско-тибетских и тайских) языков, что часто называются в числе их наиболее важных отличительных признаков [5, 23; 2, 27]. Однако в архаичных языках, как уже сказано, употребление классификаторов не обязательно. В китайском языке они становятся более или менее обычными только в начале нашей эры, но и после этого они долгое время остаются факультативными, т. е. наряду с *сань*¹ *тоу*² *ню*² ('три коровы') можно было сказать и просто *сань*¹ *ню*².

Есть еще один отрицательный признак архаичных синитических языков, относящийся, однако, к области фонетики: это отсутствие или очень малое число тонов. Тон считается таким же обязательным свойством синитических или китайско-тибетских языков, как и классификаторы. В наиболее изученных аустроазиатских языках, за исключением вьетнамского, тона нет. Нет его и в классическом тибетском. В древнекитайском языке только два тона (соответствующие позднейшим ровному и восходящему) имели самостоятельное смысловозначительное значение; впрочем, некоторые ученые считают, что и здесь первоначально имело место различие не в тоне, а в долготе гласного или в конечном согласном.

Наличие или отсутствие тонов считается настолько важной характеристикой языка, что, например, тональная природа вьетнамского долгое время мешала признать его аустроазиатское происхождение. В действительности признак тона не является постоянной чертой китайско-тибетских языков и не может учитываться в генеалогической классификации. Любопытен в этом отношении язык хма (цян) на севере китайской провинции Сычуань. В северном диалекте этого языка есть многочисленные сочетания начальных согласных и нет тонов; в южном диалекте — шесть тонов и мало сочетаний согласных (в некоторых говорах их нет совсем) [6, 561 и 564]³. Между тем генеалогическое родство обоих диалектов, естественно, не вызывает сомнений.

3. Языками среднего подтипа являются тайские, вьетнамский, яо,

³ Оба диалекта языка хма обладают и признаками позднего подтипа: почти все слоги в них открытые, есть только два конечных согласных (*n*, *ng*).

китайские диалекты южных провинций Гуандун и Фуцзянь. В тибето-бирманской группе можно указать на язык цзайва, очень близкий к бирманскому, но сохранивший ряд фонетических особенностей, которые тот уже утратил⁴. Наконец, китайский язык I тысячелетия н. э. также обладал признаками среднего подтипа (хотя, поскольку границы между подтипами условны, нельзя точно указать время, когда он перестал быть архаичным). В этих языках характерные особенности синитического типа представлены наиболее ярко и полно.

Сочетания **согласных в этих языках** сравнительно редки или вообще невозможны. Дольше других сохраняются сочетания губных и заднеязычных с *r* и *l* (*kr*, *pl* и т. п.). Они есть в тхайском (сиамском) и некоторых других чжуан-дунских языках, а также в отдельных диалектах яо и даже мяо (хотя язык мяо представляет уже поздний подтип): например, «четыре» в восточном диалекте мяо — *prei*¹, в западном диалекте — *plou*¹. В современном вьетнамском языке сочетания согласных невозможны, но они еще отмечены в словаре А. де Рода (XVII в.): *blai*⁵ 'фрукты', *mlat*⁶ 'собирать'.

Кроме того, в некоторых языках среднего и (чаще) позднего подтипов имеются сочетания согласных, одинаковых по месту образования, таких, как *dl*, *tl* или *nd*, *nt*, *mb*, *mp*; например: *dlu*² 'лягнуть' (язык сани), *mpu*⁵ 'имя' (восточный диалект мяо), *mba*¹ 'лошадь' (некоторые китайские диалекты пров. Шаньси). Такого рода сочетания правильнее, однако, рассматривать как единые звуки.

Наконец, в языках среднего и позднего подтипов возможны звуки *j*, *ɰ* или *i*, *u* между начальным согласным и основным гласным.

Конечные согласные в языках среднего подтипа образуют два параллельных ряда: каждому носовому согласному соответствует один неносовой, и наоборот. Обычно эта система состоит из шести звуков — *m*, *n*, *ng*, *p*, *t*, *k*, но число их может быть и иным (всегда четным). Так, вьетнамский язык знает десять конечных согласных (*m*, *n*, *nh*, *ng*, *p*, *t*, *ch*, *s* и два лабио-велярных согласных, на письме обозначаемых так же, как заднеязычные). В одном из китайских диалектов (уезд Тунчэн на юге пров. Хубэй) мы находим любопытную систему из четырех конечных согласных: это *n*, *ng*, *l* и гортанная смычка (*l* составляет пару к *n*, а гортанная смычка — к *ng*).

Число тонов при переходе от архаичного подтипа к среднему резко возрастает, доходя до восьми и более. Развитие тонов в известной мере компенсирует уменьшение числа конечных и начальных согласных.

Около тысячи лет назад в китайском языке, а несколько позже и в ряде других языков Китая и Индокитая наблюдался один и тот же процесс: звонкие (не сонорные) согласные перешли в соответствующие глухие, но слоги, до этого имевшие звонкие инициалы, получили более низкий тон. Число тонов тем самым удвоилось, каждому из ранее имевшихся тонов теперь соответствовала пара, состоявшая из одного высокого и одного низкого тона. Эта парная система довольно хорошо сохранилась во вьетнамском языке и в гуанчжоуском диалекте китайского. Но в большинстве других языков она нарушилась или исказилась, тоны перегруппировались по-новому, некоторые из них совпали. Так, в тхайском языке совпал один из тонов низкой серии с не являющимся парой к нему тоном высокой серии: в современном тхайском одинаково произносятся слова *kha*³ 'цена' и *kha*³ 'слуга, я' (в прошлом первое звучало *ga*²).

⁴ Цзайва считается сейчас обычно диалектом языка цзинпо, но входит в бирманскую, а не в цзинпоскую ветвь тибето-бирманских языков.

Указанный процесс отчасти охватил и мон-кхмерские языки, но так как в них нет тонов, то оглушение согласных сопровождалось изменением не тона, а тембра гласного и привело к значительному увеличению числа гласных, которых в мон-кхмерских языках и до этого было много.

С другой стороны, в некоторых китайских диалектах (группа У в районе Шанхая и группа Сян в Хунани) оглушения звонких не произошло. Тоны этих диалектов тоже раздвоились, но высокий и низкий тоны каждой пары остаются, видимо, вариантами одной тонемы, обусловленными глухостью или звонкостью согласного. Такие отношения между тонами и инициалами, вероятно, были свойственны всем диалектам китайского языка перед началом оглушения звонких согласных.

Так или иначе, для языков среднего подтипа характерно большое число тонов. Оно сохраняется и в ряде языков позднего подтипа. Например, в западном диалекте языка мяо восемь тонов. Слог *po* в зависимости от того, с каким тоном он произносится, значит 'кормить', 'жена', 'полный', 'колючка', 'ширина ткани', 'бабушка', 'закрывать' и 'видеть'.

Правда, количество смыслоразличающих тонов в том или ином языке иногда преувеличивают. Так, в гуанчжоуском диалекте китайского языка насчитывают обычно девять тонов; но три из них возможны только в слогах с конечными согласными *-p*, *-t*, *-k*, в то время как остальные шесть в таких слогах не встречаются. Таким образом, слог с одним и тем же звуковым составом может быть произнесен не более чем с шестью разными тонами. Правда, надо учесть еще так называемые «измененные тоны»; один из них фонетически тождествен третьему гуанчжоускому тону, но мелодика другого отличается от всех остальных тонов того же диалекта, так что правильнее говорить не о шести, а о семи разных тонах⁵. В некоторых диалектах мяо (поздний подтип) каждый из первоначальных четырех тонов разделяется не на два, а на три. Однако одни из этих тонов (группа А) встречаются только в слогах с непридыхательными, а другие (группа Б) — только в слогах с придыхательными начальными согласными. В одном из диалектов уезда Цзыюнь провинции Гуйчжоу насчитывается 11 тонов, из них шесть соответствуют непридыхательным и пять — придыхательным согласным, так что каждый слог может быть произнесен не более чем с шестью разными тонами [4, 65—67]. Между двумя группами тонов существует постоянное соотношение: тон группы А всегда начинается немного выше соответствующего тона группы Б, кончаются же оба тона на одном и том же уровне. Например, если какой-то тон группы Б — средний ровный, то соответствующий тон группы А — высокий падающий (опускающийся с высокого до среднего уровня).

Морфема в языках среднего подтипа совершенно неизменяема (если не считать некоторых случаев чередования инициалей или тонов). Какие-либо суффиксы или префиксы отсутствуют, есть только корни и «частицы». Корень (т. е. знаменательная морфема) полностью совпадает со слогом и может употребляться либо как самостоятельное корневое слово, либо как составная часть сложного слова; исключениями являются заимствования, которые могут быть и не односложными, а в китайских диалектах и вьетнамском языке — также многочисленные

⁵ Измененные тона служат для словообразования. Замена основного тона морфемы измененным может, например, превращать глагол в имя: *se*¹ 'причесываться' — *so*¹⁰ 'гребень' [8, 12—14]. Изменение тона здесь выполняет такую же функцию, как суффикс существительного в пекинском диалекте; ср. пекинск. *шу*¹ 'причесываться' — *шу*⁴*цзы*⁰ 'гребень'.

элементы древнекитайского происхождения, часто имеющие только связанное употребление (в сложных словах или устойчивых сочетаниях). «Частицы» всегда являются отдельными словами, тоже односложными; между «частицей» и словом, к которому она относится, можно вставить другие слова. Синтетических форм слова нет.

Служебных слов очень много, и не существует четкой границы, которая отделяла бы их от значимых элементов. Обычно служебное слово происходит от знаменательного, причем последнее сохраняется в языке; оба слова не только совпадают фонетически, но между ними ощущается и явная смысловая связь.

Это касается не только служебных слов языков среднего подтипа, но и значительной части служебных элементов архаичных и поздних синтетических языков (кхмерский, современный китайский, бирманский).

Так, в китайском языке предлог, вводящий косвенное дополнение, происходит от глагола «давать» (в среднекитайском — *юй*³, в современном пекинском — *гэй*³); предлог со значением местонахождения — от глагола *цзай*⁴ 'находиться'; предлог, участвующий в образовании конструкции сравнения, в современном пекинском диалекте происходит от глагола *би*³ 'сравнивать', в гуанчжоуском диалекте — от глагола *кхоу*⁵ 'переходить через...' и т. п.

Бывает, что одни и те же слова то употребляются для связи других слов между собой, то получают вполне самостоятельную роль в предложении. Примером могут послужить некоторые слова вьетнамского языка, обычно рассматриваемые как предлоги. В предложении *Tôi¹ lên¹ trên¹ núi⁵* 'Я поднимаюсь на гору' слово *trên* как будто бы соответствует русскому предлогу *на* и выражает отношение между глаголом и подчиненным ему именем. Однако в предложении *Tôi¹ lên¹ trên¹* 'Я поднимаюсь наверх' то же слово употреблено самостоятельно. Значение его в обоих примерах совершенно одинаково ('верх', 'наверху'), различно лишь употребление. Вот еще аналогичная пара примеров, только интересующее нас слово в отличие от предыдущего случая имеет глагольную природу: *Tôi¹ về² nhà²* 'Я возвращаюсь домой'; *Tôi¹ chạy⁶ về² nhà²* 'Я бегу обратно домой'. Слово *về²* может либо само быть сказуемым, либо только указывать направление действия, обозначенного сказуемым.

В описанных выше случаях служебное и знаменательное слово (или одно и то же слово в двух различных употреблениях, как во вьетнамских примерах) по крайней мере образовывали две разные конструкции, занимали две разные позиции. Но и это бывает не всегда. Нам уже пришлось касаться вопроса о счетных словах. Грамматика большинства синтетических языков требует, чтобы после числительного стояло счетное слово. Позиция счетного слова может быть занята словами разной природы. Это могут быть самые обыкновенные существительные, для которых употребление в качестве счетного слова — лишь временная функция, например китайское *вань*³ 'чашка' в *и⁴ вань³ ча²* '(одна) чашка чаю'; могут быть названия мер (*цзинь*¹ 'фунт', *цунь*⁴ 'вершок'), которые явно имеют знаменательное значение, но ни в какой другой позиции, кроме как после числительного, не употребляются; наконец, это могут быть классификаторы, которые на русский язык не переводятся и служат только для грамматического оформления числительного, которое без счетного слова вообще не может быть членом предложения. Среди классификаторов в свою очередь одни имеют параллели среди знаменательных слов, как *тоу*² в сочетании *и⁴ тоу² ню²* 'одна корова' (знаменательное слово *тоу*² значит 'голова'); другие не имеют никакого знаменательного соответствия, как *чжи*¹ (в *и⁴ чжи¹*

цзи¹ 'одна курица'). Вероятно, классификаторы следует считать чисто грамматическими словами, а другие счетные слова («фунт», «чашка» — знаменательными, но дать формальное доказательство этому трудно, поскольку все они входят в состав одной и той же конструкции.

Сходные проблемы возникают и в области словообразования. Некоторые морфемы, повторяющиеся в составе большого числа сложных слов, часто рассматриваются как «полуаффиксы», например первая морфема вьетнамских слов *tho'*⁶ *ren*² 'кузнец', *tho'*⁶ *may*¹ 'портной' (вторая часть этих слов значит соответственно 'ковать' и 'шить'). Однако эти «полуаффиксы» имеют конкретное лексическое значение (родовое по отношению к значению слова в целом) и могут употребляться в этом же или очень близком значении либо как самостоятельные слова, либо в таких сложных словах, где их никак нельзя трактовать как аффиксы. Так, «полуаффикс» *tho'*⁶, о котором говорилось выше, значит 'мастерской, ремесленник' и хотя редко употребляется как корневое слово, но может быть второй (а не только первой) частью сложного слова, например: *xu'o'ng*³ *tho'*⁶ 'мастерская'.

Служебные слова, встречающиеся в различных (не только дальневосточных) языках, бывают двух родов: одни образуют собственные классы, как русские предлоги или союзы; другие, будучи, вне всякого сомнения, грамматическими по функции, тем не менее обладают признаками какой-то знаменательной части речи. Таково, например, русское *буду* как показатель будущего времени. В европейских языках служебные слова второго рода редки, но в синитических языках подавляющее большинство служебных элементов, подобно русскому *буду*, сближается с теми или иными знаменательными частями речи — именами (как классификаторы), глаголами (как китайские предлоги) или наречиями.

Служебные слова обоих родов есть в любых синитических языках, но в языках архаичных и поздних они сосуществуют с аффиксами; кроме того, для среднего подтипа особенно характерны служебные слова типа русского *буду*.

На примере китайского языка можно видеть, как возрастает число служебных слов при переходе от архаичного к среднему типу. В древнекитайском языке было очень немного предлогов (пять, если не считать синонимов) и совсем (или почти совсем) не существовало классификаторов. Древнекитайские предлоги были гораздо менее тесно связаны с категорией глагола, чем среднекитайские или современные.

4. К поздним синитическим языкам можно отнести современные китайские диалекты (кроме некоторых южных групп), а также язык мяо, группу языков И, бирманский, может быть, также мертвый тангутский язык. Ни один из них не может считаться «идеальным» представителем позднего подтипа: признаки позднего происхождения везде сосуществуют с явлениями, характерными для среднего периода.

Во всех перечисленных выше языках прежде всего бросается в глаза упрощение фонетического состава слога. Нарушается система конечных согласных; конечные носовые отпадают или заменяются гортанной смычкой. Из носовых сохраняются только *-n* и *-ng* (как в пекинском диалекте китайского языка) или только какой-нибудь один из этих звуков, или, наконец, все сочетания гласных с конечными носовыми заменяются назализованными гласными (как в языке бай в Юньнани — место его в генеалогической классификации неясно, но типологически он очень близок к языкам И). Гласные, которые в языках среднего подтипа в общем устойчивы, претерпевают сильные изменения, в некоторых языках (например, мяо) совершенно искажающие перво-

начальный облик слова. В некоторых языках все дифтонги переходят в монофтонги, как в дунганском языке и во многих китайских диалектах групп Сян и У (например, в Сучжоу). В бирманском, напротив, появляются дифтонги *ai* и *au* в закрытых слогах (*gaung*³ 'голова'), чего почти никогда не бывает в языках предыдущего подтипа.

Эти фонетические изменения яснее всего видны в истории северокитайских диалектов, а также бирманского языка. Бирманская орфография сохраняет обозначение звуков, уже исчезнувших в произношении. Так, она различает восемь конечных согласных, в то время как в современном бирманском языке их только два (*ng* и гортанная смычка).

Упрощение это достигло крайней степени в некоторых языках группы И. В языке сани слог состоит только из двух звуков — начального согласного и слогообразующего гласного: *ne*² 'черный', *qhu*⁵ 'год', *so*¹ 'считать' (это последнее слово происходит от китайского *суань*⁴, но по нормам фонетики сани сократилось до двух звуков). Слогообразующим элементом могут быть и некоторые согласные: *dv*⁴ 'копать', *lz*⁴ 'тяжелый', *bz*⁴ 'давать', *n*⁵ 'голодный'. Сочетания согласных отсутствуют; звуки *dl*, *tl* (*dlv*³ 'прямой', *tle*² 'плоский'), по-видимому, представляют собой своеобразные аффрикаты. Нет и назализованных гласных; все конечные согласные, в том числе и носовые, полностью исчезли (остатком конечных неносовых является пятый, краткий тон).

В некоторых языках начинает уменьшаться и число тонов. В шанхайском диалекте китайского языка считается пять тонов (вместо семи-восьми в других диалектах той же группы У), из них три высоких (первый, второй, четвертый) и два низких (третий, пятый). Однако слоги четвертого и пятого тонов отличаются от всех остальных наличием в конце их гортанной смычки; низкие тоны встречаются только в слогах со звонкими инициалами, высокие — в слогах с глухими инициалами (есть несколько исключений, касающихся начальных сонорных). Таким образом, в сущности, только для различения первого и второго тонов мелодика имеет существенное значение — в остальных случаях тон слога определяется его звуковым составом⁶.

Однако в тибето-бирманских языках развитие тонов по сравнению с другими сторонами фонетики запаздывает. В языке цайва, о котором говорилось выше как о представителе среднего подтипа, всего три тона. Разделение тонов на высокую и низкую серии произошло только в языках группы И, т. е. максимальное число тонов наблюдается не в средних, а в поздний период.

Общее число слогов в языках позднего подтипа сравнительно невелико, их можно подсчитать. В пекинском диалекте китайского языка около 400 слогов (имеется в виду только звуковой состав слога, без учета tonальных различий), в ханькоуском — менее 300, чуть больше — в языке сани. Омонимия становится нормальным явлением: чуть не каждый слог «обслуживает» по два, три и более омонимичных корней.

Поэтому очень часто встречаются слова, особенно существительные, состоящие из двух-трех морфем. Даже самые основные, элементарные понятия сплошь и рядом выражаются сложными словами. Таковы в современном китайском языке *тай⁴ян⁶* 'солнце', *ян³цзин⁰*, 'глаз', *чжан⁴фу⁰* 'муж'; в языке сани — *lo⁴tsz^{w3}md³* 'солнце',

⁶ Причина этого, вероятно, заключается в смешении диалектов. Население Шанхая с начала XX в. увеличилось раз в двадцать за счет притока сельского населения, говорившего на разных диалектах. При этом такие характеристики слога, как звонкость согласных и связанная с нею высота тона, равно как и гортанная смычка, для всех диалектов района Шанхая остаются постоянными, а мелодика тонов в разных диалектах неодинакова, поэтому различия в мелодике постепенно стирались.

$n^2tu^2q\acute{a}^3$ 'грудь', m^4tu^1 'огонь'. Этимология этих слов часто уже затемнена. Например, в китайском $янб^3цзин^0$ 'глаз' корень $янб^3$ сам по себе уже значит 'глаз'; значение второго элемента неясно, ни в каких других сочетаниях он не встречается. Такие слова мы находим и в китайских диалектах. Например, в хакка (диалект среднего подтипа): $theu^2na^2$ 'голова', muk^5tsu^1 'глаз', phi^4kung^1 'нос', sat^6ma^2 'язык' — во всех случаях значение первой морфемы совпадает со значением слова в целом, а роль второй части неясна. Нам даже не всегда известно ее происхождение.

В некоторых языках позднего подтипа появляются фонетически неполноценные слоги — слоги, которые не могут быть произнесены отдельно. В китайском это так называемые слоги «легкого тона», которые не могут принимать ударение или стоять непосредственно после паузы, иначе говоря, не могут начинать собой предложение (а значит, и слово). Примеры были приведены выше («легкий тон» обозначен нулем). В бирманском языке, напротив, как раз первый слог двусложного слова может быть редуцирован: $th\acute{a}ming^3$ 'рис', $y\acute{a}tha^3$ 'повозка', $k\acute{a}za^3$ 'играть'.

Наиболее употребительные грамматические морфемы современного китайского языка как раз представляют собой такие редуцированные слоги. В ряде случаев они теряют не только первоначальный тон, но и гласный (который заменяется нейтральным ə). В дунганском языке, где нет слогов, лишенных тона вообще, служебные элементы тем не менее не имеют постоянного тона — их тон определяется тоном предшествующего слога. Ср. $фон^1зы^2$ 'дом', но $дин^2зы^1$ 'крыша': один и тот же суффикс имеет в одном случае второй, в другом — первый тон.

Многие служебные элементы, особенно фонетически редуцированные, крепко соединяются с корнем, к которому относятся, превращаясь в словообразовательные или словоизменятельные аффиксы. В современном китайском языке существительное и местоимение имеют аффиксальную форму числа, глагол и прилагательное — аффиксальные формы времени (или, по другой теории, вида).

Существуют аффиксы, главная или даже единственная роль которых состоит в том, чтобы образовывать законченное слово от грамматически неполноценного корня. Таков в китайском языке суффикс $-цзы^0$, входящий в состав многих существительных с конкретно-предметным значением. Слово $фан^2цзы^0$ 'дом', содержащее этот суффикс, не отличается по значению от корня $фан^2$, однако последний не обладает способностью к самостоятельному употреблению — он встречается только в составе сложных слов, в то время как слово $фан^2цзы^0$ может иметь все обычные функции существительного. В бирманском языке аналогичную роль играет префикс ə- ($\acute{a}khang^3$ 'комната'). Правда, обе морфемы, и китайская и бирманская, в других случаях могут служить и для настоящего словообразования (образуя существительное от глагола).

В результате появления большого числа сложных слов и распространения аффиксального словообразования многие корни перестали употребляться как корневые слова и превратились в связанные морфемы.

В ряде языков позднего подтипа члены предложения получают регулярное оформление. Так, в бирманском языке существительное в любой функции (кроме именного сказуемого) может быть оформлено синтаксическим показателем (послелогом); свои показатели есть у подлежащего и прямого дополнения, в то время как в таких языках, как вьетнамский или тхайский, эти две функции различаются только пози-

лий. Правда, и в бирманском употребление именных синтаксических показателей не всегда обязательно. Но в этом отношении положение в бирманском языке мало отличается от того, что мы можем наблюдать в языках агглютинативных (например, тюркских): там тоже имя в функции дополнения или определения может не иметь падежного аффикса. Оформление глагольного сказуемого в бирманском обязательно (кроме повелительного предложения); существует группа частиц, одна из которых непременно должна наличествовать после глагола, являющегося сказуемым. То же мы наблюдаем и в дунганском языке. Там, где по-китайски можно употребить глагол без оформления (*Та¹ чи¹ фань⁴* 'Он ест', досл. 'Он ест рис'), в дунганском необходим показатель времени: *Та² чы¹ фан³ди¹ни¹* 'Он ест'.

Тем не менее языки позднего подтипа остаются синитическими по строю. Служебные элементы, выражающие синтаксические отношения между частями предложения, по-прежнему остаются отдельными словами и не превращаются в аффиксы. Характерно, например, что обязательное оформление сказуемого в только что приведенном дунганском примере присоединяется не к самому сказуемому, а к последнему слову всего предложения (дополнению).

5. Процессы, о которых говорилось выше, не являются ни улучшением, ни деградацией языка. Язык не становится ни лучше, ни хуже оттого, что теряет конечные согласные или заменяет служебные слова суффиксами.

Общее направление развития слоговых языков объясняется тем, что каждое фонетическое изменение вызывает уменьшение возможного числа слогов. Это в свою очередь должно быть компенсировано увеличением размера слов и словоформ⁷.

В чем причина неодинаковой скорости развития отдельных языков, неясно, но, во всяком случае, языки «запаздывающие» не должны на этом основании считаться отсталыми или консервативными. Возможно, что более быстрым изменениям способствуют контакты между языками, смешение языков и диалектов. На севере и западе, где больше возможностей для контактов, изменения более заметны, чем на юго-востоке; на равнине они происходят быстрее, чем в горах.

Предложенное здесь деление синитических языков не является единственно возможным. Существуют и другие классификации. Так, около восьмидесяти лет назад было предложено группировать языки по существующим в них правилам порядка слов; учитывалось место существительного-определения по отношению к существительному-определяемому, место подлежащего и дополнения по отношению к глаголу (и друг к другу) [10, 7—9]. По этим признакам можно тоже выделить три группы языков: аустроазиатские и тайские (зависимое слово всегда после главного), китайский (определение перед определяемым, дополнение после глагола), тибето-бирманские (прилагательное без частиц — после существительного, в остальных случаях зависимое слово перед главным); в группе мяо-яо правила, касающиеся места определения, довольно сложны, причем язык мяо стоит несколько ближе к аустроазиатским и тайским, а яо — к китайскому языку. В еще одной классификации тибетский (а также, по-видимому, некоторые другие, еще слабо изученные тибето-бирманские языки) противопоставляется всем остальным как язык эргативного строя и т. д. Эти классификации, од-

⁷ В конце прошлого века были сделаны подсчеты, показывающие, что китайские диалекты, в которых различается меньшее число слогов, требуют более длинного текста для выражения одной и той же мысли, чем диалекты, обладающие большим запасом слогов [9, 195—197].

нако, не являются историческими, выделенные с их помощью типы языков нельзя расположить в хронологическом порядке, они не переходят закономерно один в другой.

ЛИТЕРАТУРА

1. «Атлас народов мира», М., 1964.
2. Ван Ли, Ханьюй ши гао (Очерк истории китайского языка), т. I, Пекин, 1957.
3. Горгониев Ю. А., Плам Ю. Я., Рождественский Ю. В., Сердюченко Г. П., Солнцев В. М., Общие черты в строе китайско-тибетских и типологически близких к ним языков Юго-Восточной Азии (к проблеме моносиллабизма), — сб. «Языки Китая и Юго-Восточной Азии», М., 1963, стр. 3—12.
4. Ли Юн-суй, Чэнь Кэ-цзюнь, Чэнь Ци-гуан, Мяюй шэнму хэ шэндяо чжун ды цзигэ вэньти (Некоторые вопросы начальных согласных и тонов в языке мяо), — «Юйянь яньцзю», 1959, № 4, стр. 65—80.
5. Ло Чан-пэй, Фу Мао-цзи, Гонэй шаошу миньцзу юйянь вэньцзы ды гайкуан (Общий обзор состояния языков и письменностей национальных меньшинств нашей страны), — «Чжунго юйвэнь», № 21 (1954, III), стр. 21—26.
6. Сунь Хун-кай, Цяньюй гайкуан (Общие сведения о языке цян), — «Чжунго юйвэнь», 1962, № 12, стр. 561—571.
7. Цзинь Пэн, Цзяжунъюй Сомо хуа ды юйинь хэ синтай (Фонетика и морфология диалекта Сомо языка гьярунг), — «Юйянь яньцзю», 1957, № 2, стр. 123—151; 1958, № 3, стр. 71—108.
8. Чэнь Хуэй-ин, Бай Вань-жу, Гуанчжоу инь хэ Бэйцзин инь ды бицзяо (Сравнение гуанчжоуского и пекинского произношения), — сб. «Фанъянь хэ пунхуа цзикань», т. I, Пекин, 1958, стр. 5—101.
9. Arndt C., Handbuch der nordchinesischen Umgangssprache, Teil I, Stuttgart — Berlin, 1891.
10. Lacomperie T. de, The Languages of China before the Chinese, London, 1887.

Л. И. Чугуевский

**ИЗ ИСТОРИИ ИЗДАНИЯ ВОСТОЧНЫХ ТЕКСТОВ
В РОССИИ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.**

(Литографические опыты П. Л. Шиллинга)

Расширение к началу XIX в. связей России с народами Востока вызвало живой интерес к изучению их языков, быта, истории и литературы. В 20—40-х годах XIX в. создается прочная научная база отечественного востоковедения. Именно с этим периодом связана многогранная, в частности востоковедческая, деятельность П. Л. Шиллинга — представителя той плеяды ученых, которая заложила основы отечественной науки в самых различных ее областях [32; 33].

По русской и зарубежной литературе П. Л. Шиллинг известен более всего как выдающийся деятель электротехники — изобретатель электромагнитного телеграфа, а также способа воспламенения подземных и подводных мин посредством гальванического тока [15; 22; 34].

Деятельность Шиллинга в области востоковедения многообразна. Он интересовался литературой и историей, культурой и нумизматикой стран Дальнего Востока, а главное — был большим энтузиастом собирания восточных рукописей и ксилографов. В. П. Васильев, отмечая роль Шиллинга в комплектовании библиотеки Азиатского музея, писал, что в его лице «для Востока Россия имела великого библиомана... и Академия наук обязана всеми своими главными богатствами, конечно, его усилиям. Он не щадил ни средств, ни трудов к приобретению не только книг, но и других предметов¹, характеризующих жизнь Востока» [5, 322].

Современник и друг Н. Я. Бичурина, одновременно с ним удостоенный в 1827 г. звания члена-корреспондента Российской академии наук по разряду литературы и древностей Востока, П. Л. Шиллинг предпринял успешную попытку наладить в России воспроизведение восточных текстов типолитографским способом. Введение Шиллингом литографии в России довольно подробно освещено в работе А. Ф. Коростина [16]. Что же касается выпущенных им памятников китайской литературы, а также опытов по воспроизведению других восточных текстов, то эта сторона его востоковедческой деятельности до сих пор мало известна.

Чтобы оценить вклад, который этот практик-ориенталист внес в историю русской науки и культуры, надо познакомиться с сохранившимися в различных архивах его рукописными материалами. Большая часть этих документов хранится в Архиве востоковедов ЛО ИВАН

¹ Шиллинг собрал большую этнографическую коллекцию, состоявшую из предметов быта и культуры народов Дальнего Востока (Коллекции № 8, 676 и 710 в Институте этнографии АН СССР).

СССР (ф. 56). Это — материалы к вопросу о состоянии русско-китайской торговли в 1820—1830 гг.; сведения о пограничной линии России с Китаем к востоку от Кяхты; статистические материалы по Забайкальскому краю, относящиеся ко времени поездки Шиллинга в Сибирь для разрешения острого и наболевшего тогда вопроса, связанного с распространением в Забайкальском крае буддизма; а также документы, характеризующие его как организатора литографии и собирателя восточных ксилографов и рукописей. Значительную часть фонда составляют письма к Шиллингу от многих русских и иностранных корреспондентов, интересовавшихся или занимавшихся Востоком. Большинство документов Шиллинга теперь утратило практическое значение, но в историческом отношении они не лишены научного интереса².

Остановимся в нашей статье только на опытах Шиллинга по воспроизведению восточных текстов.

Первое в Европе издание с применением китайских, санскритских и арабских знаков было предпринято в XVIII в. в России в работах Т. З. Байера [38], правда еще не в виде подвижного набора, а с деревянных клише отдельных слов и начертаний. Однако со смертью Т. З. Байера, как писал акад. И. Ю. Крачковский, «слабая струя арабистических интересов в Академии наук заглохла на долгие годы» [17, 35—36]. Это относится и к воспроизведению китайских текстов.

Только в конце XVIII — начале XIX в. наметился довольно значительный рост «восточных» типографий. В 1805 г. в Петербурге была открыта первая в Европе типография с индийским (бенгальским) наборным шрифтом, организованная индианистом Г. С. Лебедевым [7, 59]. Центром таких типографий были Казанская губерния и Кавказ, где выпускалась печатная продукция на татарском, персидском, турецком и арабском языках, предназначенная для тюркоязычных народностей России [14; 24].

Если потребности арабистики были в какой-то степени удовлетворены появлением типографий, способных печатать литературу, основанную на арабском алфавите, то для дальневосточных языков этот вопрос еще не был решен. П. Савельев в одной из своих работ о русских ориенталистах писал, что большая часть членов пекинской миссии «возвращалась в отечество не только с глубокими знаниями в голове, но и с готовыми учеными трудами, которые составили бы немаловажное приобретение для науки, если бы все были изданы в свое время...» [26, 120].

Серьезная попытка решить эту важную для востоковедения задачу была предпринята Шиллингом, который в порядке опыта напечатал «Сань цзы цзин», «Да сюэ» и «Чжун юн». Выполненные под его наблюдением издания поразили Европу изяществом и тонкостью исполнения. «Они могут сравняться, — писал А. Ремюза, — с книгами, самым великолепным образом напечатанными при пекинском дворе, и даже имеют преимущества на своей стороне» [18, 368].

До попытки Шиллинга Академия наук в конце 1810 г. решила организовать издание китайского словаря и каталога китайских и маньчжурских книг. В Берлин был командирован Ю. Клапрот «для вырезки там на дереве под его смотрением нужного числа слов как для

² Кроме Архива востоковедов материалы о Шиллинге имеются в Архиве внешней политики России (АВПР), в Центральном государственном историческом архиве СССР в Ленинграде (ЦГИАЛ), в Ленинградском отделении Архива Академии наук СССР (ЛО ААН СССР) и в Центральном музее связи им. А. С. Попова.

Считаю долгом принести благодарность проф. В. С. Колоколову за содействие в разборе иностранной корреспонденции Шиллинга.

напечатания китайского словаря... так и на составление нужного прибора для печатания впрямь на сих языках» [45, л. 78]. Однако командированный на шестимесячный срок Клапрот самовольно продлил свое пребывание за границей, а когда началась война с Францией, вообще отказался вернуться в Россию, не возвратив и шрифт, выполненный по его рисунку для Академии наук³.

Издания Шиллинга были напечатаны в организованном им в 1816 г. Литографическом заведении Государственной коллегии иностранных дел.

В 1815 г., обратив внимание Нессельроде на изобретенный в 1796 г. А. Зенефельдером и только что входивший тогда в употребление способ литографирования бумаг, Шиллинг был «тотчас же» командирован для ознакомления с этим способом на месте [21, 95]. 15 июля 1815 г. он был уже в Германии, где «желал теперь получить полные сведения о литографии, которую намерен был ввести в Петербурге» [28].

Пробыл Шиллинг в Германии более года. «Шиллинг по сию пору еще живет в Мюнхене,— писал Н. И. Тургенев своему брату 11/26 июля 1816 г. из Франкфурта,— ему поручено что-то там сделать, но он, как видно, не торопится» [12, 133].

Первая организационная поездка Шиллинга в Германию, очевидно, имела целью не только общее ознакомление с литографией, а также и детальное изучение самой техники печатания. Пока не удалось обнаружить материалов, свидетельствующих о возможном найме мастеров-литографов, о закупке оборудования или литографских камней. В то время вся Европа снабжалась только баварским камнем. В России литографский камень был найден в Подольской губернии в 1830 г., а впервые применен в 1832-м [13, 96].

Казалось бы, ведомственная принадлежность литографии должна была ограничить ее продукцию исключительно размножением министерских бумаг. Однако здесь мы видим, что Шиллинг при свойственной ему склонности к изобретениям и усовершенствованиям выступает прежде всего не как чиновник министерства, а как ученый-изобретатель. Воспоминаниями Н. И. Греча, журналиста и владельца известной в те годы типографии, подтверждается, что Шиллинг «не ограничивался обыкновенною литографиею, а старался усовершенствовать и приложить к новым производствам» и с этой целью «вздумал воспроизводить китайские письмена посредством литографии не простым рисованием их на камне, а произведением выпуклых букв, которые потом отпечатывались на обыкновенных типографских станках» [11, 568].

С воспоминаниями Греча перекликается свидетельство М. И. Броссе, который пишет, что Шиллинг «вздумал испытать еще другие средства. Он приказал вырезать на дереве доски наподобие китайских, оттиснул на них другия еп сгех, без сомнения из алебаstra, и потом отлил в эти матрицы массу, подобную нашим типографским буквам. Каждая строка отлита была особо, и все они были потом соединены вместе, сверстаны, и этими-то рельефами, отличавшимися особенною чистотою, начал он печатание...» [20, 4].

К сожалению, приведенные свидетельства Н. И. Греча и М. И. Броссе не позволяют полностью раскрыть сущности технических секретов Шиллинга. И вряд ли удастся узнать их, пока не будет обнаружено описания этого способа, составленного самим Шиллингом, если такое,

³ В Ленинградском отделении Архива АН СССР хранится пробный оттиск этого шрифта, присланный Клапротом в 1812 г. [39 г].

конечно, существовало вообще⁴. Маньчжурские и монгольские знаки печатались с набора, а китайская иероглифика, несмотря на попытки создать подвижной шрифт, все же воспроизводилась только с литографского камня.

Чьему же искусству мы обязаны техническим совершенством изданий П. Л. Шиллинга?

Из финансового отчета о произведенных Шиллингом расходах в 1817 г. во время его второй поездки в Германию, которая была принята специально в связи с подготовкой к изданию пятиязычного «Китайско-маньчжуро-монголо-русско-латинского словаря» Петра Каменского, узнаем, что Шиллинг заключил контракт с литографами Карлом Вимбергером, Кеном и печатником Гирштером. Вимбергер и Гирштер приступили к работе в октябре 1817 г., Кен же, по-видимому, приехал в Россию гораздо позднее, он упомянут среди работников литографии как заступивший на место Вимбергера [40а, л. 116].

Иностранцы проработали в литографии недолго. Уже в июле 1818 г. был уволен Вимбергер. Вслед за ним ушли работавшие с момента основания литографии Деч и Бирстер. При участии последних выполнялись художественные издания литографии. Кен же, судя по сохранившимся материалам, работал в литографии до 30 июня, а Гирштер — до конца 1819 г. Выбывших иностранцев заменили русские ученики, «кантонисты», отданные в учение «литографическому искусству».

По весьма посредственным образцам китайский, маньчжурский и монгольский шрифты гравировали художники-граверы, которым не были известны ни формы начертания знаков, ни их смысл. Не исключено, что граверы при вырезывании пытались приукрасить знаки по-своему, и здесь, пожалуй, следует отдать должное Шиллингу как руководителю, добившемуся высокой степени совершенства.

В создании монгольского и маньчжурского, а впоследствии тибетского и, вероятно, уйгурского шрифтов специализировался некий Федор Иванович Гасс. По архивным материалам удалось установить, что Ф. И. Гасс, будучи в 1787 г. учеником «медальерного резного дела» при Петербургском монетном дворе, по представлению Монетного департамента был направлен на обучение в Академию художеств, чтобы «впредь в состоянии быть мог при монетном дворе медальные инвенции сочинять и со временем место медальера заступить и других тому искусству обучать» [42, ф. 575, Петров П. Н., 252].

Ф. И. Гасс был не только гравером, но и ближайшим помощником Шиллинга в делах по организации работы литографии. В отсутствие Шиллинга он исполнял обязанности заведующего [40а, л. 155]. В одном из писем за 1823 г. Гасс подробно отчитывался находившемуся в то время в Париже Шиллингу о состоянии дел в литографии [41к].

Мастером-художником, специализировавшимся на воспроизведении на камне китайских литер, был гравер Христиан Кек (Коек) из Майнца. 8 мая 1820 г. Гасс как заведующий литографией в очередное отсутствие Шиллинга сообщал, что гравер Кек продолжает работать «по части китайского лексикона» [40а, л. 155]. В 1821 г. Кек числится «находящимся при гравировании китайских литер» [40а, л. 159]. Затем встречаем упоминание о нем в 1824 г. 19 июня заведующий типогра-

⁴ Специальных записей о технических опытах как в области литографии, так и телеграфии пока не найдено. Так, например, «Описание электромагнитного телеграфа» было составлено по черновикам писем Шиллинга и опубликовано только в 1956 г. [6]. Некоторые сведения о принципах печатания сохранились во фрагменте записки Шиллинга, излагающей основные требования, необходимые для издания словаря [41в].

фией Московского университета П. Курбатов в письме к Шиллингу лестно отозвался о работавшем ранее у него Кеке [39а]. И наконец, письмо Шиллинга Ю. Клапроту, который обратился с просьбой воспроизвести копию четырех листов предисловия из «Дай Цин и тун чжи» с экземпляра, хранившегося в библиотеке Азиатского музея. «Я доставил себе удовольствие,— писал Шиллинг 27 ноября 1821 г.,— удовлетворить Вашему желанию, распорядившись исполнить факсимиле этих листов. Работа эта выполнена художником, услугами которого в гравировании китайских букв я пользуюсь уже три года... Это тот самый мастер, который исполнил Сань цзы цзин, экземпляра которого я имел честь послать Вам два года назад» [39б, л. 1].

Познакомившись вкратце с историей организации Литографического заведения МИДа, перейдем к вопросу подготовки издания словаря Каменского, ради которого, собственно, оно и было организовано.

В первый год своей деятельности литография МИДа, по-видимому, еще официально не функционировала. Когда же опыты Шиллинга показали преимущества нового способа размножения текстов, правительство, «желая поставить литографическое заведение при Государственной коллегии иностранных дел на прочном основании», только в июне 1817 г. утвердило штатное расписание и предусмотрело регулярное финансирование его деятельности [29]. Сам Шиллинг был назначен управляющим литографией год спустя [21, 95].

Решение правительства, пожалуй, безошибочно можно поставить в прямую зависимость от предполагавшегося издания словаря Каменского, так как за десять дней до него, т. е. 2 июня 1817 г., были подписаны «Правила, на основании коих предполагается приступить к напечатанию китайского словаря, сочиненного коллежским асессором Каменским». «Правила» предписывали привести литографию «в такое совершенство, чтобы предприятие сие могло быть начато и с успехом окончено» [40а, лл. 56—57].

Изданию словаря придавалось большое значение. Когда в 1819 г. возник вопрос о назначении Каменского в Китай начальником очередной X духовной миссии, то со стороны МИД было выдвинуто возражение. Нессельроде, признавая, что Каменский имеет все данные для возглавления миссии, писал: «Министерство иностранных дел никак не может согласиться на отъезд сего чиновника. Его пребывание в С.-Петербурге слишком нужно, даже необходимо, как для дел коллегии, так и еще более для исправного издания словаря языков китайского и маньчжурского. Сей словарь, который должен своим появлением принести столько же пользы ученому свету, сколько чести нашему попечительному правительству, не может быть отпечатан прежде 8 или 10 лет; он требует безотлучных трудов и стараний Каменского» [4, 624].

Перед Шиллингом встал вопрос, каким же образом воспроизвести требующийся для издания словаря Каменского маньчжурский, монгольский и китайский тексты.

Хотя способ печатания с наборных литер был изобретен еще в XI в., однако этот прогрессивный метод в самом Китае осваивался медленно, даже в начале XX в. в Китае ксилография все еще находила широкое применение. Кстати, и литография получила там распространение только в последней четверти XIX в. Впервые она была применена миссионерами в 1874 г. [31, 423]. Поэтому Шиллингу пришлось идти своим путем. Его предшественники в известной степени повторяли опыт китайцев, т. е. применяли резьбу или на дереве — способ медленный и весьма несовершенный, или на меди — способ слишком дорогостоящий. Шиллинг решил прибегнуть к новому способу — литографии.

которая, по его мнению, более всего соответствовала природе китайской письменности [37].

В «Правилах», определивших техническую сторону издания словаря, подчеркивалось, что оно «имеет быть литографическое и вместе типографическое» [40а, л. 56 об.]. Такому решению предшествовала пояснительная записка Каменского «О китайской типографии» [40а, лл. 170—172], в которой излагались «причины невозможности к составлению подвижной наборной типографии». Главная его мотивировка, конечно, сводилась к отличию иероглифической письменности от алфавитной, что создало бы трудности при наборе. Ничего не сказано о таких моментах, как дороговизна изготовления шрифта или другие экономические затруднения.

Что же касается маньчжурского и монгольского текстов, Каменский считал, что хотя в Китае их печатают с резных досок, однако не исключена возможность составить и наборный шрифт. Он лишь высказал опасение, что «при прилагании одного слога к другому в наборной типографии прерывов избежать никак не возможно, что самое в печати их составит неприятную для глаза азиатца пестроту».

Подготовительная работа к этому мероприятию была проведена Шиллингом еще в первую его поездку за границу по делам литографии. Были выяснены возможности осуществления этой идеи во Франции. В записке А. Ремюза от 1 июня 1816 г., адресованной, как видно, через русского посла в Париже Шиллингу, находившемуся в то время в Мюнхене, Ремюза делился своими мыслями о том, каким должен быть этот «научный словарь, составленный на основе хорошей оригинальной лексики, обогащенный цитатами из хороших авторов и содержащий все сложные фразы и двусложные выражения, которые уже забыты в китайском языке,— вот то сочинение, которое ждет ученая Европа» [41г, л. 2 об.].

Ремюза сообщал подробные сведения о технических возможностях Парижа, где в то время имелись восточные шрифты, подчеркнув, однако, их несовершенство и устарелость.

Подобный же запрос был послан в Англию. В сохранившейся записке «Начертание средств, представляемых Англиею к напечатанию словаря Каменского», в частности, говорится: «...несмотря на непрерывные сношения с Китаем со времен 16 века, до днесь никто еще не думал о изобретении тисков китайских. Малое же количество начертаний в Лондоне обретающихся... хранящиеся в Музеуме Британском служат предметом одного любопытства» [40а, л. 75 об.—76].

В результате этих запросов словарь решено было печатать в Петербурге. В помощь Шиллингу для пересмотра и проверки корректурных листов были прикреплены С. Липовцев и автор словаря Каменский. Объем словаря предполагался в 1200 страниц. Тираж — 1000 экз. Срок издания был рассчитан на 6 лет, с 1818 по 1823 включительно. Общая смета расходов составила 139 тыс. руб. [40а, л. 58].

На отпущенные средства Шиллинг во второй приезд в Германию произвел закупку оборудования: 223 литографских камня, стальные перья и другие инструменты. Печатный стан был заказан в Англии. Литографские камни Шиллинг выбрал в Зелленгофене с помощью местного литографа Вейенгайнта, который также приготовил и образцы литографских чернил. В эту поездку Шиллинг посетил и изобретателя литографии Зенефельдера.

К моменту утверждения «Правил», на основании которых должен был печататься словарь, рукопись его, как видно, была далека от завершения. В одном из писем Каменского от 30 декабря 1817 г. сообща-

ется, что автор еще продолжает работать над латинской частью словаря [40а, л. 87]. Пробные оттиски первого листа словаря, о которых мы будем говорить ниже, резко отличаются друг от друга в передаче латинской транскрипцией маньчжурских и монгольских чтений. Как видно, она еще не совсем четко была выработана самим автором.

Печатание словаря предполагалось осуществить следующим образом. В типографии Н. Греча в два приема предполагалось печатать с набора четыре текста, а именно: русский и латинский, маньчжурский и монгольский. Набор двух последних должен был сделать резчик Гасс. Затем в литографии МИД с камня имелось в виду печатать китайский текст.

Первый опытный оттиск, судя по сохранившимся образцам, не удовлетворил Шиллинга, и он продолжал добиваться усовершенствования всех трех восточных текстов. Шиллинг заставлял своих «словорезов» упражняться в писании иероглифов китайской кистью. Если посмотреть поздние издания Шиллинга, то можно увидеть, насколько хорошо художник-гравер освоил это искусство. Он наносил знаки прямо на камень и затем, как пишет Греч, «вытраивал он поверхность камня, оставляя только именно то, что покрыто начертанием письмен», вот почему «никто в целой Европе не мог догадаться, как это делается» [11, 568].

Ремюза и Сильвестр де Сасси, получив первый пробный оттиск, писали, что китайские и монгольские слова «весьма красивы и показывают искусную и привычную руку» [41д, л. 3]. Каменский, отвечая на такой лестный отзыв, заметил, что теперь «Шиллинг в течение времени деятельностью своею маньчжурские и мунгальские письмена довел уже до такого совершенства, что оттискиваемые слова не уступают оттиснутым среди Китая» [40а, л. 86об.].

Поздний опытный экземпляр подтверждает слова Каменского. Монгольские и маньчжурские знаки отличаются особым изяществом и могли бы стать истинным украшением (правда, возможно, только внешним) словаря, если бы ему суждено было появиться в свет. Единственный их недостаток — слишком крупный шрифт, не удовлетворявший Шиллинга. По образцам, выполненным Гассом, он заказал Шелтеру в Лейпциге мелкий шрифт. Ремюза, ознакомившись с этими образцами, писал Шиллингу: «Продолжая дальше расчленение этих знаков, Вы добьетесь не меньших успехов в маньчжурском, чем в китайском» [41л, л. 2].

Почему же, несмотря на освоенную Шиллингом технику воспроизведения восточных текстов, словарь Каменского так и не был напечатан?

В архиве востоковедов хранится крайне отрицательная «Рецензия на пятиязычный словарь, издаваемый Г. Каменским», написанная Н. Я. Бичуриным [41а, лл. 132—143]. Рукопись не имеет даты. Написана она, скорее всего, сразу же по возвращении Бичурина из Пекина, т. е. между январем 1822 г. и сентябрем 1823 г., когда он был отправлен в ссылку на Валаам.

Рецензия содержит примеры «великого множества погрешностей», которые Бичурин нашел в словаре, он упрекал Каменского в пренебрежительном отношении к маньчжурским переводам китайских выражений. Вполне вероятно, что эта рецензия в какой-то степени отразилась на последующих научных устремлениях Каменского, который во второй период (1819—1831 гг.) пребывания в Китае в должности начальника миссии ничего нового для русского китаеведения не дал. Разочаровавшись в судьбе, он писал в одной из поздних дневниковых записей:

«О Китай, много ты у меня унес бесценного времени. 27 лет проведено над машинальными только твоими занятиями, но утешает одно только то, что потеряно оное бесцельное время на службе. Если бы не это, то никакими слезами толикой утраты оплакать было бы невозможно» [41б, лл. 107—108].

Если Бичурин отметил недостатки внутреннего содержания словаря, не касаясь его технического исполнения и построения, то Ремюза, горячо приветствовавший идею издания, наоборот, основное внимание сосредоточил на его структуре. Расположение материала «по порядку предметов» он находил совершенно неприемлемым и считал, что система, разработанная Каменским, сильно затруднит использование словаря для чтения текстов [40а, 84об.].

Доказанная Бичуриным «бесполезность столь неисправного словаря» и существенные замечания Ремюза, а также и Сильвестра де Сасси, по-видимому, были одной из немаловажных причин отказа от издания, хотя необходимость в словаре была очевидна. Сам же Шиллинг, начавший изучение китайского языка только со времени своего участия в подготовке этого издания, конечно, возразить ничего не мог, поскольку, «как он ни был любознателен и начитан, не знал порядочно восточных языков, следовательно, должен был смотреть на все глазами других» [5, 322].

Известную роль сыграл и отъезд Каменского в Китай, хотя, впрочем, если бы рукопись была полностью завершена, то это вряд ли могло иметь сколько-нибудь существенное значение. Гораздо серьезнее было «отпускать министерству иностранных дел в течение шести лет, начиная с 1 января 1818 г., по 20 000 рублей ежегодно», а поскольку к 1823 г. фактически израсходована была сумма за один только 1818 год, то остаток средств обращен был «на выполнение других по высочайшим указам на Государственное казначейство возложенных расходов» [40а, л. 169].

Русским китаистам того времени, крайне нуждавшимся в пособиях, пришлось самим заниматься составлением словарей. До нас дошло много лексиконов, оставшихся в рукописи [23]. Своевременное издание некоторых из них несомненно принесло бы пользу, но издание словаря Каменского вряд ли оправдало бы надежды властей на то, что он должен был «своим появлением принести столько же пользы ученому свету, сколько чести... правительству». Появление словаря Каменского не явилось бы большим достижением русского китаеведения, так как по своей структуре, не говоря уже о достоверности переводов, он не отвечал основным требованиям, предъявляемым к таким изданиям.

Отечественное востоковедение того времени, несмотря на удачные опыты Шиллинга, все же не получило пособия подобного рода. Здесь уместно вспомнить и о «Китайско-маньчжурско-латинско-русском» лексиконе З. Ф. Леонтьевского [41м], которому, «к стыду тогдашнего русского общества и правительства,— как писал В. М. Алексеев,— не пришлось увидеть света» [2, 79]. Латинизированная часть словаря Леонтьевского, по мнению В. М. Алексеева, должна была сделать словарь международным. На это же, по всей вероятности, претендовал и Каменский.

Опыты Шиллинга в процессе подготовки словаря Каменского создали условия для издания в виде пробы небольшого по объему памятника китайской литературы. Выбор пал на «Сань цзы цзин» («Троесловие»), содержащий только 1068 знаков. Напечатан он был в 1819 г. с весьма посредственного по техническому исполнению китайского оригинала [43, Д—49].

В сохранившейся части личного архива Шиллинга находятся материалы, связанные с изданием «Сань цзы цзин» [41е]. Это отдельные листы пробных оттисков и калькированный макет иероглифического текста, а также обширная переписка с известными синологами того времени, позволяющая исправить ошибочное утверждение нашей литературы о том, что Шиллинг только «в 1829 г. разработал особый литографский способ воспроизведения китайских текстов, который впервые применил при печатании переведенного Н. Я. Бичуриным китайского „Троесловия“» [3, 378].

Экземпляр шиллинговского «Сань цзы цзина» 1819 г. хранится в фондах Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина [Дорн, 835]. По своему внешнему виду эта книга ничем не отличается от китайских изданий. Издатель позаботился даже о воспроизведении полного подобия китайской бумаги. Для этого на фабрике Ольхина, находившейся под Петербургом, в Белоострове, специально была заказана бумага «на китайский манер».

В переписке Шиллинга мы находим восторженные отзывы о технических достоинствах этого издания. Наиболее ранним из них является письмо Монтуччи (от 22 ноября 1819 г.), который писал: «Получив экземпляр Сань цзы цзин на китайской бумаге, принял его за издание, отпечатанное в Китае, и при том за одно из самых превосходных изданий, какое только может быть выполнено в этой стране. Я поражен, убедившись, и притом так, что не остается ни малейшего сомнения, что издание выполнено в Европе и человеком, который два года назад не имел еще представления ни об одной китайской букве! Мне никогда не приходилось видеть ни одной страницы, напечатанной в Европе, которую можно было бы, хотя бы и в слабой степени, сравнить с этим шедевром китайской печати. Тщательность исполнения и красота вызвали бы удивление даже у знатока-китайца» [39в, л. 5].

Аналогичным был отзыв А. Ремюза, который тоже работал над проблемой технического воспроизведения китайских текстов⁵. Не без умысла, конечно, письму был предпослан эпиграф на китайском языке: «Дракону не скрыть своей чешуи, фениксу не спрятать своих перьев». Ремюза писал: «К интересу, который не смогло не вызвать во мне Ваше начинание, Вы пожелали присовокупить еще и любопытство, и мне никак не удастся отрицать, что в этом Вы весьма преуспели. Все же я думаю, что принятые Вами меры предосторожности излишни... если к Вашему способу, уже примечательному по своим достоинствам, присоединить преимущество быть продуктивным и недорогостоящим, то Вы сможете тогда обольщаться тем, что оказали самую знаменательную услугу лицам, занимающимся китайской литературой, — размножение текстов было единственным средством, которого им недоставало...». Далее автор письма продолжал: «Вы обладатель замечательного секрета, с которого вряд ли будете спешить снять покров тайны, даже в интересах любителя литературы... но если Вы решите, к чему я позволю себе вольность побудить Вас, получить известность очень быстро, то можете рассчитывать на мою готовность опубликовать в „Journal du Savants“ или в других журналах все достоинства Вашего способа» [41л, л. 1—1 об.].

Удача с напечатанием «Сань цзы цзин» натолкнула Шиллинга на мысль осуществить издание еще двух памятников китайской литерату-

⁵ В 1822 г. в Париже он издал китайскую грамматику под названием «*Eléments de la grammaire Chinoise*». По свидетельству Н. Я. Бичурина, она отличалась «чисто вырезанными китайскими буквами».

ры. Он привел в замешательство «неверующих» тем, что в 1823 г. издал книги «Да сюэ» и «Чжун юн», выглядевшие несравненно изящнее, чем «Сань цзы цзин» [18, 370].

Это было не повторение опыта «Сань цзы цзин», а поиски новых возможностей усовершенствовать технику литографирования китайских текстов. Новые книжки отличаются от «Сань цзы цзин» не только своим внешним видом, но и техникой исполнения. В «Сань цзы цзин» знаки были выгравированы стилем *чжэнтцзы*, а «Да сюэ» и «Чжун юн» более сложным для исполнения стилем — *кайшу*.

В Ленинградском отделении ИВАН СССР сохранилось по одному экземпляру этого издания [43; «Да сюэ» Е-788; «Чжун юн» Е-789]. Напечатаны они на веленовой бумаге, первоначально предназначавшейся для особых 50 экземпляров словаря Каменского. По одному экземпляру этих книг хранится также в ГПБ [42; «Да сюэ» Дорн-733; «Чжун юн» Дорн-734]. В отличие от первых двух напечатаны они на бумаге «на китайский манер» и, что очень существенно, имеют дарственные надписи Шиллинга Сухтелену.

Если первое издание «Сань цзы цзин» с точки зрения правильности написания иероглифов исполнено безукоризненно (имеются даже два случая исправления иероглифов, неправильно выгравированных в оригинале), то в «Да сюэ» и «Чжун юн» встречаются незначительные погрешности. В нескольких случаях в иероглифах недостает точек или черт. Это явление легко объясняется отсутствием китаиста-корректора, каковыми прежде могли быть находившийся в то время в Китае Каменский или сосланный на Валаам Бичурин.

Китайских оригиналов, с которых напечатаны «Чжун юн» и «Да сюэ», обнаружить пока не удалось.

После удачных опытов с воспроизведением китайских, маньчжурских и монгольских текстов Шиллинг занялся подготовкой к изданию тибетских книг. И здесь он продолжал совершенствовать технику печати. Так, находясь в 1830 г. в Кяхте, Шиллинг поручил Гассу отпечатать золотом текст тибетской молитвы. В порядке опыта из-за дороговизны исполнения Гасс сделал только 10 экземпляров, 9 из них бронзой, а один — золотом. По указанию Шиллинга печатание было произведено не на увлажненной, как обычно, бумаге, а на сухой, но «первый пробный отпечатанный... на сухой бумаге экземпляр, когда натерт был бронзой и высох, то совершенно не годился никуда, ибо начал лупиться, но, чтоб без мочки бумаги хорошо держалась литографическая краска, гг. Гассом и Рахониным⁶ изобретено удачное средство, о котором я умалчиваю,— писал один из сотрудников Шиллинга, С. Иванов,— для того, чтобы (доставить) узнать, угадаете ли Вы на Кяхте, какое средство было ими употреблено» [41, лл. 1 об.—2].

Во время пребывания в Кяхте у Шиллинга возникла мысль издать факсимиле индекса к «Данджуру» и «Ганджуру». Для этой цели он привез с собой в Петербург бурята, которому поручил копирование. Работа была завершена в 1833 г. Шиллинг написал к индексу «Предисловие», которое является единственной известной нам его печатной работой по востоковедению [35]. По образцам рукописей его коллекции были подготовлены образцы тибетских литер, но издание индекса из-за возвращения бурята на родину осуществить не удалось.

Из сочинений на тибетском языке нам известно издание «Махаяна-сутры», изданной Академией наук по образцам Шиллинга в 1845 г. в Лейпциге [36].

⁶ Фамилия Рахонина встречается впервые, выяснить его личность не удалось.

Найденный Шиллингом способ воспроизведения тибетских текстов прельщал бурятское духовенство возможностью организовать более продуктивное издание буддийских сочинений и молитв. Это, по-видимому, явилось одной из причин успеха Шиллинга в собирании редких рукописей среди лам, которые, по мнению В. П. Васильева, «не согласились бы выпустить их из своих рук, тем более что между ними много заветных, которых набожный лама и не покажет профану» [5, 323]. По поручению Шиллинга, например, в Петербурге было отпечатано и разослано по дацанам 14 ящичков с тибетским текстом изречения из популярной молитвы «Ом, мани падмэ хум» [41ж].

Все основные издания восточных текстов были выпущены в первые годы существования литографического заведения МИД (1819—1823). Однако деятельность Шиллинга в этой области продолжалась и в последующие годы. Об этом свидетельствуют хотя бы приведенные выше опыты с тибетскими текстами и издание в 1829 г. переведенного Бичуриным «Троесловия» [27].

В архиве востоковедов сохранились также материалы, свидетельствующие об опытах Шиллинга в литографировании персидского, арабского и, по предположению специалистов, авестийского текстов. Они относятся примерно к 1823 г. Необходимость в них, по всей вероятности, подсказывалась Шиллингу практическими интересами МИДа. Успехи преподавания персидского и арабского языков, введенных в Казанском и Петербургском университетах, были признаны недостаточными для специальных целей министерства. В 1823 г. при Азиатском департаменте МИДа было создано Учебное отделение восточных языков, главной целью которого было практическое усовершенствование слушателей в знании разговорного и письменного языков — турецкого, персидского и арабского [21, 96]. Опыты Шиллинга могли быть вызваны потребностью в учебных пособиях для слушателей организованного отделения.

Среди оттисков на упомянутых выше языках сохранились первые листы из «Шах-намэ», «Пайд-намэ», а также тексты Корана и образец персидского частного письма.

Под наблюдением Шиллинга в литографии МИДа были также отпечатаны образцы грузинской каллиграфии [19, 156].

К сожалению, едва ли нам удастся установить полный перечень изданий Шиллинга. Помимо перечисленных произведений, как сообщал Ремюза, «он издал также золотым тиснением по голубому полю текст публичного чтения, преподанного Богдо-ханом Киа-Кингом (Цзя цинном. — Л. Ч.) о первой статье (фразе) Тай-Гио («Дасюэ». — Л. Ч.); также книжку, содержащую в себе 15 дипломатических сношений, писанных Татарскими князьями к Пекинскому двору на китайском и уйгурском⁷ языках» [18, 371].

К свидетельству Ремюза следует добавить выдержку из отчета Броссе, где сказано, что Шиллинг начал «печатание сочинения, которое было еще без заглавия. Автор этого отчета видел сии опыты в числе оставшихся после него (Шиллинга. — Л. Ч.) вещей, поступивших в Этнографический музей⁸; остается пожелать, чтобы они были сохранены,

⁷ Принимая во внимание общность элементов уйгурской письменности с маньчжурской и монгольской, можно предполагать, что уйгурский шрифт был выгравирован Ф. И. Гассом.

⁸ С. Е. Малов в своей работе «Памятники древнетюркской письменности» (М.—Л., 1951, стр. 218), ссылаясь на переведенные Амьо и Клапотом «15 документов минской династии из Восточного Туркестана», пишет, что «литографированное старое издание 15 документов минской династии на китайском и уйгурском языках имеется в Инсти-

дабы могли служить образцами тем, которые занимаются решением задачи печатать китайские книги по возможности с меньшими издержками» [20, 4].

Обнаруженные издания Шиллинга, как правило, анонимны. Только сохранившиеся в его личном архиве опытные образцы и черновые материалы, а также переписка помогли подтвердить наши предположения.

Пытаясь установить список осуществленных Шиллингом изданий, мы обнаружили, что они не подвергались цензуре. Так, в «Ведомостях о рассмотренных и одобренных к напечатанию С.-Петербургским цензурным комитетом рукописях» не зарегистрировано ни одно из его изданий 1819—1823 гг. Это, вероятно, объяснялось отсутствием в то время в Петербурге производственных восточных типографий⁹, а может быть, и особым положением МИДа. К тому же мы полагаем, что осуществленные Шиллингом издания проводились только в порядке опыта подготовки словаря Каменского. Все они были выполнены именно в те годы, когда отпускались средства на словарь.

Из приведенных выше фактов видно, что литографическая деятельность Шиллинга получила широкое признание. Свидетельством его успехов может служить также приезд в Петербург в конце 1833 г. сотрудника Британского библейского общества Д. Барроу для печатания части «Нового завета» на маньчжурском языке. Издание это было завершено к августу 1835 г. Весь тираж, за исключением семи экземпляров, Барроу увез в Англию [406, лл. 1—16]. Наблюдение за печатанием английского заказа вел С. Липовцев, который еще в 1822 г. подготовил перевод части Евангелия на маньчжурский язык и напечатал его у Шиллинга по заказу Русского библейского общества [18, 372—373].

Наконец, нам остается коснуться еще одной стороны в литографической деятельности Шиллинга — литографирования восточных карт и планов¹⁰. Мы не располагаем конкретными архивными материалами, которые сохранили бы отдельные экземпляры выполненных им работ такого типа. Однако имеющиеся в нашем распоряжении три косвенных упоминания позволяют предположить, что Шиллинг занимался подготовкой их к изданию.

А. Ремюза в письме от 8 января 1820 г., выражая Шиллингу благодарность за присланное издание «Сань цзы цзин», писал: «На карте, в которую был завернут пакет, безусловно, не по оплошности, а для того, чтобы скользнуть по ней глазом и увидеть множество маньчжурских знаков, Вы позволили мне заключить, что занимаетесь параллельно и этой частью восточной типографии...» [41л, л. 2].

Вторым свидетельством, относящимся к более позднему времени, служит дело «О переводе на один из европейских языков карты (на 119 лл. — Л. Ч.) китайского государства, найденной в кабинете... императора Александра Павловича» [44]. П. К. Сухтелен, выяснив, что такой карты нет в Военно-топографическом депо, в своем отношении:

«...туте востоковедения АН СССР». Вполне возможно, что это издание Шиллинга. Однако найти его пока не удалось.

Поиски этого сочинения среди сохранившихся в Музее этнографии АН СССР коллекций Шиллинга не принесли результатов.

⁹ Судьба упомянутой выше индийской типографии Г. С. Лебедева остается неизвестной. Скорее всего, после смерти Лебедева в 1817 г. она прекратила свое существование.

¹⁰ Сам факт литографирования Шиллингом карт не вызывает сомнений. Так, на карте военных действий в период Отечественной войны 1812 г., приложенной к первой книжке «Военного журнала» за 1817 г., значится: «Гравировано на камне и отпечатано в Литографическом заведении Государственной Коллегии иностранных дел в С.-Петербурге в 1817 г.».

от 3 января 1827 г. писал Шуберту (Ф. Ф.— Л. Ч.) ¹¹: «Угодно, чтобы... карта китайского государства была переведена на один из европейских языков, преимущественно же на русский, о чем, сообщая Вам, честь имею уведомить, что, если для сего может служить предпринятая работа г. бароном Шиллингом... снабдить господина Шиллинга зависящими от Вас пособиями для успешного окончания сего занятия» [44, л. 4].

Говоря о «предпринятой» работе Шиллинга, вряд ли Сухтелен имел в виду опыты восьмилетней давности. Здесь непременно имели место факты близкие к 1827 г.

Наконец, третий документ, свидетельствующий о литографировании планов,— сохранившееся обязательство гравера Якова Иванова от 6 февраля 1830 г., которым последний брал на себя выполнение граверных работ «На плане Пекина» [41з].

Подводя итог литографической деятельности Шиллинга, следует подчеркнуть, что его опыты так и не получили дальнейшего практического применения. Лишь за два года до его смерти при печатании в типографии Гемильяна китайской грамматики Н. Я. Бичурина [30] был применен его способ. Однако китайский текст в этом издании по своему внешнему виду далек от того совершенства, которое Христиан Кек придал иероглифам в шиллинговских изданиях.

Издания книг с китайскими иероглифами не возобновлялись в России вплоть до начала 60-х годов, когда типографией Академии наук были получены заказанные адмиралом Путятиным в Гонконге матрицы для китайских иероглифов, которые прибыли в 1862 г. и были разобраны в 1863 г. акад. М. И. Броссе [1, 54].

Бескорыстное отношение к науке, побуждавшее Шиллинга к организации изданий трудов русских востоковедов или приобретенных им памятников с восточными текстами, не нашло в те годы ни поддержки, ни достойных продолжателей, отодвинув тем самым на долгие годы решение такого важного для востоковедения вопроса.

Здесь уместно также вспомнить и о плодотворной деятельности Шиллинга по собиранию восточных рукописей и ксилографов, касающихся вопросов истории, экономики, этнографии, культуры Китая и сопредельных с ним государств и народов Азии. Поступление его собраний в библиотеку Азиатского музея значительно укрепило научную базу отечественного востоковедения. Однако нельзя не упомянуть о том факте, что более поздние и не столь значительные поступления в Азиатский музей коллекций А. О. Ивановского, П. А. Дмитриевского, А. Н. Гудзенко и других сохранили имена собирателей, а ценные во всех отношениях коллекции Шиллинга вошли в фонд под общим названием «коллекция Броссе» по имени составителя описи [8; 9; 10]. Тем самым несправедливо забытой оказалась роль Шиллинга в деле развития отечественного востоковедения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Академическая типография. 1728—1928, Л., 1929.
2. Алексеев В. М., О роли русской китаистики XIX в. в лексикографии, — КСИБ, XVIII, М., 1956.
3. Биографический словарь деятелей естествознания и техники, М., 1959, т. 2.

¹¹ Шуберт Федор Федорович (1789—1865) — русский геодезист. Сын академика Ф. И. Шуберта. В 1922 г. организовал корпус военных топографов и издание «Записок» всенно-топографического дела. Служа в Генеральном штабе, вместе с отцом был командирован в составе миссии Головина в Китай. Помимо своей основной специальности занимался также нумизматикой.

4. Вагин В., Исторические сведения о деятельности графа М. М. Сперанского в Сибири с 1819 по 1822 г., СПб., 1872, т. II.
5. Васильев В. П., Записка о восточных книгах в С. Петербургском университете, — «Русский вестник», 1855, т. XI.
6. Вопросы истории естествознания и техники, М., 1956, вып. 1.
7. Воробьев-Десятовский В. М., Русский индианист Герасим Степанович Лебедев, — «Очерки по истории русского востоковедения», М., 1956, сб. 2.
8. Горбачева З. И., Китайские географические сочинения из коллекции рукописей и ксилографов Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР, — «Страны и народы Востока», М., 1959, вып. 1.
9. Горбачева З. И., Китайские ксилографы и старопечатные книги собрания Института востоковедения Академии наук СССР, — «Ученые записки Института востоковедения», М.—Л., 1958, т. XVI.
10. Горбачева З. И., Китайские медицинские труды в коллекции Ленинградского отделения Института народов Азии Академии наук СССР, — «Страны и народы Востока», М., 1961, вып. II.
11. Греч Н., Барон Павел Львович Шиллинг фон-Канштадт, — «Северная пчела», 1853, № 142.
12. Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, М.—Л., 1936.
13. Журнал Министерства внутренних дел, 1832, кн. II.
14. Закиров С. З., Издания на восточных языках в Казани в первой половине XIX века, — «Народы Азии и Африки», 1961, № 6.
15. Изобретатель электромагнитного телеграфа Павел Львович Шиллинг. К столетию со дня рождения, СПб., 1886.
16. Коростин А. Ф., Начало литографии в России. 1816—1818. К 125-летию русской литографии. Государственная библиотека им. В. И. Ленина. Собрание работ по книговедению, вып. 1, М., 1943.
17. Крачковский И. Ю., Очерки по истории русской арабистики, — «Академик Игнатий Юлианович Крачковский. Избранные сочинения», т. V, М.—Л., 1958.
18. О изображении китайских писмен и любопытных изданиях барона Шиллинга, — «Азиатский вестник», 1825, кн. IV.
19. Орбели Р. Р., Грузинские рукописи Института востоковедения АН СССР. Вып. I. История, география, путешествия, археология, законодательство, философия, языкознание, библиография, М.—Л., 1956.
20. Отчет экстраординарного профессора М. И. Броссе о китайской библиотеке Азиатского музея имп. Академии наук, — ЖМНП, 1841, т. XXX, отд. III.
21. Очерки по истории Министерства иностранных дел. 1802—1902, СПб., 1902.
22. Пашенцев Д. С., Россия — родина электрической телеграфии. Вопросы истории отечественной науки. Общее собрание АН СССР, посвященное истории отечественной науки, 5—11 января 1949 г., М.—Л., 1949.
23. Петров Н. А., К истории изучения китайского языка в России (Рукописные словари, хранящиеся в Архиве востоковедов Ленинградского отделения Института народов Азии АН СССР), — «Дальний Восток». Сборник статей по филологии, истории, философии, М., 1961.
24. Пятницкий В. А., К истории книгопечатания арабским шрифтом в Европейской России и на Кавказе. Сборник Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, М., 1928, т. 1.
25. Русский биографический словарь, т. Шебанов-Щютц, СПб., 1911.
26. Савельев П., Восточные литературы и русские ориенталисты, — «Русский вестник», 1856, март.
27. Сань цзы цзин, или троесловие с китайским литографированным текстом, пер. с кит. монахом Иакинфом, СПб., 1829.
28. С.-Петербургские ведомости, № 166, 3.VIII.1860.
29. Указ данный Коллегии иностранных дел о штате для Литографического заведения, — Полное собрание законов Российской империи, т. XLIV, ч. II, Книга штатов, отд. III и IV, СПб., 1830.
30. Хань-вынь-ци-мын. Китайская грамматика, сочиненная монахом Иакинфом, СПб., 1835.
31. Чжунго цзиньдай чубань шиляо (Материалы по истории печати в Китае в новое время) (на кит. яз.), Шанхай, 1954, т. II.
32. Яроцкий А. В., О деятельности П. Л. Шиллинга как востоковеда, — «Очерки по истории русского востоковедения», М., 1963, сб. 6.
33. Яроцкий А. В., О деятельности экспедиции П. Л. Шиллинга в Забайкалье, — «Труды Кяхтинского музея краеведения им. В. А. Обручева и Кяхтинского отдела Географического общества СССР», т. 18, Улан-Удэ, 1961.
34. Яроцкий А. В., Павел Львович Шиллинг, 1786—1837, М., 1963.
35. Bibliothèque bouddhique ou Index du Gandjour de Nartang, composé sous la direction du Baron Shilling de Canstadt. Avantpropos. (Lu le 26 novembre 1847), — «Bulle-

tin de la Classe des sciences historiques, philologiques et politiques de l'Académie Impériale des sciences de Saint-Petersbourg», t. IV, № 22.

36. «Das ehrwürdige Mähājanasūtra mit Namen: das unermessliche Lebensalter und die unermessliche Erkenntniss», St.-Pb., 1845.
37. Le Moniteur Universel, № 98, 7 avril 1817.
38. Theophili Sigefridi Bayeri, Museum Sinicum, tomus primus, St.-Pb., 1730; ibid, tomus secundus, St.-Pb., 1730.

Архивные материалы

39. Архив Академии наук (Ленинградское отделение):
а) ф. 85, оп. 3, ед. хр. 35, б) ф. 85, оп. 3, ед. хр. 40, в) ф. 85, оп. 3, ед. хр. 62, г) ф. 89, оп. 1, ед. хр. 160.
40. Архив внешней политики России:
а) Главный архив, IV—50, оп. 146, д. № 1, 1816—1823, б) Главный архив, II—26, оп. 71, д. № 1, 1833—1836.
41. Архив востоковедов Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР:
а) ф. 7, оп. 1, ед. хр. 38, б) ф. 24, оп. 1, ед. хр. 14, в) ф. 56, оп. 1, ед. хр. 62, г) ф. 56, оп. 1, ед. хр. 69, д) ф. 56, оп. 1, ед. хр. 76, е) ф. 56, оп. 1, ед. хр. 83, ж) ф. 56, оп. 1, ед. хр. 89, з) ф. 56, оп. 1, ед. хр. 103, и) ф. 56, оп. 2, ед. хр. 16, к) ф. 56, оп. 2, ед. хр. 51, л) ф. 56, оп. 2, ед. хр. 67, м) разряд 1, оп. 1, ед. хр. 73.
42. Рукописный отдел Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
43. Фонд китайских ксилографов Рукописного отдела Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР.
44. Центральный Государственный военно-исторический архив СССР, ф. 40, оп. 1/1453, связка 3, д. № 146.
45. Центральный Государственный исторический архив СССР, ф. 733, оп. 12, ед. хр. 18.

Т. К. Шафрановская

**Б. А. ДОРН ОБ ИЗУЧЕНИИ
ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ В РОССИИ**

В 1839 г. Борис Андреевич Дорн (1805—1881) был избран адъюнктом по восточным языкам Петербургской Академии наук. Через год, 1 февраля 1840 г., на годичном собрании Академии наук Дорн выступил с докладом «О большом значении и достижениях изучения Азии в России»¹. Материалы к докладу делятся на три части: 1) текст, прочитанный 1 февраля 1840 г., 2) примечания с многочисленными ссылками на литературу и 3) приложение («Zugabe»).

Приложение содержит сведения об учебных заведениях в России, в которых до 1840 г. велось преподавание восточных языков. Б. А. Дорн показывает в основном в хронологическом порядке, как в различных учебных заведениях возникает преподавание того или иного языка.

Вполне понятно, что в наши дни собрано несравненно больше материалов о преподавании восточных языков в высших и средних учебных заведениях России до 1840 г. Но и то, что сообщает Дорн, имеет определенное значение. Текст доклада знакомит с задачами просвещения многонационального населения нашей страны в первой половине XIX в. и с проблемами изучения восточных языков в высших учебных заведениях в это время.

Сборник «Recueil des Actes» с докладом Дорна, напечатанным на немецком языке, принадлежит к академическим изданиям, встречающимся довольно редко и хранящимся только в крупнейших библиотеках. Кроме того, лишь немногим известно, что к докладу Дорна было приложено дополнение с данными о преподавании восточных языков. Об этом приложении не упоминается ни в каких библиографических указателях. Поэтому полезно напомнить о его содержании.

Текст приложения приводится ниже в сокращенном виде, но все фактические данные сохранены. Некоторые сведения о преподавании восточных языков, упомянутые Дорном в основном тексте его доклада, не повторяются в приложении. Эти сведения внесены в хронологическом порядке в наше изложение.

В начале приложения к докладу Дорн утверждает, что к 1840 г. различными организациями и самими восточными народами сделано очень много в деле просвещения. На примере татар в этом, по словам Дорна, можно вполне убедиться. В особенности значительны успехи казанских татар. К неграмотному единоверцу-магометанину татары относятся даже с сожалением («Казанские ведомости», 1816, № 6;

¹ B. Dorn. Ueber die hohe Wichtigkeit und die namhaften Fortschritte der asiatischen Studien in Russland, — «Recueil des Actes». St.-Pb., 1839 (1840), ст. 55—114.

Krusenstern, *Precis du système de progrès et de l'état de l'instruction publique en Russie, Varsovie, 1837*, стр. 401. Далее цитируется: Крузенштерн)². Каждый татарин старается как можно раньше отдавать своих детей в школу. Многие татары и представители других восточных народов России успешно работают на государственной службе.

В приложении указано, что к 1840 г. число магометан в Европейской России достигло цифры 1 287 418. Они жили в Оренбургской, Казанской, Вятской, Нижегородской, Астраханской, Саратовской, Пензенской, Пермской губерниях и в Крыму. В этих районах в 1835 г. было 560 магометанских школ. Если даже предположить, что в каждой школе только 25 учеников, число учащихся окажется 14 825 (Крузенштерн, стр. 403). С тех пор, сообщает Дорн, число школ увеличилось. Имеются сведения, что в 1838 г. было уже 646 медресе или школ (см. «Сведения о духовенстве магометанского закона за 1838 год» в «Журнале Министерства внутренних дел», 1839, № 5, табл. XXI).

По мнению Дорна, о грамотности магометанского населения свидетельствовали и неоднократные переиздания Корана. В первый раз Коран был напечатан в России в 1788 г. (по другим данным — в 1787 г.). В XIX в. в Казани Коран переиздавался в 1803, 1807, 1809, 1820, 1821, 1832, 1835, 1838 гг. Частично Коран печатался на средства зажиточных татар.

У Дорна отмечено, что в 1731 г. в Астрахани была основана школа для детей калмыков, принявших христианство. На основании указа от 1 января 1739 г. такие же школы были учреждены для татар в Казани, Елабуге, Цивильске и Царевококшайске. В эти школы принимали и магометан в расчете на влияние окончивших школу среди магометанского населения для обращения последнего в христианство. В том же указе семинаристам в Казани предлагалось изучать татарский язык для обучения магометан, переходивших в христианство.

Приблизительно в 1792 г. в татарском селе Овечий Браг Нижегородской губернии открылась школа, где обучали турецкому, арабскому и персидскому языкам. В 1807 г. в школе преподавание вели четыре учителя-татарина, обучавшие 92 учеников.

Начало преподавания японского языка в школах Иркутска относится, по одним источникам, к очень раннему времени — 1754 г. (Wichman, *Chronologische Übersicht der Russischen Geschichte* ч. 2, стр. 19; Георги, *Путешествие 1772 г.*, СПб., 1775, т. 1, стр. 1—3); по другим данным — только в 1790 г. (Кеппен, *Опыт хронологического списка учебных заведений*, стр. 13). По указанию Кеппена в Иркутске в 1790 г. была основана навигационная школа для подготовки переводчиков и моряков в восточных морях. В этой школе японский язык должен был стать одним из главных предметов. Георги сообщает, что 20 способных юношей были направлены из Иркутской школы в кронштадтское адмиралтейство. Они могли говорить, писать по-японски и переводить с японского языка.

В 1792 г. при гимназии в Иркутске был учрежден класс для изучения японского языка. Преподавание было поручено японцам. Позднее все это прекратилось, так как не соответствовало интересам правительства («Азиатский вестник», стр. 84). Все же в 1805 г. в этой гимназии появился преподаватель японского языка, и занятия японским возобновились. Преподавателем был крещеный японец Кольтугин. В это же время (1803—1807 гг.) Николай Рязанов составил японский словарь и грамматику, которые не были напечатаны (Fr. Adelung,

² Все ссылки на литературу, помещенные в скобках, сделаны Б. А. Дорном.

Catharinens der Grossen Verdienste um die vergleichende Sprachkunde», St.-Pb., 1815).

В 1774 г., по другим данным—в 1777 г. в Московском университете началось преподавание татарского языка. Во второй половине XVIII в. в России появились первые турецкие и татарские учебники.

В 1789 г. в Оренбурге была основана киргизская школа (под киргизами Дорн, очевидно, подразумевал казахов). В этом же году в Омске возникла школа по подготовке переводчиков для работы на границах Сибири. Эта школа продолжала существовать и в 1840 г. В ней обучали татарскому, маньчжурскому и монгольскому языкам. Из числа ее воспитанников шесть самых способных ежегодно направлялись в Казань для продолжения образования в гимназии и в университете («St.-Petersburg Zeitung», 1837, № 64).

В 1804 г. были официально учреждены кафедры восточных языков в университетах Москвы, Харькова и Казани. Первым профессором восточных языков в Казанском университете был Х. Д. Френ. Преподавателем татарского языка в том же университете был известный своими работами Ибрагим Халфин. С 1818 г. Френ перешел на работу в Академию наук в Петербурге, где уже с 1804 г. работал специалист по восточным языкам и словесности Юлий Клапрот. В Харьковский университет на кафедру восточных языков был приглашен Б. Дорн.

Вообще Казанский университет должен быть признан вторым после Петербурга центром по изучению восточных языков в России. Преподавание татарского языка началось в нем с 1804 г., кроме того, в университете обучали монгольскому, китайскому и армянскому языкам. В Казанской гимназии тоже были введены татарский (1778 г.) и монгольский языки.

Молодые начинающие ученые О. М. Ковалевский и А. В. Попов были посланы в Иркутск для изучения монгольского языка. После этого Ковалевский побывал в Пекине, а Попов в Урге, где они совершенствовались в монгольском (см. «St.-Petersburg Zeitung», 1883, № 130).

После своей поездки на Восток Ковалевский и Попов трудились в Казанском университете, опубликовали ряд работ и выдвинулись в качестве видных монголистов.

Несколько позднее Попов совершил еще поездку по калмыцким улусам, во время которой занимался сравнительным изучением монгольского и калмыцкого языков.

Дорн сообщает, что кафедра китайского языка в Казанском университете была учреждена в 1838 г., а армянского—в 1839 г. Университет был обеспечен нумизматическим кабинетом и хорошей библиотекой. Каталог восточных книг и рукописей библиотеки Казанского университета был напечатан в 1834 г.

В Тифлисе в 1804 г. было учреждено училище для детей грузин дворянского происхождения. Основным предметом преподавания в училище был грузинский язык (см. «Периодические сочинения», 1805, № 8, 83, 97). Начало преподавания грузинского и татарского языков в гимназии в Тифлисе следует относить к 1805 г.

Для бурятского населения в 1806 г. в одном из улусов Иркутской губернии была организована школа, где преподавание велось по-русски и по-монгольски (см. «Периодические сочинения», 1806, № 15, 262; 1806, № 14, 164).

На средства богача Е. Л. Лазарева в 1805 г. в Ново-Нахичевани была устроена армянская школа. Преподавали в ней только на армянском языке. В школу были выписаны два учителя из Константинополя.

К 1810 г. относится возникновение армянской школы в Астрахани. Положение о ней было утверждено позднее в 1838 г. (см. «Общий отчет за 1838 г.», стр. 48). После этого в Крыму было открыто татарское отделение школы для подготовки татарских учителей. Там обучали татарскому, турецкому и арабскому языкам. В этих школах обучались и христиане, получавшие подготовку для работы на государственной службе.

В Тобольскую гимназию с 1810 г. был приглашен специальный преподаватель татарского языка.

Б. А. Дорн приводит также данные о татарских школах, относящиеся к 1810 г. В татарских селениях Каргала и Сектово, расположенных в 18 верстах от Оренбурга, было 9 мечетей со школами, основанных уже в 1780 г. Обучение в них велось ахунами и муллами. Школы пользовались известностью. В них учились не только дети местных жителей и татар, живших в других областях России, но и приезжие из Хивы, Бухары и других районов Средней Азии. В школах обучали татарскому, арабскому и персидскому языкам, математике, физике, философии по Аристотелю, истории магометанства, разъясняли Коран. В трех школах было по 150, а в четвертой — 100 учеников.

Позднее при одной из мечетей была устроена особая киргизская (казахская) школа с одним учителем и десятью учениками. В ней обучали татарскому и арабскому языкам. Ученики, закончившие школу, становились муллами в киргизских (казахских) селениях.

В 1811 г. армянская духовная школа была открыта в Нахичевани. Другая армяно-русская школа возникла в 1816 г. в Григориополе Херсонской губернии. Она посещалась в 1817 г. 96 учениками. Такая же школа находилась в Карасубазаре. Для нее была составлена и напечатана в 1828 г. в Венеции русско-армянская грамматика. С 1818 г. в Бахчисарае в Карасубазаре были открыты татарские классы.

В Астраханской гимназии с 1811 г. началось обучение персидскому языку для подготовки переводчиков. Преподавателя для этого пригласили из Персии.

В Москве широкую известность, пишет Дорн, получил Лазаревский институт восточных языков, открытый в 1816 г. Учредителем считается Е. А. Лазарев. Институт предназначался для подготовки служащих государственных учреждений, военных, переводчиков, учителей для обучения армянского народа и для распространения знаний о Востоке. В нем изучали армянский, турецкий, персидский, арабский языки и историю народов Азии. Институт располагал хорошей типографией, оснащенной восточными шрифтами. В ней были напечатаны многие работы, главным образом по армянской литературе.

По сообщению Дорна, в 1818 г. при основании Петербургского университета были учреждены кафедры арабского и персидского языков. Их заняли ученики знаменитого Сильвестра де Сасси: Детанус — арабская кафедра и Ф. Б. Шармуа — персидская. И Детанус и Шармуа начали свои лекции 22 марта 1818 г. после речи, произнесенной попечителем учебного округа и президентом Академии наук С. С. Уваровым. По состоянию здоровья Шармуа в 1835 г. был вынужден покинуть Россию.

Для преподавания персидского языка в университет в 1821 г. был приглашен из Персии Мирза Джафар Топчибаев. После происшедших в университете перемен кафедру восточных языков занял ученый-ориенталист Ю. И. Сенковский (барон Брамбеус). В университете в 1840 г. преподавание восточных языков вели четверо: 1) Ю. И. Сенковский — арабский и турецкий, 2) Мирза Джафар Топчибаев — персидский

- 3) А. О. Мухлинский — история магометанских народов и литературы,
4) Дорн — санскрит.

Б. А. Дорн пишет также об Азиатском институте Министерства иностранных дел, основанном в 1823 г. Это был специальный институт для подготовки русских консулов, переводчиков и других служащих в представительствах России в Азии. Окончившие институт обладали хорошими знаниями восточных языков. Институт, собственно, был учебным отделением Азиатского департамента Министерства иностранных дел. Научное руководство институтом осуществлял Ф. П. Аделунг.

В институт принимали ежегодно шесть молодых людей, а с 1840 г. десять — из числа окончивших университет или другое высшее учебное заведение. Учащиеся обеспечивались квартирой и получали ежегодно 1000 рублей на расходы. Плата за учение не взималась. Все учащиеся рассматривались как будущие переводчики (драгомены) в восточных посольствах и консульствах. Их обучали всему необходимому для предстоящей деятельности.

В институте преподавались следующие предметы: арабский, персидский, турецкий языки, каллиграфия, история Азии, география, статистика, литература, французский и итальянский языки. Через четыре года занятий учащиеся направлялись в Константинополь, Тегеран и т. д., где они либо продолжали еще учиться, либо сразу приступали к исполнению поручаемых обязанностей.

Многие офицеры и служащие, интересующиеся восточными языками, посещали занятия в институте. В библиотеке института было собрано много восточных книг и рукописей (арабские, турецкие, персидские, эфиопские, армянские и т. д.).

Преподавание восточных языков и других предметов вели следующие лица: 1) Детанус — арабский, 2) П. И. Демезон — персидский и турецкий, 3) Мирза Джафар Топчибаев — персидский, каллиграфия и различные практические занятия, 4) Чербагоглу — турецкий, 5) Дорн — история и литература Азии (Крузенштерн, стр. 361—364).

В 1834 г. в институте была учреждена кафедра монгольского языка, в 1838 г. — китайского и в 1839 г. — армянского.

Б. А. Дорн приводит сведения и о Неплюевской военной школе. Она была основана в 1824 г. в Оренбурге, а открыта в 1825 г. 80 воспитанников обучались в ней арабскому, персидскому и татарскому языкам. Школа получила свое наименование в память первого попечителя Оренбургского учебного округа И. И. Неплюева. В нее принимали детей военных из полков Оренбургского нерегулярного корпуса («Азиатский вестник», 1825, стр. 385; «Сенатские известия», 1824, № 18). В школу принимали и магометан. Их обучали мусульманской религии, знакомили с Кораном.

По сообщению Дорна, башкиры, киргизы (казахи), мещеряки, татары и другие, отдававшие своих детей в Неплюевскую школу, получали специальные поощрительные грамоты. Воспитанники, хорошо осваивавшие восточные языки, назначались переводчиками и служащими в пограничные районы.

С 1831 г. некоторых учеников, окончивших Неплюевскую школу, направляли ежегодно в Казанский университет для изучения фармакологии.

Учреждение Восточного института в Одессе, о котором пишет Дорн, оказало большое влияние на развитие востоковедения на юге страны. Институт представлял собой отделение Ришельевского лицея. Постановление об учреждении Восточного института относится к 1828 г., занятия в нем начались в 1829 г. В институте преподавали персидский,

арабский язык и особенное внимание было обращено на турецкий. Привлекать преподавателей из Константинополя в Одессу было сравнительно легко («St.-Petersburg Zeitung», 1828, № 90). Профессором института в Одессе был назначен В. В. Григорьев, известный своими работами. Он побывал в Константинополе и привез оттуда каталоги нескольких библиотек. Из Таганрогской гимназии в институт в Одессе на казенный счет направляли пять воспитанников для изучения восточных языков (см. «Общий отчет за 1837 г.», стр. 79).

В Петербурге с 1827 по 1836 г., сообщает Дорн, шли успешные занятия в школе переводчиков с калмыцкого языка. За это время было подготовлено 18 юношей из русских, ставших переводчиками, и 4 из калмыков. 22 человека было определено на работу переводчиками («St.-Petersburg Zeitung», 1829, № 44).

В Таврической губернии составлялись специальные книги для чтения и учебники для татарских школ на русском языке («Общий отчет за 1838 г.», стр. 81). Здесь же была открыта ногайская школа.

В закавказских школах, основанных в 1827 г., обучали основным местным языкам: грузинскому, армянскому и татарскому — в Тифлисе; татарскому — в Ногайской Дистанции; грузинскому и армянскому — в Душете, Гори, Кутаиси, Телави, Сигнахи; армянскому и татарскому — в Елизаветполе, Шуше, Нухе, Шемахе, Баку, Дербенте, Эривани, Нахичевани, Ахалцике, Ленкорани. В Эривани имелись две специальные школы: русская, где преподавались армянский и татарский, и школа при мечети, в которой было 200 учеников («Журнал Министерства внутренних дел», 1839, 32, апрель, стр. 85).

В закавказских школах преподавались также мингрельский («Положение о закавказских училищах 1835 г.») и осетинский языки наравне с татарским. Эти языки изучались также и в семинарии в Тифлисе. Помимо перечисленных армянские школы находились в Кизляре, Григориополе, Кишиневе, Эчмиадзине и в других местах. С 1828 г. тифлисская газета печаталась и на грузинском языке.

К 1828 г. относится предложение татар об устройстве гимназии в Сибири. В 1838 г. было опубликовано распоряжение о религиозном воспитании юношей татар, обучающихся в военных училищах (Крузенштерн, стр. 260).

Новая школа была основана в Симферополе. В ней обучались на казенный счет 20 молодых татар, подготавливавшихся к деятельности учителей. В школе обучали русскому языку и другим предметам. В 1838 г. улучшилось материальное положение школы. В нее стали принимать вольнослушателей из татар («Общий отчет за 1838 г.», стр. 80).

Армянский язык стал преподаваться в Астрахани с 1838 г.

В 1835 г. на средства Министерства финансов в Кяхте была устроена школа для изучения китайского языка. За ней наблюдал Иакинф Бичурин. В школу принимали детей из купеческого сословия. Вполне понятно, что такая школа имела большое значение для развития торговли с Китаем («Сын отечества», 1839, т. 10).

В 1838 г. на китайской границе в Троицкосавске Иркутской губернии была основана бурят-монгольская школа (русско-монгольская школа). Школу посещали 20 учеников на казенный счет и 7 пенсионеров, обучавшихся переводу с русского на монгольский и с монгольского на русский (Крузенштерн, стр. 284; «Журнал Министерства внутренних дел», 1834, апрель, стр. 121).

В Казани в 1839 г. были изданы «Правила для учащихся в народных училищах, переведенные с русского на монголо-бурятский язык бурят Яковом Болдоновым» (Казань, 1839).

Особая школа была устроена в 1832 г. для детей монгольских служащих в Иркутске. Окончившие школу становились офицерами и старшими писарями в монгольских казачьих полках. Для постройки школы было отпущено 10 тыс. рублей («St.-Petersburg Zeitung», 1833, № 252). Вообще же в окружных школах Иркутской губернии было признано желательным преподавание монгольского языка.

Законоположения о калмыцком народе были опубликованы по-русски и по-калмыцки («Положение об управлении калмыцким народом», СПб., 1834).

В областях Войска Донского в слободе Орловке в 1840 г. была основана калмыцкая духовная школа («St.-Petersburg Zeitung», 1839, № 260).

Санскритом в России занимались Ф. П. Аделунг, Р. Х. Ленц, Б. А. Дорн, П. Я. Петров, Отто Бетлинг. В Петербурге трудами Я. И. Шмидта было положено начало изучению тибетского языка.

К 1840 г. имена востоковедов России Х. Д. Френа, Я. И. Шмидта, М. И. Броссе, Ю. И. Сенковского, Д. К. Казембека приобрели широкую известность не только в нашей стране, но и в Западной Европе.

В целом изложенное нами в отрывках приложение к докладу Дорна показывает, что в первой половине XIX в. в России, пусть с большими трудностями и несколько однобоко, но все же налаживалось востоковедное образование.

Л. З. Эйдли

К ДЕВЯНОСТОЛЕТИЮ ВЫХОДА В СВЕТ ПЕРВОГО ОЧЕРКА ИСТОРИИ КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

«Очерк истории китайской литературы» Василия Павловича Васильева вышел в свет в 1880 г. как часть «Всеобщей истории литературы, издаваемой В. Ф. Коршем и К. Л. Риккером». Время и личность автора определили направление этой первой в мировой синологической науке истории китайской литературы.

Книга Васильева устарела. Чтение ее в настоящее время имеет смысл для выяснения ее роли в истории развития синологии, и в частности науки о китайской литературе. Всестороннее обозрение такого ученого, как Васильев, возможно лишь при анализе всего комплекса его многочисленных и всегда оригинальных работ, изданных и оставшихся в рукописях. Ограничивая себя в основном «Очерком истории китайской литературы», мы сознательно ограничиваем и видимость: перед нами фигура, не освещенная щедрыми лучами солнца, а внезапно и на мгновение высеченная из тьмы сверкнувшей молнией.

И все-таки раздумья над «Очерком» вне прямой связи с остальными трудами Васильева, а применительно ко взглядам ученого на китайскую литературу тоже полезны. Сам же «Очерк», безусловно, повлиял на дальнейшую судьбу русского китаеведения. Прошло девяносто лет, оказавшихся «магическим кристаллом», сквозь который по-новому уже видится то, что некогда и само себе представлялось резко расходящимся с воззрениями Васильева, а на самом деле даже в тогдашнем протесте своем в определенной мере было порождено также и достижениями выдающегося русского китаиста («гениальным исследователем Дальнего Востока» и «гениальным ученым» называет его В. В. Бартольд) [1, 549, 559].

Васильев приступил к написанию очерка, будучи твердо убежден в высоких достоинствах предмета, которому посвящена работа. Стоит привести самое начало его «Нескольких вступительных соображений». Пусть не покажется наша цитата слишком пространной: ведь и «Очерк» стал уже библиографической редкостью, да и высказывания самого Васильева убедительнее рассуждений по поводу их.

Вот что говорит в присущей ему манере Васильев: «Китайская литература не может быть поставлена наряду с исчезнувшими литературами древнего мира. Она, правда, уступает по силе творческого духа, образцовому и научному изложению литературам греческой и римской; но, имея в виду только то, что от них сохранилось, позволено сказать, что она, конечно, превосходит их и по объему, и по разнообразию захваченных ею предметов. То же самое можно сказать и о сравнении ее с литературами мусульманского мира или всего сред-

невекового периода всех западных европейских народов». И дальше: «Нет сомнения, что в недалекой будущем китайская литература обогатится и оживится в волнах европейской культуры и перенесет в свои недра все изгибы европейской мысли, европейского знания и духа. Но и в таком случае новый период ее жизни не будет, как для других народов, не европейского пошиба разделен глубокой пропастью с ее прошлым, потому что новые взгляды, новые требования будут только продолжением тех сторон, которые или некогда были уже затронуты, но очутились в застое, или разрабатывались неумело по недостатку запроса. Дело в том, что, отвергая даже отдаленную древность китайской литературы, мы имеем перед собой все-таки материалы неутомимой работы многочисленных писателей в продолжение более двух тысяч лет, работы не прекращенной и в новейшее время, но уже обогащающей приливом новых знаний» [2, 1, 2].

Васильев не был историком литературы. И еще долгое время после Васильева в востоковедении не могло быть четко очерченной науки о литературе. Вправе ли мы вместить в одну лишь область истории литературы научные устремления Игнатия Юлиановича Крачковского или Василия Михайловича Алексеева? Может быть, они были историками культуры? Но и здесь мы далеки от категорического утверждения: слишком многое лежало перед ними и требовало ответа от них, чтобы можно было выделить единственно литературу или даже культуру, как ни велико ее значение в жизни и в науке Востока. А ведь этих ученых отделяет от Васильева более чем одно поколение: в 1900 г., когда Васильев умер, для них обоих еще не окончились годы студенчества.

Итак, Васильев меньше всего был историком литературы. Но очерк его о литературе, появившийся на свет в большой мере благодаря счастливому случаю, силою обстоятельств приобрел особое значение также и для самого Васильева. Он сказал об этом сам: «Наш беглый очерк китайской литературы представляется в наших собственных глазах и исповедью и отповедью тем более, что, может быть, это последний наш труд, появляющийся в печати. Мы желали бы сказать и думаем, что могли бы сказать гораздо более, если бы заранее ожидали запроса на наш труд... Теперь пришлось передавать торопливо, что нашлось у нас под руками, прибегать даже к ставшей уже изменять памяти. Но тех, которые никогда ничем не бывают довольны в своей критике, не задумывающейся ни перед какими трудами, мы просим обратиться к написанному здесь нами и пробежать мысленно то огромное море китайской литературы, которого границы мы хоть несколько начертали. Возможно ли единичной силе, закинутой в совершенно несочувственный мир, работать без средств и надежды, что труд не пропадет, не останется в рукописи, которая по смерти автора достанется макулатуре?» [2, 162, 163].

Сравним это с тем, что писал впоследствии В. М. Алексеев в дневниках путешествия по Китаю 1907 г. «Наши вполне самобытные таланты: Иакинф Бичурин, сумевший при скудости средств познания страны дать такое разнообразие ответов на основные вопросы, Палладий Кафаров, В. П. Васильев и его ученики Ивановский и Георгиевский — все эти люди всю жизнь мучились огромными проблемами, не ленились ни минуты, но наша русская действительность сумела загнать их, сломить. Все они были прежде всего настолько бедны, что не могли напечатать свои сочинения на свой счет, а университет находил только крохи средств... Васильев, потеряв всякую надежду напечатать свои многотомные и первоклассные материалы по исследованию буддизма, сложил их у себя в кабинете, а прислуга, без ведома его, употребила

эти длинные листки на растопку печей. Глупая и страшная трагедия!» [3, 287, 288]. В. М. Алексеев мог знать об этих страшных подробностях и от академика С. Ф. Ольденбурга, который молодым студентом видел и читал уже, к сожалению, «жалкие остатки дивного целого» [4, 536].

«Притом нас занимала в жизни не одна только литература...» [2, 163] — добавляет Васильев и ставит многоточие. В словах Васильева, заключающих книгу, словах, мы сказали бы, достаточно трагических, нет ни буквы неправды. И о торопливости, и о вынужденном обращении к памяти (но памяти эрудита), и об огромном море китайской литературы. Правда и в том, что Васильева занимала в жизни не одна только литература, даже меньше всего литература: очерк обнаруживает это обстоятельство, как видим, автором не скрываемое. Но почему же в таком случае должны мы всерьез говорить об «Очерке истории китайской литературы» В. П. Васильева, если и сам автор признает столь ощутительные недостатки в нем, обусловленные самим положением вещей? Потому что очерк Васильева есть первая веха на еще не законченном (а может быть, и до середины не доведенном) пути осознания истории развития китайской литературы и нам важно понять, там ли поставлена эта веха. Еще потому, что мы имеем дело с личностью далеко не ординарной, даже достаточно независимой в суждениях, исходящих из знаний, которые добыты собственным без уловок и хитростей трудом. А это немало не только для времени Васильева, когда синология наша делала если не начальные, то уж во всяком случае близкие к начальным самостоятельные шаги, немало это и для любого (в том числе и нашего) периода любой науки. Нас могут спросить, что означают знания, добытые без уловок и хитростей, и не все ли равно, как добыты они, если они содержатся в памяти. Во времена Васильева у китаиста не было даже тех справочников и толковых словарей, какими уже располагал учащийся в надвигающемся двадцатом веке. Синология представляла собою «натуральное хозяйство», в котором трудно было ожидать помощи со стороны. И Васильев знал китайские источники не понаслышке, не по обрывочным записям *сяньшэнов*, у которых он учился в Китае: «Почти ни одно из тех сочинений, о которых я говорю здесь, не миновало моих рук» [2, 4]. Иначе и не могло быть: русская синология только набирала силы, в распоряжении же западноевропейской синологии находилось не так уж много пособий, способных помочь освоению китайского литературного текста. Нужно упомянуть, конечно, прежде всего такую превосходную по своей научной порядочности и молоте книгу, как «Срединное царство» Уильямса, вышедшую в 1848 г. и содержащую также и некоторые сведения о литературе. Были уже «Китайские классики» Легга — труд, о котором Васильев отзывается весьма одобрительно, за год до «Очерка» Васильева только начал издаваться курс китайской литературы на латыни Цоттоли, скорее антология в пяти томах. Ну и, конечно, «Заметки по китайской литературе» Уайли — сокращенное изложение китайского каталога «по четырем разделам». Вот, в общем, и все, что призвано было не дать утонуть в «бездонной пучине», не позволить заблудиться в «дремучем лесу», как характеризовал китайскую литературу даже через пятьдесят лет после Васильева, и не чужестранец, а китаец, и притом китаец с отменным литературным образованием, — Чжэн Чжэнь-до в статье о новом пути исследования китайской литературы.

Следует напомнить, что в двадцатидвухлетнем возрасте, став магистром, Васильев уехал в Китай, где пробыл десять лет. Они оказались годами мучений, но и годами формирования ученого, накопления им, скажем прямо, дотоле невиданных знаний. «Мне привелось

лучшие годы моей жизни провести вдали от отечества, в таких страшных тисках, что если бы не предаваться мечтам о величии и назначении своего отечества, в котором ведь считаешь себя единицей, то не было бы возможности сохранить жизнь» [4, 533]. Под тисками Васильев разумеет деспотическое управление в Пекинской миссии в Китае. Что касается достигнутого Васильевым за эти десять лет и развитого впоследствии, то полностью соответствует действительности свидетельство младшего его современника, А. И. Иванова: «Он был первым европейским ученым, начитанным в китайской литературе и одновременно знавшим языки, как, например, маньчжурский, которые являлись вспомогательными при изучении китайского» [5, 562]. Из «вспомогательных» языков кроме маньчжурского Васильев знал монгольский, тибетский и санскрит.

Васильев не погиб в пучине, не заблудился в лесу. Его не прельстила и легкая слава первооткрывателя: «...китайский язык, как видите, представляет еще обширное неразработанное поприще, в нем можно оказать услугу даже, как говорится, и лапти плетя!» [2, 57]. Творчество Васильева чуждо «плетению лаптей». Васильеву принадлежат три выпуска китайской хрестоматии, им изданы также помимо «Очерка» «Материалы по истории китайской литературы». В 1868 г. он выпустил первое издание примечаний к первому выпуску своей китайской хрестоматии. Именно на них останавливаемся мы, поскольку касаются они и пяти «рассказов о чудесах» Пу Сун-лина. На полях экземпляра издания 1896 г. есть пометки В. М. Алексеева, может быть студенческие, и, кто знает, не явилась ли эта хрестоматия первым толчком к позднейшим алексеевским переводам Ляо Чжая?

А ведь Алексееву казалось, что он весь противоположен Васильеву. Но противоположность эта тоже была порождена тем же Васильевым, и в ней преемственно хранились элементы некоей тождественности. Больше ста пятидесяти лет прошло со дня рождения Васильева, семьдесят-сто лет тому назад написаны были хрестоматии его и «Очерк истории китайской литературы», о которых мы рассуждаем сегодня. Однако же нет между нами и им зияния пустоты: мы сами являем собою звенья непрерывной цепи поколений и через наших учителей живыми воспоминаниями (и запечатленными в книгах мыслями) связаны с теми, жизнь которых для нас далекое прошлое. Поэтому интерес к Васильеву и его работам никак не следует рассматривать как чисто академический: мы — преемники и Васильева, в том, что воспринято, и в том, что оспорено, т. е. во всем том, что теперь уже развито нами и ждет дальнейшего своего восприятия, оспорения и, значит, развития. И Васильев вполне осязаем нами как человек и как ученый, на долю которого выпало сказать одни из первых слов в нашей сложной науке. Так что же было у него для этого? С кем мог он перекликнуться среди необозримого китайского моря? Доставало ли у него духовного и материального богатства? Мы отчасти ответили уже на эти вопросы и словами самого Васильева («Возможно ли единичной силе, закинутой в совершенно несочувственный мир...») и справкой о наличествующих на Западе сочинениях. Духовному же достоянию Васильева посвящена, собственно говоря, вся наша статья.

Достоинства Васильева как ученого слагались и из традиций русской науки и из современного ему состояния синологии. Он вынужден был к самостоятельности, ибо мало кто мог помочь ему свежими наблюдениями. В январе 1860 г. «Северная пчела» поместила статью проф. Васильева «Воспоминания о Пекине». Хотя статью выгодно отличают сведения из китайской истории, она все же довольно поверх-

ността и является свидетельством того, как мало удавалось разглядеть иностранцу в Китае — лишь внешность лежала перед ним, и то заслоненная стенами городов и домов. Подобные же скудные сведения давались в записях еще менее осведомленных современников Васильева, например в вышедшей в 1887 г. в Москве книге И. Ф. Кудинова «В чужих краях» о путешествии по Монголии и Китаю. Первое подлинно научное путешествие европейцев по Китаю — экспедиция Шаванна — было осуществлено только в 1907 г. Как писал В. М. Алексеев: «Экспедиция его — это первая организованная по всем требованиям науки китаеведческая экспедиция. И надо думать, что она извлечет наконец путешествия в Китай из жалкой компетенции миссионеров и консулов, положит конец пассивному созерцанию загадок Китая, излитых в столь многочисленных „путешествиях“ (вернее, „блужданиях“) европейцев по Китаю» [3, 124]. Но все же время Васильева (не забудем о заслугах Иакинфа Бичурина) принесло с собою достаточно знаний для того, чтобы иметь приблизительное представление и о скрытом от глаз европейца. Васильев понимал общественное состояние современного ему Китая. Даже только в «Очерке» есть ряд наблюдений, делающих честь уму и сердцу автора.

Эти наблюдения относятся прежде всего к характеру изучаемого Васильевым китайского народа. Автор умеет отделить странную для европейского глаза форму от существа предмета. Он пишет: «Укоряют китайские церемонии в унижении человеческого достоинства (падение ниц, коленопреклонение и пр.), но это просто обычай, удержавшийся от общих всем в древности нравов, а не унижение, как мы не полагаем унижением для себя подписываться покорным слугой» [2, 74]. Интересно увидено и весьма остроумно определено. О том же самом в похожих выражениях (где-то в памяти застряло васильевское) у В. М. Алексеева: «Нас встречает посланный с визитной карточкой, на которой написано: „Ничтожный младший брат Ван Юнь-хань почтительно кланяется“. По китайским обычаям это — просто изысканная вежливость. Русским эквивалентом китайскому „ничтожному человеку“ является „покорнейший слуга“. Пресловутые „китайские церемонии“ и „китайская вежливость“ — результат фальшивого просвещения нашей русской публики. Филологу же ясно, что некоторые слова и выражения выветриваются одинаково у всех народов...» [3, 201, 202].

Но читаем Васильева дальше и тут уже восстаем: «Не забудьте, что нигде нет такой гуманности, как в Китае, нигде в самых демократических странах не возвышается так резко и безнаказанно голос правды, нигде низшие не пользуются такой свободой участвовать в разговорах и делах высшего» [2, 74]. Мы восстаем, но и задумываемся. Откуда такое? Мы и Лу Синя читали, если нужны свидетельства приниженности и бесправия от художественной литературы, авторы которой горько переживают участь соотечественников. Не будем спешить с безоговорочным отрицанием того, что сказано Васильевым, и попытаемся понять ученого, спутавшего роль народа в истории Китая с состоянием его, как говорится, на данный, сопутствующий написанию «Очерка» момент. Не надо бы соединять в одно отсутствие в Китае сословных преград, препятствующих выдвижению достойного человека из народа, с той жизненной практикой, которая все равно не допускала китайца вырваться из «низов» по причинам хотя бы материального порядка. Не надо бы действительные случаи победы идущей снизу правды, что бывало в отдаленности и легендарности китайской истории, возводить в несуществующее правило. Как заметил по другому поводу следующий у нас за Васильевым знаток и мыслитель: «Важно победить в себе обожание

своего предмета» [3, 209]. Тем более, что для Китая Васильев находит не только любезные слова.

Мы могли бы, конечно, представить примеры, околдовавшие Васильева, но стоит ли задерживаться на этом кажущемся нам решенным вопросе, в то время как перед нами случай помимо заблуждения разглядеть здесь и великое одно достоинство ученого, которое мы назвали бы непредвзятостью. Назвали бы непредвзятостью, не делая вид, что нам неизвестны обвинения ученого именно в предвзятости, проявившейся, скажем, в книге 1873 г. «Религии Востока: конфуцианство, буддизм и даосизм», о которой И. П. Минаев писал так: «Прочитав со вниманием новую книгу проф. Васильева, мы пришли к убеждению, что он приступал к своему делу с предвзятыми идеями, именно хотел доказать своим читателям превосходство Запада над Востоком и исконное цивилизаторское влияние первого на последний» [4, 538]. Минаев прав, но о предвзятости он говорит как о нарочитой заданности, как о предубеждениях, вылившихся в известный васильевский разрушительный скептицизм. Но заблуждения Васильева не должны заслонять от нашего глаза органически присущие ему черты рыцаря науки — бескомпромиссную искренность и, повторяем, непредвзятость в более широком смысле, важное для ученого беспристрастие, которым еще напутствовали молодого Васильева, когда он отправлялся из Петербурга в Пекин. Как сообщает Ольденбург: «В инструкции, данной при отправлении Васильеву, мы хотели бы особенно отметить совет хранить беспристрастие, необходимое для научной работы, и не делаться ни „китайским патриотом“, ни китаененавистником» [4, 533].

Под непредвзятостью ученого, как и судьи, мы понимаем стойкость по отношению к образовавшейся под влиянием ряда самых различных обстоятельств общественной атмосфере, которая целиком ли, в частностях ли, но отнюдь не всегда совпадает с открывающейся науке истиной. Понятно, что непредвзятость есть категория не только научная, но и моральная. Так, среди официального пренебрежительного отношения к «недвижному Китаю», среди обывательского равнодушия и мрачной экзотической легенды, выкристаллизовавшейся позднее, в 1899 г., в изданный через некоторое время и на русском языке «Сад пыток» Мирбо, в такой-то вот атмосфере позиция ученого требовала и мужества и большой убежденности в добываемой собственным трудом правоте. Добавим, что неумеренные слова Васильева могли быть восприняты как нарочитый укор неравенству в царской России. А ведь Васильев был один или почти один просто по роду редкой своей специальности, один, закинутый «в совершенно несочувственный мир». Не согласившись с непреерекаемостью и безусловным внеисторизмом процитированного нами утверждения Васильева, противопоставившего легенде мрачной легенду идиллическую, задумаемся над той стороной его утверждения, которую мы назвали непредвзятостью и без которой нет и не может быть ученого вообще, а поскольку речь идет о нашем предшественнике в синологии, подумаем над тем, сколь необходима она ученому-китаисту.

Непредвзятость Васильева заметна в «попутных» его замечаниях, которые свидетельствуют о действительном понимании ученым общественного состояния современного ему Китая. Васильев видит, что «в Китае аристократия не имеет значения», но он из этого не делает вывода о единстве китайского населения, а сетует на то, что, живя среди народа, интеллигенция оторвана от него. Он говорит об этом в связи с официально подчеркнутым пренебрежением в Китае к драме и роману. «Китайский ученый с трудом сознается даже, что он читал известные

драмы или романы, хотя и наверно читал, потому что нельзя же, живя среди народа (в Китае аристократия не имеет значения), не сочувствовать тому, что его интересует. Только классический педантизм развивает подобное выделение интеллигенции из народа, несочувствие к его радостям и горю... Между тем правительство поддерживает такое разединение: чиновник, появившийся в народном театре, подвергается преследованию закона даже более, чем в доме проституции» [2, 156].

Посильное (насколько это было возможно для европейца-немиссионера) знание Васильевым китайской народной жизни видно и в его суждении об одном из главных элементов китайского быта — театре. Огорчаясь тем, что «народная литература остается без поддержки, без улучшения», Васильев продолжает: «А народ между тем с жадностью посещает театры; почти каждая сколько-нибудь значительная деревня приглашает хотя раз в году труппу...» [2, 156]. Вспомним рассказ Лу Синя «Деревенское представление» — и не надо лучшего подтверждения слов Васильева и лучшей иллюстрации к ним.

Поскольку мы обязаны говорить и о том, что в «Очерке» не относится непосредственно к литературе, стоит отметить взгляд Васильева на термин *цзюньцзы*, который автор «Очерка» правильно трактует как «тот идеал, какой стремится образовать конфуцианство» [2, 75]. Прошло едва не целое столетие, а мы все еще нет-нет да встречаемся с вульгаризаторской практикой понимания *цзюньцзы* (совершенного, достигшего высоконравственного уровня человека) как личности, находящейся на сословной вершине в обществе.

Но вернемся к главной цели наших наблюдений — к тому, как распорядился Васильев предоставленной ему возможностью оценить китайскую литературу в истории ее развития. Будь даже Васильев китайстом, всецело сосредоточившим свои интересы на исследовании литературы (от чего он, как мы знаем, и сам отрекается), он и в этом случае не смог бы написать историю китайской литературы, вследствие неизученности последней. Он и изложил китайскую литературу и в «Очерке» и в «Материалах по истории китайской литературы», не слишком уходя от старой традиции, включавшей в литературу каждое писаное слово, благо писалось оно всегда тщательно и по определенным установлениям. Васильев, как правило, пользуется китайскими материалами и, несмотря на свое критическое к ним отношение, руководствуется ими. Это принципиальная позиция: «Сведения об этих поэтах и их стихах можно найти в изданиях европейских ученых, но мы уже сказали, что не намерены приводить здесь выписки и ссылаться на других» [2, 154]. Здесь и свидетельство того, что другими сделано слишком уж мало, и уверенность в том, что доверять этим другим тоже следует с осторожностью. Может быть. Но здесь, к сожалению, и искусственное обречение себя на одиночество не только в своей стране, но и во всем мире, здесь и сознательное отстранение от пусть и не-многого, но уже сделанного «другими».

Из ста шестидесяти трех страниц «Очерка» главы «Изящная словесность китайцев» и «Народная литература. Драма, повесть и роман» занимают всего тринадцать. Зато много внимания уделено не входящему по китайской традиции в «изящную словесность» «Шицзину» — «Книге песен». Скажем о главном — Васильев рассматривает «Шицзин» как народное песенное творчество, освобождая стихи от нагромождения затемняющих смысл примечаний. Васильев находит, что «Шицзин» интересен «с чисто общечеловеческой стороны» [2, 33]. «Имеется ли мы для такого отдаленного периода, хотя бы принять и век Конфуция, у какого-нибудь другого народа такое живое и ясное выраже-

ние обыденных чувств, всего того, что занимало народ, эту так называемую сермяжную братию, в ее обыденной жизни?» [2, 33]. Васильев резко возражает против подчинения традиционному китайскому комментарию и извлекает из него для себя лишь ту часть, которая способствует правильному пониманию народности «Шицзина»: «Благоговеющие перед китайской эрудицией, уверенные, что, кроме китайских толкований, ничего не остается обдумывать, конечно, с изумлением встретят нашу смелую попытку рассматривать по-своему „Шицзин“. Мы думаем, что здравый смысл нигде не мешает; но, кроме того, мы сошлемся в этом случае на самих китайских комментаторов» [2, 55].

Да не покажется излишней самонадеянностью со стороны Васильева название им своей попытки смелой. Сложность китайской культуры, трудность старого китайского текста породили не только традиционное китайское сомнение в возможности для иностранца овладеть этим текстом и проникнуть в эту культуру, но и парализовали волю не одного западного ученого, не сумевшего преодолеть чувства безусловного доверия к китайскому комментатору. Нужна очень твердая выучка, чтобы чувствовать уверенность в своем понимании зыбкого на первый взгляд текста и подавить сковывающий страх перед могущей оказаться непростительной ошибкой. В. М. Алексеев показал пример успешного единоборства с китайским комментатором в изданной в 1916 г. «Китайской поэме о поэте». Движение нашей науки, все большее число монографических исследований, посвященных авторам и эпохам, снимают и призваны окончательно снять преграду между ученым-китаистом и предметом его изучения. Но она еще не исчезла.

Анализируя стихи «Шицзина», Васильев полагает, что взгляд его «совершенно нов» [2, 33], и мы думаем, что так оно и есть: Васильев, действительно, «один из первых, если не первый европейский ученый относится с серьезной критикой к китайским источникам и текстам» [5, 563]. Во всех отмеченных нами заявлениях Васильева нет нескромности: в них ясное осознание очередной ступени, на которую он поднимается в науке, потому что он знает и о том, как преходящи любые достижения, в их числе и новая его «метода»: «Если в ней откроются какие недостатки или пропуски, то все же пусть остановятся на выставленных нами воззрениях, пусть разобьют их в пух и прах: тем тверже будет почва дальнейших исследователей, и это уж будет заслуга с нашей стороны» [2, 57]. Так выказывает он себя ученым, прежде всего заботящимся не о личном прославлении, а о судьбе своей науки.

Отдавая должное заслугам Васильева в установлении правильного взгляда на «Шицзин» как на вершину древнего поэтического творчества китайского народа, приведем в заключение наиболее характерные места, посвященные «Шицзину» в «Примечаниях на третий выпуск китайской хрестоматии» и в «Очерке». «Мы думаем, что не будет никакого кощунства, если в составителях Шицзина мы не будем видеть, подобно китайцам, святых людей, а простых смертных. Песни составлялись народом, и нам приятнее в них встретиться с людьми, а не с замаскированными ханжами; нам интереснее узнать, что и в китайцах было некогда простое, родное к нам, человеческое сердце — те же чувства, те же страдания и радости, что и у нас» [6, X]. Или: «Ведь мы имеем здесь песни, которые, сохраняя местный гений, гений китайского народа, в то же время свидетельствуют, что и китайцы некогда походили на прочих людей своими страстями и слабостями, что они были откровеннее, пока милые учителя не научили их из их же собственных песен сделаться ипокритами. Мы видим тут и песни любовные, песни девицы, желающей выйти замуж, песни любовника, очарованно-

го своей милой, назначение свидания, жалобы покинутой жены, еще более жалобы разлученных супругов, любовников, родственников» [2, 32]. Из всего высказанного Васильев делает и более широкий вывод: «Нельзя не обратить при этом внимания, что в таких жалобах отзываются общественные и политические обстоятельства» [2, 33].

К сожалению, эстетическая глухота Васильева помешала представить русской читающей публике последней четверти XIX столетия «Шицзин» в блеске всех его достоинств, весьма убедительно провозглашенных ученым, но, увы, не подкрепленных доказательствами высокой поэтичности памятника. Можно бы еще с улыбкой, как некое чудачество воспринять вкрапленные в текст неожиданные сопоставления с русскими песнями — «Раиса, бедная Раиса!» [2, 35] или «Не учить ли ты, Ванюша, как ко мне ходить?» [2, 40], — но в состоянии ли был читатель, воспитанный на отечественной народной поэзии и на лучших образцах поэзии своего века, поверить по меньшей мере в осмысленность такого «стихотворения» (даже взяв во внимание, что переводчику «некогда было в корректуре поправлять слог», как замечает Васильев во введении к «Примечаниям на третий выпуск китайской хрестоматии» [6, XI]):

Волк то наткнется на зоб,
То зацепит хвостом;
Князев внук большебрюхой
В красных туфлях самодоволен!
...Слава без ущерба [2, 40].

Если допустить, что мною выбран самый невразумительный пример, то, право же, не намного лучше другое стихотворение, в котором как будто угадывается спрятанная поэзия:

Есть девица, возбужденная весной,
Счастливцев заманивает —
...Тише, помедли,
Не тронь моего платья,
Не заставь собаку лаять! [2, 40]

Говоря, что русской читающей публике «Шицзин» не был представлен в блеске его несомненной поэзии, мы чуть отступаем от точности: в начале шестидесятых годов было напечатано одно стихотворение М. Михайлова «Из Шикинга»:

Мой хороший, мой пригожий
Носит смушковый кафтан;
Опоясан стройный стан
Барсовою кожей...

Оно приведено полностью (впервые в наше время) в принадлежащей автору настоящей статьи книге «О китайской литературе наших дней» [7, 48]. Но ко времени издания «Очерка» Васильева стихотворение это «Из Шикинга» кем могло быть сопоставлено с подстрочными, как мы бы сейчас их назвали, переводами Васильева из «Шицзина»?

Кроме «Шицзина» уже в главе «Изящная словесность китайцев», давая дотолу русскому читателю неизвестные сведения о китайской поэзии и указывая на роль поэзии в жизни китайского общества, Васильев останавливается лишь на одном стихотворении. Обстоятельства обращения Васильева к этому стихотворению для меня представляются некоторой загадкой. Прежде всего дело в том, что оно было опубликовано в переводе Фета без указания имени автора (и так всегда пере-

печатывалось в собраниях сочинений поэта) под названием «Тень» в шестой книжке «Отечественных записок» за 1856 год. Звучит фетовский перевод так:

Башня лежит,
Все уступы сочтешь.
Только ту башню
Ничем не сметешь.
Солнце ее
Не успеет угнать, —
Смотришь, луна
Положила опять.

Фет, в своих переводах обычно обозначавший имя автора, ограничился припиской «с китайского», и это заставляет предположить, что русский поэт не знал, какого китайца он переводит. Впервые с именем китайского автора перевод Фета опубликован в изданном в 1968 г. в большой серии «Библиотеки поэта» двухтомнике «Мастера русского стихотворного перевода» [8, 485] после моего отождествления перевода с четверостишием сунского поэта Су Ши «Тень от цветов» [13, 116].

И вот здесь-то и начинаются странности. Васильев, обнаруживая поверхностность в рассуждениях о китайской поэзии, по-видимому мало его привлекавшей, пишет, что, «удовлетворяя правильности стихосложения, пьеса, разумеется, должна также отличаться и мыслию, представлять какой-нибудь новый, нетривиальный взгляд на избранный предмет» [2, 152]. Все это верно, если не считать присутствующего здесь оттенка нарочитости поэзии, невольного представления о ней не как о результате творческих усилий, а как чуть ли не об упражнении, что усиливается в следующей фразе: «Задают нарочно написать на какой-нибудь самый незначительный предмет, для того, чтоб показать умение представить и его в новом свете. Поэт пишет на слово *тень*...» [2, 152]. Тут Васильев приводит свой перевод стихотворения, написанного на слово «тень»:

Этажами друг на друге [расстилает предо мною свою тень]
эта высокая башня,
Но дотрагиваешься и не можешь смести ее,
И только что солнце [с заходом] уберет ее —
Смотришь: светлая луна уже снова послала! [2, 152]

Это ничего не значит, что стихотворение Фета опубликовано в 1856 г., а Васильев обращается к тому же стихотворению в 1880 г.: Васильев мог быть знаком с Фетом, как он знал Стасова (упомяная в «Очерке» об издании в Китае альбомов с рисунками древней резьбы, Васильев сообщает, что он обратил «на это издание внимание г. Стасова, который в последнее время исключительно занимается сличением рисунков Востока и Запада» [2, 145]), как он дружил с Мельниковым-Печерским (по свидетельству его сына, А. В. Васильева, профессора математики в Казанском университете [9]), перу которого принадлежит статья о Васильеве «Первый магистр монгольской словесности» [10]. И Фет мог задолго до выхода «Очерка» знать от Васильева об этом стихотворении. Странность здесь в другом. Почему у Васильева нет имени автора? Почему Васильев говорит о тени, а не о тени от цветов (*хуа ин*)? Может ли быть так, что он не видел китайского текста? Это он-то («почти ни одно из тех сочинений, о которых я говорю здесь, не миновало моих рук») [2, 4]? Но ведь *почти* ни одно! Почему ни у Васильева, ни у Фета не сказано, что башня яшмовая (так у Су Ши!)? Почему и у Васильева и у Фета опущена такая деталь, как приказание

мальчику-слуге смести башню? И почему и у Васильева и у Фета в заключении слово «смотришь», которого нет у Су Ши? Мне могут сказать, что не так уж все это важно. И я отвечаю, что в минувшем важно все: любая деталь служит к приподнятию завесы, отделяющей от нас прошлое, и кто знает, какое открытие личных и общественных отношений, причин вдохновения и отчаяния, подъема и упадка может повлечь за собою обнаруженный нами и кажущийся поначалу незначительным мелкий факт. Так и здесь. В поисках европейских истоков я обнаружил четверостишие «Тень от цветов» у Цоттоли [11, 566, 567] (но это 1882 год!), и, может быть, оно ускользнуло от меня в каком-нибудь из немногих западных изданий сороковых-пятидесятых годов прошлого века.

Драмой, повестью и романом завершается «наш беглый очерк». Трудно, в общем, спорить с тем немногим, что высказано Васильевым по этому поводу. Нет еще проникновения в глубины (да есть ли оно уже в достаточной степени, как сказал бы Васильев, «хотя бы для нашего времени?»), но существенно знание трактуемого предмета и поразительны некоторые мысли, высказанные в науке впервые. Так, например, Васильев задолго до Чжэн Чжэнь-до, да и до Джайлса, узрел индийское влияние в китайской драме. Больше того, он ощущает веяние западного ветра и в повести, а может быть, и в романе, который «тоже отдаленно родствен или одолжен своим происхождением внешнему импульсу» [2, 157].

Все, о чем говорится, прочитано. Как привлекательна эта черта: добропорядочности, даже если переходит она иной раз в чрезмерный педантизм, сужающий кругозор исследователя. Но и педантизм не мешает Васильеву, как подобает подлинному ученому, из суммы наблюденных частных выводить важные обобщения, касающиеся национальных черт народа. Что-то приходит в жизнь и в литературу извне, но подавляет оно, поглощает исконно национальное или, наоборот, растворяется в последнем — такой вопрос немедленно встает перед Васильевым, и он готов к нему не только чтением драмы или романа, но всей массой воспринятых им знаний о Китае. Только доверие (подтвержденное известными уже нам более поздними изысканиями синологов) вызывает утверждение Васильева, что «как в драме, так и романе китайцы не были простыми подражателями; в нации по сию пору не погиб дух самостоятельности; на все чуждое и пришлое она смотрит своими глазами, все перерабатывает по-своему — вот почему сюжет драм и романа является в китайском духе, выражает китайское мирозерцание» [2, 157, 158]. Прозрения Васильева позволяют нам не придавать серьезного значения не раз встречающимся и стоящим ниже уровня его науки странным идеям, вроде той, что название письмен *кэдоу* есть транскрипция слова «копты» и означает «Египет» [2, 15], пусть даже «самый вопрос о подразумевании под кэ-доу Египта выставляется здесь только с целью обратить на это внимание» [2, 15]. Как говорит Бартольд, у Васильева «необходимо отличать широту и глубину основных идей от парадоксов, противоречий и даже отсталых взглядов в частности» [1, 559].

Васильев дает общий взгляд на драму и на прозаические произведения, имея в виду только их содержание: о большем он говорить пока не в состоянии. Наряду с наивными, но и верными описаниями (о Ляо Чжае: «Но главное: этот оборотень — кто бы вы думали? — наша куроворовка лиса; так из эзоповых басен она повысилась в ранге на востоке, и по заслугам! Она ведь живет в легендах мира так давно» [2, 159]), наряду с этими замечаниями, в более тонкой форме повторенны-

ми и развитыми В. М. Алексеевым в его предисловии к «Лисьим чарам», у Васильева есть суждения весьма проницательные («Но если вы хотите познакомиться с китайской жизнью, до сих пор для нас замкнутою в высших сферах, то только и можете получить сведения из романа...» [2, 160]). Васильев пересказывает впервые для русского читателя «Историю западного флигеля», «Сон в красном тереме», «Цзинь, Пин, Мэй», эмоционально отмечая художественную сторону «Сна в красном тереме» («...такие сцены нелегко изглаживаются из памяти» [2, 160]). Привыкнув к здравому смыслу Васильева, мы немного разочаровываемся отсутствием в «Очерке» понимания бытового романа «Цзинь, Пин, Мэй», но будем все же утешены, обратившись к «Материалам по истории китайской литературы», где в «Каталоге книг» обнаружим описание «Цзинь, Пин, Мэй» как «романа, отличающегося изображением разврата нравов, но вместе с тем очень хорошо знакомящего с китайской жизнью» [12, 371].

Последнее замечание характерно для отношения Васильева к китайскому роману как в большой степени этнографическому подспорью. У него не могло быть, так сказать, литературоведческой оценки китайского романа в поневолу единичных наблюдениях, которые были ему доступны, и роман, как и следовало ожидать, привлек его к себе раскрытием внутренних тайн жизни китайского общества. Вот почему: «Вообще нам кажется, что действительную жизнь и настоящий взгляд на нее китайцев можно узнать не по собственным наблюдениям — до этого еще далеко, потому что европейцу невозможно заглянуть во все ее уголки, — не по конфуцианским книгам, которые развешивают жизнь человека по часам и дням. Только роман, даже не драма, потому что она не может дать тех же подробностей, знакомит нас вполне с этой жизнью. Из этой презируемой китайцами литературы мы можем смело внести выписки в свои учебники (разумеется, будущие) о Китае» [2, 162].

«Разумеется, будущие». Может ли не тронуть нас, волею судеб оказавшихся в том самом будущем, постоянная эта забота Васильева о будущем, с которой ведь и начинается «Очерк истории китайской литературы». «Со временем, наверное, появится и не один такой труд; исследование китайской литературы займет впоследствии не одного ученого; их потребуются сотни. Придет время, когда и русские синологи примут участие в этой деятельности, невозможное теперь, при отсутствии в обширной России китайского шрифта, которым обзавелись уже все другие европейские государства» [2, 2]. Что можем мы ответить, кроме того, что замечательный наш предшественник придавал слишком большое значение наличию так недостающего нам и поныне китайского шрифта, если мы хотим все-таки настоять на небезразличном участии нашем в исследовании китайской литературы. И вряд ли найдется недоброжелатель, который решится поставить под сомнение удачи советских синологов-литературоведов. Мы же знаем, что китайский шрифт нам все еще очень нужен. Мы думаем о существующей в синологии большой еще нужде в переводе и исследовании творчества многих писателей разных времен, без чего нам не осмыслить весь ход движения китайской литературы. А для таких работ нам нужен, согласимся с Васильевым, китайский шрифт. За девяносто лет, что прошли со времени сетования Васильева, мы продвинулись далеко вперед, но до сих пор, к сожалению, сохранили право на надежду о китайском шрифте для ближайших наших потомков. Кто знает, может быть, достаточное количество китайского шрифта даже сыграет свою стимулирующую роль в усилении вкуса к необходимым требовательной нашей науке конкретным исследованиям!

Васильев писал свой «Очерк» в отчаянии и надежде. В отчаянии по поводу одиночества, на которое он был обречен всем строем Российской империи, в надежде на то, что его наука дождется лучших времен. «Наверно, изучение востока не прекратится же у нас совершенно, хотя им теперь и пренебрегают; будут продолжатели моих трудов, им легче будет, принимая в соображение мои указания, развивать, обрабатывать и поверять сказанное мной» [2, 25]. Васильев и представить себе не мог тот размах, какой приняло у нас изучение Востока. Но и то, что казалось более легким Васильеву, стало намного труднее. Во времена Васильева легче было совершать открытия, о чем он и сам знал прекраснейшим образом (помните: «обширное неразработанное поприще, в нем можно оказать услугу даже, как говорится, и лапти плетя!»), и намного труднее было подготовить себя к совершению этих открытий. Трудолюбие и талант Васильева помогли ему в приобретении огромных его знаний. Широчайшие и глубокие познания следующего за Васильевым нашего Китаиста В. М. Алексеева слагались уже иным путем — при сравнительной статичности китайской науки конца девятнадцатого — самого начала двадцатого столетия синология вне Китая (а в ней и труды Васильева) не стояла на месте, и вклад ее в образование ученого был существенным. Поколения же, отсчитываемые от Алексеева, пользуются также немалыми достижениями собственно китайской науки, весьма облегчающей усвоение богатств, накопленных китайской культурой.

Да, нам уже легче осмотреться в «золотой кладовой», как и предсказывал Васильев, у нас даже появляются иллюзии полноты представления об изучаемом нами предмете — в одном лишь Китае за шестьдесят лет от изданной в 1904 г. «Истории китайской литературы» Линь Чуань-цзя до самой последней по времени работы Ю Го-эня, Ван Ци и других вышли в свет десятки книг по истории китайской литературы. Но лучше не обольщаться: мы (я имею в виду мировую синологию) все еще бедны сочинениями, посвященными авторам и периодам. И если в наше время труднее совершать открытия, то не потому, что они уже произведены, а главным образом вследствие того, что требуется другой род открытий, не просто удивляющих, не первых (хотя не везде мы можем похвалиться даже укомплектованностью этих первых), а вторых и третьих, все более и более трудных и все более и более необходимых для прояснения периодов истории китайской литературы. Это к вопросу о легкости и трудности, а также к вопросу о трезвом, реалистическом взгляде на нашу науку.

А наша наука имеет свою особенность, даже при сравнении с подобными ей. Особенности, о которой мы говорили выше и которая заключается в сложности накопления знаний, в едва ли не невозможности охвата великой и количественно китайской культуры. Не примите всерьез, но восставший из гроба несравненный Ньютон вызвал бы лишь почтительно-сочувственную симпатию физиков, воскресший же Васильев заставил бы нас и сейчас склонить голову перед его знаниями и не раз обратиться к нему, как говорят китайцы, «за поучением».

Не занимаясь специально историей китайской литературы, Васильев согласился подготовить «Очерк» тоже благодаря своим выдающимся познаниям в духовной жизни Китая, а значит, пониманию роли литературы в китайском обществе. Он и пишет: «Китайцы почитают изящную литературу, может быть, гораздо более, чем мы; в ней они видят верх человеческого усовершенствования, выражение не только интеллектуального объема человека, но и как бы всей его моральной

стороны» [2, 150]. Васильев признавался, что может «говорить об этом предмете только поверхностно» [2, 150], но его «поверхностность» была функцией от его времени, результатом вынужденной необходимости одним из первых говорить обо всем. «Поверхностность» этого рода только напоминает о запрете нам быть поверхностными. Как прямо (позволим себе еще одну, последнюю цитату) сказано об этом самим Васильевым: «Для изучения изящной литературы китайцев так, как у нас понимают это изучение, надо исключительно посвятить ей всю свою жизнь, чтобы представить полный и отчетливый обзор ее в общем виде, и все-таки предоставить еще будущим поколениям дальнейшую разработку. Конечно, легко сказать: не стоит, но тяжело добиться, чтоб иметь действительно право сказать — не стоит: нужно наперед все прочитать, во все вникнуть, и тогда наш приговор будет честен» [2, 150].

Честный приговор вынесен даже этой столь несовершенной книгой Васильева. Стоит, очень даже стоит, ибо без изучения китайской литературы не может быть исследования истории китайского общества. Взгляд же на тех, кто был до нас и кто пролагал нам путь, предоставляет нам возможность не только воздать должное им, но и понять все то, что произошло во времени, и оценить по достоинству происшедшее, а в данном случае увидеть, как наука о китайской литературе в нашей стране от отдельных, даже замечательных, даже самых мудрых и глубоких наблюдений пришла — нет, не пришла, а приходит (сколько еще предстоит нам сделать!) — к по возможности стройной системе взглядов на взаимоотношения общественных и литературных процессов, приходит к ясному пониманию и того, что еще не совершено и надлежит совершить. Но и эта, как будто уже и другая тема тоже связана с трудами Васильева, а затем и следующих за ним учителей наших и соратников.

ЛИТЕРАТУРА

1. В. В. Бартольд, Исторические и географические труды Василия Павловича Васильева, — «Известия Российской Академии Наук. 1918».
2. В. П. Васильев, Очерк истории китайской литературы, СПб., 1880.
3. В. М. Алексеев, В старом Китае, М., 1958.
4. С. Ф. Ольденбург, Памяти Василия Павловича Васильева и о его трудах по буддизму, — «Известия Российской Академии Наук. 1918».
5. А. И. Иванов, Василий Павлович Васильев, как синолог, — «Известия Российской Академии Наук. 1918».
6. Примечания на третий выпуск китайской хрестоматии профессора Васильева, СПб., 1882.
7. Л. Эйдлин, О китайской литературе наших дней, М., 1955.
8. Мастера русского стихотворного перевода, М., 1968.
9. С. А. Венгеров, Критико-биографический словарь, СПб., 1895.
10. П. И. Мельников (Андрей Печерский), Первый магистр монгольской словесности, — «Отечественные записки», 1840, № 3.
11. Zottoli, Cursus Litteraturae Sinicae, vol. 5, Chang-hai, 1882.
12. Материалы по истории китайской литературы. Лекции, читанные заслуженным профессором С.-Петербургского Императорского Университета В. П. Васильевым, СПб., [б. г.].
13. Л. З. Эйдлин, Заметки о переводе иероглифической поэзии на русский язык, — НАА, 1967, № 1.

А. В. Бурдуков

ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ

(публикация и вступление Т. А. Бурдуковой)

Живя долгие годы среди племен Северо-Западной Монголии, Алексей Васильевич Бурдуков [см. 4, 187—217], подружился с монголами, узнал их быт и нравы, проникся глубоким уважением к их самобытной духовной и материальной культуре. Бывая наездами на родине, он видел, что в России еще слабо представляют себе, что такое Монголия и каковы монголы. Ученые Петербурга и Томска занимались изучением Монголии, но результаты их труда оставались достоянием узкого круга специалистов.

Дружественные отношения между монголами и русскими лишь начинали складываться, и Бурдуков полагал, что одним из эффективных способов упрочения дружбы является широкое распространение сведений о Монголии в русской печати. Это обстоятельство и привело его к мысли писать заметки и рассказы на темы из жизни монгольских племен и печатать их в массовых изданиях.

В 1910 г. Бурдуков был уже по письмам знаком с проф. В. Л. Котвичем, продолжал собирать под его руководством различные материалы и коллекции, необходимые ученым-монголоведам, и посылал их в Петербург. Написал он Котвичу и о своем замысле, который был одобрен. Котвич обещал по мере возможности просматривать и публиковать эти материалы. Поддержка проф. В. Л. Котвича обнадеживала, и в 1910—1911 гг. Бурдуков написал большую часть своих заметок и рассказов по этнографии монголов и отправил их в Петербург.

Не располагая ни временем, ни связями с популярными изданиями, проф. Котвич при всем желании не мог опубликовать тогда своих присланных материалов. Уезжая в 1924 г. из Ленинграда, он передал в архив Азиатского музея сохраненные им письма и материалы А. В. Бурдукова.

Будучи уже во Львове, В. Л. Котвич в 1927 г. писал Бурдукову: «Очень жалею, что мне не удалось захватить с собою Ваших писем. В них было так много данных, теперь я, пожалуй, сумел бы их обработать» [1].

Материалы А. В. Бурдукова, относящиеся к дореволюционному прошлому Монголии, сохранили интерес и в наши дни.

В заметке «Из жизни племен Северо-Западной Монголии» автор рассказывает о празднике и молебствии по случаю чествования обо. В прошлом среди монгольских племен, как и у алтайцев и тувинцев, бытовало поверье о духах, населяющих окружающую природу. У каждой горы, долины и даже целой местности был свой дух или хозяин,

от которого зависело пользование дарами природы, будь то удачливая охота или обильный урожай трав на пастбищах для скота и т. п. Люди обязаны были с почтением относиться к духам, возводить в их честь обо, т. е. насыпи в виде кучи камней и веток, в особенности на горных перевалах и перекрестках дорог, и совершать им жертвоприношения [6, 123—130].

В этом рассказе А. В. Бурдуков дает также характеристику взаимоотношений двух племен — халхасцев и дербетцев. В период маньчжурского господства халхасцы составляли основное население Северной Монголии или Халхи, а дербетцы, как и прочие ойратские племена, называемые еще западными монголами, жили в северо-западной части страны и были выделены в особый Кобдоский округ.

Как видно из рассказа, в начале XX в. между халхасцами и западными монголами (ойратами) все еще сохранялось взаимное соперничество, выразившееся в словесных перепалках, стремлении превзойти в чем-либо друг друга и пр. Этот антагонизм являлся далеким отголоском длительных раздоров между халхасскими и ойратскими феодалами еще в незапамятные времена [5, 11]. Мы публикуем здесь рассказы А. В. Бурдукова в том виде, в каком они были написаны в те далекие уже теперь годы.

1

ИЗ ЖИЗНИ ПЛЕМЕН СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ [2, ЛЛ. 23—33]. (О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ХАЛХАСЦЕВ И ДЕРБЕТЦЕВ).

Происходит это на устье р. Дзабхан, где она впадает в оз. Айрик-нур. Как раз на этом месте и находится обо, замечательный тем, что служит сразу двум целям. Он не только предмет почитания, возле которого раз в год совершаются молебствие и жертвоприношение в честь местных духов, покровителей кочевников-монголов, пасущих свой стада в окрестных долинах, но служит также и пограничным знаком, разделяющим земли двух хошунов — уделов, населенных разными племенами.

Молебствия в честь обо столь же привычны и необходимы местному населению, как молебны русским крестьянам у часовен или крестов где-нибудь в поле.

Принадлежит этот обо халхасцам хошуна сартульцев Засактухановского аймана и стоит на самой меже. На запад от него простираются обширные кочевья дербетского Вана. Местоположение обо вполне удовлетворяет и дербетцев, приезжающих помолиться во время его чествования сюда же. Они везут с собой положенное в торжественных случаях дэжи — самое лучшее угощение, приносимое в жертву божествам. Состоит оно обычно из крупных кусков сваренного барана, различных сортов сыра, пресных лепешек из муки и внушительного запаса вина-архи и кумыса.

В силу указанных причин празднество бывает довольно многолюдным и веселым. Оно состоит из обряда поклонения обо и традиционных национальных развлечений, сопровождающихся угощением.

Обряд чествования обо, как и подобает, начинается с молебствия, и ламы читают буддийские молитвы. Затем совершается само поклонение обо, и каждый молящийся бросает на него камешек и прицепляет к пруту хадак — шелковый шарф — знак уважения. Жертвенная снедь и сосуды с напитками складываются у подножия обо.

Прежде чем приступать к освящению жертвоприношений, из числа присутствующих специально назначаются люди, которые каждому

молящемуся дают в руку по кусочку сыра. Как только эта процедура заканчивается, ламы, главные вершители обряда, встают со своих мест и идут вокруг обо, за ними следом направляются и все молящиеся. Обходят обо трижды и, призывая духов, громко восклицают: «Хурай, хурай, хурай!»¹. На этом освящение мяса и молочных продуктов заканчивается, и молящиеся съедают свой кусочек сыра.

Тут сразу же появляются дети верхом на рысаках. Они трижды объезжают обо, восклицая: «Хурай, хурай, хурай!» — и устремляются в долину к мете, откуда начинаются скачки. С детьми едет кто-либо из взрослых руководить ими. На этом обрядовая часть завершается.

Проводив наездников, молящиеся забирают груды освященных припасов и идут к шатрам и палаткам, заблаговременно раскинутым недалеко от обо. Начинается мирской праздник.

Пока участники торжества рассаживаются двумя группами — с одной стороны ламы, а с другой — миряне, образуя как бы два разных лагеря, и оставляют посредине свободную площадку, где скоро будут состязаться в стрельбе из лука и бороться, появляется мчащийся впереди всех скакун.

Толпа оживленно зашумела. Пришедшему первым коню привязывают к гриве *хадак* — такова традиция, — а затем громогласно возвещают имя хозяина коня, к великой его радости и гордости. Прекрасный скакун всегда являлся предметом восхищения монголов.

Самым счастливым чувствует себя дербетец из хошуна Вана. Ведь это его конь пришел первым на скачках. На радостях он хватил лишку, и теперь его обуяла гордость, и нестерпимо захотелось всем и каждому рассказать, как хорош его скакун. И вот пробрался он в ламский шатер и давай хвастаться. Однако вскоре же его кичливые речи вывели из себя халхасцев, и без того оскорбленных тем, что победителем на скачках оказался дербетец-иноплеменник, нанеся тем самым урон их самолюбию. Желая расквитаться за это, ламы надумали уязвить религиозное чувство дербетца и завели между собой такой разговор: «Несчастные люди эти дербетцы! — говорили они притворно сочувственным тоном. — Среди них так и не родился ни один святой-геген. Должно быть, они совсем недостойны божьей милости!».

Хотя к нему и не обращались прямо, дербетец отлично понял, что ламы задируют именно его. «Почтенные ламы, — сказал он тогда. — Зря вы так горько печалитесь о дербетцах и все путаете. У нас, дербетцев, говорится, что святые рождаются там, где много нечистой силы, а скакуны водятся в благодетельной стране (*Бугтай газарт бурхан заяадаг*. *Буянтай газарт хурдан морь заяадаг*)».

Делать было нечего, и ламы придрались, как им казалось, к совершенно неоспоримому обстоятельству. Один из них стал рассказывать с прежним сочувствием о том, как он ездил к дербетцам.

«Я просто диву дался, — говорил он, — когда увидел, как много у них косматых старых дев! У нас, халхасцев, такого вовсе нет. Должно быть, женщины у дербетцев все уродины!»

Услышав столь грубую насмешку, дербетец маху не дал. Приподнимаясь на коленях² и посматривая с победоносным видом по сторонам, он громко, чтобы слышали все, сказал: «Вот почтенный лама говорит, что был у нас и, увидя множество старых дев, крайне удивился и никак не мог уразуметь причину столь печального положения, хотя все очень

¹ Как отмечает монгольский ученый Ц. Дамдинсурэн, древнее монгольское слово «хурай» выражало призывный клич. В XIII в. оно попало в Европу и вернулось к монголам в XX в. в виде слова «ура» [3, 45].

² Все сидели на земле, подогнув ноги.

просто и ясно. Мы, дербетцы, исповедуем ламаизм — *шарын шашин*, и добрая половина наших мужчин монашествует. Следуя заветам своего великого учителя, наши монахи всю свою жизнь остаются безбрачными. Вот и получается, что их суженые остаются старыми девами. У вас, халхасцев, такого и быть не может, потому что вы все женаты, начиная с послушника и кончая верховным ламой. Вот и весь секрет, почему у вас нет старых дев».

Разговор принимал излишне резкий тон, и дербетцы поспешили увести из ламского шатра своего захмелевшего сородича, посадили его на коня и отправили с попутным домой.

Солнце близилось к закату. Борьба закончилась, иссякло и вино. Все разъезжались по домам. Подвыпившие наездники едва держались в седлах, а молодежь громко распевала свои протяжные и бесконечные, как сама степь, песни.

Вот случай, ворвавшийся в однообразную пастушескую жизнь дербетца.

* * *

Поводом к написанию очерка «Рассказы монголов о тарбагане-сурке» послужила эпидемия легочной чумы, вспыхнувшая в Маньчжурии в 1910 г.

Желая помочь русским эпидемиологам, изучавшим причастность тарбагана к чумным заболеваниям, А. В. Бурдуков опросил большое число людей в районе р. Хангельчик, а также и попутчиков, встречавшихся ему на дороге в г. Улясутай, куда он ездил по торговым делам. Записи свои он отослал проф. В. Л. Котвичу в конце февраля 1911 г.

2

РАССКАЗЫ МОНГОЛОВ О ТАРБАГАНЕ — СУРКЕ [2, ЛЛ. 140—143].

С появлением чумы в Маньчжурии этот маленький зверек стал популярен, потому что главным виновником появления и распространения чумы считают именно его. Маньчжурскую чуму даже называют тарбаганьей чумой.

Тарбаган водится в большом количестве не только в Маньчжурии, но и на всей территории Монголии, и шкурки его являются одним из важных предметов русской торговли в Монголии, а сами монголы употребляют его в пищу.

Тарбаган ютится по склонам — *бэл* — в норах, вдали от воды. Он питается травой и кореньями и воды не употребляет, довольствуясь, видимо, росой. Зиму спит, зарываясь в нору.

Желая узнать, не бытуют ли среди монголов рассказы о тарбаганах как распространителях болезни, я стал расспрашивать об этом монголов и получил ответы, которыми и спешу поделиться со всеми лицами, интересующимися этим вопросом.

На р. Хангельчик сказали, что существует страшная тарбаганья болезнь — *тарваганы овчин*, очень заразная. Она переходит от тарбагана к человеку и считается неизлечимой. Об этом известно всем без исключения лицам.

Дербетец Буни рассказал, как не очень давно поссорились два его земляка-однохонца, оба дербетцы. Один из них в гневе воскликнул: «Чтоб на тебя тарбаганья болезнь напала!» Второй обиделся, поехал к хошунному князю и пожаловался на обидчика. Виновного выпороли и оштрафовали одним конем.

По местным понятиям это пожелание смерти от заразной тарба-

ганьей болезни, высказанное в адрес определенного лица, вместе с тем распространялось на весь хошун во главе с князем. Поэтому дербетец, произнесший это проклятье, и был так строго наказан.

Никто из опрошенных не помнил, чтобы такой болезнью болели люди, но все слышали от стариков, что когда-то давно болезнь эта была. Когда именно это случилось, никто не знал. Сами же тарбаганы болели будто бы не так давно, лет тридцать тому назад или, быть может, немного больше, точно сказать не могли. Болезнь на людей не перешла, потому что охота на тарбаганов была запрещена. Если кто тайно и охотился, то осторожно — били только здоровых.

Больных тарбаганов, по словам рассказчиков, узнавали легко. Они пищали сипло, не так пронзительно, как здоровые. Сиплых и не били.

Все утверждали, что тарбаганы едят человеческое мясо, уточняя при этом, что другого какого-либо мяса они не едят. Кое-кто говорил, что видел следы тарбагана, прибежавшего к телу покойника. Тарбаган — вечный враг человека, поэтому и ест его мясо. Если тарбаган коснется мертвеца, то навлечет беду и на его здравствующих потомков, суля им бедность и нищету. Поэтому при виде тарбагана возле тела покойного надо поскорее ехать к ламам и просить их отслужить дорогостоящий молебен, чтобы предотвратить несчастье.

Рассказали и легенду о том, из-за чего тарбаган стал врагом человека.

В давние, мол, времена один китайский хан ходил со своим войском войной на соседние племена. Увлеченный победами, он продвинулся далеко на север. Запасы пищи истощились, всем грозила голодная смерть. Войско роптало, вот-вот вспыхнет бунт.

Видя это, хан приказал, чтобы в первую же ночь все ложились спать, обратясь головой на юг, в ту сторону, где родина. Роптавшие не подчинились ханскому приказу и проснулись на прежнем месте, а хан и его послушные воины за время сна оказались на родине.

Проклиная своего погубителя-хана, оставшиеся воины поклялись вечно мстить людям, и все погибли от голода. Души этих воинов и сделались тарбаганами, вечными врагами людей.

О том, что тарбаганья болезнь есть, говорили везде: и в хошуне Го-гуна и в Сартуле. Подтвердил это и заведующий аймачной конторой-жисаном в Улясутае чиновник из Джалчин-бейсе хошуна.

Содержатель второй от Улясутая уртонной станции, Дулан, 54-летний монгол Жамьян из хошуна Сартул Туше-гуна рассказал, что, когда он был маленьким ребенком, в окрестностях Усан-Дзэль была болезнь на сурках, обитавших на одной из гор. Болезнь тогда на людей не перешла, заразился только один монгол, который жил возле этой горы и охотился на тарбаганов. Сам он и вся его семья от болезни умерли. Окрестные жители, услышав о болезни, тот же час откочевали подальше от опасного места, благодаря чему, возможно, болезнь и не распространилась.

От своего отца Жамьян слышал, что когда-то давным-давно тарбаганья болезнь распространилась по всей Монголии и от нее погибло очень много людей.

Еще Жамьян рассказал, что раньше в тех местах, где водилось много тарбаганов, мертвых непременно клали в ящики, чтобы не могли съесть тарбаганы. Если же почему-либо тело оказывалось на земле без ящика, то в таких местах на тарбаганов не охотились года два, считая их погаными и непригодными в пищу.

Обычай класть мертвых в ящики со временем забылся, да и тарбаганов стало меньше, почти всех истребили.

Рассказал он и легенду о том, почему тарбагана нельзя убивать стрелой.

Оказывается, тарбаган когда-то и сам был стрелком [6, 179], поэтому стрелу он непременно утаскивает к себе в нору, что весьма опасно для жителей местности. Утащив стрелу, тарбаган превращается в оборотня-орлока и вредит людям, навлекая страшные бедствия. Случись такое несчастье, говорил Жамьян, тарбагана надо во что бы то ни стало откопать и убить, если бы даже откапывать его пришлось всем хошуном, чтобы избавиться от возможных бедствий.

Больного тарбагана распознают так, говорил он: разрезают ему ладони передних лапок поперек и смотрят. Если на них есть спекшаяся черная кровь, тарбагана признают зачумленным и выбрасывают. Если же сгустков нет, то считают здоровым, шкурку сдирают и продают, а мясо едят.

Все изложенное выше недостоверно, носит легендарный характер и требует серьезной проверки и наблюдений. И все же во всем этом есть доля истины, послужившая поводом к возникновению этих рассказов и легенд.

* * *

Записи А. В. Бурдукова, несмотря на их подлинность и полезность, к сожалению, остались лежать в архиве.

И только в 1928 г. иркутский профессор А. М. Скородумов, занимавшийся изучением чумного очага в Забайкалье и Монголии, признал, что легенды о тарбаганах, бытовавшие у бурят и монголов, заслуживают внимания эпидемиологов. Он писал: «Еще задолго до научного открытия связи чумного заболевания от тарбагана, больного чумой, в представлении бурят и монгольского племени имелись легендарные сведения о тарбагане и о его норе как хранителях чумного вируса в природе» [7, 18—20].

Совершая частые поездки по Монголии, Бурдуков вел подробные дневники, на основе которых писал свои путевые заметки и публиковал их, если удавалось, в сибирских газетах.

Весной 1921 г. А. В. Бурдуков, скрываясь вместе с семьей от погони, высланной за ним унгерновцами из Улясутая и Улан-Гома, поселился возле оз. Бага-нур. Оказавшись недалеко от протоки Айрикин-холой, он пренебрег опасностью возможной встречи с унгерновцами, осмотрел эту местность и написал небольшую заметку.

Спустя два года, работая заведующим Прикосокольской конторы Центросоюза, он дополнил ее и послал Организационному бюро Всероссийской научной ассоциации востоковедения, назначившему его своим корреспондентом по Монголии. В сопроводительном письме Бурдуков писал: «Основываясь на том, что для науки все области знания интересны, посылаю вам небольшую статью географического характера» [1].

Эта статья А. В. Бурдукова приводится ниже.

3

«АЙРИКИН — ХОЛАЙ — ПРОТОКА ИЗ АЙРИК — НУРА В КИРГИС — НУР» [1]. (ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ).

Это место никто из русских и вообще европейских или каких-либо других путешественников до сих пор, кажется, не посетил. Это объясняется, вероятно, тем, что местность здесь пустынна, дика и находится в стороне от проходных путей.

Г. Н. Потанин описывает эту протоку по рассказам, очень поверх-

носно и неверно. Лично я, живя десятки лет в Хангельцике, все время собирался посмотреть это интересное место, по прямой в восьмидесяти верстах от Хангельцика, и все-таки не мог до сих пор собраться, но, как говорится в пословице, «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Оказавшись здесь, я и осмотрел эту местность.

Протока Айрик-нура проходит в трех-четыре верстах к северо-востоку от одинокой горы Тольбин, среди голой каменистой увалистой степи, постепенно понижающейся с северо-запада к оз. Киргис-нур. С востока к ней примыкает такая же голая, но песчанистая равнина, тянущаяся от гор Хулджин-хургун-нуру. Эта равнина разделяет восточные концы Киргис-нура и Айрик-нура. Здесь, у восточного конца Киргис-нура, есть местечко Кок-дэрэсни-узузрин-булук, где имеется питьевая вода. Вода в самом Киргис-нуре горько-соленая. Затем питьевая вода есть в местечке Цэнхэр-булук, на восточном конце Айрик-нура. Добраться сюда можно, лишь обогнув восточный конец Киргис-нура и преодолев не менее сорока верст сыпучих песков. В середине этого пути на запад от дороги уходит песчаный клин верст на 20—25, примыкающий к протоке Айрик-нура. В этот клин осенью, когда выпадает снег, иногда забредают на несколько дней одинокие юрты халхасцев из хошуна Ачиту-вана. В остальное время года нога кочевника сюда не ступает. Эта протока служит естественной границей между хошунами халхасского Ачиту-вана и дербетского Дзорикту-хана.

На запад от горы Тольбин питьевая вода имеется также в Наран-булуке, Аршан-булуке и Чоно-долох, причем в последнем она бывает не всегда. Все они находятся у западного конца Киргис-нура: Наран-булук северо-западнее озера верст на 20—25, Аршан-булук верстах в 10—15 к северу от озера и Чоно-долох у самого западного конца Киргис-нура, представляя собой небольшие заросли *ция-тунги*, где осенью вытекает маленький ключик, и то солонцеватый. Чаще же приходится копать колодез.

Путник, выехавший из этих пунктов, чтобы добраться до Бага-нура, где мы находимся, должен ехать верст 20—25 по совершенно голой каменистой пустыне, без воды и корма, огибая Киргис-нур с запада на восток, и миновать возвышенность между горами Тольбин и Гильбин, где проходит Улан-гомская дорога, по которой халхасцы ездят за ячменем. Дорога эта выходит на р. Дзабхан по юго-западной стороне горы Тольбин, верст на 20—25 южнее местечка Бага-нур.

Г. Н. Потанин прошел от западного конца Киргис-нура юго-западнее горы Гильбин и вышел на соленое озеро Сангин-далай или Дээрэнэ-дабас, находящееся южнее Бага-нура. В низовьях реки Дзабхан он не был.

Переправиться вброд через р. Дзабхан в низовьях почти невозможно. Самый нижний брод находится в местности Алана-адак верстах в 10—15 от устья, где мы обычно и переправляемся через реку, но не всегда, да и то с помощью местных халхасцев или дербетов. Дно реки слабое и легко засасывает ноги животных.

При нашей переправе 24 апреля 1921 г. глубина Дзабхана была от шести до семи четвертей, переправлялись на верблюдах, так как на лошадях ехать было нельзя. Монголы говорили, что вода еще не очень большая.

Дзабхан впадает в Айрик-нур двумя руслами, отстоящими друг от друга местами верст на 10—12. Оба русла одинаково глубоки. Восточное более широкое и песчанистое, а западное в трубе. Ближе всего в Бага-нур можно попасть со стороны устья Дзабхана, но и то приходится перебираться с большими препятствиями через оба русла реки.

Чтобы побывать на протоке Айрик-нура, нужно было специально снаряжаться, с какой бы стороны ни ехал.

Перебравшись 24 апреля через р. Дзабхан, я встретил своего знакомого старика Прэнлэя, который мне и посоветовал поселиться в Бага-нуре, где стоит его сын Баян-Бэлэк со стадом коров.

26 апреля мы с брода, обогнув гору Тольбин с запада, спустились в котловину оз. Бага-нур. Это небольшое озеро с горько-соленой водой соединено протокой с Айрикин-холай. В округности оно версты три-четыре, заросшее по берегам камышом, который, по словам Баян-Бэлэка, начал расти года три-четыре тому назад. До этого берега были пустынные, а теперь камыши служат кормом для рогатого скота. Больше полсотни коров с телятами, принадлежащих богатому Прэнлэю, бродят в камышах и кормятся. В окрестности же совершенно голо.

На Бага-нуре оказалось много гусей и уток, среди гама их слышался одинокий голос птички коко-буха, напоминающий крик быка, поэтому, говорят, монголы ее и называют «синий бык-самец» — *коко-бух*. Она водится на оз. Усва-нур, значащемся на карте как Упса-нур, и мелких прибрежных озерах. Птичку эту мне видеть не пришлось, но монголы говорят, что она очень маленькая, вроде кулика. Экземпляр этой птицы видел рабочий Аджа.

Протока Айрикин-холай у впадения в нее вод из Бага-нура принимает вид продолговатого озера-бухты версты полторы длиной и сажен 100—150 шириной. От нижнего конца бухты ширина протоки 30—50 сажен, берега обрывисты и песчаны. Через три-четыре версты она впадает в оз. Киргис-нур. Это озеро здесь глубоким заливом выдается к югу, верст десять шириной, суживаясь у начала верст на 10—15, а у впадения протоки версты на две-три.

Залив синел, уже освободившись ото льда, тогда как на озере еще белел лед. У самого впадения в залив берега протоки пологи и удобны для устройства парома. Здесь и берега Киргис-нура пологи.

В устье протоки сидели тучи черных бакланов, кое-где среди них белели крикливые чайки. Киргис-нур, Айрик-нур, а также и протока изобилуют рыбой, но какой она породы — выяснить не удалось. Один экземпляр этой рыбы, выброшенный ветром на берег и еще вполне свежий, я осмотрел. Был он без чешуи, с большой костистой головой, утолщенной в передней части, немножко сгорбленный. По размеру головы и толщине непропорционально короток, не похож ни на одну рыбу, известную мне. Длинной он был 9 вершков. Специальное обследование рыб Киргис-нура, Айрик-нура и р. Дзабхан может, конечно, установить, какие там водятся рыбы.

В реках Дзагастай и Богдоин-гол, которые берут начало у северо-западного подножия горы Очирвани-Богдо-ул и протекают мимо г. Улясутая, а затем в сотне верст ниже соединяются с р. Дзабхан, водится вкусная рыба хариус, но в низовьях Дзабхана хариус не встречается. Он водится еще в р. Хобдо, воды которой через оз. Хара-ус и протоки Хомын-холай и Татхан-тэль попадают в р. Дзабхан.

Кверху от бухты Айрикин-холай идет в крутых каменистых берегах шириной сажен 40—50, вид ее довольно дик и красив. По берегам местами торчат одинокие кусты тала и тамариска. Есть красивые выступы скал, заливы. До Айрик-нура протока идет небольшими зигзагами. Это от Бага-нура верстах в четырех. В общем, протока из Айрик-нура до Киргис-нура тянется на расстоянии 6—7 верст в направлении с юго-востока на северо-запад. Самое узкое место протоки 30 сажен, а широкое — 50 сажен. Ширина бухты 150 сажен. На всем протяжении протока течет тихо, подобно большой реке. Брода нигде нет, берега

везде обрывисты. Производит впечатление глубокой реки. Крутых изгибов протока не имеет, наименьшая глубина, на мой взгляд, три-четыре аршина, но возможно, что и глубже. Во всяком случае, протоку нужно считать судоходной для небольших пароходов. Когда в будущем люди наладят на пустынном теперь Киргис-нуре судоходство, то, вероятно, используют и этот естественный канал, ведущий в Айрик-нур.

Озеро Айрик-нур в окружности верст 60—70, вода в нем пресная. Река Дзабхан, впадая в его западный конец, образует по направлению к востоку залив. Мутные воды Дзабхана врезаются в озеро, не теряя своего цвета дальше его половины. Напротив, из западного конца Айрик-нура вытекает описываемая протока Айрикин-холай. От устья Дзабхана до протоки здесь не больше десяти верст. В Айрикин-холай, верстах в трех от начала, виднеется совершенно белая скала-островок.

Через протоку Айрикин-холай в Киргис-нур как во внутренний бассейн Северо-Западной Монголии впадают все воды монгольских плоскогорий, район которых простирается на юг — до преддверий великой Гобо, на восток — до водораздела Очирвани-Богдо-ул, восточнее г. Улясутая на 80 верст, на запад — до Монгольского Алтая, из которого берет начало р. Хобдо, общим протяжением около 1000 верст. Характерно, что в огромное озеро Киргис-нур не впадает ни одной речки, за исключением мелких береговых ключиков. Этот внутренний бассейн получает приточную воду лишь через протоку Айрикин-холай. Выхода вод из озера нет никуда.

3 мая западный конец Айрик-нура был свободен ото льда, но к востоку лед еще держался. Протока же всю зиму почти не замерзает, льдом покрывается лишь широкая часть бухты, где иногда зимой и переезжают монголы.

4 мая подул сильный ветер и разбил остатки льда. На Баганур прилетели четыре лебедя, но 5 мая их уже не стало. Очевидно, они остановились по пути. Во время ветра и после носилось много бакланов и чаек, охотившихся на рыб. В камышах и в степи начали появляться первые ростки зелени. Три дня тому назад мы собрали в камышах около 70 штук гусиных яиц. В гнездах было по 3—4—5 и только в одном гнезде 7, а в другом 8 яиц. Были они совершенно свежие. Гуси прилетели, по словам Баян-Бэлэка, около месяца тому назад.

1921 г. 3—9 мая. Бага-нур.

Обстоятельства, приведшие меня в Бага-нур, заключались в следующем: разгромленные революционными войсками в Сибири белогвардейцы устремились в Монголию. Ехали они как целыми отрядами, так и единицами. К марту 1921 г. в г. Улясутае, где мы жили, число белогвардейцев достигало уже сотни. Унгерн-Штернберг уже захватил Ургу, и в Монголии властвовали белогвардейцы.

Как только Улясутай был покинут китайцами, местные белогвардейцы во главе с полковником Михайловым забрали власть в свои руки. Вскоре приехал из Урги уполномоченный Унтерна полковник Доможиров, который назначил Михайлова начальником гарнизона города, а полковника Шевелева комендантом. Город был объявлен на военном положении. Началась мобилизация колонистов.

Доможиров приказал Михайлову уничтожать не только всех большевиков, но и всех подозреваемых в большевизме и даже сочувствующих им, уничтожать незаметно, под тем или иным предлогом. В числе неблагонадежных был и я.

Перед господами русскими офицерами открылась широкая возможность проявить личную инициативу в истреблении своих соотечествен-

ников, проживающих в Монголии. Все зависело от их усмотрения, не нужно было доказательств, фактов, суда и пр. Достаточно было какому-нибудь офицеру заподозрить, что тот или иной человек, как ему кажется, не сочувствует им, белым, чтобы убить его.

Рассказы о том, что в Урге разорены и уничтожены все китайские фирмы, истреблено много русских, вырезаны все евреи с семьями и детьми, аресты и расстрелы в самом Улясутае — все говорило, что медлить нельзя, нужно уезжать, пока не поздно. Бросив все, я забрал жену и четверых малолетних детей, и мы двинулись скитаться по Монголии, как кочевники, надеясь добраться до русской границы.

Путь на Русь был отрезан белогвардейцами, поэтому нам и пришлось пока, до выяснения возможности проехать в Россию, поселиться в Бага-нуре, в 450 верстах от Улясутая. Жили мы в палатке.

После нашего бегства из Улясутая белогвардейцы не только конфисковали все принадлежавшее мне имущество, но и выслали за нами погоню.

Вскоре Бага-нур по тактическим соображениям пришлось покинуть и перебраться на р. Дзабхан, где приходилось жить, в зависимости от обстановки, то легально, то скрываясь. Так нам удалось благополучно прятаться до 13 июня 1921 г., когда мы были арестованы в непролазных тальниках в низовье Дзабхана. Арестовала нас русско-монгольская разведка, высланная белогвардейцами из Улясутая. Случилось это в тот момент, когда мы уже были готовы двинуться на Русь через Кош-Агач, путь этот только что был очищен от банд. Но судьбе было угодно распорядиться иначе, мы оказались во власти белобандитов, которые нас повезли в Улясутай. Так между жизнью и смертью мы находились до 22 июля, и благодаря лишь ряду случайностей приговор Унгерна о нашей казни не был приведен в исполнение. В ночь на 22 июля 1921 г. монгольские войска в Улясутае восстали против унгерновцев, и я с семьей был спасен моими друзьями Хатан-Батор-ваном и Джалханза-гегном.

24 мая 1921 г. Хатхыл. Монголия.

ЛИТЕРАТУРА

1. Архив А. В. Бурдукова, хранящийся у Т. А. Бурдуковой.
2. Архив АН СССР, ф. 761, оп. 2, № 24.
3. Дамдисурэн Ц., О значении слов хуухэн и хувуун, — «Наука», Улан-Батор, 1941, № 1 (на монг. яз.).
4. Даревская Е. М., Алексей Васильевич Бурдуков (О роли русских поселенцев в изучении Монголии), — «Очерки по истории русского востоковедения. Сборник VI», М., 1963.
5. Котвич В. Л., Краткий обзор истории и современного политического положения Монголии, СПб., 1914.
6. Потанин Г. Н., Очерки Северо-Западной Монголии, вып. IV. Материалы этнографические, СПб., 1883.
7. Скородумов А. М., Очерки по эпидемиологии чумы в Забайкалье и Монголии, Верхнеудинск, 1928.

ИЕРОГЛИФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

К статье В. А. Вельгуса

- (1) 炁 蒸 (2) 报 (3) 姪 报 (4) 令 甲 (5) 甲 令
(6) 胡 承 珙 (7) 执

К статье М. Л. Рудовой

- (1) 三 财 (2) 关 帝 (3) 财 神 (4) 玄 坛 赵 元 师
(5) 忠 义 神 武 灵 佑 仁 勇 威 显 关 圣 大 帝 (6) 增 福 积
宝 财 神 (7) 聚 宝 盆 (8) 玄 坛 赵 元 师 (9) 协 天 大
帝 (10) 蜻 蛭 飞 入 (11) 回 回 (12) 回 回 进 宝 (13) 文
武 财 神 进 宝 献 瑞 (14) 利 市 仙 官 来 (15) 招 财 童 子
至 (16) 发 财 福 (17) 文 财 神 (18) 比 于 (19) 石 崇
(20) 武 财 神 (21) 赵 公 明 (22) 群 仙 斗 宝 (23) 招 财 使
者 (24) 招 财 童 子 (25) 利 市 仙 官 (26) 此 乃 财 神 叫
门 来 到 咱 家 (27) 活 财 神 (28) 协 天 护 国 忠 义 大 帝
(29) 关 帝 圣 蹟 图 志 全 集 (30) 仁 (31) 义 (32) 礼
(33) 智 (34) 信 (35) 关 圣 大 帝 (36) 财 (37) 福 (富)

(1)在 (2)向 (3)与 (4)从 (5)自 (6)太子从中
 宫北出城门 (7)我从远方来 (8)来 (9)以来
 (10)我从生已来,布施未尝有悔也 (11)债主将我,
 从道而来 (12)我欲从王乞求一愿 (13)我不闻,汝
 从我索食 (14)妃即作礼,从索三愿 (15)才 (16)裁
 (17)在此学道,为几何岁 (18)我居止在大海水中
 (19)说 (20)道 (21)汝今何故,不向我道 (22)向象三
 说... (23)即向父母忏悔 (24)我设方便,向王求哀
 (25)群鹿跪向菩萨 (26)望 (27)共 (28)一块 (29)过
 去有人共多人众坐於屋中 (30)汝共我捉杀分其
 肉 (31)谁有勇健能共我试 (32)之 (33)和 (34)常
 与一鸟为知识 (35)太子与妃及其二子共至母所
 (36)给 (37)为 (38)昔有一人贫穷困乏,与他客作
 (39)婢语次者,先与其浣 (40)太子为设饮食 (41)用
 (42)持 (43)以 (44)用何和涂,得如见好 (45)妇窞为
 计,造毒药丸,欲用害夫 (46)唯仰乳酪,卖用自济

(47)各赍宝珠,来用奉汝 (48)及以身肉,用著秤头
(49)故 (50)王及傍臣用是之故,恚共逐我耳 (51)当
用此果为 (52)持一把豆 (53)左捉破器,右持折杖
(54)众比丘以食持应器,入城求食 (55)时舍利佛,明
日到时,著衣持钵,至须达家 (56)即便持钱,往买其
果 (57)留一玉环曰:持此可以避难 (58)分那持
往,即得二千两金 (59)持刀自割股肉与鹰 (60)持
铁锁繫缚 (61)寿即持刀刺胁下一创 (62)何故为
他,持瓠取水 (63)把 (64)时有一人持欢喜丸授与
小儿 (65)国法施人,要令童女,持物布施 (66)汝今
何故持我白象以与怨家 (67)居家财物,分为一分,
以奴分那,持作一分 (68)太子奢持白象与怨家不
(69)...而太子用与怨家 (70)望得三斛,持用供养诸
沙门 (71)将 (72)当 (73)前将五百贾客,入海採宝
(74)王将鬼女,入内宫中 (75)即将夫人,出国逃走
(76)我当将汝渡海彼岸 (77)我欲将汝作於善友

(1) 我 (2) 你 (3) 他 (4) 俺 (5) 我们 (6) 的
 (7) 俺这里有一个徒弟 (8) 俺便是宋江 (9) 俺宋
 公明在那里? (10) 请嫁公主与俺 (11) 老夫人着
 俺问长老... (12) 若恁俺呵, 何不安然恁责
 (13) 们 (14) 每 (15) 等 (16) 好酒, 俺们昨夜都醉了
 也 (17) 刘知远诸宫调 (18) 董西厢 (19) 您 (20) 你
 们 (21) 您都不能, 我去 (22) 您不知道 (23) 哥哥
 对您兄弟说 (24) 可以胜得他的事, 您自知者
 (25) 您每休那般做 (26) 恁 (27) 恁两个今夜亲折证
 (28) 今夜相逢管教恁 (29) 恁孩儿别有一计 (30) 咱
 (31) 自家 (32) 自己 (33) 咱们 (34) 你我 (35) 咱和你
 去那处说话去 (36) 不曾有真实害咱的言语
 (37) 咱同上京去罢 (38) 咱教百姓起了 (39) 咱每本
 是一宗族的人 (40) 咱每夜里且休行 (41) 咱家
 (42) 家 (43) 我家 (44) 你家 (45) 他家 (46) 叫醒咱家
 (47) 偌 (48) 喏 (49) 答 (50) 偌去不去 (51) 到明日偌
 别有话说 (52) 偌和你同去 (53) 偌不是这里人
 (54) 偌们.

CONTENTS

	Page
From the Oriental Commission	5
V. S. Starikov. B. I Pankratov as a scientist and pedagogue	7
K. V. Vasilyev. From the history of ancient Chinese literary monuments	14
V. A. Velgus. The concept of levirate as given in Chinese source-books	24
M. V. Vorobyov. The Nü-chen Chin state and Central Asia	30
K. B. Keping. A Tangut translation of the Chinese treatise on the art of war by Sun-tzu	42
Ye. I. Kychanov and Ye. I. Lubo-Lesnichenko. Circulation of coins in Hara Hoto (From the data supplied by archeological findings)	48
A. S. Martynov. On the native administration of Tibet in the Ming period	54
O. I. Smirnova. Notes on Turkological topics	63
S. L. Tikhvinskiy. The policy of «self-reinforcement» under the Ch'ing (in the sixties and nineties of the 19th century)	65
D. I. Tikhonov. Toward the study of some terms	77
A. B. Kudiyarov. On Mongolian folk expressions	84
M. L. Rudova. Ts'al-shen — Kuan Yu (the God of wealth)	104
A. P. Terentyev-Katanskiy. Chinese dragon legend	118
N. P. Shastina. A story of the dispute between an orphan-boy and nine warriors of Chinghis	126
A. D. Burman. Some features of Burmese rhyme	139
B. B. Vakhtin. Notes on the recurring lines in the «Shih-ching»	145
Yu. L. Krol. Notes on the philosophical allegory «History of flowers» by Lim Che	148
L. K. Pavlovskaya. The P'ing-hua on the history of the five dynasties	159
P'an Ying. Toward the study of the problem of the original version of Shih Nai-an's novel «Water Margin»	166
V. V. Petrov. On the history of «Morning flowers» society	173
O. L. Fishman. Genre features of «Notes from the 'Great in the Small'hut» by Chi Yun	185
I. E. Tsiperovich. On the authorship of a collection of Chinese sayings «The sequel to the Tsai-tsu»	192
I. S. Gurevich. Prepositions in the Chinese language of the 3rd—5th centuries A. D.	198
I. T. Zograf. Personal pronouns in the Chinese literary monuments of the northern group (Yuan — Ming)	207
S. H. Yoffe. On the grammatical trend in the lexicography of the Chinese language	212
V. B. Kassevich. On the morphonology of Burmese	217
V. S. Kolokolov. Some considerations on the Chinese hieroglyphic script and language	222
N. I. Nosova. Word-formation and form-building with the aid of prefixes in Burmese	230
Yu. M. Osipov. Compound words of the «bahuvrihi» type in modern Thai	235
N. A. Speshnev. On the problem of the pronouncing norm of Chinese literary language	240
A. A. Toropov. Segmentation of medieval Chinese text	247
A. A. Kholodovich. Category of person in modern Japanese	252
A. G. Shprintsin. Some observations of the nominal word-formation in the language of modern Chinese scientific literature	260
S. Ye. Yakhontov. General trends in the evolution of the «Sinitic» languages	268
L. I. Chuguyevskiy. From the history of publication of oriental texts in Russia in the first quarter of the 19th century	280
T. K. Shafronovskaya B. A. Dorn on the study of oriental languages in Russia	295
L. Z. Eidlin. 90th anniversary of the publication of the first course of «The history of Chinese literature»	302
A. V. Burdukov. The Forgotten Pages	302

СОДЕРЖАНИЕ

От Восточной комиссии	5
<i>В. С. Стариков.</i> Научная и педагогическая деятельность Б. И. Панкратова	7
<i>К. В. Васильев.</i> Из истории древнекитайских письменных памятников	15
<i>В. А. Вельгус.</i> Понятие левирата в китайских источниках	25
<i>М. В. Воробьев.</i> Чжурчженское государство Цзинь и Центральная Азия (по цзиньским источникам)	31
<i>К. Б. Кепинг.</i> Перевод на тангутский язык китайского военного трактата Сунь Цзы	43
<i>Е. И. Кычанов и Е. И. Лубо-Лесниченко.</i> Монетное обращение в Хара-хото (по материалам находок)	49
<i>А. С. Мартынов.</i> О туземной тибетской администрации в эпоху Мин	55
<i>О. И. Смирнова.</i> Тюркологические заметки	64
<i>С. Л. Тихвинский.</i> Политика «самоусиления» — средство подавления народного недовольства в цинском Китае	66
<i>Д. И. Тихонов.</i> К вопросу о некоторых терминах	85
<i>А. В. Кудияров.</i> О монгольских народных речениях	88
<i>М. Л. Рудова.</i> Цай-Шэнь — Гуань Юй	105
<i>А. П. Терентьев-Катанский.</i> Китайская легенда о драконе	119
<i>Н. П. Шастина.</i> Повесть о споре мальчика-сироты с девятью витязями Чингиса	127
<i>А. Д. Бурман.</i> Некоторые особенности бирманской рифмы	140
<i>Б. Б. Вахтин.</i> Заметки о повторяющихся строках в «Шицзине»	146
<i>Ю. Л. Кроль.</i> Заметки о философской аллегории Лим Дже «История цветов»	149
<i>Л. К. Павловская.</i> Пинхуа по истории пяти династий	160
<i>Пан Ин.</i> К вопросу о первоначальном варианте романа «Речные заводи» Ши Най-аня	166
<i>В. В. Петров.</i> К истории общества «Утренние цветы»	173
<i>О. Л. Фишман.</i> Жанровые особенности «Заметок из хижины Великое в малом» Цзи Юня	185
<i>И. Э. Циперович.</i> Об авторстве собрания китайских изречений «Продолжение цзацзуань»	192
<i>И. С. Гуревич.</i> Предлоги в китайском языке III—V вв. н. э.	198
<i>И. Т. Зограф.</i> Личные местоимения в китайских памятниках северной группы (Юань — Мин)	207
<i>С. Х. Иoffee.</i> О грамматической тенденции в лексикографии китайского языка	212
<i>В. Б. Касевич.</i> О морфологии бирманского языка	217
<i>В. С. Колоколов.</i> Некоторые соображения о китайской иероглифической письменности и языке	222
<i>Н. И. Носова.</i> Словообразование и формообразование с помощью префикса <i>a-</i> в бирманском языке	230
<i>Ю. М. Осипов.</i> Сложные слова типа бахуврихи в современном тайском языке	235
<i>Н. А. Спешнев.</i> К вопросу о произносительной норме китайского литературного языка	240
<i>[А. А. Торопов].</i> Сегментация китайского средневекового текста (на материалах текста «Цзин бэнь тунсу сяошо»)	247
<i>А. А. Холодович.</i> Категория лица в японском языке	252
<i>А. Г. Шпринцин.</i> Из наблюдений над именным словообразованием в языке современной китайской научной литературы	260
<i>С. Е. Яхонтов.</i> Общие тенденции развития синитических языков	268
<i>Л. И. Чузевский.</i> Из истории издания восточных текстов в России в первой четверти XIX в.	280
<i>Т. К. Шафрановская.</i> Б. А. Дорн об изучении восточных языков в России	295
<i>Л. З. Эйдли.</i> К девяти столетию выхода в свет первого очерка истории китайской литературы	302
<i>А. В. Бурдуков.</i> Забытые страницы	316
Иероглифический указатель	329

СТРАНЫ И НАРОДЫ ВОСТОКА

вып. XI

Страны и народы Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии

*Утверждено к печати
Восточной комиссией Географического
общества СССР
Академии наук СССР*

*

Редакторы *Л. С. Гингольд* и *В. В. Кунин*
Художественный редактор *И. Р. Бескин*
Технический редактор *С. В. Цветкова*
Корректоры *В. А. Захарова*
и *М. З. Шафранская*

*

Сдано в набор 9/X 1970 г.
Подписано в печать 27/V 1971 г.
А_05886. Формат 70 × 108^{1/16}. Бумага № 1
Печ. л. 20,75. Усл. печ. л. 29,05. Уч.-изд. л. 26,96
Тираж 2500 экз. Изд. № 2621
Заказ № 1123. Цена 2 р. 10 к.

*

Главная редакция восточной литературы
издательства «Наука»
Москва, Центр, Армянский пер., 2
3-я типография издательства «Наука»
Москва, К-45, Б. Кисельный пер., 4

